11
1966

Иностранная литература

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ЧАРЛЬЗ П. СНОУ — Коридоры власти . . 72

ПОВЕСТИ

КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ — Сад господина Ничке 10

ГЕНРИХ БЁЛЬ — Чем кончилась одна командировка 170

СТИХИ

АЛИ САРДАР ДЖАФРИ — Но я вернусь!.. . 3

МАНУЭЛЬ СЕПЕДА САРГАС — Пламя Колумбии 69

КРИТИКА

М. ГУС — Об отчуждении действительном и мнимом 204

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОМЕНА РОЛЛАНА

ИЗ ПЕРЕПИСКИ РОМЕНА РОЛЛАНА И ЖАНА-РИШАРА БЛОКА 216

11

НОЯБРЬ

1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

А. СТАРЦЕВ — Ленин и «Десять дней, которые потрясли мир» 229

М. С. — На встрече в Баку 241

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ДАКАР, 1966... СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ (Очерк Г. Черновой) 242

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ — Африканский блокнот (Главы из книги) 252

НАШИ ГОСТИ

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Посол Гватемалы (Мигель Анхель Астуриас в «Иностранной литературе») 262

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

К. Азадовский — Поэзия и жизнь. ◇ Роберто Обрегон Моралес — Эта поэзия мира сего. ◇ Геннадий Ярославцев — Знакомство продолжается. ◇ Л. Эйдлин — Перо безжалостное и горькое 265

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

К. Яцковская — О сильных и добрых людях. ◇ А. Пиотровская — Таким был Корчак. ◇ А. Елистратова — Цена человеческой жизни. ◇ Е. Калинникова — Дань Нарайана древнему эпосу 271

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 277

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 288

На обложке: гравюра Карла Эрика Мюллера (ГДР) из цикла «Наша земля».

АЛИ САРДАР ДЖАФРИ

Но я вернусь!..

Перевод с урду СЕРГЕЯ СЕВЕРЦЕВА
Под редакцией Н. ГЛЕБОВА

Мои скитания

Настанет когда-нибудь этот день:
Угаснут светильники глаз моих,
Бессильно поникнут лотосы рук,
А с языка — с лепестка увядшего —
Полуживое, несвязное слово
Последней бабочкою слетит.
Канут во тьму, в непроглядное море
Все многоцветные образы мира,
С детства сиявшие предо мною,
Словно причудливые цветы.
Сердца прерывистые удары,
Звон лихорадочной гонки крови,
Молнии мыслей и волны песен —
Все оборвется.
И надо мной,
На бархате голубого неба,
Жемчужины пристальные блеснут:
Это земля — мой мир, мой рай,
Его рассветы, его закаты,
Такие родные и непостижимые,
Прах человеческий окропят
Слезами прощанья.
И все исчезнет,
Все позабудется — все, все!
В памяти — в этом волшебном храме —
Погаснут огни.
И никто не спросит,
А спросит — останется без ответа:
Где он сегодня,
С кем он сегодня —
Тот, кого звали Али Сардар?

◆

Но я вернусь, все равно вернусь!
Очнусь, научусь разговаривать с вами
Смехом детей, журчаньем источника,
Щебетом неугомонных птиц.

Когда улыбнутся в земле семена
И к солнцу протянут ручонки-стебли,
Знайте, друзья:
Это я возвращаюсь —
В тысячах обликов к вам стремлюсь!
Да, это я в зеленых ладонях
Бережно капли росы держу,
И не бутоны жасмина раскрылись —
Сотнями глаз я на вас гляжу.
То прозвучу я певучей строкою,
То ароматом хны донесусь,
То сквозь прозрачное покрывало
Юной невестой на вас взгляну.
Когда же в свои широкие полы
Ветры сбирают осеннюю дань,
Я под ногами юноши странника
Шелестом листьев сухих засмеюсь...
Да, я увижу все времена!
И все золотые реки земли,
Все голубые озера неба
Жизнью будут поить меня.
Благословен этот щедрый мир,
Где все обновляется неустанно,
Где каждый влюбленный — это Сардар,
А каждая любящая — Султана *.

◆

Я — один из мильонов атомов
Пульсирующей материи.
Я — одна из мильонов капель,
Что текут сквозь ее артерии.
Я — одно из мильонов звеньев
Времени, вечно бегущего.
Я опять из сосуда прошлого
Вливаюсь в сосуд грядущего.
Я в удивительную игру
С незапамятных пор играю:
В заколдованном храме природы
То рождаюсь, то умираю.
Засыпаю — и просыпаюсь,
Угасаю — и разгораюсь,
И всякий раз, умирая, вливаюсь
В бессмертье жизни.

Два светильника

Из черных пустот, из провалов тьмы
Ослепшая буря летит наугад:
То, словно тысячи хищных мечей,
Крылья ее ледяные свистят,
То, как пронзительный, жгучий смех,
Проносится злобный, колючий снег.

* Имя жены поэта.

В убогой лавчонке, в сыром углу
Девушка кутается в платок,
А в жалком светильнике перед ней
Дрожит испуганный огонек —
Оба они этой лютой зимой
Борются с ветром, стужей и тьмой.

Доносится гул с ночных площадей —
Войска за войсками, как тучи, идут,
А руки ветра грубы и злы —
В щели врываются, дверь трясут,
Терзают крохотный огонек,
Срывают с плеч дырявый платок.

Дрожит золотой мотылек огня —
Тщетно пытается уцелеть,
А девушка острые плечи свои
Тщетно старается обогреть.
Во тьме ледяной, о пощаде моля,
Как старая нищенка, плачет земля.

Но в этом трепещущем огоньке
Пожар ослепительный затаен,
А в этой покорной, робкой душе
Мятеж сокрушительный затаен —
Недаром, как будто сойдя с ума,
Так злобно на них ополчилась тьма.

Безумствует ветер... Ночь над землей —
Как черный, липкий, тяжелый спрут...
Две искорки в этой кромешной тьме
Вот-вот захлебнутся, вот-вот умрут...
Но если еще разгорятся они,
В пожар и мятеж превратятся они!

Пламя жажды

Я — вечно пылающее жерло,
Вечно тоскующий кратер жажды,
Море за морем я осушаю —
Лишь распаляется страсть моя!
Каждою каплей хочу насладиться —
Каплями слез и каплями взглядов,
Каплями радостей и страданий,
Что из горячих сердец текут.
Пить я хочу золотые струи —
Яркие струи счастливых встреч,
Жгучие волны пугливых касаний
И ароматные волны бесед —
Пить без конца!
В океане жажды
Я — ненасытный язык огня.
Горло иссохло, потрескались губы,
Стоны и песни в груди запеклись.

Дайте насытиться соками жизни —
Чистыми брызгами свежих сил,
Чтобы потом их бесценный жемчуг
В сердце на тысячи лет сберечь!
О, если досыта не напьюсь я
Солнечной влагою всех времен,
Знайте:
Недолго в живых останусь —
В пламени жажды своей сгорю.

Тел серебро, золото душ...

Продали мы наших тел серебро,
Продали золото наших душ,
Продали яхонты наших глаз,
Продали реки рук,
Продали, отдали все сокровища —
Только бы наших детей накормить,
Были несчастными и беззащитными —
Стали еще беззащитней мы.

Скупили они наших тел серебро,
Скупили золото наших душ,
Вырвали яхонты наших глаз,
Выпили реки рук,
Скупили, сгубили наши сокровища —
Только бы жадность свою утолить,
Были жестокими и ненасытными —
Стали еще ненасытней они.

Но мы вернем наших тел серебро,
Вернем и золото наших душ,
И реки рук, и яхонты глаз —
Все силой назад вернем!
Не станет несчастных и беззащитных,
Не станет жестоких и ненасытных,
Голод и жадность навек умрут,
И воцарятся счастье и труд.

◆

Из лирических миниатюр

Чужие глаза

Все закаты разлук растворились в этих глазах,
Все созвездия встреч затерялись в этих глазах,
Все хрустальные чаши разбились в этих глазах,
Все вино этих чаш расплескалось в этих глазах,
И глядят на меня неотступно эти глаза,
Но взгляд их такой далекий, такой чужой!..

Припомню имя твое...

Припомню имя твое — и сразу, пронзая тьму,
Алмазные ночи встреч сквозь память мою идут,
Украсив огнями слез ресниц моих бахрому,
Угрюмые дни разлук сквозь память мою идут.
О, эта пустынная даль — память прошедших лет!
Она, как и ты сама,— источник надежд и мук,
Она — и бездонный мрак, и путеводный свет,
Она — и смертельный враг, и задушевный друг.

Попрощайся с луной

А теперь попрощайся с луной, попрощайся с луной,
Что с тобою вместе до самого дома шла,
И сними на пороге жемчужный ее венец,
Всю дорогу сиявший над милым твоим лицом.
Сбрось и этих лучей серебряную парчу,
Что высокое, стройное тело твое обвила.
Не царицу-луну — лишь тебя одну, лишь тебя одну
В дом печали моей я согласен сейчас впустить.
Уж давно для тебя одной, для тебя одной
В опаленной груди я другую луну храню —
Огневую, как роза, живую луну храню,
Родилась она из моей любви, из моей крови...

Руки твои

То не руки твои, дорогая, в руках у меня,
А душистые, легкие руки самой весны,
И не тонкие пальцы твои — язычки огня,
Что дрожат и горят, говорят мне слова любви.
День разлуки растаял в огне твоего лица,
Ночь свиданья стекает с распущенных кос твоих.

Жизнь

Эта жизнь — как длинна она, как длинна,
Эта жизнь — как она коротка,
То, как вечер разлуки, тосклива, темна,
То, как утро встречи, ярка.
То течет бесконечной осенней мглой
В ожиданье весенних дней,
То надеждой сверкнет — золотой стрелой —
Сквозь глаза любимой твоей.

То ликующим садом станет она,
То тропинкой в море песка...
Эта жизнь — как длинна она, как длинна,
Эта жизнь — как она коротка!

Восхождение на Синай

ГЕРОЯМ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ

Пусть не каждому истина может открыться святая,
Почему бы и нам не взойти на вершину Синая?
Галиб

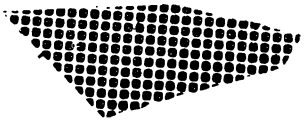
Тревожно стучит ненасытное сердце —
зовет в беспредельную даль устремиться:
Нам в мире привычном становится тесно,
раздвинуть пора этой жизни границы!
Стремитесь же в новые поиски, братья,—
вперед, в неизвестность, в такие просторы,
Куда не проникли еще наши мысли,
куда не достигли еще наши взоры.
Земные моря мы давно покорили,
пора побрататься с космическим морем,
Луну превратим мы в союзницу нашу,
а если придется — и с солнцем поспорим!

Из крови отважных, ломавших преграды,
цветами раскрылась мечта человечья,
Печать изумленья, сковавшая губы,
теперь превратилась в исток красноречья.
Вперед все восторженней люди стремятся,
упрямо мечтают о взлете высоком,
А если в пути повстречают преграду,
становятся яростным горным потоком.
Веками заложники шара земного
взирали с тоской на ночные светила,
Но жажда полета сердца окрылила
и горсточку праха в звезду превратила!

Победная весть разнеслась в поднебесье —
наполнила звезд голубую обитель:
В безлюдной вселенной, в просторах безвластья,
отныне живой появился властитель.
Явился он, гордый и трудолюбивый,
явился, упрямый, пытливый, суровый,
Пронзающий небо всевидящим взором,
срывающий с тайн вековые покровы.
Планету он создал из дивного сплава
труда и науки, огня и металла:
Взвилась она в небо летучей звездою,
полночным светилам соперницей стала!

Но наши стремленья не знают пределов,
как море вселенной не знает границы:
Над Млечным Путем поднимись — и увидишь
бесчисленных млечных путей вереницы.
За каждой плеядою звезд отдаленных
алмазами новые вспыхнут плеяды,
За каждой преградою преодоленной
громадами новые встанут преграды.
За далью откроются новые дали
для новых исканий, для новых скитаний,
И лишь бы отвага в сердцах не угасла —
достаточно будет всегда испытаний!

Отныне в руках смельчаков одержимых
пылает мечты негасимый светильник,
На поле, взрыхленном веками дерзаний,
рождаются всходы героев всесильных.
Заря над землею раскинула крылья —
то наших сердец вдохновенных пыланье,
И ярче всех солнц необъятного неба
горят небывалые наши желанья.
Покой нам неведом, застой нам неведом,
бесстрашных судьба ожидает иная:
Не избранный богом пророк одинокий —
мы сами взойдем на вершину Синая!



КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ

Сад господина Ничке

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского В. БОРИСОВА

I

Второго мая в половине седьмого утра господин Рудольф Ничке открыл дверь веранды и вышел в сад. Он пребывал еще в мягком полусне, но чувствовал себя хорошо отдохнувшим и бодрым. Утро после вчерашнего дождя было чистым и солнечным; в холодном воздухе ощущался запах фабричного дыма, но его заглушали совершенно иные, новые запахи: аромат пахнущей грибами земли, свежей зелени, цветущих слив и черешни. «Как чудесен этот весенний букет юной зелени; никакая промышленность, никакая цивилизация не может одарить человека таким совершенством!»

Такие мысли, вернее, чувства владели господином Ничке, шагавшим по тропинке к забору, который отделял его сад от участка соседа. Он спешил туда с большим нетерпением. Дней шесть назад он перекопал землю, обильно сдобрил ее азотистыми удобрениями, костной мукой и роговыми стружками, тщательно разровнял и высеял под шнурок крупную белую фасоль. Прошло уже достаточно времени, чтобы фасоль дала ростки.

С тропинки сорвался дрозд, крикнул, низко, у самой земли перелетел на другой конец сада и исчез в кустах сирени. Какое-то мгновение мысли Ничке были заняты этой одинокой, грустной птицей, но тут же вернулись к фасоли. Только он ее посадил, как на следующий же день наступили заморозки; а вдруг это столь нежное, теплолюбивое растение пострадало?

Приблизившись к грядке на расстояние трех или четырех метров, господин Ничке остановился, заметив на ней какую-то перемену: еще вчера поверхность ее была идеально ровной, а сейчас тут царил какой-то беспорядок или, вернее сказать, беспокойство. Ну конечно! Какие могут быть сомнения: фасоль взошла. И все это произошло за одну ночь. Наклонившись, он внимательно присматривался к этому маленькому чуду, которое всегда вызывало у него глубокое волнение: из влажной, пахучей земли, приподнимая на согнутых в дугу плечиках мелкие камешки, осколки стекла, кирпича, соломенные соринки и кусочки щепы, вытянулись побеги фасоли. Ничке наклонился еще ниже, потом присел, чтобы

разглядеть их поближе. Побеги были еще очень бледными, но уже с жадностью хватали утренний свет, чтобы приобрести яркую зеленую окраску. Некоторые почти на два сантиметра приподнялись над землей, другие только вылезали, а многих еще не было видно. Господина Ничке это несколько встревожило. Может, они погибли? Но тревога тут же улеглась.

Он вскоре понял, что все дело в неравномерной глубине, на которой оказались зерна. И подумал, что, к сожалению, этого избежать не удалось — что поделаешь, человек не машина. Но небольшая тревога лишь на мгновение омрачила его настроение в столь важную, можно даже сказать, торжественную минуту. Ничке, как все люди, был весьма чувствителен к явлению, которое авторы учебников по сельскому хозяйству в издательстве Парейя именовали «тайной жизни». Господин Ничке, независимо от чтения учебников, с юных лет был чувствителен к этому явлению природы. И вот он снова имел счастье стать свидетелем чуть ли не зарождения этой тайны. Из сухого зернышка, которое казалось мертвым и неподвижным, словно камешек, под влиянием тепла и влаги в пышной, хорошо удобренной земле пробился луч жизни! Это было чудо, и господин Ничке, как каждый человек, чувствовал себя немножко причастным к этому.

Он встал и медленно прошел до конца грядки, потом удалился от нее, но, разумеется, не намеревался покинуть ее совсем. Вскоре он вернется, чтобы снова увидеть пробивающиеся ростки и еще раз пережить минуты великой радости. А пока он направился вдоль низкого, обсаженного подстриженной бирючиной забора из проволочной сетки, у самого угла свернул и оказался на задах своего владения, в наименее приятном его месте. Здесь росло несколько чахлых елок, почти круглый год осыпавших землю желтыми иглами. Сколько раз Ничке собирался их вырубить, чтобы посадить ну хотя бы орешник, который так быстро разрастается, что очень скоро закрыл бы вид на узкую, некрасивую, посыпанную черным шлаком тропинку, на распространяющий зловоние ручей, берущий свое начало у железнодорожных мастерских, на полуразвалившуюся кирпичную стену, огороженную длинным рядом искривленных, опоясанных колючей проволокой бетонных столбов. А за проволокой находился поросший сорняками пустырь. В будущем там предполагалось что-то построить. Исходя из принципа, что всякий владелец недвижимого имущества имеет право знать, чем цивилизация намерена его осчастливить, господин Ничке уже несколько раз осведомлялся у соседей и даже в магистрате о дальнейшей судьбе этого пустыря, но никто толком ничего не знал. Однажды, правда, кто-то сказал ему, будто соседний пустырь является собственностью армии. Это его несколько успокоило, ибо любое сооружение для армии все же лучше, чем, к примеру, морг или фабрика искусственного волокна. Но пока все здесь представляло зрелище если и не безобразное, то во всяком случае совершенно бессмысленное.

Эта часть сада была наиболее затененной, и Ничке засадил ее растениями, которые, как он выяснил из учебника, не требуют много солнца. Лучше всего тут рос хрен, его бледно-зеленые, будто вырезанные из гофрированной бумаги листья уже на несколько сантиметров возвышались над землей. На узкой, бегущей вдоль проволочной сетки дорожке год назад он высадил ландыши и фиалки. В прошлом году они еще не цвели, но господин Ничке надеялся, что этой весной среди прямых, свернутых в трубку листьев ландыша и мелких темно-зеленых листьев фиалок он в один прекрасный день увидит бутоны, а затем и цветы, столь необходимые именно в таком некрасивом и заброшенном углу. Он живо представлял нежные белые ландыши и маленькие, темно-фиолетовые, окропленные утренней росой фиалки и почти чувствовал их деликатный аромат.

Ссутулившись, Ничке медленно двигался вдоль грядки, стараясь обнаружить почки. Но, видимо, их время пока не наступило. Зато неожиданно он оказался с глазу на глаз с созданием, которого в своем саду еще ни разу не встречал: это была огромная жаба — огромная, конечно, по тем представлениям, которые у него были об этих существах. Серо-зеленая, покрытая бородавками жаба сидела неподвижно, вытаращив круглые глаза. Это было на редкость омерзительное творение. «Откуда она взялась в моем саду? — подумал Ничке.— Наверно, забрела издалека, может быть от Тренчей. В их одичавшем, заросшем сорняками саду легко могли завестись такие твари». А может, кто-нибудь подбросил ему эту пакость? Так как господин Ничке еще не составил себе определенного мнения, насколько жабы вредны или полезны для сада, он оставил ее в покое, решив как-нибудь потом заглянуть в энциклопедию. Мысль о Тренчах немного испортила ему настроение; впрочем, к ней ему придется еще вернуться.

А пока господин Ничке покинул эту не по его вине столь безобразную часть сада и направился к плодовым деревьям на прилегающей к улице части усадьбы. Осенью прошлого года он посадил там несколько слив и яблонь, по рекомендации редактора «Советов садоводу» предварительно вырубив несколько оставшихся от предыдущих хозяев старых, прогнивших и покосившихся груш. Кроны молодых деревьев, посаженных Ничке, были обрезаны так, как рекомендовал учебник. Однако мероприятие это причинило господину Ничке немало волнений и беспокойства. Правда, со всеми своими сомнениями он боролся, ибо верил в печатное слово, особенно в печатное слово специалистов. Впрочем, в учебнике было сказано, что рост деревьев может иногда значительно запаздывать. Это и понятно, ведь дереву приходится пережить тяжелое потрясение — оно заново врастает в землю, залечивает раны. Когда господин Ничке шел в сторону деревьев, он увидел, как по земле быстро-быстро бежит дрозд, на которого он еще прежде обратил внимание,— бежит, потом с криком взлетает, низко-низко, огибая кусты и деревья, парит над землей, потом взмывает вверх и исчезает в саду у соседа. Ничке остановился, с грустью посмотрел на одинокого дрозда и, когда птица скрылась с глаз, сказал:

— Не улетай, не улетай, останься здесь, у меня! Останься здесь, у меня, побездельничай в саду, попрыгай, где хочешь. Ешь червячков, приятного тебе аппетита, ешь их побольше!

Но дрозд не послушался, и господин Ничке занялся осмотром деревьев. В прошлом году, когда он обрезал их кроны, сердце его кровью обливалось. Под ножом секатора летели ветки с большими, набухшими почками, а на остававшихся ветках почки были мелкие, жалкие, но зато тесно прилегали к ветке. Ничке страдал, но что он мог сделать? В учебнике по садоводству точно было указано, сколько веток нужно обрезать. А Ничке верил учебнику, ведь его автор был доктором и профессором. На одной из слив — на коротком сучке, прямо на основном стволе — единственная, но невероятно толстая почка все же уцелела. Он не обрезал ее, ведь в учебнике ничего не было сказано о почках, растущих прямо на стволе. Господин Ничке не был знатоком сельского хозяйства. Он родился и воспитывался в городе и всеми познаниями в области садоводства был обязан только книгам. Он был убежден, что, если поступать точно в соответствии с тем, что написано в учебнике, можно быть спокойным за результаты.

Впрочем, это не мешало ему считать подобные явления природы чудом. Правда, такое чудо планировалось и управлялось человеком, но ведь, если делать все по правилам науки, его остается только ждать. Вот и сегодня эта огромная почка, которая была предметом стольких забот, ожиданий и надежд (что касается учебника, то его автор о цве-

тении и плодоношении молодых деревьев говорил очень мало и несколько загадочно, во всяком случае весьма неясно, как о явлении, которому не следует придавать особого значения),— да, именно сегодня большая почка и расцвела! Господин Ничке заметил это уже на расстоянии нескольких метров.

Он приближался к дереву очень осторожно, даже замедлил шаг, словно почка была мотыльком, который присел на секунду на ветке его дерева и в любое мгновение может вспорхнуть и исчезнуть. Поэтому на расстоянии двух или трех метров от дерева Ничке остановился и присмотрелся: чудо продолжалось! Издалека донеслось гудение электровоза, послышался шум пролетающих под виадуком вагонов. У господина Ничке исчезли все сомнения — нет, ему это не почудилось, это вполне реальное явление.

— Мой чудесный цветок, мой чудесный, волшебный цветок...— радостно повторял он.

Между тем цветок пребывал в неподвижности, на том же самом месте, словно ожидая господина Ничке. Чтобы лучше присмотреться, господин Ничке нагнулся над ним, и — о ужас! — лепестки у цветка были обгрызены и превращены в лохмотья, жирный, белый, толстый червяк с черной головкой спокойно пожирал его сердцевину. Все самое важное у цветка, все то, благодаря чему дерево плодоносит и размножается,— пестик и нежные, осыпанные желтой пыльцой тычинки,— все было съедено дотла!

— Ах ты свинья, ах ты вонючая свинья, ах ты свинячье дерьмо! — От гнева и возмущения Ничке не находил слов и твердил одно и то же. У него так тряслись руки, что он лишь с трудом смог при помощи спички выгрести из цветка тучного червя. Господин Ничке раздавил его, вытер пальцы о землю и, проклиная червяка, долго еще затаптывал землю ботинком.

Господин Ничке на этом прервал осмотр деревьев и пошел к бассейну вымыть руки. Он открыл кран, укрепленный на торчащей из земли и обернутой еще с зимы соломой железной трубе, и с большим усердием принялся мыть руки под струей холодной, стекавшей в круглый бетонированный бассейн воды. При этом он пользовался старой щеточкой и мылом, специально хранившимися для такого случая в расположенном неподалеку сарае с инструментами. Руки он мыл очень долго и очень старательно, и волнение его постепенно улеглось. Нельзя сказать, что возмущение утратило свою силу, но чувство это приобрело качественно новый характер — возмущение уступило место досаде. Размышляя о случившемся, господин Ничке пришел к выводу, что нельзя возложить всю ответственность на глупого, неразумного червяка, который делает только то, что велит ему инстинкт. Нет, виноваты те, кто убил дрозда, ибо дрозд, как известно, питается червяками; он поедает их согласно закону природы, но благодаря этому является союзником человека и, следовательно, другом господина Ничке. В саду, вернее говоря, в густых зарослях дикого винограда, которые обвивали южную сторону дома, гнездилась пара дроздов, и господин Ничке, как владелец дома и сада, чувствовал себя также владельцем и опекуном птиц. Он радовался, что дрозды выбрали его владение и поселились на его участке. Но вот дня два назад Ничке нашел одного дрозда мертвым. Окостеневшая птица лежала на земле возле железной сетки, ее блестящие, черные перья на груди были залиты кровью, глаза подернулись тонкой пленкой, в раскрытом клюве виднелся язык. Ничке поднял дрозда и отнес на компостную кучу; а вчера, заметив, что птицу облепили мухи, присыпал ее известью.

Таким образом, господин Ничке, который два дня назад уже похоронил дрозда, пережил эту потерю, оплакал его звонкий, чистый голос,

так чудно звучавший по вечерам,— сейчас, увидев, какой вред нанес ему червяк, заново, еще болезненнее пережил смерть дрозда и воспылал жаждой мести.

Вымыв руки, он решил вернуться домой и позавтракать. За чашкой кофе и утренней газетой он надеялся снова обрести столь необходимый ему покой. Но тут вдруг по другую сторону низкой, чуть повыше пояса, живой изгороди появился сосед. Он только четыре месяца назад приобрел дом и сад и ежедневно по утрам — правда, не в столь ранний час, как господин Ничке, но с таким же энтузиазмом и рвением — хозяйничал в своем саду. Сосед этот, по фамилии Копф, недели две назад первым нанес визит господину Ничке, как более старому владельцу недвижимости. Ничке выяснил, что он приобрел усадьбу, заботясь о внуках, которые учатся в школе и будут приезжать сюда на каникулы. Копф не произвел на господина Ничке благоприятного впечатления; судя по нескольким фразам, которыми они обменялись насчет двух последних войн, ему было приблизительно столько же лет, что и Ничке, но выглядел он, пожалуй, старше. Иссеченная морщинами шея, худое загорелое лицо, на щеках сетка красных жилок. На этом старом лице выделялись удивительно ровные, по-молодому крепкие зубы. Господин Ничке смотрел на них особенно внимательно и вынужден был признать, что зубы у Копфа свои, не искусственные, впрочем, стопроцентной уверенности на этот счет у него все же не было.

— Доброе утро, сосед!

— Доброе утро, доброе утро,— ответил Ничке.

— Хорошая сегодня погода, правда?

— Да, пожалуй,— неохотно ответил господин Ничке.

— Жизнь так коротка и так паршива, что человек должен радоваться каждому хорошему дню,— продолжал господин Копф, вовсе не обескураженный холодным тоном господина Ничке. Соседи через изгородь подали друг другу руки, но оба находились в столь неудобном положении, что господин Копф мог ухватиться только за кончики пальцев господина Ничке, тем не менее он несколько раз потряс его руку.

— Morgenstunde hat Gold im Munde,* — пробормотал Копф, жмуря глаза и сверкая белыми зубами. Ничке в это время думал о том, есть ли смысл сказать Копфу о дрозде и о том ущербе, который он, Ничке, понес в результате гибели дрозда. Он решил не говорить, но, видимо, не совсем отказался от этой мысли, так как вдруг услышал самого себя:

— Погода чудесная, мир прекрасен, но, увы, люди гадки.

— К сожалению, вы правы, господин Ничке.— Копф наклонился, вырвал какой-то сорняк и, оглядывая его со всех сторон, добавил: — Но что можно поделать? Так было, есть и будет.

— Хотите закурить? — спросил Ничке, подавая через изгородь коробку с папиросами.

— Какой из меня курильщик! Я только испорчу вам папиросу. А кроме того, перед завтраком...

— Вы правы. Сейчас столько говорят о вреде курения. Но люди неисправимы — продолжают курить, хотя знают, что это им вредно.

— Назло самим себе...

— Вот именно...

— Впрочем, с этим курением странное дело. Знаете, я еще будучи холостяком не раз пробовал курить. Потом война, безработица, вторая война. Вроде бы поводов хоть отбавляй, а между тем курильщика из меня не получилось. Так, иногда вдруг вспомню и закурю. Видно, некоторые люди без этого не могут, а другим оно ни к чему.

---

* Утренний час дарит золотом нас *(нем.)*.

— Совершенно верно. А все потому, что каждый человек отличается от другого человека, и двух одинаковых людей в мире нет. У каждого свои потребности и свои увлечения. Один любит одно, другой — другое,— заметил Ничке.

— А вы много курите?

— Сорок-пятьдесят штук и две сигары.

— Как, в один день? — изумился Копф.

— Да.

— Но это же стоит кучу денег. И очень вредно!

— Что делать? Привычка.

— Надо отвыкнуть.

— Пробовал.

— Нет, вы обязательно должны покончить с этим. Вот, посмотрите на меня: я бросаю свою папиросу. Скажите себе: к черту! И сделайте то же, что и я. Ну!

Ничке, уступая напору соседа, бросил свою папиросу, хотя и не думал отказываться от курения.

— У людей столько разных неприятностей. Папироса успокаивает,— заметил он.

— Согласен с вами. У каждого свои заботы. Но из этого еще не следует, что все мы должны раньше времени отправиться на тот свет. Прав я или нет? Извините, я на минутку, возьму только молоко,— господин Копф направился к калитке, взял у молочника бутылку с молоком, поставил ее на крыльцо и вернулся к изгороди.

— Вы правы на все сто, господин Копф, на все сто, но вы же сами только что сказали, что есть люди, которым трудно обойтись без папиросы. Наверно, я принадлежу к их числу,— сказал Ничке и почувствовал внезапную симпатию к своему соседу. Поэтому он добавил: — Скажите мне, господин Копф, что бы вы сделали, если б какой-нибудь бандит застрелил вашу птицу?

— Птицу? — удивился Копф, внимательно и даже с некоторым беспокойством взглянув на господина Ничке.

— Да, птицу — дрозда. У меня в саду жила пара дроздов, и одного из них какой-то негодяй застрелил.

— Да, это неприятно. Наверно, кто-нибудь из озорства, просто так, для забавы.

— Для забавы? Такая забава, господин Копф, должна быть запрещена полицией.

— Конечно, это должно быть запрещено. Да, я не раз видел дроздов и у себя в саду. Очень печально,— продолжал господин Копф таким бесстрастным тоном, что было похоже, будто он думает совсем о другом.— Если это сделали дети — еще полбеды. Дети — глупые варвары. Гораздо хуже, если это сделал взрослый человек.

Господин Ничке подумал: «Ну, конечно, его это мало волнует, ведь птицы жили не в его саду и ущерб понес не он». Он решил больше с ним на эту тему не говорить и уж во всяком случае смолчать о своих подозрениях относительно виновников гибели дроздов. Ничке все более утверждался в мнении, что убийцей птицы был один из сыновей судьи Тренча. В этом районе парков и садов господину Ничке довольно часто случалось слышать эхо выстрелов из детского ружья. А разве несколько дней назад (когда это было — во вторник или среду?) он не видел, как они крадутся вдоль забора. При этом старший — ему, наверно, лет пятнадцать — держал в руке что-то вроде духового ружья. Неужели же судья Тренч — столь суровый по отношению к другим — разрешает собственным детям совершать недозволенные поступки? Это было бы весьма пикантно. Но жизнь — огромное собрание парадоксов, и это вполне вероятно. В самом деле, что мы знаем о людях? Вот, напри-

мер, что господин Ничке знает о господине Копфе? Только то, что месяца три назад или чуть побольше тот приобрел соседний дом и поселился в нем. Что он так же, как и Ничке, протестант и получает пенсию. Еще что? Что он знаком с судьей Тренчем — Ничке однажды видел, как они разговаривали через изгородь,— что у него внуки, уже школьники. И все. Очень немного.

Господин Ничке и господин Копф еще некоторое время стояли друг против друга и разговаривали, но господин Ничке перевел беседу на другую тему. Потом они расстались — у калитки послышался звонок, Ничке попросил у соседа извинения и отправился за почтой. Почтальон, как обычно, принес газету, а также долгожданные иллюстрированные проспекты с расценками на садовый инвентарь, цветы и семена. Кроме того, господин Ничке получил открытку от дочери. Медленно направляясь к дому, он ее прочел. Вот что писала дочка:

«Дорогой папочка!

Мы все, слава богу, здоровы. Только Хенни часто хнычет, у нее прорезаются зубки. Если бы ты, папочка, знал, какая она прелестная! Эрика получила вчера двойку по арифметике и долго плакала. Мы хотели приехать в пятницу, на твой день рождения, но Рихарду не дали отпуска. Поэтому приедем в субботу вечером. До свидания, папочка! Целуем тебя — твои Хедди, Рихард, Эрика и маленькая Хенни. P. S. Папочка! Эрика и маленькая Хенни просят тебя прослушать концерт по заявкам в пятницу в 21.15!»

■

Господину Ничке всегда хотелось иметь внука, но судьба несколько месяцев назад одарила его второй внучкой. Такое известие огорчило его, но мысль о том, что с планированием в этой области, как видно, пока обстоит еще неважно, его несколько утешила.

Впрочем, Хедди был всего тридцать один год, и Ничке мог не терять надежды. Он очень любил свою дочь и заранее радовался ее приезду. Вернувшись домой, Ничке приготовил себе завтрак и за едой сперва просмотрел газету, потом занялся проспектами, а когда обратился к проспекту, посвященному георгинам, неприятная история с цветком сливы отступила на второй план. Там были изумительные по краскам цветы: красные, как кровь, золотые, фиолетовые и белые, словно снег. Каждая разновидность имела свой порядковый номер, название и очень подробную родословную. Ничке узнал имена выдающихся садоводов и селекционеров, посвятивших десятки лет жизни тому, чтобы из многих поколений прекрасных и породистых сортов георгин вывести именно этот, изумительной красоты цветок с элегантными лепестками и сочной окраской и дать ему имя царствующей особы или выдающегося сановника. Если даже продавец несколько преувеличил, все равно это был потрясающей красоты цветок. Ничке карандашом отметил на полях сорта, которые собирался приобрести. Георгины цветут осенью, в печальное время года, когда природа уходит на покой. Да, именно в один из холодных и серых осенних дней на фоне увядающих листьев и пожелтевших газонов вдруг расцветет такое чудо. И это будет настоящим триумфом сил природы и красоты над временем и смертью!

В заключение точного, яркого и поэтичного жизнеописания каждого сорта давалась сухая, деловая информация о его продажной стоимости, обозначенная в ценах за штуку, десяток и сотню штук. Клубни таких замечательных отборных экземпляров георгин стоили дорого, даже очень дорого, но господин Ничке с этим не посчитался. Те, кто был хорошо с ним знаком и знал Ничке как очень экономного человека, наверно, удивились бы его расточительности. Но все дело в том, что господин Ничке просто очень любил цветы.

■

И вот снова наступил прекрасный день. Один из тех, которые, если хотят сравнить их с чем-то безупречно чистым и совершенным, называют «кристальными» или «прозрачными, как хрусталь». Была как раз пятница — день рождения господина Ничке. Ночью шел дождь. Ничке слышал шум дождя и, проснувшись около часу ночи и потом уже под утро и предполагая, что будет слякоть, решил встать немного позже обычного, и вдруг такая неожиданность! Отдернув занавеску и открыв окно, чтобы убедиться в правильности своих предположений, Ничке увидел свой сад, преисполненный непостижимого очарования. В кристально-прозрачном воздухе он сиял всеми мыслимыми красками. Ничке стоял у открытого окна и чувствовал, как его охватывает какое-то торжественное и одновременно радостное возбуждение. И длилось это долго-долго. Господин Ничке ни о чем не думал, он был счастлив.

И тут вдруг в глубине его бездеятельного в эти мгновения мозга мелькнуло какое-то смутное и не очень приятное воспоминание о давнем и таком же ясном, как и это, утре тех лет, когда господину Ничке нередко случалось вставать очень рано, но воспоминание это словно его и не касалось, словно господин Ничке от кого-то узнал, что кто-то из его добрых друзей именно в такое утро пережил трудно объяснимое и непонятное огорчение. Все вокруг: и воздух, и деревья, и земля — было наполнено неумолчным птичьим гомоном. В нем нельзя было различить ни отдельных голосов, ни даже звуков — все птичьи голоса слились в сплошную столь же неизъяснимо совершенную музыку, сколь совершенными являются воздух, которым мы дышим, и вода, которую пьем.

Четверть часа спустя господин Ничке пережил новую, на этот раз вполне конкретную и поэтому еще более волнующую радость: в его саду после ночного дождя произошло чудесное превращение. В течение одной этой ночи все, что в нем было посажено, вдруг вытянулось на невероятную высоту — такое можно было увидеть, пожалуй, только в каком-нибудь трюковом фильме. Вот, например, помидоры. Он посадил их четыре дня назад и поливал дважды в день, но у них еще вчера после обеда был весьма невзрачный и блеклый вид. Сейчас они стояли ярко-зеленые, толстые, сочные стебли выпрямились, а мясистые листья и ветки торчали так, словно их развесили на невидимых, сильно натянутых нитках; они жили, дышали, пили воду, поглощали солнечный свет. А вот и фасоль, которая еще две недели назад доставляла господину Ничке столько огорчений,— теперь эта фасоль росла, как лес. Растения выстроились ровными рядами, словно деревья на школьном участке или солдаты на смотру. Даже холода, которых он так опасался, не помешали им; развивавшиеся сначала неравномерно всходы сейчас выравнялись, отставшие слабые растения окрепли и все оделись в новый, ладно скроенный наряд из листьев. Каждое отдельное растение само по себе было прекрасно, и хотя все они были похожи одно на другое, каждое все же было существом глубоко индивидуальным и имело свое собственное лицо, несмотря на то, что листья их идеально повторяли друг друга по форме и окраске. Ничке все повторял про себя: «У меня целая полоска прекрасной фасоли, чудесной фасоли! И скоро она должна зацвести». Он не знал точно, когда это произойдет, но, наверно, скоро. Вчера он приметил, что одно растение пустило первый ус, а вот сейчас даже поразился, как этот ус вырос за одну ночь — ну конечно, вчера он был еще так далеко от торчащей рядом подпорки, а сегодня уже цепко обвился вокруг нее.

Что за инстинкт, какая мудрость руководит простой фасолью и заставляет ее безошибочно выполнять все, что необходимо для жизни и

размножения? Ничке присел возле растеньица и долго рассматривал его, он даже коснулся пальцем его шершавого, словно бы покрытого мельчайшей щетинкой усика и погладил его.

Сегодняшнее утро запомнилось благодаря еще одному событию. Покинув делянку фасоли, Ничке отправился на свою передовую — на грядки с редиской, луком и салатом. Одна из грядок уже много недель пустовала, но Ничке все равно полол ее и поливал. Месяц назад он посеял тут петрушку и наперед знал, что ожидать ее придется долго. Однако срок, указанный на пакетике с семенами, давно прошел, и господин Ничке уже примирился с мыслью, что грядку придется перекопать. Впрочем, убыток был невелик. И вот сегодня, оплаканная и уже немножко позабытая, петрушка взошла! Правда, пока это было не особенно эффектное зрелище: невзрачные, едва приметные, прерывающиеся во многих местах зеленые следы обозначали линию посева, но как обрадовался господин Ничке, что этим тщедушным слабым зернышкам все же в конце концов удалось осилить гнетущую тяжесть земли.

В это прекрасное утро Ничке не работал в своем саду. Он только осматривал растения, удивлялся им и радовался. Вот из свернувшихся в трубочку листьев ландыша уже показались первые, еще закрытые бутоны; вот в гуще мелких листочков блеснула первая фиалка. Над головой господина Ничке пели птицы, а неведомо откуда набегавший ветерок то и дело сбивал с деревьев капли воды и уносил их с собой. Время от времени капли падали господину Ничке на лоб или щеку; он смахивал их и улыбался. Он решил, что сегодня не будет заниматься прополкой, хотя после дождя, особенно в северной части сада, и появилось множество сорняков, не станет окучивать и помидоры и вообще работать не будет. Устроит себе праздник. В самом деле: это его день рождения или нет? А разве сама природа не отметила торжественность сегодняшнего дня? Ничке решил, что сейчас он немножко погуляет, потом пойдет на кухню, приготовит к завтраку яичницу с грудинкой и откроет банку с джемом, присланную Хедди. Выпив кофе и позавтракав, почитает газету, которую скоро принесет почтальон, а может, еще какие-нибудь письма, прейскуранты и проспекты. Потом вынесет в сад шезлонг и до обеда будет читать начатую вчера книжку о кампании Роммеля в Африке, передвигая время от времени шезлонг, чтобы оставаться в тени, которую отбрасывал стоящий посреди сада спокойный, тихий дом. А потом, в ознаменование своего дня рождения, наденет свежую рубашку, новый костюм и отправится в ресторан «Под каштанами» — проверит, что этот старый мошенник Биттнер приготовил сегодня на обед. Господин Ничке еще раз прошелся по саду, затаптывая на ходу извилистые и потрескавшиеся следы крота, который в поисках червей проделал свой ход совсем близко от поверхности земли. Потом он остановился и стал высматривать своего соседа. Господину Ничке хотелось сегодня первым с ним поздороваться. Но господин Копф как раз был очень занят — он все время что-то возил на тачке, и в глубине сада, среди деревьев, мелькала лишь его белая рубашка.

Наконец Ничке уловил удобный момент и крикнул:

— Доброе утро, господин Копф!

— Доброе утро, доброе утро.

— Что вы так суетитесь с самого утра?

— А вот, вожу компост под огурцы! — крикнул в ответ Копф и остановился.

— Прекрасно все растет после дождя.

— Как на дрожжах! — ответил Копф и снова исчез в глубине сада. Ничке вернулся в дом и занялся приготовлением завтрака.

Он как раз резал хлеб на хлеборезке, когда послышался звонок. Ничке выглянул через выходящее на улицу узкое кухонное окно и вме-

сто ожидаемого письмоносца увидел мужчину и женщину. Они стояли возле калитки, женщина оперлась на нее рукой и смотрела куда-то вверх; через плечо у нее висела полотняная сумка. Мужчина разглядывал окна дома господина Ничке, ничем особенным он не отличался. Ничке не знал, кто бы это мог быть, он никогда не встречал этих людей, и вид их ни о чем ему не говорил. Потом ему что-то не то почудилось, не то припомнилось, но он решил, что они, наверно, из тех, кто ходит по домам и скупает старые бутылки, банки и всякий бесполезный в хозяйстве хлам, представляющий еще, однако, для кого-то какую-то ценность, раз его можно продать. Он нажал кнопку автоматического замка, и замок тихо загудел. Потом выглянул еще раз в окно, чтобы убедиться, воспользовались ли незнакомцы сигналом, и, обнаружив, что они идут по каменной дорожке в сторону дома, продолжал резать хлеб. Но когда через минуту, услышав шаги под окном, он вышел, чтоб впустить их в дом, стало ясно, что это вовсе не сборщики бутылок, а просто какие-то бродяги, и он пожалел, что отворил калитку. На мужчине был дешевый, измятый и запачканный холщовый костюм, его худое изможденное лицо было покрыто редкой рыжеватой растительностью, и он смотрел каким-то странным, будто стеклянным, отсутствующим взглядом. Но взгляд его был устремлен не на господина Ничке, а куда-то мимо него. Ничке не сумел бы определить, сколько этому человеку лет — ему с одинаковым успехом можно было дать и тридцать, и все пятьдесят. Женщина была немолода — лицо потное, жирное, склеившиеся пряди волос. Бесспорно, это были люди, которые спят, где придется, и никогда не умываются.

— Чему я обязан? — спросил Ничке, силясь говорить в шутливом тоне и с трудом сдерживаясь, чтобы не захлопнуть у них перед носом двери. Мужчина смотрел сейчас так, словно был косоглазым, он уставился в господина Ничке и наконец произнес:

— Господь бог духов пророческих прислал ангела своего, чтобы передал слугам своим, что должно вскоре произойти. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды своей. Ибо тогда будет великая скорбь...

— А кто причиняет зло, пусть еще причиняет зло, а кто есть в нечисти, пусть и пребывает в ней. А кто справедлив, пусть будет еще оправдан, а святой пусть будет принесен в жертву,— сказала женщина, вздохнув, опустила глаза и сняла соломинку с рукава своей куртки. Она держала соломинку двумя пальцами, разглядывая ее, потом уронила на землю.

— Что за вздор вы несете и что вам от меня нужно?

— Книги открыты,— говорил мужчина,— и осуждены будут все согласно тому, что написано в этих книгах, согласно поступкам, совершенным ими...

Мужчина произносил свой текст, как плохо выученный урок. Речь его была понятной, произношение правильным, но слова звучали так чуждо и мертво, словно это говорил робот. Господина Ничке вдруг охватило странное чувство, будто он этого человека знает, будто он уже где-то видел это измученное и отсутствующее лицо.

«Откуда я его знаю? Вздор. Я его совершенно не знаю... Впрочем, во время войны с кем только не приходилось встречаться»,— подумал Ничке, чувствуя все нарастающую неприязнь к бродягам.

В какой-то момент он даже ощутил страх перед этими не совсем нормальными типами и попытался закрыть дверь:

— Ладно, ладно. С богом. Лучше бы взялись за какую-нибудь работу.

Но худой мужчина крепко ухватился за дверную ручку, обнаружив при этом незаурядную силу, и продолжал:

— Приближается час, когда нам придется предстать перед обликом всемогущего и всевидящего господа нашего. А время это уже близко. Как же предстанем перед обликом господа мы, немцы, руки которых по локти в крови?

Мужчина пристально вглядывался в лежащую на дверной ручке ладонь господина Ничке.

Теперь у Ничке уже не было никакого сомнения, что он имеет дело с сумасшедшими. Он извлек из кармана полмарки и протянул монету женщине, но та спрятала руки за спину и отрицательно покачала головой. Она стояла неподвижно, с открытым ртом, уставившись на него бессмысленным взглядом. А мужчина все продолжал свою речь, но теперь уже другим тоном:

— Мы, немцы, принесли людям столько зла, что сейчас должны сделать для них очень, очень много хорошего...

— Пошли вы к дьяволу и оставьте меня в покое,— довольно громко сказал господин Ничке, но вместо того, чтобы закрыть, распахнул двери еще шире, не встречая на этот раз сопротивления.— Ступайте в другие дома, там тоже живут люди!

Господин Ничке подумал, что, пожалуй, употребил слишком резкие выражения, но у мужчины и женщины был такой вид, словно его слова вообще к ним не относились. Повернувшись, они сошли с крыльца и молча пошли по каменной дорожке. Господин Ничке отступил назад, закрыл двери и нажал на кнопку. Выглянув в кухонное окно, он увидел, как первой вышла за ограду женщина, мужчина обернулся и тщательно притворил за собой калитку.

Человеку кажется, что он сам распоряжается своей судьбой, а между тем он всего лишь игрушка в руках сил, действия которых невозможно предвидеть. Вроде того шарика в игре в настольный биллиард, который выскакивает с огромной силой, уверенный в своем успехе, потом наталкивается на один гвоздик, другой, третий — и оказывается невесть где, иногда в самой худшей ячейке. Вот и господин Ничке посвятил в этот день несколько часов делам, которыми сегодня вовсе не собирался заниматься. А именно: заглянув после завтрака на чердак, чтобы проверить, не протекла ли после ночного ливня крыша, он убедился, что с крышей ничего не случилось, но ужаснулся при виде царившего на чердаке беспорядка. Быть может, этому способствовала сегодняшняя погода; в лучах солнечного света, падающего через чердачные оконца, господин Ничке вдруг, словно в свете рефлектора, увидел всю мерзость этого скопища рухляди. Сколько раз он давал себе зарок разделаться с этим хламом, оставленным предыдущими владельцами! И подумать только, что так долго он вынужден был терпеть у себя над головой подобное безобразие! Какие-то старые абажуры, сломанный пылесос, заржавелые части велосипеда, противогазы, заплесневелые и твердые, как кость, армейские ремни, сумки, вещевые мешки, кипы покрытых пылью газет, писем, открыток — целое кладбище давно изъятых из употребления предметов. Все это ржавело, гнило и отравляло воздух. Ничке снял пиджак и принялся наводить порядок.

Время от времени он подходил к окну, чтобы подышать свежим воздухом, и, закурив папиросу, оглядывал окрестности. Смотрел на крыши вилл, темневшие среди нежных крон деревьев, на видневшийся вдали подернутый дымкой город. За городом высилось великое множество фабричных труб, а над ними, наподобие знамен, колыхались черные и желтые ленты дыма. Все они были направлены в одну сторону, и над ними в том же направлении плыли белые облака. Слышался

треск и грохот проносящихся электропоездов, где-то неподалеку раздавался собачий лай. Для Ничке все это было отдыхом. Он набрал в легкие свежего воздуха и приободрился; да, во всем этом бесспорно есть нечто, укрепляющее силы человека: и в том, что он смотрит на спокойный и упорядоченный мир, и в том, что знает — все это является делом рук людей, действующих мудро, целеустремленно и гармонично, в полном согласии с природой и в соответствии со своими потребностями. Потом, вернувшись к прерванной работе, он старался придать ей возможно более организованный характер — такова уж была его натура.

Ничке складывал отдельно железные предметы и отдельно бронзу, латунь и никель. Точно так же он поступал с кожаными изделиями, бумагой и стеклом. Но через некоторое время пришел к выводу, что внутри этих групп следует произвести дополнительную сортировку: на вещи, ни для кого не представляющие ценности, и такие, которые еще можно продать. Предметы, имеющие какую-то ценность, следовало бы разложить и в соответствии с их назначением. Господину Ничке вдруг пришло в голову, что, пожалуй, с самого начала следовало принять другую систему. Так, например, кожаную сумку для велосипедных принадлежностей и резиновую покрышку лучше положить рядом с велосипедной рамой, а нанизанные на нитки стеклянные бусы, пожалуй, имеют больше общего с абажуром, нежели с бутылочками из-под уксуса, хотя они и сделаны из одного и того же материала. Эти рассуждения вызвали у Ничке хорошее настроение; в какой-то момент он даже сказал себе: система — это еще не самое главное. Система может быть и такая и совсем иная. Самое важное — ее осуществление. Суть именно в этом. Кроме того, труд захватывает человека, заставляет его забыть о всех хлопотах и заботах и приносит радость даже тогда, когда он наперед знает, что никогда не увидит результатов своей работы. Труд сам по себе — уже благодеяние, освобождающее и возвышающее человека.

Взглянув на часы, господин Ничке не без удивления обнаружил, что с того момента, как он взобрался на чердак, прошло уже более трех часов. Вот еще одна особенность труда: он поглощает, можно даже сказать, пожирает время. Однако то, что время летит так быстро, в его положении, вернее, в его возрасте, пожалуй, наименее положительная сторона труда.

Потом Ничке подумал еще о том, что с ним иногда случается довольно странная и непонятная вещь. Бывали моменты, когда он в своем стремлении привести все в идеальный порядок забывался до такой степени, что незаметно для себя преступал черту, за пределами которой все кончается, а самый его идеал порядка превращается — как бы это поточнее сказать — в демона анархии и уничтожения. Вопреки своей воле, Ничке доходил до такого состояния, что в его воображении вдруг все результаты его трудов сводились на нет. Он представлял себе, что неожиданно разразился какой-то катаклизм — война, землетрясение, ураган,— и все, что было им так хорошо упорядочено и уложено, вдруг начинало колебаться, падать, разлетаться на куски и приходить в полный беспорядок. Нужно сказать, что Ничке очень страдал от таких видений, но даже в эти минуты все же там, в далекой перспективе светился огонек надежды: после хаоса снова наступит момент, когда нужно будет засучив рукава спокойно приняться за упорядочение всего этого балагана.

Такие мысли не покидали Ничке, тщательно отмывавшего специальным порошком руки, с которых в струе воды стекало невероятное количество грязи. Потом он еще раз вымыл руки туалетным мылом и стал бриться. Брился он электробритвой. Мерное жужжание идеально работающего механизма доставляло ему привычную и спокойную радость — ведь электробритвой пользовался он уже давно.

Приняв ванну, Ничке надел чистое белье, серый костюм и голубой галстук. В передней внимательно оглядел себя в зеркале и, сняв с вешалки зонтик, так как небо стало хмуриться, вышел из дому. Сейчас у него не было никакой охоты болтать с соседом, но господин Копф, вооружившись молотком, отверткой и клещами, как раз возился с замком у своей калитки, и Ничке не мог выйти на улицу, не заговорив с ним.

— Ремонт, ремонт...— сказал он, закрывая за собой калитку.

— Хочу приделать к калитке замок,— отозвался Копф.

— Правильно. Я это давно уже сделал. Мне совсем ни к чему, чтобы кто придется шатался по моему саду.

— Вот именно. Сегодня, например, ко мне на участок зашли какие-то ненормальные — толкователи Священного писания, методисты или как их там называют. И отняли у меня целый час,— промолвил Копф, не прерывая работы. Ничке заметил, что у Копфа худощавые, но довольно мускулистые плечи и сухие, цепкие пальцы.

— Они и у меня были,— сказал он.— Плели черт знает что.

— Значит, и у вас были?

Господину Ничке показалось, что Копфу это известие доставило удовольствие; он испытующе посмотрел на него, стараясь проникнуть в его мысли. Копф прервал работу, обернулся к господину Ничке и, глядя ему в глаза, спросил:

— Скажите, а чего они, собственно, от нас хотят?

— Кто?

— Ну, все эти, разные... Их теперь полно. Чего они хотят от нас, немцев? Я ведь, знаете, читаю и газеты, и книги, радио слушаю. Раньше мы, немцы, были очень хорошими, а теперь вдруг стали очень плохими. Я лично думаю, что мы, немцы, не хуже и не лучше всех остальных. Такие же, как другие люди. Точно такие. Прав я или нет, господин Ничке?

— Конечно, правы.

Копф собрал инструменты и осторожно разложил их на железной рамке решетки, из чего господин Ничке заключил, что соседу охота поговорить. Поэтому он поглядел на часы и добавил:

— Нам с вами надо будет как-нибудь обо всем обстоятельно потолковать. Верно, господин Копф?

— Обязательно.

— А пока до свидания.

— До свидания, до свидания, господин Ничке.

Ничке застегнул пиджак и перешел на другую сторону улицы, затененную густыми кронами вязов. Не доходя до трамвайной остановки, он остановился и, вспомнив, что у него кончились папиросы, вошел в табачную лавку. Там он немного постоял, ожидая, пока продавец отпустит товар двум девочкам, покупавшим шариковые ручки. Хозяин лавки был инвалидом, страшно изувеченным войной. Тело его казалось неуклюже склеенным из разных кусков, оно все тряслось и будто скрипело. Когда это едва напоминавшее человека существо пыталось заговорить, оно широко открывало полный золотых зубов рот и как будто зевало и кривлялось. Ужас! Господин Ничке не переставал удивляться, что инвалид все же как-то жил, общался с людьми, продавал товары, давал левой рукой сдачу (пустой правый рукав его опрятного украшенного орденскими колодками пиджака был заправлен в карман). Пока девочки, прыская со смеху и строя рожицы, не покончили с покупкой, господин Ничке рассматривал газетный стенд, а потом положил на прилавок деньги и сказал:

— Как обычно...

Переговоры с хозяином табачной лавки были сведены у него до минимума. Господин Ничке получил, как всегда, три пачки папирос,

шесть сигар и сдачу. Спрятав папиросы в карман, он вышел, но через минуту вернулся и, положив на прилавок только что полученную сдачу, довольно сухо заметил:

— Мне ваши деньги не нужны, господин Хирш!

Рука инвалида словно бы на шарнирах сделала движение по направлению ко лбу, голова стала приподыматься, потом опустилась. Ничке взял с прилавка сдачу, которая ему фактически полагалась, приложил по-военному руку к шляпе и вышел. Хирш не успел его даже поблагодарить. Какой-то покупатель в тирольской куртке, выбиравший как раз в этот момент сигары, приподнял шляпу, хотя господин Ничке не был с ним знаком.

Весь свой дальнейший путь — вдоль цветущих кустов шиповника, мимо прачечной и кинотеатра, вплоть до самого ресторана «Под каштанами» — Ничке проделал, ни о чем определенном не думая, в приятно приподнятом настроении. Хорошее настроение — психологическое следствие только что совершенного, впрочем, столь естественного поступка — не покидало его. В сущности, честное отношение к владельцу табачной лавки было самым элементарным проявлением порядочности, но господином Ничке невольно овладело сознание своего неизмеримого превосходства над всеми. Ведь далеко не каждый смог бы это сделать так просто и непринужденно, как это сделал он, господин Ничке.

У входа в ресторан, чтобы пробиться сквозь толпу юнцов, скопившихся возле автоматических игр, Ничке пришлось пустить в ход — правда, очень осторожно — зонтик. Он терпеть не мог этих одетых в американские брюки и кожаные куртки пятнадцати — шестнадцатилетних подростков с тонкими шеями, розовыми ушами и прыщавыми лбами. Они слишком шумно вели себя во время идиотских игр в миниатюрные футбольные матчи или стрельбы из электрических автоматов по жестяным самолетам, пароходам и медведям. А Ничке не выносил шума и толчеи, он любил покой и тишину. И только уединившись в кабинете, отделенном от соседнего ажурной ширмой и смешными кактусами в разноцветных блюдечках, он почувствовал себя хорошо. В центре за столиками сидела какая-то солидная супружеская пара, двое молчаливых молодых людей и женщина с ребенком. Ничке довольно долго изучал меню, потом расспросил кельнера о тонкостях приготовления некоторых мясных блюд и салатов, поинтересовался происхождением пива, и только после этого сделал заказ. Треск автоматов, стук бильярдных шаров и выстрелы из электрического ружья заглушались монотонным шумом вентилятора, нагнетавшего холодный свежий воздух. Ничке, не надеясь, чтобы раньше чем через десять минут ему подали суп, закурил папиросу и задумался. «Вот скоро мне исполнится шестьдесят два года. Мама родила меня что-то около пяти часов вечера. Прожит солидный кусок жизни. А сколько еще осталось? Гораздо меньше, черт возьми! Однако все не так уж и плохо. Могло быть хуже. Бывают ситуации, когда впереди уже ничего нет. И все равно надо как-то существовать».

Ничке огляделся вокруг. Солидная супружеская пара молча ела рыбу или что-то другое, требовавшее сосредоточенности, а молодые люди, не проронив ни слова, молча смотрели друг на друга, только дама что-то непрерывно говорила мальчику, у которого было несчастное и вместе с тем сердитое выражение лица. Наверно, за что-то его отчитывала. Именно эта дама и привлекла на какое-то время внимание господина Ничке. Ей могло быть лет тридцать пять, самое большее — сорок. Это была светлая блондинка с темными глазами, одетая в голубой свитер и серую очень короткую юбку, из-под которой высовывался краешек розовой, прозрачной, как дымка, нижней юбки. Господин Ничке долго всматривался в ее декольте, особенно в то место, где видна была бороздка между грудями, но дама изменила положение, и ее бюст пере-

стал быть виден. Тогда он перевел взгляд на бедра и ноги, довольно сильно загорелые и чем выше, тем все более массивные. Господин Ничке охотно рассмотрел бы их повыше, но, к сожалению, мешала юбка. Дама снова изменила положение, оглянулась, и господин Ничке увидел ее лицо в профиль. Дама уже громко отчитывала мальчика, который, впрочем, казался довольно послушным. Ничке мог видеть теперь ее загорелую щеку, нежное розовое ухо и красные полные губы. Он подумал, что лицо ее выглядит так, словно бы изнутри его освещали маленькие лампочки; и ему пришло в голову, что он сам, несмотря на свои шестьдесят два года, не выглядит еще старым. Помнится, как-то рабочий, привозивший кокс, сказал, что никогда не дал бы ему больше пятидесяти восьми. Между тем ему уже шестьдесят два. Впрочем, кому какое дело, никого это не касается, это его личное дело. Но вот, кажется, к его столику танцующей походкой приближается официант. Ничке, правда, не был еще уверен, не направится ли официант к молодым людям или к даме с мальчиком, но тот только на секунду задержался возле буфета, чтобы взять прибор, и, балансируя подносом, направился прямо к нему.

■

День в мае длинный, и в такую теплую прекрасную погоду, как сейчас, даже в девять часов вечера можно еще сидеть в саду, но Ничке закрыл книжку, сложил шезлонг и отнес его в сарай с инструментами. Потом еще раз прошелся вокруг своего утопавшего в глубокой прохладной тени сада. Среди темных, растрепанных туч, которые казались недвижимыми, плыл острый, блестящий месяц. «Уже прошло, наверно, минут пять»,— подумал Ничке и вскоре убедился, что ненамного ошибся. Когда он вошел в комнату, на стенных часах, ходивших очень точно, было восемь минут десятого. Ничке постоял минутку у открытого окна; где-то по соседству громко играло радио, пел, видимо, итальянский тенор. Из темной глубины сада, который почти не был виден из окна освещенной комнаты, послышалось вдруг какое-то странное ауканье. Оно доносилось из заброшенной господином Ничке части сада, со стороны колючей проволоки — оттуда, где совершенно невероятно разрослась крапива и другие мерзкие сорняки. Ничке затворил окно и задвинул занавески, так как становилось холодно,— впрочем, он не любил темноты — зажег свет и включил радио. Пока еще шла рекламная передача стиральных порошков, папирос и коньяка. Ничке пошел на кухню и поставил чайник на газ, а вернувшись в комнату, уселся поудобнее в кресле и закурил сигару в ожидании того, что должен был вскоре услышать. Время летело, автоматически приближая его к этому мгновению. И вот заговорил диктор, потом чистый, звонкий женский голос сказал:

— Любимому нашему дедушке в шестьдесят вторую годовщину со дня рождения шлют горячие пожелания здоровья, счастья, долгих лет жизни и просьбу: дедушка, люби нас и будь к нам всегда так же добр, как сейчас. Твои внучки Эрика и маленькая Хенни. Дедушка, послушай вместе с нами песенку, которую, как говорит наша мамуся, пела наша бабушка, когда была твоей невестой...

Несколько мгновений был слышен тихий аккомпанемент гитары, а потом, когда умолк голос дикторши, Ничке услышал песенку, которую так хорошо знал. Ее пел слегка вибрирующим баритоном мужчина, наверно, немолодой, ибо пел он с таким чувством, словно вспоминал собственную молодость. Вероятно, он был родом из той части Австрии,

где родилась жена господина Ничке, ибо у него было точно такое же произношение, мягкое и шелестящее, похожее на щебетание ребенка.

Я шел с нею рядом к стене крепостной.
Кто в мире был счастлив, как мы под луной?
И губы слились, и с душою душа,
и знали мы оба, что жизнь хороша.

Ничке приглушил радио, снова сел в кресло и закрыл обеими руками лицо.

■

На следующий день, в субботу, накануне приезда дочери с мужем и детьми, господин Ничке был как-то совершенно равнодушен к чарам своего сада. Он поспешно покинул свое владение, задержавшись у калитки лишь настолько, чтобы закрыть ее — как это он обычно делал, когда надолго уходил из дому,— на щеколду и на ключ. На самом деле это далось ему не так легко, он все время чувствовал, будто отрекается от удовольствия в пользу чего-то, что является не только удовольствием, но и долгом. Впрочем, Ничке очень любил свою дочь, а к внучатам, о существовании которых иногда и забывал на долгие недели, у него было совершенно особое чувство. При виде этих прелестных, столь беспомощных и несовершенных существ, он всякий раз чувствовал прилив огромной нежности. Ведь в этих существах была его плоть и кровь, они были его потомством, были им самим, его повторенным и возрожденным собственным существованием. Разве нас не трогают чужие дети, которых мы встречаем где-нибудь в парке или автобусе и смотрим, как они играют, смеются и плачут? А ведь это дети, которых мы не знаем. Что же удивительного, что Ничке переживал столь естественное волнение, глядя на своих внучат. «Быть может, в радости, которую нам приносят дети, есть и немного грусти,— думал Ничке.— Грусти, идущей от сознания того, что само существование детей как бы подтверждает ту неотвратимую истину, что все люди смертны?»

Ничке покидал сад с тайной надеждой, что после того, как он вдоволь насладится обществом дочери и внучат и они должны будут уехать, он снова вернется в свой сад, который за эти два дня станет, быть может, еще прекраснее, еще пышнее. Он отдавал себе отчет в том, что механизм природы работает без остановки и он, Ничке, может только в какой-то мере управлять им — ускоряя его или притормаживая,— но ни он сам, ни кто другой не в силах остановить этот механизм.

Вот примерно о чем думал Ничке, направляясь в электричке в город. Эти мысли не покидали его даже тогда, когда с корзинкой в руке он протискивался сквозь толпу покупателей, чтобы сделать в продовольственном магазине необходимые покупки. Впрочем, он довольно быстро освободился от наплыва чувств и от ненужного фантазирования, которые ему сейчас были не только не нужны, но даже вредны. Сейчас надо было заняться делом. Он вынул из кармана подготовленный за завтраком список покупок и, шагая вдоль прилавков, время от времени останавливался перед завернутыми в целлофан кусками ветчины, грудинки, колбасы, внимательно разглядывал их узорчатую, напоминавшую мрамор, структуру, тщательно проверяя их качество и дату упаковки. Много времени уделил вину и сырам. Сладостей он не покупал, уверенный, что об этом позаботится Хедди. Она всегда сама привозила торт и разные пирожные и очень не любила, когда дедушка угощал детей шоколадом или конфетами. Последний раз, когда Ничке был на пасху у дочери, Хедди устроила настоящий скандал, заявив, что он развращает детей, пичкая их шоколадом, который портит не только желудок, но и

характер, а это хуже всего. Ему, может быть, это даже доставляет какое-то злорадное удовольствие, а она потом должна принять столько мучений, чтобы заставить ребенка проглотить хоть ложку манной каши. Хедди очень рассердилась, вырвала у Эрики шоколадку, на всех накричала, и в глазах у нее загорелись гневные огоньки. Такой уж у Хедди характер; через минуту она успокоилась, просила у отца извинения за то, что вспылила, поцеловала его в щеку, и снова воцарилось согласие. Оба рассмеялись, а когда Эрика, всхлипывая, вышла из комнаты, долго говорили о ней, и господин Ничке должен был признать, что воспитание детей, если хочешь, чтобы из них получились порядочные люди, дело нелегкое. Полностью разделяя мнение дочери относительно методов воспитания, Ничке, тем не менее, сделал сейчас то, что вовсе не соответствовало его педагогическим принципам: хихикая, он вложил в корзинку две молочные шоколадки с ореховой начинкой, которые так любила Эрика; орехи, нарисованные на красивой пестрой обертке шоколадок, были как настоящие, один даже слегка надколотый, и сквозь окруженную толстой скорлупой трещину виднелось аппетитное зернышко. Ничке нащупал сквозь обертку шероховатую поверхность шоколадок и дал себе обет на этот раз быть более осмотрительным.

Он вернулся домой около двенадцати, так как именно на этот час пригласил прибрать квартиру знакомую вдову, некую госпожу Рауш. Это была не генеральная уборка — ее делали дня три назад,— а сейчас, как говорила опытная в таких делах госпожа Рауш, перед самым приездом гостей надо было сделать последний штрих, если, конечно, хочешь, чтобы квартира с самого порога дышала чистотой и порядком. Госпожа Рауш с голубым пластиковым ведерком, в котором было все необходимое: порошки, жидкости, паста, а также свернутый фартук, розовый с зелеными горошинами,— ожидала его уже у калитки. Она не лишена была чувства юмора и говорила, что во время последней войны погиб не только ее муж, но также и тот, за кого она должна была вторично выйти замуж, и поэтому она осталась вдовой. У нее были жилистые икры, довольно узкие бедра и какое-то неопределенное лицо — не некрасивое, но и не красивое, а на вид ей можно было дать пятьдесят один — пятьдесят два года. Она была немного болтлива, но Ничке прощал ей эту слабость, потому что работала она как машина — быстро и точно — и отличалась большой чистоплотностью. Окончив уборку, госпожа Рауш обычно проводила долгое время в ванной.

— Ну и быстро вы ходите, я едва за вами поспеваю! — сказала она, когда Ничке открыл калитку и, не заботясь о госпоже Рауш, поспешно направился к дому.

Позже, когда Ничке занялся распределением продуктов в кладовой и холодильнике, а госпожа Рауш в войлочных туфлях натирала паркетный пол, одновременно сметая пыль с мебели, беседа стала несколько затруднительной. Но, натирая пол, госпожа Рауш все же неуклонно приближалась к кухне.

— Когда вы ожидаете гостей? — спросила она.

— Они уже выехали,— нехотя ответил господин Ничке.

— На машине? — Госпожа Рауш вытряхнула в открытое окно тряпку. Ничке обернулся и увидел ее слегка приподнятую ногу и вырисовывавшиеся в полах раскрывшегося фартука обтянутые тонкой серой юбкой ягодицы. Он подумал кое-что о госпоже Рауш, впрочем не в первый раз, но госпожа Рауш знала всех в округе, и у нее был длинный язык. Она же, например, рассказывала ему, что судья Тренч в отсутствие жены вел себя не совсем так, как подобает пожилому мужчине, занимающему высокий пост, и что она, госпожа Рауш, была вынуждена обратить на это его внимание.

— Да, на машине. Они должны быть здесь около четырех.

— Прибудут вовремя. Погода сегодня отличная.

Госпожа Рауш отошла от окна, сложила тряпицы и спрятала их на место, на самой нижней полке буфета, возле щеток, баночек с пастой и бутылочек с жидкостями для стирки и чистки. Когда она выпрямилась, лицо у нее было красное, черные волосы растрепались. Ничке как раз окончил резать длинным ножом охотничью колбасу и раскладывал ломтики на тарелочке. Оторвавшись на мгновение от работы, он заметил, что у госпожи Рауш розоватая шея и даже грудь; он сделал несколько необычных наблюдений относительно ее скромного, но довольно хорошо сохранившегося бюста: госпожа Рауш не носила лифчика, поэтому ее груди двигались под платьем совершенно свободно. Ничке кашлянул и сказал:

— Так, поставим все это в холодильник, и закусочка будет готова.

— Надо прикрыть салфеткой, а то ветчина заветрится. Сейчас я ее вам подам.

Госпожа Рауш вернулась с салфеткой в руке, подала ее господину Ничке и заметила:

— Разве это мужская работа? Только жена умеет все это делать как полагается.

— Стоит ли жениться на старости лет.

— Что это вы говорите, какая там старость? Интересно, сколько вам лет, если не секрет?

— Шесть десятков уже стукнуло.

— Шестьдесят? Да вы шутите! Нет, вы еще мужчина, что называется, в соку! — воскликнула госпожа Рауш.— Помнится, моему отцу было уже семьдесят пять, а знаете, что он делал? Когда подводе надо было развернуться во дворе, он брал ее за задние колеса и перетаскивал — раз, другой, третий, и готово. Мужчина не стареет, господин Ничке! — закончила госпожа Рауш с подъемом, окинув взглядом фигуру мужчины в белой рубашке с засученными рукавами, в черных кожаных подтяжках, поддерживающих брюки на отчетливо выделяющемся животе.

— Не стареет, но умирает,— сказал Ничке улыбаясь. Он подошел к раковине, пустил горячую воду и принялся мыть руки.

— Ой, пожалуйста, тут не брызгайте! Очень прошу! Идите умываться в ванную. Ванную и уборную я буду убирать напоследок, можете там полоскаться сколько влезет.

Ничке послушно пошел в ванную, куда еще долго доносились рассуждения госпожи Рауш относительно возраста мужчин. Вернувшись в комнату, он высказал предположение, что ввиду отличной погоды гости, пожалуй, могут приехать и раньше. Госпожа Рауш стала собираться, она пожелала ему хорошо провести время и, уже уходя, добавила, что гостей, особенно близкую родню, очень приятно принимать, но, к сожалению, они всегда оставляют в квартире чертовский беспорядок. Ничке попросил ее прийти в понедельник и напомнил, чтобы она как следует захлопнула за собой калитку.

Он смотрел, как госпожа Рауш прошла с ведерком в руке по выложенной каменными плитами дорожке, открыла калитку, закрыла ее за собой и проверила, хорошо ли она захлопнулась. Потом взглянул на часы — было половина третьего. Чтобы поскорее прошло время, которое, когда чего-то ждешь, всегда так медленно тянется, он походил по квартире, переставляя стулья и отдельные предметы, потом сел в спальной комнате в кресло и стал ждать. Было уже около трех часов. Ничке уселся таким образом, чтобы в окно можно было видеть калитку, но через некоторое время пришел к выводу, что смотреть в окно очень скучно, время тянется особенно долго, и переменил положение. Он взял книжку и расположился в глубине столовой возле стола, прямо перед

окном, выходящим в сторону владений соседа. Некоторое время он смотрел на участок соседа, но господина Копфа нигде не было видно. Дом казался пустым и наглухо запертым. Он подумал, что Копф, наверно, уехал к семье, и попытался заставить себя уловить прерванную вчера нить повествования. Через некоторое время ему это удалось, и вскоре он уже всецело погрузился в чтение, избавившись, наконец, от того неприятного чувства, которое испытываешь, когда время как будто останавливается. Вдруг послышалось несколько хаотичных и настойчивых звонков. Ничке вскочил и через выходящее на улицу окно увидел голубой «фольксваген», а возле него всех своих родственников: Хедди с малышкой на руках, Эрику — это звонила именно она — и мужа Хедди, Рихарда, который нес какие-то коробки, корзины, сумки. Возле них находилось еще что-то, вносившее дополнительную сумятицу, только потом Ничке разобрал, что под ногами у гостей путается маленький черный щенок.

Из-за этого черного, лопоухого щенка приветствия, поцелуи и первые поздравления были, пожалуй, не такими, как следовало бы, так как его нужно было звать, отгонять, одарять нежностями и восторгами и ругать. Ничке радовался ему так же, как и гостям, которым принадлежал щенок, к тому же он очень любил животных, особенно молодых, и так редко имел с ними дело. Но, к сожалению, щенок вскоре явился причиной маленькой семейной ссоры. Когда все вошли в столовую и Хедди срочно принялась пеленать, кормить и укладывать маленькую Хенни, чтобы она в дальнейшем уже не мешала, Эрика вдруг сказала упавшим голосом:

— Мама, смотри, что Блоха делает...

Щенок присел посередине комнаты, и на блестящем паркете образовалась огромная лужа, после чего, очень довольный тем, что ему стало легче, он стал носиться как угорелый, лаять и прыгать вокруг стола. Ничке увидел, что лицо его дочери внезапно изменилось, подкрашенные губы сузились и искривились, глаза заблестели. Хедди ринулась ловить щенка и, наконец поймав его, стала тыкать мордочкой в лужу и бить. Щенок завизжал, но Хедди, крепко держа его за шиворот, продолжала осыпать шлепками мягкое бесформенное тельце. Эрика громко заплакала, покинутая на кушетке маленькая Хенни тоже заревела. Не сдержавшись, Ничке воскликнул:

— Перестань, Хедди, это же глупое создание!

— Оставь меня в покое, папа! Я знаю, что делаю.

Хедди наградила щенка еще одним шлепком, приговаривая:

— Этого нельзя делать, понимаешь, понимаешь? — Потом она вынесла скулящего щенка из комнаты и выкинула за дверь. Было слышно, как она кричит: — Здесь надо делать, понимаешь? Здесь собака делает, а не там, в комнате!

Эрика разревелась не на шутку; она сидела в кресле, головой упираясь в край стола, и громко рыдала. На столе громоздились картонные коробки, среди них и круглая, в которой Хедди всегда возила торт.

— Я пойду к машине,— сказал Рихард.— Может, и вы, папа, хотите посмотреть нашу новую машину?

— Пусть лучше папа возьмет Эрику и погуляет с ней в саду. А ты, Рихард, оставайся, ты мне здесь понадобишься. Эрика, прежде чем идти в сад,— марш в ванную!

Девочка послушно встала и, заслонив локтем заплаканное лицо, отправилась в ванную. Там она долго и старательно мыла лицо и руки. А господин Ничке вышел на кухню, вынул запрятанную плитку шоколада и украдкой положил ее в карман. Эрика вернулась, наконец, из ванной, подала дедушке руку, и они вместе направились к двери, но тут их остановил голос матери:

— Эрика!
— Да, мамочка!
— Ты причесалась?
— Нет.
— Обязательно причешись!

Эрика отпустила дедушкину руку, вернулась в ванную и вскоре возвратилась с гладко причесанными волосами. У нее были красивые светлые волосы с золотистым отливом. Для своих семи лет это была очень крупная девочка. Она еще раз подала дедушке руку, которая показалась ему такой маленькой, и они вышли во двор. По пути к ним присоединилась Блоха. Она уже забыла о полученной трепке, радовалась обществу людей и была счастлива, что снова вернула их расположение. Блоха бежала впереди и время от времени останавливалась, оглядываясь и словно стараясь предупредить желания людей; однако она была еще очень молода и то и дело забывала о своих обязанностях. Вдруг она почуяла, что где-то неподалеку зарылся в землю зверек, преследуемый всем ее собачьим родом. Задержавшись где-то далеко позади, она погрузила нос в землю, принюхивалась и фыркала, рыла лапами и вновь пахала носом землю, забыв обо всем на свете. Эрика пошевелила рукой в ладони дедушки.

— Дедушка, смотри, что Блоха делает!

Они оба вернулись и остановились возле щенка, который так забылся в своем охотничьем азарте, что не обратил на них никакого внимания.

— Что она делает, дедушка?
— Наверно, почуяла крота.
— А что такое крот?
— Это такое животное, оно живет под землей. Вам не рассказывали о кротах?
— Нет, только о ласточках.

Беседуя таким образом, дедушка и внучка прогуливались по усыпанной гравием и тщательно расчищенной вчера дорожке. Солнце уже спряталось за мелкими неподвижными, похожими на стадо барашков облаками, но до конца дня было еще далеко. Щенок бегал взад и вперед, а потом остановился и, задрав голову, принялся лаять на вспорхнувшую у него из-под носа птицу.

— Сейчас дедушка покажет тебе фасоль,— сказал господин Ничке. Ему действительно хотелось похвалиться своей отличной фасолью, и вместе с тем он надеялся, что, может быть, при этом господин Копф увидит, какая у него красивая и большая внучка.

— Фасоль? Которую едят?
— Да, съедобную. Вот здесь растет фасоль. Некоторые растеньица уже цветут, видишь? Потом из цветков вырастут стручки, а осенью дедушка соберет их, высушит, и в каждом стручке будет много белых зернышек.
— Как много фасоли! — удивилась Эрика, но ее реакция была слабее, нежели предполагал господин Ничке.— А что дедушка будет делать с этой фасолью?
— Ее можно будет есть.
— Мамочка покупает фасоль в магазине господина Вислитца.
— Вот видишь. А сейчас мама сможет так взять, сколько ей нужно.
— Это хорошо. Я очень люблю фасоль. А остальную, что останется, можно будет продать, и на эти деньги что-нибудь купить. Например, кемпинговый прицеп к машине,— фантазировала Эрика, сжимая дедушкину руку. Ничке рассмеялся:
— Ты, говорят, не очень в ладах с арифметикой...
— Нет, отчего ж...

— Мама писала, что ты получила двойку.

— Ох, это потому, что у нас очень строгая учительница...

— Что, задача была очень трудная?

— А, это об одном...— сказала Эрика, высвободила руку и поправила падавший ей на щеку локон,— об одном мальчике, который принес в класс яблоки из собственного сада и разделил их среди детей... Но я точно не помню, может, это была другая задача.

Они проходили мимо покрытых редкими маленькими листочками молодых деревьев.

— Ты видишь молодые деревья?

— Да.

— Они вырастут большими и дадут много плодов — слив, яблок, груш.

— Это хорошо.

— А вот здесь, смотри, возле дорожки, с обеих сторон, будут расти прекрасные цветы, большие и яркие, как в сказке. Они называются георгины.

— Когда они будут цвести?

— Когда ты приедешь на каникулы, они будут уже большие, а когда будешь уезжать, некоторые уже расцветут.

— Большие?

— Большие, красивые. А кусты будут такие высокие, что ты сможешь в них спрятаться.

— Сейчас здесь еще ничего нет...

— А дедушка их посадит только на будущей неделе.

Они замолкли; вокруг дома с его самой некрасивой стороны, где они шли, уже кое-где росли фиалки и ландыши, и Ничке хотелось, чтобы Эрика сама разыскала цветочки и собрала букет. Вдруг послышался шум открываемого окна, раздался голос Хедди:

— Эрика, ты хорошо ведешь себя?

— Да, мамочка!

— Где у тебя вино, папа?

— В кладовой. Обожди, я покажу тебе.

— Не беспокойся, я сама справлюсь. Останьтесь в саду, пока я вас не позову. Через какие-нибудь двадцать минут. Поняли?

— Так точно, поняли! — ответил Ничке, выпрямившись по команде смирно, потом они с Эрикой переглянулись и, тихо засмеявшись, отправились дальше.— Ты любишь цветы? — спросил Ничке, когда они приблизились к месту, где росли фиалки и ландыши.

— Да, очень люблю.

— А какие цветы любишь больше всего?

— Разные. Например, фиалки. Папа купил вчера маме букетик фиалок. Нет, не вчера, а позавчера.

— А ландыши любишь? — спросил Ничке, предчувствуя, что его исполненное радости сердце ждет еще большая радость.

— Тоже очень люблю.

— Тогда можешь собрать фиалки и ландыши, сделать букетик и подарить его маме.

Господин Ничке произнес это с гордостью, которая заставляет человека выпрямить спину, пружинит мускулы и даже изменяет голос, становящийся более солидным и более глубоким.

— Где фиалки и ландыши?

— Вон там, возле забора!

Эрика отпустила дедушкину руку, побежала к елочкам, наклонилась, и Ничке услышал ее радостный возглас:

— Дедушка, сколько здесь цветов!

— Собирай, собирай, сделай два красивых букета,— сказал Ничке. Он вынул сигару, обрезал конец и закурил.

Господин Ничке шел медленно, останавливался, иногда наклонялся, чтобы вырвать неизвестно откуда взявшийся сорняк, который на этом месте настойчиво возрождался из каких-то дремавших под землей неисчерпаемых запасов зла, восхищался новыми, красивыми листьями благородных растений и радовался их победе над злом — победе, для которой он, Ничке, так много потрудился. Он остановился на минутку возле живой изгороди, отделявшей его владения от сада господина Копфа, и заглянул к соседу, но того нигде не было видно. Потом посмотрел на Блоху, гонявшуюся за белой бабочкой, которая не обращала на щенка ни малейшего внимания. Обманывая его и искушая, она взлетала, снижалась, словно бы теряя силы, и снова взлетала. Блоха лаяла и скулила от злости, а Ничке улыбался. Он ясно представлял себе, как собачонка жаждет добычи и как ей хочется схватить ее зубами! Но вот бабочка поднялась высоко-высоко и исчезла за деревьями. Так как все это происходило на месте, где должны были быть посажены кусты орешника, Ничке вспомнил о шоколадке с орехами у себя в кармане. Он подошел к Эрике, постоял минутку, глядя на маленькие ручки, срывавшие среди густой травы фиолетовые цветочки, и тихо позвал:

— Эрика...

— Что, дедушка?

— Ты любишь шоколадки с орехами?

— Да, очень люблю,— ответила Эрика, подняв голову и наградив Ничке удивленным, словно бы недоверчивым взглядом.

— Только не говори маме, а то она рассердится...

— Не скажу.

— Спрячемся здесь, за беседкой. Ладно?

— Ладно.

Вот так Ничке совершил это маленькое преступление и сделал Эрику своей сообщницей. Они стояли, спрятавшись за беседкой, опираясь спиной о покрашенные зеленой краской доски. Ничке вынул из кармана шоколадку и медленно развернул обертку, на которой были так хорошо изображены лесные орехи. Он отломил кусочек и угостил девочку. Эрика набила рот и потянулась за следующей долькой. Ничке тоже взял кусочек.

— Правда, хорошая шоколадка? — спросил он.

— Отличная!

Они съели еще по кусочку, потом Ничке сказал:

— Дедушка сейчас вытрет тебе платочком щечку, чтобы не было видно.

Они снова берутся за руки и идут дальше как ни в чем не бывало.

— Тебе нравится мой сад, Эрика?

— Очень,— говорит Эрика и, проглотив последнюю дольку шоколадки, продолжает с большим оживлением: — Здесь столько цветов и деревьев, и разных растений, и все время видишь что-то новое, и Блохе есть где побегать, а у нас дома надо все время выходить с ней на прогулку.

Господин Ничке чувствует, как маленькая ручка, словно живой зверек, червячок или жучок, трепыхается в его ладони. Он слышит голос Эрики:

— Мамочка говорила, что когда дедушка умрет, то все, все достанется нам — и дом, и сад и деревья... Это правда?

Ничке останавливается. Не выпуская руки Эрики, он бессмысленно смотрит перед собой. Вот за живой изгородью соседский сад; в глубине его сквозь молодые листья деревьев виднеется дом, точнее, стена дома

с деревянной, покрашенной в коричневый цвет решеткой, на фоне которой торчат, похожие на плечики подсвечника, распяленные ветки карликовых яблонь. Еще глубже, уже менее отчетливо — хотя у Ничке хорошее зрение — сквозь густую зелень мелькают серые стены и темно-красная черепичная крыша виллы судьи Тренча. Он говорит:

— Конечно, Эрика. Каждый человек должен рано или поздно умереть. Я тоже умру и в могилу все это с собой не заберу.

Ничке снова чувствует легкое движение руки Эрики в своей ладони:

— А когда дедушка умрет?

— Не знаю, деточка. Наверно, через несколько лет. Во всяком случае, скоро, я уже довольно старый.

Разговор этот не принес Ничке особого огорчения. «Это моя родная дочь, мое собственное дитя так рассуждает обо мне в своей семье»,— с полным хладнокровием подумал он. И вдруг почувствовал, как что-то сдавило ему сердце, а потом горло, как глаза неожиданно наполнились жгучей влагой. Ничке услышал отчетливо доносившийся грохот колес электропоезда; вагоны промчались один за другим, и снова наступила тишина. Однако ясная, красочная картина мира, на которую минуту назад он так спокойно взирал, вдруг совершенно потускнела, и господин Ничке был вынужден достать носовой платок.

— Почему мы здесь стоим? — спросила Эрика.

— Дедушке попало что-то в глаз,— ответил он, вытирая платком щеку.

— Наверно, сажа из трубы. Когда мы с папой идем на прогулку через мост над железной дорогой, мне тоже очень часто что-то попадает в глаз, и папа тогда вынимает соринку платочком. Позвать папу?

— Не нужно, я уже вынул,— сказал Ничке и снова взял Эрику за руку. Как раз в этот момент их окликнули:

— Дедушка, Эрика, ждем вас!

На крыльце, опираясь на железные перила, стояли рядом Хедди и Рихард. Рихард был в темном костюме, Хедди в фиолетовом, затканном золотыми нитями платье. Хедди говорила что-то мужу, развязывая при этом и складывая яркий, разноцветный фартук. Ничке с досадой обнаружил, что его правый глаз по-прежнему слезится, и, что хуже всего, он никак не может с этим справиться.

— Дедушке попала в глаз сажа,— доложила Эрика.

— Уже все в порядке,— откликнулся Ничке, еще раз вытер глаз и спрятал платочек в карман.

— Блоха, Блоха, домой! — позвала Эрика.

— Не зови ее, пусть остается в саду,— сказала Хедди.

В столовой, как обычно после полудня, царил полумрак. На столе, покрытом белой скатертью, были расставлены тарелки, рюмки, стаканы и бутылки. Хедди поставила на стол все, что купил в городе Ничке, и все, что сама привезла: жареных цыплят, салат с майонезом, какую-то рыбу, сыр, фрукты. И как всегда, посередине стола красовался огромный ореховый торт с горящими свечками. Ничке не нужно было их считать, он знал, что их должно быть шестьдесят две; Хедди не могла забыть, сколько ему лет. Ничке подумал, что, пока свечки горят, не надо зажигать электрического света. Их маленькие, желтоватые, мигающие и колеблющиеся при малейшем движении огоньки в общем дают довольно много света. Они отражаются в окнах, в зеркале и придают фарфору и стеклу торжественный блеск, а их запах напоминает детство.

— Как ты все красиво устроила, Хедди,— сказал Ничке.

— Эрика, иди вымой руки. Папочка, прошу к столу. Рихард, налей всем по рюмочке!

Госпожа Рауш хлопотала в квартире и, с подчеркнутым усердием наводя чистоту, толковала на различные темы, но главным образом о том, какой беспорядок бывает в доме после посещения гостей. Ничке уже побывал в саду, сейчас он завтракал в своей комнате и размышлял о разных вещах. Он все еще находился под впечатлением утренней прогулки в саду; день был погожий, теплый, и воздух казался удивительно мягким и нежным, в нем как бы чувствовалась уже близость летней поры — того полного расцвета, к которому неизменно стремится вся природа. Ничке проснулся сегодня в плохом настроении. Позавчера, пожалуй, он выпил многовато водки и вина. «Черт возьми, какие у этих молодых крепкие головы и здоровые желудки! Рихард выпил столько же, сколько я, а на следующий день сел за руль автомобиля». Ничке содрогнулся при одной мысли об этом. А у него, когда он сегодня утром проснулся, печень, сердце и желудок, не говоря уже о голове, весьма ощутимо дали о себе знать. Но в какой воздух он окунулся, как только утром вышел в сад! У него было такое чувство, будто он вошел в животворный, целебный источник.

— В вашем возрасте и в вашем положении я бы себя больше берегла,— сказала госпожа Рауш, намекая на окурки и пустые винные бутылки.

— Что значит — в моем возрасте, госпожа Рауш? Совсем недавно, всего-навсего позавчера, вы называли меня молодым мужчиной! — возразил Ничке.

— В чем-то вы еще молоды, а в чем-то уже нет,— загадочно ответила госпожа Рауш и прошмыгнула за его спиной к открытым дверям балкона, чтобы вытряхнуть тряпки. Ничке почувствовал при этом запах жидкости для мойки окон, который ему не очень нравился. Вернувшись, госпожа Рауш сказала: — Все хорошо и прекрасно, пока человек здоров. А не дай бог заболеет — сразу сказывается и возраст, и одиночество...

Ничке промолчал. Если бы госпожа Рауш только знала, о чем он сейчас подумал! А Ничке как раз думал о том, что госпожа Рауш довольно симпатичная, чистоплотная, трудолюбивая женщина и что он вполне мог бы на ней жениться. Назло Хедди и Рихарду, которые только и мечтают о том, чтобы он поскорее умер. А может, не обязательно сразу жениться, можно, не давая никаких обещаний, сначала просто сблизиться, но так, чтобы госпожа Рауш чувствовала, что их связывает нечто большее, чем еженедельное вознаграждение за уборку. Для начала выпить вместе на кухне по рюмочке оставшейся настойки, потом какая-нибудь шуточка, одна, другая, и — кто знает, может, она как раз и ждет этого? Ведь брак с ней... Но тут Ничке вдруг подумал, что может иметь сколько угодно женщин и помоложе госпожи Рауш, стоит только пальцем поманить. «Вот бы Хедди вытаращила глаза, когда б узнала, что я женюсь! А что, разве я не имею на это права? Глупости! Кто смеет запретить мне делать то, что под конец жизни мне на пользу? Вот бы у них вытянулись физиономии, если б они узнали, что после смерти «любимого дедушки» дом, сад и все остальное, о чем они кое-что знают — хотя и не все,— не достанется им целиком...» Ничке кончил завтракать и был в отличном настроении. Госпожа Рауш как раз убирала спальню, и оттуда доносился ее голос:

— За примером недалеко ходить. Ваш сосед еще три дня назад был здоров, а теперь лежит в постели.

— Какой сосед?

— Ну, господин Копф.

— Что вы говорите! Откуда вы знаете?

— Мне сказала госпожа Циммер, она убирает у господина Копфа, как я у вас.

— Возможно. Вот уже несколько дней его не видно в саду.

— Не возможно, а наверняка. Даже врач был, не помню его фамилии, пожилой такой, не то знакомый, не то товарищ господина Копфа еще с войны.

— А что случилось с господином Копфом?

— Кажется, аппендицит.

— Если бы аппендицит, его взяли бы в больницу.

— Не знаю. Во всяком случае, это случилось неожиданно, как всякая беда.

Госпожа Рауш продолжала свои рассуждения о человеческих судьбах, но Ничке ее не слушал. В этот момент, неизвестно почему, он подумал о совершенно ином — о человеке в тирольской куртке с костяными пуговицами, которого в последнее время довольно часто видел прогуливающимся взад и вперед по улице. Человек этот вел себя «подозрительно», как говорят, когда имеют в виду преступников или тех, кто за ними следит. Таким людям, хотя они и стараются быть похожими на обычных прохожих, это редко удается. Обычно они лишь притворяются, будто ведут себя как простые смертные, и от этого их движения, поступки, жесты становятся какими-то искусственными или даже фальшивыми. Ничке окончил завтрак, закурил папиросу и, не подходя к окну, из глубины столовой внимательно осмотрел улицу. Подозрительного субъекта сегодня не было, однако через некоторое время Ничке увидел другого типа, который тоже вел себя как-то странно. Ничке решил поразвлечься. Вынув из шкафа бинокль, он направил его на человека, стоявшего в этот момент спиной на другой стороне улицы. Человек обернулся, и Ничке увидел, что это молодой мужчина, самое большее лет тридцати, с непокрытой головой и прической ежиком. Мужчина медленно вынул из кармана пачку папирос, закурил, отогнал рукой дым, потом тупо уставился на папиросу, стряхнул пыль с рукава и снова повернулся к Ничке спиной. Он стоял, опираясь руками о низкую ограду, отделявшую от улицы сад и старую запущенную виллу, в которой жил владелец антикварного магазина некий фон Домерацки с женой. На калитке висела дощечка с надписью: «Сдается комната, справки с 7 до 9 вечера, телефон...» — и какой-то номер, Ничке не помнил, какой. Всякий раз, направляясь в город, он проходил мимо этого участка и сейчас никак не мог вспомнить, что же интересного можно было там увидеть. Спрятав бинокль в шкафу, среди шляп и шарфов, он почувствовал известное сострадание к этому человеку, которому приходится все время выдавать себя за кого-то другого.

В этот день Ничке поработал в саду несколько часов. Он полол, копал, окучивал, а потом умылся, пообедал дома тем, что осталось после именин, и, положив в сетку бутылку вина и кусок торта, отправился навестить больного соседа. Калитка была открыта, но у входной двери Ничке пришлось ждать довольно долго. Наконец он услышал шарканье шлепанцев и голос Копфа:

— Кто там?

— Это я, ваш сосед, Ничке.

— А, очень приятно. Заходите, пожалуйста...

Копф был в пижаме и халате, но не выглядел больным.

— Пожалуйста, проходите. Прошу меня извинить, но я снова лягу в постель, прошу вас, не обращайте на это внимания. Садитесь, пожалуйста. Поговорим,— болтал Копф, снимая халат. Он лег в постель и прикрылся одеялом.

— О, я вижу, у вас тут целый арсенал! — воскликнул Ничке, осматриваясь. На одной из стен, напротив кровати, висели винтовки,

охотничьи ружья, сабли и штыки. Ничке не особенно хорошо в них разбирался, но ему показалось, что это еще вполне пригодное к употреблению оружие.

— Скорее музей, господин Ничке, просто небольшой музей,— улыбнулся Копф, блеснув при этом своими великолепными здоровыми зубами.

— Такой винтовки я никогда не видел,— заметил Ничке, снимая со стены первый попавшийся экземпляр.— Как игрушечная. Малого калибра.

— Это японская винтовка, так называемая арисака, калибр 6,5, образца 1910 года.

— Они применяли их во время войны?

— В первую мировую войну.

— Совершеннейшая игрушка.

— Выглядит безобидно, а своя сила у нее есть. Очень хорошее оружие, если можно назвать хорошим то, что несет смерть...— сказал Копф, снова сверкнув зубами.

— А это как будто ковбойская?

— Вы угадали. Это винчестер. В первую мировую войну их завезли сюда американцы.

— Заряжается снизу?

— Вот именно, и потому очень непрактичен и в окопе и в укрытии. Надо всякий раз поворачивать его боком. Из винчестера хорошо стрелять стоя или из седла. Впрочем, его быстро сняли с вооружения и заменили спрингфильдами.

— О, это я узнаю — это наш почтенный маузер...

— Семейное сходство. Это дед того, которого вы знаете. Образец 1884 года...

— В общем, в случае чего вы сможете выдержать и месячную осаду.

— Да, только где взять боеприпасы? Ведь это уже устаревшее оружие.

— Да-а-а,— повторил господин Ничке.— Но что же вы, дорогой сосед, решили болеть в такую погоду? Чем лежать в постели, лучше пойти в сад.

— Конечно, лучше,— сказал Копф, конфузливо улыбаясь.

— Ну, так выпьем по рюмке — и айда с кровати! — решительно заявил Ничке, вынул из сетки вино и поставил бутылку на стол.

— О, большое вам спасибо! Только к чему, господин Ничке, такие расходы?! Я ведь не пью!

— Не пьете, не курите... Какие же удовольствия остаются у вас в жизни?

— Ну, мои дела не так уж плохи. Кое-какие удовольствия все же еще остаются. У меня очень способные внуки. Старший учится в химическом институте, младший кончает гимназию, у него большие способности к живописи. Он даже стихи пишет. Как-нибудь покажу...— сказал Копф.

Ничке пододвинул стул к постели больного.

— Ну, ладно, шутки шутками, но что все-таки с вами, господин Копф? Что-нибудь серьезное?

— У меня, знаете, желудок пошаливает.

— Врач был? — спросил Ничке, взглянув на лекарства в цветной упаковке, какой-то пузырек с каплями и зеленую жидкость в стакане.

— Был, но медицина плохо разбирается в болезнях. Дал мне что-то болеутоляющее, но разве это лечение? Я, господин Ничке, уже давно сам лечусь травами.

— Травами? — удивился Ничке.

— Да, травами.

— Я не особенно верю в такое лечение,— сказал Ничке, разглядывая Копфа. Казалось, будто под его загорелой или смуглой от природы кожей был еще слой кожи землистого цвета. Копф, если к нему присмотреться поближе, действительно выглядел больным и осунувшимся. Приподнявшись, опираясь на локоть, он оживленно заговорил:

— Ведь человек — продукт нашей земли, не так ли?

— Это, конечно, верно.

— И всякое добро и зло, каким слепой рок наделяет человека, тоже рождено на нашей планете?

— Пожалуй...

— Значит — и болезни? Не с луны же они свалились?

— Безусловно.

— Ну, а раз на земле есть болезни — значит, на земле же должно быть от каждой из них и лекарство.

— А может, не обязательно?

— Нет, обязательно!

— Я не так уверен в этом, как вы.

— Значит, вы считаете, что на этом свете только зло́ имеет все права, а добро должно ему подчиниться?

— Этого я бы не сказал. Но что вы считаете добром?

— Добро — это то, что для человека хорошо и полезно.

— То, что для одного человека хорошо, для другого может быть плохо,— сказал Ничке, бросив выразительный взгляд на коллекцию оружия на стене.

— Я знаю, что́ вы имеете в виду. Но дело не в том. Согласитесь, однако, что для каждого человека болезни — это нечто очень плохое.

— Бесспорно.

— А раз так, то против каждой болезни где-нибудь на земле должно быть лекарство.

— Вы оптимист!

— Так же, как от огня — вода, от кислоты — щелочь, а от яда — противоядие.

— Ах, если бы знать, что человеку помогает и что вредит! Ведь существует столько болезней, против которых медицина совершенно бессильна.

— Природа, господин Ничке, природа — вот она, наша неиссякаемая аптека. Если бы не травы, я со своим желудком уже давно был бы на том свете. Но я еще в 1916 году познакомился на фронте с одним эльзасцем, который научил меня разбираться в травах. Если бы вы только знали, что это был за человек! К сожалению, он в 1917 году погиб под Аррасом. Как сейчас помню, это случилось в чудесный апрельский день. После него достался мне блокнот с рецептами лекарств из трав. Я его берегу, как Евангелие. Как-нибудь покажу вам.

— А я, господин Копф, предпочитаю, чтобы в случае воспаления легких меня лечили пенициллином, а не лекарственными травами...

— Ага, вот вы и попались! А что такое пенициллин?

— Откуда мне знать? Кажется, какой-то грибок.

— А гриб, господин Ничке, растение.

— Вы правы,— согласился Ничке; в ботанике он был не очень силен.— Ну, тогда давайте закурим эту травку! — сказал он, доставая папиросы.

— Благодарю вас, я не буду.

— А вам не помешает, если я закурю?

— Курите сколько угодно, раз уж вам своего здоровья не жаль. Эта травка, к сожалению, ядовитая. Бывают и такие. Посмотрите, где-то там должна быть пепельница!

Ничке отправился на розыски пепельницы в указанном Копфом направлении и, как предмет, редко употребляемый в этом доме, обнаружил ее в самом неожиданном месте — где-то за занавеской, на подоконнике. Впрочем, была она не совсем обычная. Пепельница представляла собой кусок разрезанной вдоль артиллерийской гильзы, украшенной венчиком из винтовочных и пистолетных пуль различного калибра. Ничке лишь по папиросному окурку догадался о назначении этого странного предмета.

— Что за удивительная пепельница,— сказал он, снова усаживаясь на стуле у постели больного.

— Это я от скуки сделал в 1915 году, под Френом.

— Неужели под Френом было так скучно?

— Когда там бывало затишье, это было настоящее затишье, иногда оно длилось целую неделю. Но когда начинались бои, это уже был сущий ад.

И это все, что он мог сказать о битвах во Франции, о битвах, вписавших славные страницы в историю немецкого оружия? Ничке знал о них по литературе и по рассказам. Ад, настоящий ад. Такое определение повторялось в каждой книге и в каждом воспоминании. Люди утопали по пояс в грязи, перемешанной с кровью и испражнениями, и зарывались, как черви, в исковерканную артиллерийскими снарядами землю, в которой человеческие кости смешались с человеческим мясом, мозгами, внутренностями.

Но у самого Ничке было совсем другое представление о битвах во Франции: они казались ему чем-то необыкновенно возвышенным и вместе с тем отвратительным, так и хотелось сказать: сортир героев! А этот от скуки мастерил пепельницы! Интересно все же, что он за человек, что у него за душой?

— А может, вы все-таки не откажетесь от рюмки вина и кусочка торта? — спросил Ничке.

— Нет, торт ни в коем случае. А какое, простите, вино?

— Красное, хорошее.

— Ну что ж, могу только пригубить, за компанию,— сказал Копф. Он спустил ноги с кровати и попытался найти домашние туфли. Ничке взял его за руку и заставил снова лечь. Он склонился над ним и тихо, заговорщицким тоном произнес:

— В каждом порядочном немецком доме есть кухня, верно?

— Есть...

— А в каждой кухне должен быть буфет.

— Есть и буфет, господин Ничке...

— А в буфете тарелки, тарелочки, рюмки и так далее, словом, все, что полагается...

— Вы очень любезны, господин Ничке,— прошептал Копф, осклабившись, однако выражение лица у него было несколько озабоченное.

— Положитесь на меня и лежите спокойно, хорошо?

Ничке направился на кухню и в старом дубовом буфете со множеством всевозможных украшений, ящиков и отделений легко нашел все, что надо. Кухня была оборудована богато, хотя и старомодно — кто же теперь пользуется ручными кофейными мельницами, ступками, метелочками! Все содержалось в чистоте, блестело и сверкало, из чего можно было заключить, что у госпожи Циммер такая же страсть к чистоте и порядку, как у госпожи Рауш. Одно лишь здесь было неприятно — запах. Казалось, будто где-то гниет картошка и кислая капуста. Вернувшись в комнату, Ничке откупорил бутылку и наполнил рюмки.

— Ну, за ваше здоровье, дорогой сосед! За ваше скорейшее выздоровление. Ведь время идет, а работа в саду стоит!

— За ваше здоровье, дорогой господин Ничке.

Копф едва пригубил рюмку, Ничке выпил до дна.

— А где вы обедаете? Я не заметил, чтобы вы ходили в ресторан.

— Я не питаюсь в ресторанах. С моей диетой это было бы сложно. К тому же, люблю точно знать, что я ем.

— Вы сами себе готовите?

— Да.

— Восхищаюсь вами.

— В этом нет ничего особенного. Только немного практики.

— А что вы готовите?

— Главным образом овощи. Иногда сделаю яичницу-глазунью, к ней немного моркови, брюссельской капусты, кусочек цветной капусты. Ем то, что у меня под рукой, вернее, что принесет мне госпожа Циммер — она убирает и стирает у меня, очень симпатичная женщина. А вчера, например, у меня был шпинат из собственного огорода.

— У вас уже есть шпинат? — Ничке вовремя удержался, чтобы не выразить удивления, и добавил: — Да, действительно, уже пора.

— О, шпинат у меня уже целый месяц. Я посадил его ранней весной в таком месте, где земля было теплой и удобренной. А поливал отстоявшейся водой.

— Что у вас еще есть хорошего в огороде?

— Салат.

— Можно прийти к вам за ним?..

— Пожалуйста.

— Я шучу. У меня тоже есть салат, только в нынешнем году он что-то не удался.

Ничке нарочно сказал «в нынешнем году». Ему было неприятно признаться, что только теперь, в шестьдесят лет, он впервые начал выращивать салат.

— Салат, должен вам сказать, очень любит влагу. Вода, вода и еще раз вода. Ну, и легкая почва. Легкая, но не бедная. У вас, кажется, салат уже зацвел?

— Один зацвел, другой не очень вкусный, горчит.

— Наверно, в почве слишком много азота и фосфора?

— Да, я, пожалуй, перестарался. Ну, а что у вас еще есть? — спросил Ничке и подумал про себя: «Этот дьявол понимает толк и в оружии, и в огородничестве, и в лекарственных травах. Интересно, в чем он плохо разбирается?..»

— Да так, ничего особенного. Редиска, лучок. Через несколько дней должна поспеть кольраби. А может, уже есть, я давно не заглядывал в огород.

— Вот редиска у меня хорошо уродилась.

— А у меня не очень. Компосту было маловато.

— Со временем все будет. Главное, чтобы было здоровье. У вас здесь очень приятно. Можно заглянуть в другую комнату?

— Пожалуйста, только там ужасный беспорядок.

— Я хочу выглянуть на улицу, не прибыла ли почтовая машина. Жду посылку от овощеводческой фирмы.

Ничке солгал, ибо фирма уже сообщила, что посылка с клубнями георгин прибудет только на будущей неделе. Просто ему хотелось осмотреть всю квартиру Копфа, а также — что уже вошло у него в привычку — выглянуть на улицу. Впрочем, на этот раз у него был конкретный повод. Соседняя комната, нечто вроде мастерской, была действительно заставлена всякой всячиной и довольно грязновата. Старые шкафы, полки с книгами, на стенах — семейные фотографии, снимки времен первой мировой войны и в позолоченной рамке цветная репродукция какого-то крейсера, кажется «Эмдена». На картине была ночь, синее море, черное небо; корабль стрелял из всех орудий, огненные блики осве-

щали пенистые гребни волн и исчезали далеко-далеко в пустынном мраке. Под репродукцией стоял слесарный верстак, заваленный инструментами, среди них лежала разобранная на части двустволка. Ничке закурил и посмотрел в окно: напротив дома, самым бесцеремонным образом уставившись в окна Копфа, стоял все тот же молодой человек, которого он видел утром. Это было уже слишком, и Ничке почувствовал непреодолимое желание, даже потребность поделиться своими мыслями с Копфом. Но он этого не сделал и, вернувшись в спальню, сказал:

— Если бы я знал, что у вас слесарная мастерская!

— А что?

— Заказал бы у вас запасной ключ. Впрочем, может, это, так сказать, не по вашей части?

— Пустяки, приносите. Я вам сделаю.

— Я шучу.

— Нет, серьезно, если вам только что-нибудь понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь. Нет смысла с каждой мелочью ездить в город к слесарю.

— В таком случае непременно воспользуюсь вашей любезностью. Надеюсь, вы не очень дорого с меня возьмете?

— Как-нибудь договоримся. Вы мне заплатите натурой. На другом конце сада у вас очень хороший сорт черешни. Я бы попросил у вас несколько черенков.

— Пожалуйста, сколько угодно.

— Возьму у вас осенью три-четыре черенка, дереву это не повредит.

Они опять заговорили о саде. Господин Копф оживился, выпил, вопреки заверениям, целую рюмку вина, а Ничке подливал себе еще дважды. Потом Копф снова заговорил о лекарственных травах и спросил Ничке, хорошо ли тот спит.

— Не могу жаловаться. Засыпаю довольно быстро. А встаю рано, в пять, половине шестого.

— Я спрашиваю потому, что у меня есть отличные травы от бессонницы. Знаете, когда после первой мировой войны я в 1918 году вернулся домой — я ведь был тогда еще совсем молодым человеком,— то некоторое время страдал ужасной бессонницей. Мы жили тогда в Регенсбурге, и были ночи, когда я слышал, как час за часом били часы на церковной башне, как проезжали один за другим все поезда, как пели петухи. Измучившись, я вспомнил о моем эльзасце, извлек из рюкзака его блокнот, заказал в аптеке смесь из трав по его рецепту — и бессонницы как не бывало.

— Да, война, война,— вздохнул Ничке и посмотрел на часы. Было около пяти. Уже несколько дней не было дождя и не похоже было, что его можно вскоре ожидать. Сегодня непременно нужно как следует полить сад. Но Копф, видно, не собирался так скоро расстаться с соседом.

— Война,— поспешно вставил он,— большое свинство.

— И это говорит обладатель такой внушительной коллекции, предназначенной как раз для войны!— сказал Ничке с улыбкой, указывая на стену, увешанную винтовками.

Копф лег на спину, видимо у него при этом что-то заболело — лицо его перекосилось и он широко открыл рот. Ничке мог теперь хорошенько рассмотреть его крепко сидящие в деснах белые, здоровые зубы и позавидовал ему. Его собственные зубы всегда оставляли желать много лучшего.

— Может, я могу вам помочь, что-нибудь подать?— спросил он.

— Нет, нет, благодарю. Это ужасно. Стоит человеку немного заболеть, как он уже никуда не годится. Я, знаете ли, с юных лет очень любил оружие и так же страстно увлекался им, как другие, например, почтовыми марками или голубями. Потом мне пришлось в жизни много раз

иметь с ним дело. Но оружие, господин Ничке, собственно говоря, только для того и создано, чтобы убивать людей и животных, но, главным образом, людей.

Ничке подумал, что разговаривает со старым, больным человеком и надо, как-то поддержав этот разговор, быть может, и помочь ему.

— Оружие было предназначено для этого, так сказать, еще с сотворения мира. Не вы его выдумали и можете спать спокойно.

Ничке встал, застегнул пиджак и добавил:

— Ну, мне пора, господин Копф. В саду еще много работы, а уже вечереет. Очень приятно было с вами побеседовать.

— Мне также. Не забывайте меня, господин Ничке.

— Наверно, скоро увидимся в саду?

— Надеюсь. Думаю, что завтра, самое позднее послезавтра я уже встану...

Прощаясь, они сердечно пожали друг другу руки.

Ничке в этот день работал в саду до позднего вечера. Он выкопал двенадцать лунок под георгины — по шесть с каждой стороны дорожки,— в каждую насыпал компосту. Потом стал окучивать помидоры и фасоль, но это занятие пришлось вскоре прервать — сломался черенок мотыги. Она досталась ему вместе с домом: Ничке нашел ее в беседке и долгое время с успехом ею пользовался. Мотыга была хорошей, а рукоятка сгнила, и Ничке давно уже купил новую буковую палку, нужно было только насадить на нее мотыгу. Но сегодня уже поздно, а у Ничке и без того еще много дел. Пока совсем не стемнело, он все носил лейками воду и поливал грядки.

За ужином он почувствовал себя таким усталым и таким сонным, что просто с ног валился. Но это была здоровая усталость. В тот вечер он заснул, даже не успев прочесть ни одной страницы из книги о кампании в Африке.

■

Яркий солнечный день, но по небу плывут грязные, темные, лохматые облака; время от времени они заслоняют солнце, и поэтому все вокруг постоянно меняется — то ослепительно сверкает, то становится тусклым, матовым. Ничке идет к Копфу. Он поднимается по ступенькам на крыльцо его дома, толкает выкрашенные в зеленый цвет двери — они легко открываются. За дверью стоит Копф. На нем синие военные брюки и белая рубашка. Похоже, что он ждал господина Ничке и даже шел ему навстречу. Ничке держит в руке рукоятку от мотыги, только что отломившуюся у основания, и испытывает неприятное чувство от того, что это орудие стало легким и как бы утратило смысл своего назначения. Ничке сжимает в ладони твердую буковую палку, чувствует ее овальную форму, и, несмотря на то, что на ней нет мотыги, палка становится как будто массивнее и тяжелее. Ничке медленно поднимает ее и неожиданно бьет Копфа по голове. Но палка соскальзывает по уху и плечу Копфа, и Ничке бьет еще раз, но уже более метко. Он слышит глухой звук удара; Копф шатается и прислоняется к стене. Из его носа и уголков рта течет струйка крови, глаза вылезают из орбит, но губы стиснуты, он не произносит ни одного слова. Ничке чувствует, что должен ударить еще раз, потом еще и еще, пока Копф не свалится на землю; нельзя оставить Копфа стоящим, ибо это будет незавершенное дело. Копф молчит, но его вытаращенные глаза словно бы умоляют и даже приказывают: «Бей, бей сильнее, пока не упаду, пока не околею!» И Ничке делает это — он продолжает молотить Копфа, хотя тот лежит уже у стены на бетонных ступеньках крыльца своего дома с разбитой головой, из которой ручьем бежит кровь, образуя огромную лужу и ручейками стекая по ступенькам.

Ничке медленно пятится назад, вниз по ступенькам, и вдруг замечает, что его брюки до самых колен забрызганы кровью. Руки тоже измазаны в крови, хотя он и не касался тела Копфа. Но вот рядом с господином Ничке оказывается госпожа Рауш со своим голубым ведерком в руке. «Отойдите, пожалуйста, в сторону,— говорит она,— а то запачкаетесь, я все уберу...» «Эту свинью надо закопать в саду»,— говорит Ничке и копает круглую глубокую яму там, где цветут фиалки и ландыши, уничтожая при этом много других растений. Потом он тащит труп за ноги и сталкивает носком ботинка в яму. Копф лежит на дне ее, свернувшись в клубок, он весь как-то съежился и похож не на себя, а скорее на хозяина табачной лавки Хирша. Но Ничке ни на минуту не сомневается, что это Копф, его сосед. Он берет лопату, и земля сыплется на руки, на лицо, на тряпье, прикрывающее тело Копфа. Потом Ничке утрамбовывает ботинками землю, чувствуя при этом, как колышется и прогибается под ногами человеческое тело.

Взяв в руки грабли, Ничке разравнивает землю и сажает сверху цветущие кустики фиалок и ландышей. Теперь тело Копфа спрятано, его никто не увидит, но им, Ничке, овладевает чувство гнетущего страха. Страх гнездится не в сердце, а где-то ниже, словно бы в желудке, и к этому страху примешивается нечто другое, еще более ужасное — предчувствие, что преступление будет раскрыто...

В таком состоянии страшного нервного потрясения Ничке пребывает еще долгое время после пробуждения. Он отлично понимает, что все было лишь в идиотском сне, но страх остался, и он не может избавиться от этого глупого чувства даже во время бритья в ванной. Ничке включает электробритву, кладет ее на стеклянную полочку и идет в кухню только затем, чтобы посмотреть в окно на дом Копфа. При виде крыльца Ничке еще раз с ужасающей отчетливостью переживает момент убийства. Но ведь это был только сон! Вот крыльцо Копфа, ступеньки, серая шероховатая стена его дома, и ведь на самом деле там не случилось ничего, что могло бы вызвать у Ничке тошноту и сердцебиение. Вскоре все эти нелепые мысли все же рассеялись. Выйдя после завтрака в сад, Ничке мог убедиться, что там, где во сне он копал яму, чтобы спрятать тело Копфа, земля не тронута, что она густо поросла фиалками и ландышами. Ничке даже наклонился и долго рассматривал ее бугристую, уже подсохшую после вчерашней поливки поверхность. Казалось, после такого осмотра Ничке должен был бы обрести полное спокойствие духа. Но, к сожалению, ему удалось достичь этого значительно позже. Пока что за повседневными, привычными занятиями он смог добиться лишь того, что прескверная смесь страха со стыдом и гневом постепенно растворялась и исчезала. Вот что может наделать глупый сон. Но все же сон — это только сон, и в конечном счете он рассеивается, как туман, какое бы потрясающее впечатление он ни производил, сон — не что иное, как туман, как дым.

■

Дождя не было уже несколько дней, и господин Ничке поразился, выйдя рано утром и увидев свой сад, словно только что вынырнувший со дна океана. Он был еще влажным и сверкал мириадами искр. Казалось, будто это не капельки воды, а жемчуг и драгоценные камни. Ничке подумал, что если это роса, то она не имеет ничего — или, во всяком случае, очень мало — общего с водой. Это какая-то тончайшая ее фракция, нечто такое, что природа может сотворить в величайшей тайне, под покровом ночи и чего не могут создать самые искусные руки. В сущности, ведь только природа в силах творить настоящие сокровища. Так размышлял Ничке, задумчиво шагая по своему саду, похожему на храм.

Солнце еще пряталось за деревьями, но все огромное чистое небо напоминало гигантский освещенный изнутри потолок, из которого лился яркий свет, зажигающий огоньки в каждой самой маленькой, спрятанной в глубине листвы, капельке росы. Воздух был напоен так хорошо уже знакомой Ничке неповторимой утренней свежестью, легкостью и ароматом, а сегодня к нему примешивался неуловимый запах близкого лета.

Вот фасоль, которую он посадил полтора месяца назад. Ее ростки дотянулись уже до изгороди и вскоре совсем отгородят участок господина Ничке от владений соседа. Ничке сам не знал, что лучше: ежедневно видеть Копфа и общаться с ним или жить в своем мире, не интересуясь чужой жизнью и не выставляя свою напоказ. Ничке хозяйничал тут уже год с лишним, Копф — неполных полгода, а урожай у него лучше. Разница была не столь разительной, но достаточной, чтобы время от времени вселять беспокойство и даже вызывать зависть. Взять хотя бы те же помидоры: разве он, Ничке, не выполнял в точности все советы авторов специальных пособий? Разве жалел извести, азота или фосфора? В один из дождливых дней, поборов тошноту, Ничке даже полил все грядки жидким навозом, что, впрочем, Копф сделал раньше. Оба брали рассаду у одного и того же огородника. А все-таки помидоры у Ничке были похуже. В высоту они, может, немного и перегнали помидоры Копфа, но ботва у них тоньше, листья мельче и не такие ярко-зеленые, а на нижних ветках даже какие-то сморщенные. Вот что касается фасоли, Ничке чувствовал себя вне опасности; Копф, полагая, что фасоль вредна для его слабого желудка, вообще ее не сажал. По правде говоря, это была легкая победа, но в конце концов не имеет значения, каким образом мы достигаем преимущества над другими, в расчет принимаются только факты! Если говорить о цветах, то здесь Копфу было далеко до Ничке. Копф, правда, говорил, что любит цветы, но, по-видимому, был лишен настоятельной потребности непосредственного общения с прекрасным. Он отказался от него, объясняя это — что за мелочность!— нехваткой денег. Ничке процитировал как-то Копфу эпиграф из одного проспекта по цветоводству. Этот эпиграф, взятый из книги какого-то восточного мудреца, гласил: «Если у тебя есть два куска хлеба, продай один из них и купи на эти деньги цветы, ибо цветы — пища для души!» Копф отшутился: наверно, его душа страдает отсутствием аппетита, поскольку она не жаждет обладания цветами — ей достаточно тех, что растут на лугах и в парке. Тем временем георгины, посаженные две недели назад, уже дали сильные ростки. Постепенно они разрастутся и расцветут, образуя густую шпалеру вдоль дорожки, от калитки до ступенек крыльца. Ничке не нарадовался, глядя на них. Он видел их уже в цвету, словно на картинке каталога. Счастливый и гордый, что его мечта начинает сбываться, он даже испытывал нечто вроде благодарности к людям, которые пообещали ему, что в его саду будут цвести красивые цветы, и пока не подвели.

Ничке уселся в старое плетеное кресло и закурил; солнце выглянуло из-за деревьев и осветило весь сад. Он был весь во власти ласковой тишины, спокойного дыхания земли и ни о чем не думал. Ему казалось, что сама земля, словно огромное, живое тело, ритмично дышит — то опускается, то поднимается, а он удобно и надежно сидит в кресле, стоящем на груди этого великана.

Но этому погожему и спокойно начатому дню, к сожалению, суждено было стать неприятным для Ничке. Все началось с того, что Копф, который уже успел выздороветь и как всегда явиться утром в сад, вдруг окликнул его:

— Добрый день, дорогой Рудольф!

Ничке уже избавился от глупого, щемящего под ложечкой чувства страха от совершенного во сне убийства, но тем не менее всякий раз при

встрече с Копфом ему было не совсем по себе. Как ни странно и ни смешно, но господину Ничке казалось, будто Копф не только знал об этом, но даже словно бы участвовал в том сне в роли жертвы, и его улыбка была улыбкой соучастника.

— Добрый день, добрый день, дорогой Вильгельм. День сегодня, действительно, добрый и хороший,— откликнулся отдыхавший, сидя в кресле, Ничке.

— А у меня к вам просьба, дорогой сосед!

— К вашим услугам! — сказал Ничке, приподнимаясь.

— Я видел у вас как-то маленькую удобную лестницу. Не могли бы вы мне ее одолжить?

— Ну, конечно, дорогой Вильгельм, я сейчас вам ее принесу.

— Не утруждайте себя. Подайте мне ее прямо через забор.

Ничке направился к беседке, где хранилась лестница. Копф пошел по другой стороне изгороди, и оба оказались в самом дальнем конце сада, который не был виден с улицы. Приняв от Ничке лестницу, Копф прислонил ее к стволу дерева.

— Я бы хотел вам кое-что сказать, хотя, возможно, мне и не следовало бы этого говорить. Но поскольку это касается также и вас, я не считаю себя вправе молчать. Вчера вечером меня посетил один субъект, ну, знаете, из полиции.

— Понимаю. Ну и чего он хотел?

— Вот именно. Трудно сказать, чего он хотел. У них всегда так. Когда я его спросил, чем я обязан его визиту, он сказал, что в свое время я это узнаю.

— Он был в тирольской куртке?— спросил Ничке.

— Нет. В обычном костюме. А почему вы спрашиваете?

— Я несколько раз примечал каких-то подозрительных лиц на нашей улице.

— Возможно. Так вот, этот тип сначала очень интересовался той старой рухлядью, что висит у меня на стене, но когда я ему сказал, что у меня есть на все разрешение, он успокоился. Потом его интересовали какие-то мои имущественные дела — этот дом, видите ли, когда я его купил, был заложен. Под конец он начал расспрашивать о разных людях. Интересовался, кого из соседей я знаю и что о них думаю. Между прочим, спросил и о вас.

— Надеюсь, вы обо мне ничего плохого не сказали,— проговорил улыбаясь господин Ничке.

— Что вы, дорогой Рудольф! Я сожалею лишь о том, что не мог сказать о вас больше хорошего! Впрочем, по правде говоря, его это мало интересовало. А вообще трудно понять, что ему было нужно. Расспрашивал о том о сем, так, с пятого на десятое.

— А вы, господин Копф, поинтересовались, имел ли он вообще право задавать вопросы?

— Должен признаться, что мне это не пришло в голову. Он показал мне какое-то удостоверение.

— Значит, любой бродяга, показав первое попавшееся удостоверение, может спокойно войти в ваш дом, рассматривать все, что ему заблагорассудится, и задавать вопросы?

— Вы меня огорчили, господин Ничке.

— Сколько разных обманщиков и злодеев бродит теперь по Германии!

— А что вы бы сделали на моем месте?

— Прежде всего тщательно осмотрел бы его удостоверение.

— А я этого не сделал,— расстроился Копф.

— Ну, ничего, впредь будете осторожнее.

— Может быть, сообщить в полицию?
— Делайте, как считаете нужным. Это уж решайте сами.

Разговор этот происходил утром. Потом Ничке долго работал и сделал до обеда массу дел, в том числе прополол солидный участок огорода. Чтобы втянуться в такую малоприятную работу, заставить мышцы и нервы автоматически выполнять все эти скучные движения, надо иметь много сил, терпения и упорства. Ничке достиг превосходных результатов, он даже так забылся за работой, что пришел в ресторан Биттнера на час позже обычного, и ему пришлось удовлетвориться довольно жестким жарким и подогретыми клецками. Это несколько испортило ему настроение, особенно потому, что клецок он не любил и, выйдя из ресторана, явственно ощущал их присутствие в желудке. В связи с этим Ничке решил совершить после обеда продолжительную прогулку, обойти вокруг виллы, пройти через парк и вернуться домой лугом. Всю первую половину дня он гнул спину над грядками, а теперь еще эти клецки! Да и вообще Ничке в последнее время чувствовал себя неважно. Врачи утверждают, что прогулка, это передающееся всему телу ритмичное движение ног, ускоряет кровообращение, улучшает работу сердца, перистальтику кишечника и вообще является естественным регулятором всех функций человеческого организма. Ничке слышал об этом от многих знакомых — своих сверстников, которые совершали прогулки и хвалили их благотворное влияние на здоровье, но сам относился к таким прогулкам недоверчиво, считая их даже чем-то вроде чудачества, и думал: кто знает, может, от них и стареют. Ничке считал, что только труд и целенаправленная деятельность держат человека в хорошей форме. Но, возможно, те люди тоже правы.

Сегодня суббота, и для того, чтобы выбраться из гомона и суеты, Ничке волей-неволей пришлось сначала окунуться в эту стихию. Надо было пересечь главную улицу, где в четыре ряда шли автомашины, потом площадь и перекресток, по которому, скрежеща тормозами, как в мельничном колесе, кружили машины, потом миновать большую автостоянку. В некоторых машинах неподвижно, как манекены, застыли молодые люди. В одной Ничке заметил целующуюся пару. Ну что за идиотские нравы, как можно так вести себя в публичном месте! Три паренька в компании двух очень молоденьких девиц стояли на тротуаре. Один из них крутил на пальце автомобильный ключ, двое его товарищей, опустив руки и оттопырив кисти, застыли в позах героев вестернов, готовые в любую минуту схватиться за рукоятки воображаемых кольтов. А может, это был обычный жест, для которого не нужны даже вымышленные кольты? Их спутницы были по-дурацки размалеваны, и, глядя на их лица, Ничке невольно вспомнил сумасшедшую дочку пекаря, которая всегда смотрела в окно, когда он мальчишкой шагал в школу. Ничке быстро прошел мимо этих людей, принадлежавших к другому, совершенно чуждому и непонятному для него миру. Как обычно, когда ему приходилось сталкиваться с нынешней молодежью, он подумал, что у его поколения была более здоровая психика. Миновав полотно электрической железной дороги, Ничке очутился в парке, среди разросшихся на просторных лужайках высоких старых деревьев. Здесь можно было гулять по удобной асфальтированной дорожке, которая вилась среди деревьев, и отдохнуть на скамейках, где сидели люди с книгой или газетой. Чаще всего это были люди его поколения, а иногда и постарше: одинокие женщины с собачками и даже старики. Особой симпатии Ничке к ним не испытывал и скорее ограничивался чем-то вроде благосклонного равнодушия. Он замедлил шаг, свернул на боковую дорожку, которая шла через перекинутый над ручьем мостик, и вдоль опушки парка направился в сторону широко раскинувшихся лугов.

Он возвращался домой с чувством здоровой усталости и, наверно, закончил бы день прогулкой по саду, а вечером посидел бы около радиоприемника с книжкой, если бы не одно непредвиденное событие.

Ничке возвращался к своему дому со стороны железнодорожных мастерских по тропинке, ведущей вдоль вонючей канавы. Он проходил возле дома судьи Тренча и как раз собирался свернуть в свой переулок, когда из глубины дикого, заросшего кустами и сорняками сада донесся выстрел духового ружья, а потом запоздалый стук пули по стволу дерева. Ничке не сразу связал звук выстрела с гибелью дрозда. Эта ассоциация родилась у него чуть позднее, когда он с ужасом и бешенством вспомнил, что уже давно не видел в своем саду второго дрозда! Он остановился и прислушался: кто-то, хрустя сучьями, пробирался сквозь густые заросли, и похоже было, будто он разыскивал что-то под ногами. Ничке еще долго прислушивался, но вокруг было тихо, и никаких выстрелов больше не последовало.

У каждого человека бывают хорошие и плохие минуты. С некоторых пор Ничке был не в форме, все его раздражало и действовало ему на нервы. Если бы не плохое настроение, возможно, воспоминание об убитом дрозде и беспокойство за судьбу осиротевшей птицы не так остро подействовало бы на него. Ничке реагировал как человек с нарушенным внутренним равновесием, которому наступили на любимую мозоль. Он решил, что должен немедленно сделать то, что давно следовало сделать. Ничке был возмущен и готов на все. И вот, вымыв руки и надев галстук, он уже стоял у порога виллы Тренча и нажимал кнопку звонка. Ждать пришлось довольно долго. Он стоял, перечитывал медную табличку с надписью «Д-р Йозеф Тренч — окружной судья» и рассматривал старомодный витраж, на котором была изображена женщина с обнаженной грудью, держащая на голове корзину с фруктами. Ничке собирался позвонить еще раз, когда за дверьми послышались шаги и чей-то голос спросил:

— Кто там?

— Рудольф Ничке, сосед!

Дверь отворилась. Судья Тренч был в туфлях и домашней куртке.

— Чем могу быть полезен?— спросил он.

— Я, господин доктор, по одному делу, как сосед.

— Пожалуйста, пройдите; прошу извинения за мой костюм, но сегодня суббота, и я по-домашнему. Жена в городе, мальчишки куда-то умчались, а я немного вздремнул. Прошу вас, пройдемте ко мне в кабинет!

На стене над столом висел портрет молодой женщины в красном платье. В длинных пальцах женщина держала папиросу, дым тоненькой струйкой вился вверх. В черном шкафу, за столом,— толстые книги в кожаных переплетах. Над книжным шкафом — крест, но какой-то странный, нездешний, во всяком случае не протестантский. «А может, этот Тренч еврей? — подумал Ничке.— Говорят, будто он всю войну и много лет перед войной провел где-то за границей — во Франции или Испании, а может быть, даже и в России? Но на еврея он не похож. Нос у него большой, но слишком тонкий, губы поджатые, и он совсем не лопоухий».

— Я уже давно хотел с вами познакомиться. Мы ведь близкие соседи. Ваш дом там, около Домерацки, Копфа, Линке? — спросил Тренч, снимая очки и глядя в глаза господину Ничке.

— Да.

— У вас порядок, чистота, чудесный сад. А у меня все заросло сорняком, одна крапива да лопухи, как в заброшенном замке...

— В этом тоже есть своя прелесть.

— Прелесть прелестью, а я предпочитаю порядок. Но моя жена работает в городе, она врач, а мальчишки — разве их заставишь работать, когда у них в голове совсем другое?

Ничке с удовлетворением отметил, что беседа идет по правильному руслу, и спросил:

— Сколько лет вашим сыновьям?

— Старшему пятнадцать, а младшему в июле исполнится тринадцать.

— Да, это самый трудный возраст. Мальчики в этом возрасте способны на все. Мне крайне неприятно, но я вынужден пожаловаться на ваших сыновей...

— Интересно, что же опять натворили мои сорванцы, снова, наверно, выбили стекло? — спросил Тренч весело, но не без некоторого злорадства в голосе.

— Стекло это пустяк. Они мне доставили совсем другого рода неприятность...

Тренч, глядя в глаза господину Ничке, даже наклонился в его сторону.

— Вы меня огорчили, господин Ничке. Но что они все-таки натворили?

— Они застрелили из малокалиберки дрозда, и у меня есть основания полагать, что сегодня такая же судьба постигла вторую птицу.

— Постойте, постойте. Во-первых, если это сделали они, то не из малокалиберки, а из духового ружья.

— Возможно, я в этом плохо разбираюсь.

— Однако расскажите, как это произошло?

— Два месяца назад я нашел у себя в саду мертвого дрозда. Он лежал недалеко от изгороди. На груди у него была огнестрельная рана, перья слиплись от крови...

— Это очень неприятно... Вы курите?— Тренч надел очки и потянулся к коробке с папиросами и сигарами. Оба закурили, наступила пауза. Через некоторое время судья Тренч продолжал:— Если я правильно понял вас, вы считаете эту птицу чем-то вроде своей собственности, верно? Но ведь вы не держали ее в клетке?

— В моем саду свили себе гнездо дрозды, я видел их ежедневно. Слышал их щебет. Я просто привязался к ним,— сказал Ничке раздраженным тоном.

— Я вас понимаю. Это неприятная утрата. Очень неприятная.— Тренч снова на мгновение замолк, потом произнес:— Но почему вы приписываете эту утрату действиям, так сказать, моих сыновей?

— У них есть оружие, они стреляют. Я без конца слышу эти хлопки. Только что я снова слышал выстрел в вашем саду.

— Вокруг полно духовых ружей. У каждого второго мальчишки есть такое ружье.

— Я постоянно наблюдаю, как они носятся с этими ружьями,— сказал Ничке и сам почувствовал, что все его обвинение зиждется на очень зыбких основаниях.

— Вы упомянули вначале, что у вас есть основания обвинять моих сыновей в убийстве второго дрозда. Какие это основания?

— Просто я давно уже не вижу птицу в своем саду.

Ничке ожидал, что судья Тренч спросит, не считает ли он, что птица могла просто улететь в другое место, но Тренч этого не спросил. Ничке подумал, что Тренч сделает все, чтобы защитить своих сыновей; было бы странно, если бы он поступил иначе. Вообще судья Тренч за время этого разговора очень изменился, изменилось и его лицо: нос обострился, уши, казалось, еще больше прижались к черепу. Он был весь настороже, как полицейская собака. «Странно, почему он не воспользуется слабыми пунктами моего обвинения?» — подумал Ничке с некоторым беспокойством. Судья Тренч отвернулся и посмотрел через окно в сад. А потом сказал:

— Ну что ж, поиграем в следствие. Возможно, это сделали они. Я не хочу выгораживать сыновей, но вы понимаете, что мне, как отцу, нелегко их и осуждать. Извините!

Он встал, с трудом открыл туго поддававшееся окно и крикнул:

— Артур, Эвальд! Где вы?

— Я здесь, папа!

— Позови Артура, и зайдите оба ко мне на минутку. Потом сможете снова бегать.

Тренч закрыл окно, сел за стол и сказал:

— Помнится, когда мне было семь или восемь лет, я убил маленького котенка. Сейчас я уже не припомню, за что, а вернее — зачем я это сделал. Впрочем, дело не в подробностях. А сейчас, господин Ничке, я не мог бы убить даже мухи. Может, я немного преувеличиваю, но во всяком случае воробья — наверняка нет...

— Да, человек меняется,— сказал Ничке.

В прихожей раздался грохот, будто кто-то пытался выломать дверь, потом послышался стук, и в комнату, не ожидая разрешения, ввалились двое мальчишек. Они отнимали друг у друга какую-то вещицу, толкаясь и вертясь при этом, как бильярдные шары.

— Что это за возня! — не слишком сурово прикрикнул на них Тренч. — Поздоровайтесь!

— Здравствуйте,— пробормотали мальчики, еле взглянув на господина Ничке. Младший, воспользовавшись моментом, вырвал что-то у старшего. Оба были потные и грязные.

— Эвальд, положи сейчас же на стол,— сказал Тренч.

Мальчик повиновался. Ничке и Тренч взглянули на то, что он вынул из кармана и положил на край письменного стола, и оба подумали, что это пустяковина, которую можно найти в траве, в канаве, на помойке и которая может на что-нибудь пригодиться только детям.

— Послушайте, ребята,— начал Тренч.— Скажите мне, вы знаете, чем отличается дрозд от воробья?

— Дрозд черный, в три раза больше, чем воробей, и у него желтый клюв. Он быстро бегает по земле. Довольно хорошо умеет петь,— без запинки и, как показалось господину Ничке, не без иронии произнес младший.

— Дрозд-самец — черный, а самка посветлее, иногда даже коричневая,— добавил старший.

— Хорошо. Я вижу, вы разбираетесь в птицах. А теперь ты, Эвальд, пойди в спальню, только не подслушивай, мы тут играем в одну игру, и это будет нечестно. Потом я тебя позову.

Мальчик, закрывая за собой дверь, скорчил какую-то непонятную мину. Тренч тихо сказал:

— Артур, подойди поближе. Скажи, кто из вас убил дрозда?

— Не я и, наверно, не Эвальд. Мы не стреляем по дроздам.

— А по воробьям и другим птицам стреляете?

— Нет. Может, только по воробьям. Раз или два,— сказал Артур и оглянулся на дверь, за которой скрылся брат.

— Хорошо. Можешь идти. Принеси только ваше ружье и несколько патронов. Нет, не теперь, а когда Эвальд выйдет отсюда.

— Хорошо!— ответил Артур, повернулся и вышел.

— Эвальд,— позвал Тренч и внимательно посмотрел на господина Ничке.— Эвальд, можешь войти!

Мальчик вошел, остановился и взглянул на предмет, лежащий на столе. Ничке только теперь догадался, что это такое: это было нечто, похожее на алюминиевую крышку от чайника. Она, по-видимому, побывала в огне, частично расплавилась и покорежилась.

— Скажи мне, Эвальд, почему вы застрелили дрозда?

— Никакого дрозда я не застрелил,— ответил мальчик.

Судья Тренч недовольно поморщился и сказал:

— Вы сваливаете один на другого. Артур сказал, что это сделал ты.

— Артур свинья.

— Значит, это Артур застрелил дрозда?

— Я не знаю,— ответил Эвальд.

— Хорошо, можешь идти.

Мальчик как будто только этого и ждал. Он схватил со стола предмет, похожий на крышку от чайника, спрятал его в карман и выбежал из комнаты.

— В них еще очень много ребяческого,— сказал, вздыхая, Тренч.

— Да,— вынужден был признать Ничке.

Послышался стук в дверь и в кабинет вошел Артур с ружьем в руках. Тренч надел очки и сказал:

— Заряди!

Артур сделал это с необычайной ловкостью.

— Готово!— заявил он.

— Хорошо, положи сюда, на стол.

Артур положил ружье на бумаги.

— Ты будешь стрелять, папа?

— А разве мне нельзя?

— Конечно, можно. Только ты не сумеешь.— Артур был готов предложить свои услуги.

— Можешь не беспокоиться. Как-нибудь справлюсь. Ну, марш! Мама еще не вернулась?

— Нет.

— Когда она вернется, пусть зайдет ко мне. А вы к автомобилю не подходите, он мне еще сегодня понадобится.

— Хорошо,— ответил Артур, но не тронулся с места.— Почему ты сказал, что я говорил, будто Эвальд застрелил дрозда?

— Извини. Это была такая игра в следствие.

После ухода сына судья Тренч долго копался в кипе газет, пока не извлек толстый воскресный номер «Frankfurter Allgemeine», сложил его в восемь раз и примостил на ручке двери, ведущей в спальню.

— Я очень не люблю заниматься дома тем, с чем приходится иметь дело по службе. А вы?

— Я уже на пенсии,— ответил Ничке.

— Ах, да. Может быть, вы хотите пострелять?— спросил Тренч и улыбнулся при этом так многозначительно, будто предлагал господину Ничке отправиться за компанию в публичный дом.

— Нет, не хочу.

Тренч снял очки, прицелился и выстрелил. Пуля ударила по газете и пробила дырку как раз на том месте, где была реклама коньяка «Норис».

— Меткая игрушка,— сказал Ничке.

— И какая ударная сила! Это даже опасно. Можно невзначай поранить, выбить глаз. Да, из такого ружья можно, пожалуй, застрелить довольно большую птицу,— сказал Тренч, бросая газету в мусорную корзину, и придвинул к Ничке коробку с папиросами.— Я исчерпал все свои средства, господин Ничке. Даже такие, которые не применяют, не вызвав отвращения к самому себе. Тем не менее мы не сдвинулись с места и по-прежнему не знаем виновников. Я мог бы еще расширить следствие, устроить очные ставки и позвать сюда в свидетели других сорванцов. Но, может быть, вы избавите меня от этого, господин Ничке?

— Разумеется. И простите меня за беспокойство.

— Нет, лучше вы меня простите, если это сделали мои сыновья. Но вы сами видите,— и тут Тренч не то скорчил гримасу, не то улыбнулся,—

следствие не располагает прямыми уликами. Есть обвинитель, но нет тела жертвы. О, простите, а может, есть?

— Наверно, уже разложилось в компосте...

— Есть оружие, которое могло быть орудием преступления, и есть два человека, которые потенциально могли быть убийцами, но нет никаких доказательств, что они ими были...

— Это верно,— вынужден был признать Ничке.

— Скажите, дорогой господин Ничке, так, начистоту, вы по-прежнему подозреваете моих сыновей?

— По правде говоря, да. Но, к сожалению, следствие не обнаружило доказательств их вины,— сказал улыбаясь Ничке. Он подумал в этот момент, что судья Тренч не должен был спрашивать мальчишек, известно ли им, чем отличается дрозд от воробья, потому что это заставило их насторожиться.

— В иные времена было достаточно, чтобы суд выразил так называемую уверенность в вине обвиняемого. Но мы не будем применять этот метод, не правда ли?

— Конечно...

— Я не хотел бы также, как говорится, «принуждать» этих сорванцов давать показания. Как отцу и как судье, мне бы было трудно это сделать.

— Разумеется...

— Итак, во время расследования мне пришлось прибегнуть к определенному приему из репертуара провинциальной полиции. Я это сделал, как уже говорил вам, с отвращением.

— Заставили старшего свалить вину на младшего?

— Да.

— Я представляю, как это было вам неприятно.

Тренч взял папиросу, закурил и, пуская клубы дыма, произнес:

— Видите ли, для того чтобы показать, чем отличается наше теперешнее судопроизводство от судопроизводства «прежнего времени», мы должны в каждом отдельном случае установить виновность на основе тщательного, временами даже чересчур мелочного анализа фактов. Наш способ расследования иногда может показаться даже просто смешным.

— Но, по крайней мере, судьи могут сказать, что совесть у них абсолютно чиста,— вежливо заметил Ничке.

Тренч глубоко затянулся, выпустил вверх дым, взглянул на господина Ничке и сказал:

— Никогда нет абсолютной уверенности, что вынесенный приговор справедлив. Даже тогда, когда, казалось бы, все свидетельствует о вине подсудимого. Чем крупнее преступление, с которым мне приходится иметь дело, тем меньше я бываю убежден в справедливости приговора. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что многие преступления даже для нас, юристов, которые ведь только с преступлениями и имеют дело, кажутся чем-то граничащим с абсурдом? Однако вернемся к дроздам. Я вполне допускаю, что мои сыновья могли их застрелить. Но они в этом не признаются — и это вполне понятно. Кто в здравом уме признается в совершенном преступлении? Кроме того, человек стыдится преступления, особенно убийства. Не признаваясь, он как бы пытается сделать убийство несовершившимся...

— Оставим в покое эти дела. Я сожалею, что вообще сказал вам об этом.

— Почему? Напротив, очень хорошо, что вы мне это сказали.

— Моих дроздов это не вернет, а вам я доставил лишние огорчения...

Визит господина Ничке к судье Тренчу закончился довольно приятной беседой о садоводстве, в котором Тренч оказался совершенно несве-

дущим. На прощание судья Тренч заверил господина Ничке, что сделает все возможное, чтобы дрозды и другие птицы могли спокойно гнездиться в садах. Он еще раз повторил, что рад знакомству с господином Ничке, с которым давно уже хотел познакомиться, и выразил надежду, что следующая встреча произойдет при более благоприятных обстоятельствах.

■

Болезнь господина Ничке имела непосредственную связь, вернее сказать, была следствием определенных забот, которые совершенно неожиданно свалились на него через две недели после визита к Тренчу. Именно из-за них Ничке несколько дней находился вне дома, недосыпал и питался не так, как следовало бы. Две ночи он провел в поезде, так как считал уместным навестить своего старого товарища, с которым давно не видался, но знал, что и у него были подобного рода неприятности. Люди в возрасте господина Ничке, как правило, стараются держать все свои дела в порядке и заботятся о том, чтоб иметь под рукою все необходимые бумаги. А Ничке к тому же по натуре был очень аккуратным человеком, даже педантом, и у него всегда все бумаги были в образцовом порядке — для чего же в конце концов существуют все эти папки, скоросшиватели, автоматические держатели, обеспечивающие сохранность различных документов? Но человек остается человеком и нервничает даже тогда, когда у него все как будто в идеальном порядке.

Первый день, проведенный Ничке в городе, был ужасно жарким, а Ничке вместо того, чтобы надеть что-нибудь полегче, облачился в темный шерстяной костюм и белую нейлоновую рубашку, которой, в сущности, терпеть не мог,— он в ней потел и задыхался. В теплом пиджаке и рубашке с галстуком, к тому же с тесным, нестерпимо сдавливавшим горло воротничком он промучился несколько часов. В таком неподходящем костюме ему пришлось улаживать не очень приятные дела и слушать, что ему говорят, да еще внимательно следить за тем, что он сам говорит. Чувствовал он себя все время прескверно. Может быть, уже тогда началась эта болезнь? Сейчас, как никогда, ему нужно было быстро соображать, а у него в голове гудело, будто на мельнице. Ничке испытывал странное чувство, словно бы в какой-то момент внутри него что-то вдруг щелкнуло, как в коробке передач, и с этого момента внутренний мотор стал работать на других, более быстрых оборотах. Несмотря на столь плохое самочувствие, Ничке слышал самого себя и контролировал свои поступки, ясно сознавая, что все, что он говорит и делает, вполне разумно.

Вечером ему не удалось вернуться домой, принять ванну и отдохнуть после тяжкого дня в собственной постели. Съев на вокзале порцию гуляша и запив его пивом, он был вынужден снова сесть в поезд и трястись в нем всю ночь, чтобы наутро оказаться в небольшом приморском городишке. Здесь, правда, жары не было, но зато целый день дул сырой, мешавший дышать ветер, и Ничке почувствовал себя еще хуже. Он стал задыхаться, и вдобавок ко всему на него напал ужасный кашель. На другой день, чтобы выиграть время и срочно попасть домой, пришлось снова ехать ночным поездом. По пути он хотел сойти раньше и задержаться на несколько часов у Хедди.

Именно в эту вторую, проведенную в поезде, ночь он, наверно, и простудился. В купе было ужасно душно, когда же Ничке предложил открыть окно, какая-то толстая пышногрудая дама громко запротестовала, а сидевший возле окна с сигарой во рту пожилой господин заявил, что тот, кому жарко, может выйти в коридор и охладиться. Тогда Ничке напомнил, впрочем, очень вежливо, что он, как и все, заплатил за проезд и вместе с билетом приобрел одинаковое со всеми право пользоваться всем, что необходимо для путешествия, в том числе и свежим воздухом. В ответ

на это он услышал от господина, который по-прежнему дымил и даже не соизволил вынуть сигару изо рта, что действительно все пассажиры пользуются одинаковыми правами, то есть дышат спертым воздухом, чему, впрочем, не в малой мере способствует и сам Ничке (остальные пассажиры громко рассмеялись), и положение это может измениться только с согласия большинства, ибо давно уже прошли те времена, когда один человек мог решать за всех. У Ничке от пота нестерпимо зудело все тело, и рубашка была мокрая, хоть выжми. Он встал, открыл дверь и вышел в коридор. Закрывая дверь, он хлопнул ею, быть может, сильнее, чем следовало, но нужно учесть, что нервы его и в самом деле были напряжены до предела. В коридоре он открыл окно, расстегнул рубашку и закурил папиросу. Ворвавшийся косой струей холодный ветер охлаждал и успокаивал. Поезд мчался сквозь ночь, и ветер выхватывал искры из папиросы. Время от времени в темноте вдруг совсем близко зажигались огни — это вагоны с оглушительным грохотом оставляли за собой разъезды, и порою казалось, что колеса катят не по рельсам, а прямо по щебню и мусору, сокрушая на своем пути камни и железный лом. В окнах мелькали на мгновение станционные постройки и разноцветные сигналы огней, потом снова все неожиданно гасло, и поезд мчался дальше сквозь пустоту и мрак.

Ничке вернулся домой позже, чем предполагал,— лишь на следующий день вечером,— Хедди сумела его убедить, что спешка — плохой советчик. Она готова была даже взять с собой маленькую Хенни, поехать вместе с отцом и побыть с ним какое-то время, чтобы он в пустом доме не чувствовал себя таким осиротевшим. Но Ничке не хотелось, чтобы Хедди жила сейчас у него.

Когда он открывал ключом садовую железную калитку, было уже темно. Кругом царила тишина, и пустой темный дом, казалось, излучал какое-то внутреннее тепло. Сад спал и спокойно дышал прохладным, ароматным воздухом. Ничке так устал и измучился, что и мысли и тело его стремились только к покою. Ему хотелось немедленно вытянуться на кровати, закрыть глаза и уснуть... Не раздеваясь, он сел в кресло. «Я очень, очень устал,— думал он.— Так плохо, пожалуй, я не чувствовал себя никогда в жизни». И еще он думал: «Я смертельно устал. Неужели это предвещает близкий конец?» Долгое время никакие другие мысли не приходили ему в голову. Но все же он твердо знал: независимо от того, что будет с ним потом, он еще сегодня должен сделать то, что нельзя откладывать ни на один день. Ничке не в состоянии был даже подняться с кресла. Он чувствовал себя так, словно его к этому креслу привязали. Ему удалось встать лишь через некоторое время, и то благодаря какому-то пришедшему извне импульсу, который подобно удару заставил его преодолеть собственное бессилие. Он встал и почувствовал, что силы возвращаются. Открыл шкаф, вынул спрятанную в нем вещь. Это была продолговатая коробка, некогда предназначавшаяся для хранения противогаза, а в конце войны и даже долгое время после войны употреблявшаяся совсем в иных целях, не имевших ничего общего с первоначальным ее назначением,— в ней хранились всякие мелочи.

Однако хранившиеся в ней вещи могли сейчас принести Ничке много неприятностей; их давно уже следовало убрать из дому. К сожалению, он не сделал этого вовремя, а через три дня, пожалуй, может быть уже поздно. Но не мог же он ее прятать средь бела дня. По весу коробки Ничке определил, что то, что он в ней хранил, не исчезло (он не стал в нее заглядывать — сверху лежал плотный слой бумаги), повесил коробку через плечо, погасил в квартире свет, открыл дверь на крыльцо и вышел во двор.

Долго стоял он, вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Ночь была безлунная, небо покрывали тучи, кругом царила тишина. Уличные фо-

нари были закрыты листьями, и свет их падал только на мостовую. Спустя довольно длительное время Ничке стал кое-что различать, но это были лишь контуры ближайших предметов, а сад казался ему похожим на мрачную черную бездну. Ничке медленно спустился со ступенек и погрузился в эту бездну. Он еще ни разу не был в своем саду ночью и шел осторожно, вытянув перед собой руки, словно опасаясь каждую минуту натолкнуться на какое-то препятствие. «Ночь и мрак,— подумал он,— делают предметы загадочными». Минуту спустя, благополучно добравшись до беседки, он пришел к убеждению, что этот загадочный мир заселен существами, которых днем совершенно не видно. Сад был окружен солидным забором, ворота закрыты на замок, но все же какие-то создания в него пробрались и сейчас бегали, шуршали в листве, натыкались на стволы деревьев. Ничке чувствовал, как сильно и гулко колотится у него сердце. Еще с минуту он посидел на скамейке, вслушиваясь в голоса ночи, потом нащупал лопату и принялся медленно и осторожно копать яму. Он копал в том месте, которое мысленно наметил по дороге к беседке: это был довольно глубокий и наклонный подкоп под стену беседки, сделанный с таким расчетом, чтобы коробка оказалась под стеной. Отставив лопату, Ничке всунул коробку в яму, руками засыпал и разровнял землю, а сверху поставил ящик с инструментом. Это все, что он мог сделать. Теперь у него хватило сил только на то, чтобы вернуться домой и вымыть руки.

На следующий день госпожа Рауш нашла господина Ничке в таком состоянии, что тут же помчалась за доктором, не успев даже сказать, что она думает о мужчинах. Все переговоры с доктором пришлось вести госпоже Рауш, так как Ничке настолько охрип, что не мог вымолвить ни слова. Впрочем, у него не было никакого желания разговаривать. Его охватила ужасная сонливость, и он чувствовал, что у него наверняка высокая температура. Когда доктор закончил осмотр, госпожа Рауш спросила:

— Что вы находите, господин доктор?

— Что? А, ничего серьезного. Простуда. Сильная простуда.

— Не воспаление легких?

— Пока нет.

— Господин доктор, вы дадите рецепт?

— Даже три,— сказал доктор и сел за стол. Это был старый человек, из ушей у него росли пучки седых волос, он был угрюм и нелюбезен, но пользовался отличной репутацией.

— Может быть, нужен пенициллин? — осторожно осведомилась госпожа Рауш.

— Когда нужно будет, дадим. Пока не нужно,— ответил доктор и, достав ручку, принялся писать рецепты.

Госпожа Рауш молча стояла в ногах постели, улыбалась господину Ничке и кивала головой. Больной закрыл глаза. Госпожа Рауш в этот день оставалась в доме до позднего вечера. Она только сходила в аптеку за лекарством, но очень быстро вернулась. Сквозь дремоту Ничке слышал, что она здесь, и ему это было приятно. Госпожа Рауш в мягких туфлях тихо передвигалась по комнате, подавала ему чай с лимоном, на обед приготовила куриный бульон, настаивала какие-то травы, которые принес Копф. Сам он в комнату не входил, но велел госпоже Рауш кланяться больному и пообещал завтра его навестить. Ничке слышал приглушенные разговоры, которые госпожа Рауш вела на кухне, сперва с Копфом, потом с кем-то посторонним — не то молочником, не то письмоносцем.

На следующее утро благодаря не то лекарствам, не то травам господина Копфа Ничке, проснувшись, почувствовал себя намного лучше. Исчезла хрипота, и даже частично вернулся голос. Госпожа Рауш, кото-

рая, уходя вчера ночью, без позволения взяла с собой запасные ключи от дома, с раннего утра хлопотала на кухне. Сквозь щели в ставнях падали острые, режущие глаз полосы света, но по ним все же трудно было определить, какая сегодня погода. Ничке вдруг почудилось, будто все, что с ним вчера произошло, было очень давно, а на дворе уже выпал снег. Такая нелепость пришла ему в голову, наверно, потому, что в комнате было очень светло, а ему показалось, что и холодно, даже ноги у него немного замерзли. Когда госпожа Рауш заглянула в комнату, он спросил:

— Какая сегодня погода?

— О! — воскликнула госпожа Рауш.— Сразу о погоде! Сперва доброе утро, господин Ничке, и скажите, пожалуйста, как ваше здоровье?

— Доброе утро. Так себе. Вроде получше.

— Ну и отлично. А погода... Все залито солнцем, днем опять будет жара.

— А я что-то замерз.

— Замерзли?

— Только ноги.

— Ах, вот как? Может, открыть ставни?

— Пока не надо. У меня немного болят глаза.

Госпожа Рауш удалилась и через минуту вернулась с грелкой. Она завернула ее в полотенце и положила под одеяло, обнаружив при этом, что у Ничке действительно холодные ноги. От грелки исходило приятное тепло, оно разливалось по всему телу, и вскоре господин Ничке почувствовал себя совсем хорошо. Госпожа Рауш поправила у него в головах подушку, а на коленях разместила принесенный, наверно, из своего дома большой деревянный поднос. На подносе, застланном чистой белой салфеткой, был кофе, хлеб, масло, джем, яйцо, прикрытое вязаной салфеточкой, чтобы не остыло, а на краю, под пепельницей, лежала газета. На отдельной тарелочке были приготовлены лекарства, которые Ничке должен был принять после завтрака.

Ничке позавтракал если не с аппетитом, то во всяком случае без отвращения. Может быть, именно потому, что все было так хорошо подано? Госпожа Рауш не мешала ему все спокойно съесть и даже не завела никаких разговоров, пока он просматривал газету. Она вообще исчезла где-то в глубине дома, может быть, вышла в сад и появилась как раз в тот момент, когда поднос стал господину Ничке обременительным. Забирая посуду, она спросила, что нового в газете.

— Возле вокзала нашли труп какой-то женщины.

— Опять, наверно, эти проклятые заграничные рабочие, какие-нибудь сербы или турки. Я даже днем, когда их вижу, умираю от страха.

— Да, симпатичными их не назовешь,— сказал Ничке, перелистывая газету.

— Дикие и грязные люди, в какой нейлон их ни одень... Я хотела помыть окна, вам это не помешает?

— Пожалуйста, мойте, дорогая госпожа Рауш. А открытые окна мне сейчас не повредят?

— Но ведь на дворе гораздо теплее, чем в комнате!

Госпожа Рауш открыла окна. Из сада плыл свежий, ласковый, теплый воздух и доносилось громкое чириканье воробьев. Госпожа Рауш молча совершала свой обычный ритуал мойки окон. Ничке его не особенно любил — и не столько из-за запаха химической жидкости, слегка щекотавшего ему ноздри, сколько из-за того, что госпожа Рауш ставила себе целью непременно вернуть оконным стеклам их первоначальную, так сказать, заводскую прозрачность. Немного погодя госпожа Рауш спросила, что пишут о погоде; Ничке ответил, что с завтрашнего дня облачность будет увеличиваться, возможны осадки и грозы с последую-

щим незначительным понижением температуры. Он еще немного почитал газету и задремал.

После обеда госпожа Рауш сообщила, что пришел гость, господин Копф. Ничке согласился принять его, но просил, чтобы госпожа Рауш дала ему понять, что больной еще не чувствует себя в силах вести длительные разговоры. Копф был в рубашке с отложным воротником. Его сильно загоревшая жилистая шея и худое лицо составляли резкий контраст с белизной воротника. Едва переступив порог, он воскликнул:

— Что же это такое, где вас так угораздило?!

— Простудился,— сиплым голосом ответил Ничке.

— Это я вижу, дорогой господин Ничке, вернее, слышу, но как это вы умудрились сейчас, в июле...

Копф расставлял на столике какие-то пузырьки, баночки и пакетики.

— Вспотел, выпил холодного пива...

— Вы поступили как ребенок, господин Ничке. В нашем возрасте нужно хоть немножко следить за своим здоровьем.

— В нашем возрасте! — заохал Ничке.— Садитесь, господин Копф.

— Благодарю. Мы, конечно, уже не молодые, но все же: почему бы нам еще немного не пожить? Ведь спешить-то некуда!

— Но и бороться, собственно говоря, не за что. У меня, господин Копф, все лучшее уже давно позади.

— У меня тоже, дорогой господин Ничке. Пока человек молод, он по-настоящему не ценит жизни. Годы идут, только что была весна, глядишь — уже зима. А ведь иногда мы просто так убивали время, случалось, даже не знали, чем его занять! Не правда ли?

— Случалось...

— А сейчас каждый день дорог. Нужно увидеть и то, и это, что-то сделать, что-то прочитать, кому-то написать. Нет, дорогой господин Ничке, спешить на тот свет нет никакого смысла. Жизнь здесь интересна, а что будет там — неизвестно... боюсь, что будет очень скучно...

— Смерть может быть и освобождением, избавлением, успокоением...

— Ну и выбрали мы себе тему для разговора! Видно, путешествие это пошло вам не на пользу, господин Ничке. Вы не только простудились, но еще испортили себе настроение. Где это вы странствовали?

— Так, разные неприятные семейные и имущественные дела.

— Да, это вещи мало приятные,— сказал Копф и задумался.

Раздался стук в дверь, и в комнату вошла госпожа Рауш. Она была одета по-праздничному — в голубом платье, в белом с кружевами переднике. Госпожа Рауш спросила, не желают ли господа кофе или чаю? Копф попросил налить ему не очень крепкого чая, господину Ничке госпожа Рауш посоветовала выпить кофе со сливками и спросила, что ему подать на полдник — гренки с маслом, бисквит или песочное пирожное? Она напомнила также господину Ничке, что пора измерить температуру. Копф рассматривал в это время написанный масляными красками пейзаж, изображающий покрытые снегом Альпы с домиком на первом плане. На крыше домика были навалены тяжелые камни, вокруг на зеленом лугу цвел шафран. Потом он стал разглядывать вышитые серебряными нитками на черном шелке строки из Священного писания: «Останься с нами, ибо уже приближается вечер и день клонится к закату...» — и наконец остановился возле невыразительной пожелтевшей фотографии, изображающей молодую женщину в длинном платье. Женщина сидела в парке на скамейке. Он спросил:

— Это фотография вашей жены?

— Да.

— Видно, была красивая женщина?!

— Очень красивая. Красивая и добрая. Я пережил с ней немало прекрасных минут,— сказал Ничке и почувствовал в правом глазу крупную, горячую слезу.

— Оба мы, господин Рудольф, пережили с нашими женами немало прекрасных минут,— вздохнул Копф и замолчал. Он постоял еще минутку, вглядываясь в фотографию госпожи Ничке, пока его внимание не привлекла фотография семи- или восьмилетнего мальчика в коротких штанишках и матросской блузе; со скрипкой в руках он стоял у колонны, обвитой гирляндами из роз. Копф спросил с интересом:

— А мальчик со скрипкой — это вы?

— Вроде бы я...

— Значит, вы играете?! — обрадовался Копф.

— Учился, но уже давно не держал скрипку в руках. А сейчас вообще не играю.

— Какую же скрипку вы играли?

— Вторую.

— Да вы, господин Ничке, просто находка! Я уже два месяца ищу вторую скрипку для нашего квартета!

Ничке вынул термометр и зажег ночник: 37,6. Ну, что за температура — не болен и не здоров! Ему пришло в голову нечто нелепое: нужно притвориться, что ты болен сильнее, чем на самом деле. Это поможет избежать других несчастий, даст возможность притаиться где-то в стороне и уберечься от удара непрестанно преследующей нас в этом мире цепи поражений и невезения.

— Сколько? — спросил Копф.

— Тридцать восемь,— ответил Ничке и, погасив свет, стряхнул градусник.

— Отлично! Через три дня на прогулку, а через недельку мы уже устроим первую репетицию квартета! Вы знакомы с фон Домерацким?

— Нет.

— Он живет напротив вас. Очень симпатичный и культурный пожилой человек. Он играет на виолончели, судья Тренч взял бы альт, я первую, вы вторую скрипку и — па-па ри-ра ри-ра пам-пам...— Копф дирижировал одним пальцем, многозначительно улыбаясь господину Ничке. Напевал он какую-то знакомую мелодию, кажется Гайдна.

■

Но Копф все же оказался оптимистом. Господин Ничке болел гораздо дольше, и был даже день, когда он почувствовал себя так плохо, что госпожа Рауш была вынуждена тут же утром побежать за доктором. Температура поднялась значительно выше, чем этого хотелось самому Ничке, и упала только после серии уколов. Ничке еще и потом долгое время чувствовал себя очень неважно и, что самое скверное, стал страдать бессонницей. Он не мог уснуть до четырех, пяти часов утра, ворочался с боку на бок, слышал шум всех проезжавших ночью поездов и электричек, иногда даже далекий бой часов. А когда наконец под утро удавалось уснуть, ему снились какие-то дурацкие, запутанные и мучительные сны, после которых он просыпался весь в поту, а сердце колотилось так, словно он только что прибежал откуда-то издалека. Видно, болезнь, а может быть, и лекарства, которых он принял великое множество, всколыхнули в его мозгу какие-то пласты старых воспоминаний; так, например, ему несколько раз приснилась мать, которую он едва помнил, потому что она умерла, когда ему было всего шесть лет. Ему приснилось, что он вместе с матерью оказался в маленькой еврейской лавчонке; они покупают соломенную корзину для белья, и хозяин

лавчонки дает ему розовый леденец, а мать снимает блузку и обнажает белую грудь. Одна грудь матери вдруг начинает расти, делается все больше и больше, покрывается жилками и пятнами и постепенно превращается в отвратительное месиво кровавых внутренностей. Потом мать исчезает, ее как будто ветром сдуло, а он бежит по улице, влетает в какие-то ворота и приподнимает железную крышку бетонного мусорного ящика, влезает в него и захлопывает крышку. Он должен спрятаться от отца, так как совершил некий проступок, какой — не помнит, знает только, что его ждет наказание, ужасно боится и чувствует себя очень несчастным. Он даже уверен, что это не он совершил тот проступок, а кто-то другой, сидевший внутри него нехороший мальчишка, но отец не поймет и не даст ему это объяснить.

Через некоторое время Ничке все же стало лучше, и он понемногу начал поправляться. Большую часть времени он теперь проводил, сидя в кресле у себя в комнате. Иногда госпожа Рауш устраивала его с креслом на крыльце, чтобы он мог наблюдать, как она вместо него занимается прополкой, окучиванием, поливом и сбором первого урожая. Время от времени они с госпожой Рауш обменивались соображениями относительно урожайности и способов ухода за землей, причем Ничке с удовлетворением отмечал, что госпожа Рауш, хотя и превосходно знала, как обрабатывать землю, никогда ничего не предпринимала без его согласия.

— Может быть, пасынковать помидоры? — спрашивала его госпожа Рауш.

— Пожалуй, да,— немного подумав, соглашался Ничке.

Или:

— Не кажется ли вам, что нужно закрыть цветную капусту листьями, а то будет некрасивая, желтая? — обращалась она к нему с вопросом.

— Если у вас нет более срочной работы, то пожалуйста,— отвечал Ничке.

Копфу так и не удалось создать квартет, так как Ничке, едва почувствовав себя немного лучше, на месяц уехал к дочери. Но еще до отъезда — словно в подтверждение того, что беда не ходит в одиночку,— произошло одно довольно неприятное событие. А именно: однажды утром Ничке вдруг услышал звонок и, выглянув в окно, увидел напротив своего дома фургончик с надписью «Götz u. Söhne — Hoch u. Tiefbauunternehmung»*. Прибывшие на этой машине люди были тут, наверно, уже порядочное время, так как успели установить посреди улицы теодолит на треножнике, направленный трубой в сторону дома господина Ничке. Двое итальянских рабочих в пестрых шапках с козырьками, черные, как дьяволы, на другой стороне улицы приподнимали киркой плиты тротуара. Возле калитки стоял человек, похожий на мастера, и смотрел в окна дома господина Ничке. Ничке набросил на пижаму халат и вышел в сад.

— Мы приехали,— весело заявил человек, похожий на мастера.

— Простите, а по какому делу? — спросил Ничке, не открывая калитки.

— Будем копать. Мы это сделаем быстро — раз, два.

— Копайте, сколько вам влезет, но при чем тут я? — сказал Ничке, похолодев от волнения.

Человек, похожий на мастера, рассмеялся:

— К сожалению, дорогой хозяин, у нас нет вертолета...

— Где же вы хотите копать?

— Как где? У вас в саду!

---

* «Гёц и сыновья — наземные и подземные строительные работы» *(нем.)*.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Ничке, стараясь преодолеть внезапно напавшую на него одышку.

Человек вовсе не счел себя обиженным. Поведение Ничке он принял, видимо, за следствие какого-то недоразумения. Очень вежливо он объяснил, что фирма, которую он представляет, ведет по заказу армии земляные работы и прокладывает кабель, необходимый для питания каких-то устройств, сооружаемых на территории, находящейся по ту сторону сточной канавы, что на задах владения господина Ничке. Ров предполагается выкопать за шесть часов, приблизительно столько же времени понадобится, чтобы проложить кабель и засыпать ров. Завтра примерно в это же время все будет закончено. Представитель фирмы «Гёц» сказал еще, что придется выкопать два молодых деревца и все георгины, добавив при этом, что потеря не так уж велика, если учесть, что их владелец получит за все убытки соответствующее вознаграждение.

Перед запертой калиткой, ибо Ничке и не думал уступать, состоялась бурная дискуссия, в которую активно включился привлеченный шумом господин Копф и солидная кучка прохожих. Господин Копф придерживался мнения, что гражданин немецкого государства должен быть заблаговременно предупрежден о том, что какие-то власти имеют намерение посягнуть на его собственность. А господин Ничке имеет право и не согласиться.

— Надеюсь, вы этого не сделаете? — спросил представитель фирмы «Гёц».

— Нет, сделаю! — воскликнул Ничке. Он ясно представил себе, как после раскопок будет выглядеть его сад, и почувствовал внезапный прилив горечи и злости.

— Во время войны мы понесли бóльшие потери, и никаких разговоров не было,— сказал представитель фирмы «Гёц» и повернулся к господину Ничке спиной.

— Во время войны — другое дело, а сейчас войны нет! — крикнул Ничке и схватился за грудь. Ему показалось, что сердце его подпрыгнуло и вот-вот вырвется из груди. К калитке, расталкивая собравшихся, пробивалась госпожа Рауш.

— Что здесь происходит?! — воскликнула она.— Как вы выглядите, господин Ничке, ведь вам нельзя волноваться! — Затем она повернулась к человеку, которого сразу определила, как виновника случившегося: — Господин Ничке только что встал после тяжелой болезни. Неужели вы хотите, чтобы на вашей совести была жизнь человека?!

Так как все симпатии окружающих были явно на стороне господина Ничке, а тот не открыл калитку даже для госпожи Рауш, представитель фирмы «Гёц» прекратил осаду. Рабочие сложили инструменты, погрузили их в машину, и бригада укатила.

Вскоре Ничке узнал, что среди накопившейся корреспонденции, которую госпожа Рауш, чтобы не раздражать больного, спрятала в буфете (ей показалось, что там какие-то счета и напоминания), было также письмо из магистрата, уведомлявшее господина Ничке, что планом строительных работ предусмотрена установка кабеля, проходящего также и через его участок. Письмо содержало оговорку, согласно которой господину Ничке, как владельцу участка, полагалось полное вознаграждение за весь ущерб, который мог быть нанесен земляными работами его собственности. Это его несколько успокоило. Дело тут даже не в возмещении убытков, а в престиже владельца собственности — ведь каждый человек хочет чувствовать себя свободным и независимым и не любит, когда это ставят под сомнение.

На следующий день перед обедом, как раз накануне отъезда к дочери, Ничке получил возможность окончательно уладить вопрос, который стоил ему столько нервов. Госпожи Рауш дома не было, она уеха-

ла в город за покупками, а Ничке потихоньку собирался в дорогу, укладывая в чемодан какие-то мелочи, когда вдруг раздался звонок. Ничке выглянул в окно и увидел перед своим домом большой серый «мерседес», а возле калитки офицера в мундире летчика. Ничке нажал кнопку, офицер толкнул калитку и легким шагом направился к крыльцу. В левой ладони он держал сложенные перчатки, а правой делал движения, словно бы с кем-то разговаривал или напевал какую-то мелодию. Ничке снял халат, надел пиджак и открыл входную дверь.

— Я имею удовольствие видеть господина Рудольфа Ничке?

— Да. Чем я могу быть вам полезен, господин полковник?

— Разрешите представиться — фон Тристенгауэр.

— Ничке. Очень приятно познакомиться. Заходите, пожалуйста, прошу вас,— добавил Ничке, ибо гость стоял, видимо, ожидая приглашения.

Полковник вошел, положил перчатки в фуражку и оставил ее в прихожей на столике.

— Чем могу служить? — еще раз спросил Ничке, когда они расположились у него в комнате, и придвинул к гостю коробку с папиросами.

— Благодарю вас, я не курю,— сказал полковник, встав и слегка щелкнув каблуками.

Ничке не без некоторого удовольствия отметил про себя, что у этого молодого человека, которому в конце войны было не более двадцати лет,— а теперь он уже полковник,— хорошие манеры. Он производил впечатление человека сосредоточенного и вместе с тем по-юношески робкого и застенчивого. Впечатление это помогло Ничке избавиться от чувства неприязни или даже враждебности к человеку, о цели визита которого он сразу догадался. Он скорее почувствовал к нему нечто вроде симпатии, если не благодарности и мог слушать речь молодого офицера с вниманием и без предубеждения. Все, что он от него услышал, касалось права распорядиться полоской земли шириной в сорок пять сантиметров, лежащей на глубине полутора метров под поверхностью сада господина Ничке,— права, которого Ничке не хочет предоставить германской армии.

Ничке узнал также, что дело, заставившее полковника прийти к нему, имеет огромное значение для обороны и будущего страны. В траншее, рытье которой, как это признал сам полковник, столь грубо нарушает право собственности господина Ничке, будет проложен кабель, необходимый для питания военной аппаратуры, устанавливаемой на огороженном проволокой, заброшенном и заросшем сорняками участке. Попутно полковник заметил, что протекающий за оградой сада господина Ничке ручей, не доставляющий удовольствия ни своим видом, ни запахом, будет при проведении работ во внеочередном порядке отведен в бетонную трубу и засыпан землей. Впрочем, полковник пришел не ради этой вонючей канавы, а по серьезному делу: он пришел попросить господина Ничке оказать важную услугу государству и народу. Времена меняются, сменяются правительства, уходят люди. Но есть еще нечто, что стоит над временем и правительствами, над политикой и человеческими страстями, именно оно заставило немцев приносить жертвы, которые повергли в изумление весь мир и дали им возможность выходить победителями из любого положения. Разве каждый из нас, немцев, не был готов всегда, когда этого требовала история, отказаться не только от какой-то части, но и от всего своего имущества и отдать даже жизнь ради идеи, которая так лапидарно выражена в поговорке: «Gemeinnutz geht vor Eigennutz!»* Времена меняются, и вот представитель герман-

* Общественное благо выше личного *(нем.)*.

ской армии приходит к гражданину Рудольфу Ничке — не с требованием, а с просьбой. Не как насильник, а как проситель...

Молодой полковник на минуту умолк, словно бы измученный речью, которая так нелегко ему давалась. Он и в самом деле говорил не очень складно. Вся эта трескучая и, как казалось, неотразимая риторика, к которой прибегали ораторы двадцать лет назад, действительно давалась ему с трудом. Спустя некоторое время полковник спросил:

— Вы были в армии во время войны?

— Да. Очень немногие немцы не были в армии. Пожалуй, только те, которых тогда уже не было в живых или которые еще не родились...— пошутил Ничке.

— А, простите, в каком звании?

— Обер-лейтенанта.

— Господин обер-лейтенант Рудольф Ничке, полковник фон Тристенгауэр не приказывает вам, а просит вас...

■

Госпожа Рауш два раза в неделю посылала письма, в которых коротко сообщала обо всем, что происходит дома и в саду. Так Ничке узнал, что земляные работы продолжались всего лишь день, а ущерб, нанесенный саду, был не так велик, как он предполагал. Правда, две яблони пострадали, но одну из них, пожалуй, можно считать спасенной, и все это благодаря господину Копфу, который собственноручно произвел соответствующую обрезку корневой системы и кроны, штамбы обложил мохом, обвязал веревкой и велел ежедневно поливать деревья и увлажнять окутывавший их стволы мох. Одна из яблонь, за которой столь заботливо ухаживал господин Копф, уже дала новые побеги, и господин Копф заверил, что она будет расти. Весьма возможно, что и георгины не погибнут. По мнению господина Копфа, если будет долгая и теплая осень, то они могут расцвести еще в октябре и даже в ноябре. Со дня отъезда господина Ничке госпожа Рауш уже трижды собирала помидоры. Они были довольно красивы. Как-то раз она уступила два килограмма госпоже фон Домерацки (деньги в буфете на кухне). Последний сбор ждет господина Ничке. Госпожа Рауш разместила помидоры в подвале на газетах, чтобы задержать вызревание.

Письма от госпожи Рауш приходили очень регулярно, кроме того, раз в несколько дней она пересылала заказной бандеролью наиболее важные письма, поступившие на его домашний адрес. Как-то в конце третьей недели пребывания у Хедди Ничке получил письмо от госпожи Рауш с опозданием на два дня. Это было срочное письмо, и принес его специальный нарочный. Ничке обнаружил в конверте повестку, в которой ему предлагалось явиться в ближайшие дни в суд «в качестве свидетеля».

В письме было еще траурное объявление, повергшее господина Ничке в крайнее изумление:

«Вильгельм Копф,
69 лет,
ружейный мастер,

сержант-оружейник, трижды раненный: в 1915 г. под Френом, в 1916 г. под Верденом и в 1942 г. под Сталинградом,— награжденный дважды Железным крестом I и II класса и Военным крестом заслуги с мечами, после непродолжительных, но тяжких страданий почил в бозе, о чем с прискорбием извещают

внуки, семья, товарищи по оружию».

Комментарий госпожи Рауш к этому событию был очень краток, видимо, она писала в большой спешке, ибо считала себя обязанной помочь в горе семье усопшего Копфа и госпоже Циммер, которая за это время успела сильно привязаться к своему благодетелю. Покойный Вильгельм Копф уже несколько лет страдал какой-то тяжелой болезнью крови, к которой он, неизвестно почему, относился с легкомысленным пренебрежением.

Похороны должны были состояться в тот самый день, когда Ничке получил уведомление, следовательно, все уже было кончено. Ничке вышел в ближайший скверик, где частенько сиживал с газетой в руках, сел на скамейку и в окружении галдевших и игравших в мяч ребятишек думал о Копфе. Он был моложе покойного почти на семь лет, а в их возрасте это очень много. О смерти Копфа он думал так, как обычно думают об этом, когда знакомый человек умирает где-то вдали от нас и мы не были свидетелями его смерти. Мы принимаем его смерть к сведению, но не очень в нее верим, потому что в нашем воображении человек этот по-прежнему жив, и ему даже не так уж плохо. Мысленно представив себя открывающим свою выкрашенную в зеленый цвет и украшенную бронзовой дощечкой с надписью «Рудольф Ничке» калитку, Ничке отчетливо услышал скрип петель и, взобравшись на крыльцо, увидел оттуда живого и совершенно реального господина Копфа. На нем была светлая рубашка с засученными рукавами, и он, как всегда, был очень занят: что-то перевозил на тачке, склонив голову под свисающими ветками деревьев, и то исчезал за домом, то снова появлялся. Все это казалось совершенно естественным, поражало лишь одно: Ничке полностью отдавал себе отчет в том, что он не сможет, как обычно, сказать Копфу: «Добрый день, дорогой сосед!» Ибо несмотря на все Копф — это только видение, которое нельзя тревожить, и Ничке вынужден будет молчать.

■

На следующий день утром Ничке прогуливался по коридору здания суда и тупо рассматривал развешенные на белых стенах портреты немецких юристов. Тренч был занят, и секретарша попросила господина Ничке немножко обождать. У секретарши были полные, обведенные толстым слоем помады губы и черная родинка на подбородке. Многозначительно улыбаясь, она сказала, что ждать придется недолго. Она была права, ибо вскоре дверь кабинета Тренча открылась, и в коридор вышел пожилой господин в форме железнодорожника. Секретарша подала господину Ничке знак войти.

— А, это вы. Прошу вас!

Тренч поднялся с кресла, вышел ему навстречу и поздоровался за руку.

— Я получил от вас повестку, господин судья! — сказал Ничке.

— Да, да, знаю. Дорогая фрейлейн Вюнш, принесите, пожалуйста, бумаги «Герстенбауэр — Ничке», ладно?

— Сейчас,— сказала секретарша и вышла.

— Что вы скажете о Копфе! Кто бы мог подумать! Когда вы его видели последний раз?

— Каких-нибудь три недели назад.

— А я, дорогой мой, видел его всего шесть дней назад.

В кабинет вошла фрейлейн Вюнш и положила на письменный стол голубую папку. Она бросила мимолетный взгляд на господина Ничке, но по выражению ее лица ни о чем нельзя было догадаться. Тренч надел очки, наклонился над папкой и сказал:

— Благодарю вас, фрейлейн Вюнш!

— И он казался вам совершенно здоровым? — спросил Ничке, когда секретарша вышла из кабинета.

— Ну, конечно! У него было отличное настроение, мы просмотрели с ним ноты и договорились вечером, нет, на следующий вечер вдвоем немножко порепетировать. Да! На тот свет можно быстро отправиться...

Слушая Тренча, Ничке думал, что сегодня в нем есть что-то искусственное и что тогда, два месяца назад, когда Ничке был вызван сюда впервые, Тренч казался ему намного симпатичнее.

Судья Тренч снова наклонился над папкой с бумагами, полистал их с минуту, потом, закрывая папку и снимая очки, сказал:

— Итак, я хотел уведомить вас, что нами прекращено следствие против некоего Рудольфа Ниичке с двумя «и» по той простой причине, что, как выяснилось, Рудольфа Ниичке нет в живых.

— Он умер? — спросил Ничке.

— А разве вы не знаете?

— Откуда же мне знать?

— Да, он умер 7 мая 1945 года в городке Клейн Роттек, в провинции Мекленбург, при не совсем ясных обстоятельствах. Существует предположение, что он покончил с собой.

— Многие тогда пускали себе пулю в лоб...

— Это легко себе представить. Итак, останки Рудольфа Ниичке были погребены в тот же день на местном евангелическом кладбище. До сих пор живы свидетели: местный пастор и бывший Blockleiter. Да, ваша фамилия, господин Ничке, на одну букву короче. Одна буковка, но для органов полиции это значит очень много. Одна буква — это совсем другой человек! — сказал с усмешкой Тренч.

— Ну, наверно, существуют еще и другие различия, господин судья...

— Я, конечно, шучу. Разумеется. К примеру: вы родились в Хебе, в Чехословакии, а Ниичке — в Берлине. В 1943 году, о котором говорит этот Герстенбауэр, вы были в Африке, а не в Лангевизене. И так далее, и так далее...

— Этот Герстенбауэр, наверно, немного не в себе?

— Что-то в этом роде. По профессии он каменотес. Пять лет просидел в концлагерях. Нигде не работает, занимается чем-то довольно забавным, а именно — изучением Священного писания. Его лечили в больнице для нервнобольных от меланхолии. Судим не был. Что ж, разные люди ходят по земле...

— Значит, настоящий сумасшедший...— сказал Ничке, но тут же подумал, что следовало выразиться как-то иначе. Однако судья Тренч не обратил на это внимания. Он наклонился к господину Ничке и, тихонько хихикая, сказал:

— У меня, знаете ли, есть коллега прокурор, который всегда говорит, что только среди безумцев попадаются порядочные люди...

Ничке из вежливости тоже рассмеялся, но при этом подумал, что некоторых людей приводят в хорошее настроение совершенно дурацкие шутки; и заметил, что судья Тренч значительно старше, чем он сначала предполагал. Смеясь, Тренч вдруг преобразился, лицо его сморщилось, покраснело и на некоторое время стало вовсе неузнаваемым. Ничке смотрел на него с отвращением. Успокоившись, Тренч еще раз повторил:

— Только сумасшедшие порядочные люди... Хорошо сказано, а?

— Отлично. И кто знает, может, ваш коллега и прав.

— А мне, господин Ничке, не все сумасшедшие кажутся порядочными людьми. Но если учесть, что мотивы их действий в большинстве случаев бескорыстны, доля правды все же в этом есть.

Судья Тренч закончил фразу уже серьезно, почти с официальным выражением лица. Он еще раз заглянул в папку и несколько секунд

повозился со скоросшивателем. Вытащив несколько скрепленных вместе страниц машинописи, положил их перед собой и добавил:

— Я рад, дорогой господин Ничке, что все это уже позади. Каждое такое дело стоит мне уйму нервов.

— Отлично представляю себе, что ведение подобного рода дел не слишком приятное занятие для немца,— сказал Ничке.

— Увы, это так, господин Ничке. Но нельзя забывать, что Гитлеру в течение короткого времени удалось превратить всю Германию в сплошной бандитский лагерь и многих обыкновенных граждан — в преступников. В этом-то все несчастье.

— Согласен, но, позвольте, неужели же из-за этого нас, немцев, всегда будут подозревать в разных пакостях?

— Вот именно...— повторил задумчиво Тренч. Он словно нехотя продолжал листать страницы машинописи и вдруг резким движением протянул их господину Ничке.

— Что это такое?

— Письмо Герстенбауэра, на основании которого мы начали расследование по вашему делу. Местами текст совершенно бессмысленный, но, если вам угодно, можете его просмотреть.

— Надо будет его вам вернуть?

— Нет, что вы? Благодаря трудам фрейлейн Вюнш, которая снимает копии да еще исправляет орфографические ошибки оригинала, судебный архив располагает достаточным количеством вполне сносных экземпляров,— с легкой улыбкой заметил Тренч.

Ничке, собственно, хотелось сказать: «Благодарю вас, меня не интересуют сочинения всяких полоумных субъектов, из-за которых потом честных граждан таскают по судам», но он этого не сделал. Почему? Помешало какое-то ложное чувство. Ничке взял бумаги из рук судьи Тренча, мельком взглянул на них, улыбнулся, сложил и спрятал в боковой карман пиджака. У Тренча был очень довольный вид. Он проводил господина Ничке до дверей и на прощание сказал:

— Загляните ко мне как-нибудь.

— Благодарю вас, я сделаю это с удовольствием,— ответил Ничке.

Выйдя из здания суда, Ничке пребывал в состоянии нерешительности; некоторое время он даже не знал, куда себя девать. День был чудесный, но не очень теплый. Ветер продувал город во всех направлениях, лишая его уюта и внутреннего спокойствия. Улицы, площади и дома казались совершенно иными, чем обычно, даже как будто незнакомыми. Город словно бы расширился и разросся; господину Ничке вдруг показалось, что до железнодорожной станции, где он оставил на хранение чемодан, идти вдвое дальше, чем прежде. Он переживал странное чувство — ему почудилось, будто бы он оказался здесь по ошибке или случайно, словно пассажир, высадившийся из поезда не там, где надо, и оказавшийся в совершенно незнакомой местности. Такой заблудившийся человек покидает не столько то, что было «прежде», сколько то, что было «далеко»; он оставил где-то реальную жизнь, но в этот момент она уже для него ничего не значит, ибо существовала в другом времени и пространстве. Но разве человек потому лишь, что вдруг оказался в других обстоятельствах, непременно должен ходить на голове, говорить какие-то странные фразы и делать вещи, которых до сих пор не делал? Нет и еще раз нет!

Чем же занялся в этот день господин Ничке? Он заходит в магазины скобяных товаров и садового инвентаря, внимательно рассматривает винты, оковки, завесы, разный инструмент, спрашивает совета у продавцов, делает покупки и даже бранится с невежливым приказчиком. Он тратит много денег на предметы, которые не так уж ему необходимы, но и не бессмысленны. Так, например, приобретает прибор для

опрыскивания деревьев, хотя обычно эту операцию за весьма умеренную плату проделывает местный садовник при помощи собственного аппарата. Потом Ничке заказывает десять яблонь и груш — их обещают доставить ему в ноябре — и хочет даже купить семена, которые пригодятся ему только весной.

Около четырех часов Ничке, почувствовав голод, решает зайти в какой-нибудь приличный ресторанчик — не обязательно в первоклассный, но такой, где можно сносно пообедать и выпить хорошего пива. Там он рассчитывает найти укромное местечко, чтобы спокойно поесть, а после обеда не спеша достать из кармана полученные от Тренча бумаги и, закурив сигару, просмотреть их, как это обычно делают после обеда деловые люди. (Надо заметить, что Ничке, переделав в течение дня столько дел, все же ни на минуту не забывал об этих бумагах, он все время чувствовал их в кармане, будто в этом месте к его коже был прилеплен пластырь.) К сожалению, ему не везет. Он попадает на один из многочисленных в это время года съездов какого-то союза не то хористов, не то гимнастов; ресторан полон потных и подвыпивших провинциалов со значками в петлицах, которые едят что попало и без конца пьют пиво. Наконец, с большим трудом ему удается найти место за столом, съесть суп, по вкусу напоминавший заправленные мясными консервами помои, и жесткий шашлык. А в электричке, в которой он должен был ехать тридцать пять минут, очень тесно, и он сидит, зажатый, как в тиски, среди посторонних людей. Напротив тоже все места заняты, и все на него глядят. Ничке вынимает из кармана бумаги, разворачивает их, прочитывает две-три фразы, прячет обратно в карман и закрывает глаза.

Выйдя из электропоезда, Ничке вынужден взять такси. Это из-за чемодана — нести его тяжело. Через несколько минут он уже отпирает замок своей калитки. Такси уехало, и сейчас в воздухе слышен только свист крыльев запоздалых ласточек. Вернувшись в свои гнезда, они внезапно умолкают, словно пули, вернувшиеся обратно в дула винтовок. Откуда-то издалека, из-за кустарников, еще доносится тихий женский смех. Сад наполнен зеленью до предела, так и кажется, что ей в саду тесно и она рвется за ограду. Ветер успокоился. Чистый свежий воздух бодрит. А какой у него запах! Ничке останавливается и дышит полной грудью. Да, но все же это уже не то. Чувствуются приметы осени — аромат увядших листьев, влажных трав и чего-то еще менее приятного — не то крапивы, не то истлевшей мешковины. Он запирает калитку и медленно идет к дому. В соседнем доме свет, все окна раскрыты. На крыльце стоит чужой, худой и бледный молодой мужчина в очках, и господин Ничке уверен, что он совсем не похож на Копфа. Мужчина держит в руках книжку, но не читает — на дворе уже слишком темно.

Ничке открывает двери и чувствует на лице знакомое теплое дыхание своей квартиры. Зажигает свет; в тишине слышен лишь шелест электрического счетчика. Этот осторожный звук будет теперь постоянным спутником спокойных одиноких вечеров господина Ничке. Он вносит чемодан в комнату и запирает двери на ключ. Открывает окна, чтобы немного проветрить квартиру, и направляется на кухню. Ставит чай. Газ в столь поздний час горит сильно, и вода быстро закипает. Ничке возвращается в комнату, закрывает окна, завешивает шторы.

Сейчас можно спокойно выпить чаю и прочесть эти бумаги. Потом он их разорвет и выбросит в уборную. Ничке уже не чувствует ни малейшего волнения — наконец-то он выбрался из сложного, трудно поддающегося определению душевного состояния, какого-то внутреннего несогласия с самим собой, состояния, которое в последнее время так ему опротивело.

Сегодня он ляжет спать пораньше. Некоторое время посвятит просмотру газет — на столике в прихожей целая стопка накопившейся за это время прессы. Потом потушит свет и быстро уснет. Последним чувством, с которым он погрузится в сон, будет нетерпеливое любопытство: что-то он увидит завтра в своем саду?

II

Ганс-Иоахим Герстенбауэр,
толкователь Священного писания,
Марбург, An der Ecke, 188.

В Окружной суд в Гиссен
по делу бывшего оберштурмфюрера СС
Рудольфа Ниичке

15 марта 1939 года я получил призывную повестку в армию, а на второй день после моего отказа взять в руки оружие, так как это противоречило бы моим религиозным убеждениям, я был арестован военной жандармерией, передан в руки гестапо и после трех месяцев следствия отправлен в концентрационный лагерь в Шёнвальд. Потом я прошел еще через много различных лагерей, но о них говорить не буду, остановлюсь лишь на одном из них — небольшом лагере Лангевизен, который был филиалом лагеря Юбергаузен. В 1943 году я провел там одиннадцать месяцев и хочу о нем рассказать в связи с личностью коменданта этого лагеря, оберштурмфюрера СС Рудольфа Ниичке.

В лагерь Лангевизен я прибыл в феврале 1943 года вместе с группой хефтлингов * из лагеря Вальдзее. Нас привезли в товарных вагонах, и через час ходьбы мы издалека уже увидели лагерь Лангевизен. Он был ярко освещен, этот огороженный колючей проволокой кусок земли. На следующий день, когда рассвело, мы увидели, что лагерь был небольшой, а вокруг расстилалась каменистая пустыня, поблизости не только не было никакого леса, не было даже ни одного деревца. Нас привели на плац, построили, и началась процедура приема. Не помню подробностей, впрочем, все было примерно так, как в любом другом лагере, мне запомнилось только, что при этом нас били меньше, чем в других местах. После регистрации каждому дали номер, при этом раздавались даже шутки. Нам говорили, что мы счастливчики, ибо попали в очень неплохое место, что в Германии есть места и похуже, и не дай бог нам в этом убедиться. Мне об этом можно было и не говорить, так как я до этого уже успел побывать в шести лагерях.

На другой день нас разбудили в четыре часа утра и приказали построиться перед бараком. Пока мы стояли на дворе, в это время Stubendienst — дежурные по бараку — наводили порядок, мыли пол, окна, столы и табуретки, чистили и терли, чтобы все блестело, ибо такие уж порядки в Лангевизене. А мы стояли на морозе в одном тряпье без плащей, так как плащи были только у Aussenkommando **, с четырех до шести утра. Помню, луна блестела над нами в черном небе и была похожа на кусок льда, а мы тряслись от холода, и мороз пронизывал нас до мозга костей. В полдень я впервые увидел коменданта лагеря оберштурмфюрера Рудольфа Ниичке, который обратился к нам, цугангам, *** с речью. Он сказал тогда, что нам очень повезло, поскольку мы еще живы, и он, комендант лагеря, дает нам шанс пожить еще немного, если

---

* От немецкого Häftling — заключенный.

** Команды заключенных, работавшие за пределами лагеря *(нем.)*.

*** От немецкого Zugang — пополнение; так называли заключенных, прибывших с транспортом.

только мы будем умными и дисциплинированными. Лагерь окружен колючей проволокой не для того, чтобы мы удирали на свободу, от которой сами отказались, выступая против фюрера и Германской империи. Каждый, кто попытается бежать, будет убит. Но мы можем здесь жить и до конца своих дней, сколько уж кому их отпущено, при условии, что будем работать, работать и еще раз работать. Он повторил также то, о чем все нам говорили: что в лагере есть один вход — через ворота и один выход — через печь, а кому это не нравится, тот может свое пребывание в лагере сократить, он никому не запрещает. И еще сказал, что лично он иногда удивляется тому, что в то время, как лучшие немцы проливают кровь и умирают во славу родины, мы, хефтлинги, этакое свинячье дерьмо, еще живы, но раз этого желает фюрер, то он, комендант лагеря, обязан лишь выполнять волю фюрера, утешаясь тем, что рано или поздно мы все равно превратимся в навоз, который удобрит немецкую землю.

Примерно такую речь сказал нам тогда комендант Ниичке, и я должен признать, что столь деликатного выступления я еще ни разу не слышал. Коменданты выступали редко, а уж если говорили, то только о смерти, а не о жизни. Но, может быть, причиной тому был ветер с востока, потому что именно там нашим армиям с некоторых пор перестало везти.

Потом потекли обычные лагерные дни, похожие на тысячу дней, которые я уже прожил в других лагерях, с той только разницей, что в Лангевизене были немного другие порядки, и, возможно, даже те, кто утверждали, что это еще не самый худший лагерь, и были правы. Здесь меньше били и убивали, чем в других лагерях. Наш староста носил зеленый винкель *, но человек был неплохой. Он хромал на одну ногу и любил откалывать разные штучки, главным образом во время переклички, особенно же когда в барак прибывали цуганги, которые его не знали. Но он был справедлив и даже евреев не очень преследовал — впрочем, в Лангевизене евреев было немного, их уже успели уничтожить в других местах. Меня направили в первый же день (прошу извинить за грубое выражение) в так называемую Scheisskommando — то есть в команду по очистке уборных. Наверно, прочли в моих бумагах, что я толкователь Священного писания и отказался идти в армию. Но я успел за свою веру претерпеть уже столько унижений, что для меня это ничего не значило. Работа в отхожем месте была даже не очень трудной, к тому же здесь можно было узнать все последние лагерные новости. В этой команде я проработал два месяца, а потом меня перевели на худшую работу, к так называемым «неграм». Эта команда целый день разбирала на части использованные электрические батарейки, отдельно раскладывая цинк, латунь, уголь, графит и марганец.

Ничего похожего я не видал ни в одном лагере. У людей от графита, смолы и марганца все было черное: одежда, руки, лицо, даже язык — только белки глаз сверкали у нас, как у негров. Отмыть это было невозможно, а от ядовитых частиц люди опухали, у них появлялись волдыри, заболевали почки и они умирали. На этой работе у меня вскоре начался понос. Он и раньше у меня был, в 1940 и в 1941 году, но не в такой тяжелой форме. А теперь кровь лилась из меня через каждые полчаса и поминутно схватывали ужасные спазмы; ничто мне не помогало: ни жженый хлеб, ни зола из печи, что бы я ни выпил, что бы ни съел, от всего проносило. Я был уже старый лагерный волк и знал, что нельзя пить воду, что от этого можно умереть, но все равно пил. А как не пить, когда все внутри горит и кажется, что тут же скончаешься, если не вы-

* От немецкого Winkel — угол; так называли треугольный кусок зеленой материи, который носили уголовные заключенные.

пьешь воды, что только вода — это жизнь. Но, видимо, мне не суждено было умереть, бог хотел, чтобы я уцелел и перед людьми стал свидетелем того, что было. Провидение поставило тогда на моем пути человека, который помог мне. Это было уже позднее, я работал тогда в каменоломне, но все еще был болен. Однажды, когда я заявил старосте, что болен и хочу пойти в ревир * за таблетками от поноса, ко мне подошел один француз, его звали Россиньоль, и сказал, чтобы я и не думал идти в ревир, потому что я «музульманин» **, а комендант Ниичке, сказал он, часто заходит в ревир и записывает номера «музульман», а потом их вызывают в Politische Abteilung *** лагеря Юберхаузен, и оттуда они уже никогда не возвращаются. Россиньоль дал мне две таблетки, на другой день еще восемь, и через три дня я был здоров. С этим Россиньолем я потом подружился. Это был хотя и неверующий, но очень добрый и веселый человек, и мы держались вместе.

Но прежде чем рассказать, как погиб мой друг Россиньоль, вернусь немного назад и скажу, как рука Провидения управляла моей судьбой. От «негров» меня перевели в такую команду, которая разбирала аккумуляторы. Мы были, правда, не такими черными, как те, что разбирали батарейки, но здесь люди болели от кислот и олова, у них были так искорежены руки и ноги, что выглядели они как дикие звери, а лица были так изуродованы, как будто они все время смеялись. Они делали под себя, и им ни в чем нельзя было помочь, бедняги лежали в ревире на нарах, обитых толем, чтобы не загрязнять матрацев, и поправляться почти никто не поправлялся. В Лангевизене были и другие скверные команды. Например, команды, которые посылали и за пределы лагеря, на ткацкую фабрику. Там они сортировали разное истрепанное, окровавленное и изгаженное тряпье, отдельно шерстяные, отдельно хлопчатобумажные и отдельно шелковые тряпки. Они тоже болели, от пыли и всякой гадости у них образовывались волдыри, лишаи, заболевали легкие. Случалось, правда, иногда они приносили покурить, некоторым удавалось найти в тряпках и золотишко. Они потом им торговали, но если попадались, то получали от капо пятьдесят ударов палок по почкам и через два дня были готовы. Такой порядок был везде, но в Лангевизене в этом отношении, пожалуй, строже, чем в других местах. Говорили, что комендант Ниичке лично следит за тем, чтобы каждый самый малейший кусочек золота был отправлен в Рейхсбанк на счет Waffen SS,**** и приказывает в ревире даже у живых вырывать золотые зубы, не говоря уже о мертвых.

На разборке аккумуляторов я работал всего лишь неполный месяц. Как я уже упоминал, меня перевели в каменоломню. Почему это произошло — не знаю, просить я об этом никого не просил, может быть, в моих бумагах обнаружили, что я каменотес, видимо так хотело Провидение. Описывать эту работу не буду, все было так же, как в других лагерных каменоломнях, замечу только, что больше всего гибли образованные люди, так как у них не было никакого понятия о такой работе, а о безопасности здесь никто не заботился, скалы и камни валились прямо на голову; работали в любое время — и зимой и летом, в дождь и в жару, и днем и ночью. Я работал там до декабря 1943 года, когда меня перевели в другой лагерь, где я пробыл до конца войны.

А сейчас я вернусь к личности коменданта Рудольфа Ниичке. За все время пребывания в Лангевизене я видел его только три раза: однажды издалека, когда он выступал перед нами, цугангами, с речью,

---

* От немецкого Revier — больница при лагере.

** От немецкого Muselmann — так называли заключенных в крайней степени истощения.

*** Политический отдел *(нем.)*.

**** Войска СС *(нем.)*.

потом как-то, когда он шел по лагерю, ну и в этот последний раз, о котором я хочу рассказать подробнее.

Когда у тебя позади четыре года лагерей и приходилось видеть столько ужасов, творимых одержимыми дьяволом гестаповцами и эсэсовцами, не удивительно, что мне тогда казалось, будто комендант Рудольф Ниичке не самый худший из них. Он сидел большей частью в своей канцелярии, откуда хорошо были видны ворота и все, что происходило в лагере. Иногда летом он совершал с собакой прогулку по лагерю, но чаще всего направлялся туда, где возле проволочного заграждения был отлогий скат, на который он велел привезти из деревни земли и приказал заключенным, понимающим в огородничестве, посадить помидоры. Сюда-то он главным образом и приходил — посмотреть на помидоры; говорили, что все помидоры у него пересчитаны. Так, наверно, оно и было, потому что, когда однажды кто-то украл два помидора, он приказал всем, кто был в это время в бараках, бегать до тех пор, пока двое хефтлингов не были затоптаны насмерть, а трое или четверо вскоре потом умерли. Меня тогда в лагере не было, потому что я работал в Spätschicht * в каменоломне, и сам я все это не видел, а я хочу говорить только о том, что видел собственными глазами.

Однажды меня и француза Россиньоля, о котором я уже говорил, капо послал из каменоломни в лагерь за железнодорожными рельсами, так как на нашем участке разработок нужно было продолжить железнодорожные пути. Мы пошли в сопровождении часового за рельсами, которые были уже смонтированы на шпалах, поэтому если уж стоишь между рельсами, то нести удобно, но быстро идти невозможно, человек шел словно в упряжке, а рельсы были длиной в восемь метров и все время раскачивались. Россиньоль шел первым, а пост ** — сопляк лет восемнадцати, все время только покрикивал: «Schneller! Schneller» ***; и вот, когда мы поворачивали возле комендатуры на дорогу к воротам, Россиньоля занесло, и как раз под окнами комендатуры он невольно шагнул на клумбу и сделал по ней два шага. На клумбе были посажены цветы, и Ниичке, увидев это через окно, выскочил и закричал: «Ах ты, дерьмо свинячье, не видишь, куда лезешь?!» Россиньоль плохо говорил по-немецки. «Я не хотел это сделать!» — сказал он. «Ты не хотел, но сделал, этакая ты скотина!» — завопил Ниичке, вырвал из рук у одного из хефтлингов мотыгу и ударил Россиньоля по голове. Россиньоль упал, тогда Ниичке стал его пинать, всячески обзывать и снова бить палкой по голове и по лицу. Россиньоль вообще не кричал, только с ужасом смотрел на него и выплюнул немного крови. Тут один эсэсовец среди тех, кто выбежал из комендатуры, крикнул: «Этот мешок с дерьмом все еще живет!» Ниичке вытащил револьвер, тот эсэсовец тоже выхватил револьвер, а часовой, который вел нас, прицелился из карабина. Все стали что-то кричать, что — я уже не помню, и Ниичке выстрелил в Россиньоля. Он выстрелил несколько раз — пять или шесть, наверно, плохо попадал, потому что Россиньоль даже приподнял голову. Все это я видел, но я не храбрый человек, я боялся, я не мог даже сдвинуться с места, хотя Россиньоль и был моим другом.

С того времени, о котором я здесь рассказываю, прошло двадцать два года. Не знаю, что делали все это время те, кто нас тогда мучил и убивал. Я этим не интересовался, меня занимали более важные дела. Некоторых я видел на фотографиях в газетах в качестве обвиняемых, многие, наверно, спокойно умирали у себя дома, простившись с семьей, с женой и детьми. Ясно лишь одно — время течет, и наши палачи, и мы,

* Ночная смена *(нем.)*.
** От немецкого Posten — часовой.
*** Быстрее, быстрее *(нем.)*.

их жертвы, стали на четверть века старше, пройдет еще столько же времени, и не будет ни их, ни нас, ибо все мы отправимся туда, где всех нас за все наши деяния будет судить праведный суд.

Я сам забыл уже много из того, что пережил, и все чаще, когда думаю о тех временах, мне кажется, что все это было лишь кошмарным сном.

Но когда недавно, во время моих ежедневных странствий из дома в дом со словом божьим, я оказался перед калиткой, на которой прочитал имя Рудольфа Ничке, а потом увидел его, мне что-то так сдавило горло, что жена моя, которая стояла тут же рядом, спросила, что со мной. Но я промолчал. Я подумал — если это он, то и бог с ним, он и так предстанет перед высшим Судией, и не мое дело вмешиваться в неисповедимые пути Провидения — это тяжкий грех. Да и что такое преходящая кара в сравнении с вечным осуждением? Песчинка в сравнении с горой. И мы с женой пошли дальше выполнять наше предначертание. Но потом, когда мы вернулись в наш скромный маленький домик и возблагодарили господа за то, что имеем, вдруг все во мне перевернулось. Мне показалось, что пришел Россиньоль, и я слышал, как он говорит, что не хотел наступить на эти цветы, за что же его убили? А ведь он мог бы еще жить и сделать столько добра для своей семьи и для других людей. Мне чудилось, что он просит меня и даже требует, чтобы я, как немец, здесь, на немецкой земле, вспомнил о нем. Он даже сказал нечто вроде того, что если те, кто его убил, будут наказаны, то он оживет и сможет вернуться в свой дом.

Всю ночь до самого рассвета я не спал, все думал и мучился, потому что не знал, что мне делать. У меня не было уверенности, что человек, которого зовут Рудольф Ничке, это именно тот человек, который убил моего друга Россиньоля. Один раз мне показалось, что это он, а потом будто это совсем другой. Чем больше я думал и настойчивее старался вспомнить лицо того, тем больше я забывал его, все стиралось, все затуманивалось, и в конце концов я даже перестал видеть лицо моего друга Россиньоля.

Ганс-Иоахим Герстенбауэр

МАНУЭЛЬ СЕПЕДА ВАРГАС

Пламя Колумбии

Перевод с испанского
ЮРИЯ ИСАЕВА

Эти стихи написаны в тюрьме. Их автор был брошен в тюремные застенки за свою революционную деятельность: он — один из руководителей комсомола Колумбии и талантливый представитель молодой прогрессивной поэзии этой латиноамериканской страны. Свое творчество он посвятил борьбе колумбийского народа за свободу и независимость, против империализма и реакции. Публикуемые стихи, взятые из вышедшего в свет в Боготе сборника «Ты победишь, Маркеталия!», воодушевлены самоотверженным выступлением крестьян горного района Маркеталия (Центральные Кордильеры), с оружием в руках защищающих свои права, героическим сопротивлением патриотов.

Партизаны

Выстрел.
И снова ночь
черным кольцом все сжала.

Ночь,
ты должна им помочь.

За ними гонятся — их мало...

Укрой, запрячь понадежней,
ради будущего, ради надежды,
помоги им, темная ночь.

Факел

Вам, партизаны, слава —
вам,
с Кордильер
Центральных!
Вы озаряете небо
факелом мести и гнева.

Бушует свободы пламя
на Кордильерах
Центральных.

Все люди земного шара
видят огромное пламя
на Кордильерах
Центральных.

Ежедневно

Меня не пугает тюрьма, сеньоры.
Хоть, если и говорить серьезно,
бывает холодно, особенно ночью,
и хлеба мало, очень-очень.
Из камер сырых и темных
несутся крики, несутся стоны.
А в основном ничего, сеньоры,
если, конечно, забыть про холод.

Одно, отчего мне бы грустно стало,—
разрешите быть откровенным,—
если бы я не боролся вместе
с народом
против тиранов, против измены.

Прислушайтесь внимательно —
ночью каждой
одинокие крики по переулкам,
а вместо хлеба—страдания, муки.

Я, в общем, не унываю,
и ежедневно из камеры вылетает
птицей с крыльями гибкими
моя открытая улыбка.
Через квадраты тюремных решеток
несется к людям, навстречу солнцу,
чтоб им помогать в их правом деле
всегда,
ежедневно.

■

Я, она и наш сын

Вчера в коридоре тюремном
мы снова были вместе.
Несколько моментов
коротких, как сны,—
я,
  она
    и наш сын.
После долгих месяцев разлуки
ко мне протянулись родные руки.
Смотрел на губы, смуглую кожу —
наш сын на папу очень похожий.

Знаю, разрушим тюремные башни,
это случится скоро. Ну а пока что —
через все застенки и камеры
пройдет, торжествуя,
дыханье в дыхание,
людей на борьбу призывая,
пронесется сквозь стены
ярким пламенем
любовь огромная, неделимая,
ее,
  моя
    и нашего сына

■

Что случилось с солнцем?

— Солнце!
— Солнце!
— Пора взойти солнцу!
— Что случилось с солнцем?

Так кричали заключенные
с пятого этажа.
Отрешенные, отделенные
решетками ржавыми.

Сотрясали железные двери,
уже ни во что не верили,
были не люди, а звери.

Жестокого времени жертвы,
сытые до предела
страданием и терпением.

С огромной болью смотрел
на них,
гуляя под небом синим
с мыслями невеселыми.

Когда кричат заключенные:
— Солнце!
— Солнце!
— Нам нужно солнце!—
Что сделал ты,
человек свободный,
за всю твою жизнь под
солнцем?

В высоких горах...

Ты заперт стенами камер,
тебя палачи терзают.
Товарищ, духом не падай —
в горах партизаны!

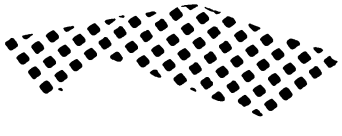
Потоки дождей весенних
стены тюрьмы омывают.
Товарищ, смотри веселее —
в горах партизаны!

Встанут рабочие и студенты,
крестьяне с оружием встанут,
Солнце для всех засветит —
в высоких горах партизаны!

■

Знамя

Если тебя разбудят завтра,
если тебя позовут завтра,
если тебе дадут завтра
огромное красное знамя,
не дай, чтоб оно упало,
неси это красное знамя,
пока способен
стрелять и целиться,
пока бьется храброе сердце.



ЧАРЛЬЗ П. СНОУ

КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

РОМАН

Перевод с английского В. ЕФАНОВОЙ, М. МИРОНОВОЙ и Р. ОБЛОНСКОЙ под редакцией Н. ГАЛЬ

Часть первая

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА

Званый обед

Я попросил шофера остановить такси на углу Лорд Норт-стрит. Мы с Маргарет помешаны на пунктуальности и в этот вечер по обыкновению приехали слишком рано. Нужно было как-то убить четверть часа, и мы лениво побрели в сторону набережной. В вышине над Большим Беном светился фонарь — шло заседание парламента.

Этот вечер не сулил нам с женой ничего интересного. Нам и прежде случалось обедать у Куэйфов. Роджер Куэйф — депутат-консерватор из молодых — в последнее время стал заметно выдвигаться. Я столкнулся с ним по службе, и он показался мне человеком незаурядным. Обычное приятное знакомство, из тех, что неизбежно завязываются в кругу высших государственных чиновников и политических деятелей обеих партий; такие знакомства не обязывают к частым встречам, но позволяют чувствовать себя своим человеком в «нашем Лондоне», как тут принято говорить.

Едва пробило восемь, мы вернулись на Лорд Норт-стрит. Горничная проводила нас наверх в гостиную, где так и сверкали огни люстр, уставленные рюмками подносы, крахмальные сорочки двух опередивших нас гостей и ослепительно сияло ожерелье Кэро Куэйф; она подошла пожать нам руки.

— Вы, конечно, со всеми знакомы? — сказала она.

Ей было лет тридцать пять; высокая и миловидная, она уже начинала полнеть, но все еще оставалась изящной и стройной. Голос ее, выразительный и низкий, нередко звучал излишне громко. От нее веяло неподдельным, через край бьющим счастьем — невольно казалось, что и все вокруг могут стать такими же счастливыми, стоит только захотеть.

Вслед за нами появились еще гости. Все они были хорошо знакомы между собой — нерушимое правило приемов у Кэро — и называли друг

друга просто по имени. Собственно говоря, только с одним из присутствующих мы были знакомы так же близко, как с Куэйфами. Это был Монти Кейв — еще одна восходящая звезда на политическом горизонте, как утверждали знатоки. У него были пухлые щеки, большие грустные глаза и негромкий, мягкий и гибкий голос.

Кроме того, здесь были еще три супружеские пары: мужья — рядовые члены парламента от консервативной партии, все не старше сорока; жены им под стать — молодые, видные, подтянутые, каких встречаешь часа в четыре на улицах, прилегающих к Кенсингтонским садам, когда они забирают детей из фешенебельных детских подготовительных школ. И еще здесь была пожилая женщина — некая миссис Хеннекер, вдова адмирала, особа весьма разговорчивая и бесцеремонная.

Пока мы сидели и пили, поджидая еще не вернувшегося домой Роджера Куэйфа, разговор шел о политике.

Приближались выборы — это была весна 1955 года. Они обещали поддерживать друг друга; кто-то хвастал, что два министра «как пить дать» выступят в его поддержку. «У Роджера положение прочное,— сказал другой,— на него можно надеяться». Остальные мужчины говорили о Роджере так, будто он единственный из них должен был преуспеть в самом скором времени, будто он не такой, как все. Настроение становилось все радужнее. Потом горничная доложила:

— Леди Кэролайн, приехал доктор Рубин.

У самого Куэйфа титула не было, но жена его — дочь графа — принадлежала к богатому аристократическому роду, из которого в девятнадцатом столетии вышло несколько видных деятелей партии вигов.

Кэро поднялась, громко приветствуя гостя, я оглянулся. И был поражен. Да, это он самый — Дэвид Рубин, американский физик и мой хороший знакомый. Он вошел очень скромный, чуть настороженный; смокинг на нем был с иголочки, куда более элегантный, чем на ком-либо из гостей, манжеты скрепляли жемчужные запонки. От своих приятелей в ученом мире я знал, что он — один из самых выдающихся физиков современности. Но в отличие от них всех он еще и франт.

Кэро Куэйф усадила его рядом с моей женой. К этому времени в гостиной было уже полно народу, и Кэро, бросив подушку на пол, села около меня.

— Вы, должно быть, привыкли к тому, что женщины сидят у ваших ног,— сказала она. И добавила: — Не могу понять, куда запропастился этот несносный Роджер.

Она говорила о нем весело, без тени тревоги — тоном женщины, избалованной счастливым браком. Со мной она говорила задорно, почти дерзко и в то же время с почтительным любопытством; она явно не привыкла скрывать свои мысли и взвешивать слова.

Жена одного из членов парламента стала рассказывать об общем знакомом, у которого были неприятности «по дамской части»: в кои-то веки отвлеклись от палаты общин. Этот знакомый был банкир. «Зацепило» его основательно. Жена тревожилась.

— А эта его дама хороша собой? — со смешком спросила Кэро.

Я заметил на грустном лице Дэвида Рубина некоторое оживление. Эта тема его, видимо, заинтересовала.

— О, она сногсшибательна!

— Ну, раз так, Эльзе тревожиться не о чем,— воскликнула Кэро.— Когда глава семейства начинает проявлять признаки рассеянности, жене надо остерегаться вовсе не сногсшибательных красавиц. Бойтесь тихоньких сереньких мышек, которых никто никогда не замечает. Вот если такая запустит в него коготки, тогда ставьте на нем крест и думайте, как объяснить все детям.

Остальные жены смеялись вместе с ней. Нет, все-таки красавицей

ее не назовешь, подумал я, уж очень она земная. И тут глаза ее засветились, и она не очень грациозно поднялась с подушки.

— Вот он! — сказала она.— Наконец-то!

Вошел Роджер — нескладный, немного смешной, хотя держался свободно. Он был рослый, крепкий и довольно грузный; ни в лице, ни в фигуре его не было гармонии: голова, хоть и хорошей формы, несоразмерно мала; уголки серых блестящих глаз оттянуты книзу; переносица плоская, верхняя губа выступает над нижней. Словом, далеко не красавец, но лицо приятное. Все его коллеги, находившиеся здесь, если не считать Кейва, были стройны и по-военному подтянуты; рядом с ними он выглядел неуклюжим и расхлябанным. Когда мы с ним встретились впервые, он напомнил мне Пьера Безухова из «Войны и мира», однако, не в пример Пьеру, производил впечатление человека энергичного и делового.

— Извини, пожалуйста,— сказал он жене.— Меня поймали по телефону...

Он сразу привлекал к себе внимание, подобно актеру на сцене, хотя вовсе не добивался этого. Говорил и двигался он легко и непринужденно.

У Роджера была несколько другая интонация, чем у его приятелей. Но какая именно, я определить не мог. Воспитанники Итона и гвардейские офицеры говорят не так — прислушавшись, каждый заметил бы, что к «сливкам» он не принадлежит. И в самом деле, отец его был инженер-конструктор, солидный, зажиточный провинциал. Роджер не так молод, всего на пять лет моложе меня, следовательно, ему все сорок пять.

Он заинтересовал меня с самого начала нашего знакомства, хотя я и не мог бы объяснить, почему именно. Но в этот вечер, за обедом, я слушал его с легким разочарованием. Да, ум у него поострее, чем у других, и суждения более вески. Но и он, как остальные, говорил только о внутрипарламентских делах, о хитросплетениях этой их шахматной игры, как будто ничего другого на свете не существовало. В присутствии Дэвида Рубина это было по меньшей мере невежливо. Я начал злиться. Я не разделял их взглядов. Они понятия не имели об окружающем мире, тем более о мире завтрашнем. Я взглянул на Маргарет, сидевшую с оживленным, подчеркнуто внимательным видом, который она напускала на себя всякий раз, когда ей бывало очень скучно, и меня потянуло домой.

Дамы ушли наверх, в гостиную, а мы остались в освещенной свечами столовой. И вдруг мою досаду как рукой сняло.

— Подсаживайтесь ко мне,— сказал Роджер Рубину. И легонько прищелкнул пальцами, словно подавал сам себе какой-то знак. По другую сторону он посадил меня. Наливая Рубину коньяк, он сказал: — Боюсь, мы нагнали на вас скуку смертную. Сейчас у нас одни выборы на уме.— Он поднял глаза и улыбнулся широкой насмешливой улыбкой.— Хотя вы, наверное, и сами об этом догадались, если слушали внимательно.

Впервые за весь вечер Дэвид Рубин вступил в разговор.

— Я хотел вас кое о чем спросить, мистер Куэйф,— сказал он.— Как по-вашему, чем кончатся эти выборы? Или это вопрос нескромный?

— Нет, отчего же,— сказал Роджер.— Положение примерно такое. В худшем случае голоса разделятся поровну. Для нас (он имел в виду консервативную партию) ничего хуже быть не может. Ну, а при удаче мы можем одержать и победу, если не блестящую, то во всяком случае внушительную.

Похоже, что он свое дело знает, подумал я. Но по-настоящему интересно мне стало чуть позже. Сосед мой курил сигару, дым завивался

вокруг огонька свечи; казалось, это обыкновенный лондонский обед в обыкновенном богатом доме, когда мужчины на четверть часа остаются одни. И вот тут-то Роджер, спокойно и внушительно восседавший в кресле, повернулся к Дэвиду Рубину и сказал:

— А теперь, если не возражаете, и я вас кое о чем спрошу.

— Пожалуйста! — сказал Рубин.

— Если на какой-нибудь вопрос вы не вправе ответить, пусть это вас не смущает. Прежде всего, мне хотелось бы знать, много ли смысла в том, что мы делаем в области ядерного вооружения?

Из всех сидевших за столом у Рубина было самое серьезное, самое усталое и нервное лицо. Он был не старше других, но среди всех этих румяных, обветренных английских физиономий выглядел поблекшим, серым — с ранними морщинами и темными кругами под глазами. Он казался существом иной породы, более утонченным и хрупким.

— Боюсь, я не совсем вас понял,— сказал он.— Что вы имеете в виду? Ядерное оружие в Соединенном Королевстве? Или у нас? Или вообще в мире?

— Да разве можно это разделить? — с трезвой практичностью сказал Роджер, и все взгляды обратились на него.— Но давайте начнем с ближайшего, то есть с нас. Так вот, как по-вашему, есть какой-то смысл в том, что делает наша страна?

Рубину было нелегко ответить с той же прямотой. Он занимал пост советника при своем правительстве. А еще больше мешала ему чрезмерная деликатность. Он сделал все, чтобы уклониться от прямого ответа. Роджера интересуют бомбы, как таковые, или средства доставки? Он призвал на помощь меня: по долгу службы я в последние годы не раз присутствовал при том, как американские и наши эксперты обсуждали все это.

Но помимо соображений научного и военного характера, говорил загнанный в угол Рубин, Соединенное Королевство, может быть, хочет иметь собственное оружие еще и по каким-то другим причинам.

— Ну, это уж наша забота,— мягко возразил Роджер.— А вот вы скажите, хотя бы приблизительно, какова наша доля в общем ядерном вооружении — вы ведь в этом разбираетесь, как никто другой.

— Что ж, если вы настаиваете...— Рубин пожал плечами.— При всем старании вам не вытянуть и двух процентов.

— Послушайте, профессор Рубин,— раздался чей-то густой бас,— вам не кажется, что вы очень уж легко вышвыриваете нас из игры?

— Я был бы только рад, если б мог ответить по-другому,— сказал Рубин.

Обладатель баса был некий Том Уиндем. Он весело смотрел на Рубина, и во взгляде его была самоуверенность человека, по рождению принадлежащего к правящему классу, самоуверенность, которая не то что позволяет закрывать глаза на возможность перемен, но помогает не задумываться над подобной перспективой. Рубин виновато улыбнулся. Он был на редкость вежливый человек. Но хоть и скромный и сдержанный, он не лишен был уверенности в себе: ничуть не удивился, узнав, что у него есть все шансы получить Нобелевскую премию.

— Неважно,— сказал Монти Кейв с понимающей усмешкой,— ведь Роджер, по своему обыкновению, сам напросился.

Роджер улыбнулся, и по этой улыбке было ясно, что с Кейвом они не только союзники, но и друзья. Вот уже пять лет с тех самых пор, как оба вошли в парламент, они вдвоем возглавляли группу заднескамеечников в палате общин.

— А теперь, Дэвид,— ничего, что я зову вас просто по имени? — разрешите мне пойти немного дальше. Как насчет Соединенных Штатов — есть смысл в вашей ядерной политике?

— Надеюсь.

— А может быть, она основана на предположении, что техническое превосходство так на веки веков и останется за вами? Кое-кто из наших ученых как будто считает, что вы недооцениваете русских. Верно, Льюис? — обратился он ко мне.

Роджер хорошо осведомлен, подумал я. Ведь именно это утверждали Фрэнсис Гетлиф, Уолтер Льюк и их коллеги.

— Разве? — сказал Рубин.

Он, видимо, был несколько задет. И все же я видел, что он уважает Роджера.

— Что ж,— сказал Роджер,— допустим (так оно будет вернее), что Запад, то есть вы, и Советский Союз вступают в гонку ядерных вооружений приблизительно на равных началах. Сколько же времени в таком случае остается нам, чтобы предпринять какие-то шаги?

— Меньше, чем мне хотелось бы.

— Сколько лет?

— Ну, скажем, десять.

Настало короткое молчание.

— Не наводит ли это всех вас на размышления? — сказал Роджер. Сказал не без сарказма и, видимо считая разговор законченным, отодвинул свое кресло, давая понять, что пора возвращаться в гостиную.

Он распахнул дверь, и тотчас в коридоре, в гостиной наверху, в столовой, откуда мы выходили, поднялся трезвон. Можно было подумать, что мы на корабле и звонки объявляют учебную тревогу. Роджер, который только что выглядел весьма солидно — даже, я бы сказал, внушительно,— застенчиво улыбнулся.

— Сзывают на голосование,— пояснил он Дэвиду Рубину все с той же улыбкой, смущенной, до странности детской и в то же время довольной — так улыбаются люди, готовясь принять участие в обряде для избранных.— Мы ненадолго.

Члены парламента выбежали из дому, точно мальчишки, которые боятся опоздать на урок. Мы же с Дэвидом пошли вдвоем наверх.

Дамы только что завели разговор, который теперь неизбежно заходил в подобных гостиных: о школах или, точнее, о том, как определять в них детей. Молоденькая мать, гордая и своим материнством и прозорливостью в вопросах образования, объявила, что ее трехмесячный сын уже через час после своего рождения был внесен в списки не только Итона, но и высшего учебного заведения. «Мы бы его и в Белиол * записали,— прибавила она,— да только теперь туда заранее не записывают».

А куда пристроила детей Кэро? Что думает Маргарет делать со своими? Я издали наблюдал за Дэвидом Рубином: с обычной своей изысканной учтивостью он внимал рассказам о порядках, которые конечно же в душе считал нелепыми,— о том, как за тринадцать лет вперед покупают для детей места в школе. Он лишь мимоходом упомянул, что, хотя ему самому только сорок один год, его старший сын уже на втором курсе Гарвардского университета. Остальное время он внимательно и серьезно слушал.

Наконец вернулись мужчины. Голосование закончилось, правительственная партия получила обычное большинство. В половине двенадцатого мы с Маргарет поднялись; с нами ушел и Дэвид Рубин. Такси, урча, катилось по набережной к Челси, где он сейчас жил. Они с Маргарет говорили о проведенном вечере, а я смотрел в окно, не принимая участия в разговоре. Мысли мои были далеко.

---

* Один из лучших колледжей Оксфорда, который окончили многие выдающиеся политические деятели.

Когда мы распрощались с Дэвидом, Маргарет взяла меня за руку.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

Я и сам не знал. Просто я загляделся на знакомый привычный город: на исхоженные мною вдоль и поперек улочки Челси, на огни Фулхем-роуд, на Кенсингтонские сады, на Куинсгейт-стрит, по которой мы ехали к парку,— все это путаное-перепутанное, шумящее листвой, не очень-то красивое, приземистое — в других столицах дома куда выше... Мне немало пришлось пережить здесь, и сейчас я не то чтобы вспоминал, а скорее ощущал смутные отголоски когда-то испытанного в этих местах: любовь, женитьба, горести и радости, удовольствие от вечерних прогулок... О сегодняшнем разговоре я не думал — он не первый и не последний, мы к таким уже привыкли. И все же вдруг с неожиданной силой меня захлестнула волна нежности к этому городу, хотя в обычные, трезвые часы особой любви к нему я не испытывал.

Плохо освещенная дорога через парк, сверкающая огнями Серпентайн, бледные фонари Бэйсуотер-роуд переполняли меня волнением, которого от себя не скроешь, а между тем есть в нем что-то почти неприличное, в чем не хочешь признаться — так бывает, когда иностранец скажет что-то хорошее о твоей стране, и годами воспитываемая выдержка вдруг изменяет тебе, и к глазам подступают слезы.

Старый Герой

Выборы прошли согласно намеченному плану — точнее сказать, согласно плану, намеченному приятелями Роджера. Их партия вернулась к власти, получив большинство в шестьдесят голосов. Роджер получил пост в правительстве.

Лишь только об этом было объявлено, мои сослуживцы принялись строить всяческие предположения. По Уайтхоллу распространились слухи, что Роджер честолюбив. Недоброжелательства в этих слухах не было. Они были до странности лишены личного пристрастия и до странности упорны; распространяли их люди, вовсе незнакомые с Роджером, создавая ему раз и навсегда определенную репутацию.

Как-то летом, вскоре после выборов, я сидел в кабинете своего шефа сэра Гектора Роуза; за окнами зеленел Сент-Джеймсский парк, и прокравшийся в комнату солнечный луч лег поперек письменного стола. Под началом Роуза я проработал шестнадцать лет. В делах мы полностью доверяли друг другу и, однако, после стольких лет отнюдь не были на короткой ноге. Сейчас он подвергал меня вежливому допросу. Нет, я не знаком близко с Роджером Куэйфом, ответил я,— в ту пору это соответствовало истине. Все же мне казалось — хоть оснований для этого у меня было немного,— что это орешек твердый.

Мои догадки по части психологии не произвели на Роуза большого впечатления. Его занимала практическая сторона дела. Допустим, Куэйф и в самом деле честолюбив. Он, Роуз, не находил в этом ничего предосудительного. Но на посту, который занял Куэйф, уже сломал себе шею не один честолюбец. Если у Куэйфа была возможность выбирать, то этот шаг указывает на известную опрометчивость.

— Из чего, дорогой мой Льюис, совершенно очевидно,— сказал Гектор Роуз,— что выбирать ему не пришлось. А это в свою очередь наводит на мысль, что кое-кто из наших хозяев не очень к нему расположен. К счастью, проверка их замечательных и, без сомнения, хорошо продуманных решений дело не наше. Куэйфа хвалят. Значит, работать нам с вами станет — хотя бы временно — легче.

Назначение Роджера представляло для Роуза не только отвлеченный интерес. После войны так называемая «работа на оборону» шла

у нас по разным каналам. Большей частью ею теперь занималось вновь созданное министерство, то самое, куда Роджера назначили товарищем министра. При этой реорганизации Роуз лишился части своих обязанностей и полномочий, что, на мой взгляд, было весьма несправедливо. Когда мы с ним познакомились, он был самым молодым непременным секретарем в государственном аппарате. Теперь ему оставалось три года до отставки — все это время (дольше, чем кто-либо из его коллег) он пробыл в одном и том же чине, на одной и той же должности. Он получил орден Бани — награду, которую высоко ценили он и его приятели, но которую, кроме них, никто не замечал. Он по-прежнему работал с точностью электронно-счетной машины. Однако его изысканная учтивость, в прошлом столь же беспредельная, как и его познания, теперь, случалось, ему изменяла. Он по-прежнему был с виду бодр, крепок и неутомим, но от моложавости, которую он сохранял очень долго и в зрелом возрасте, не осталось и следа. Волосы поседели, лоб прорезала глубокая морщина. Велико ли было его разочарование? Мне он во всяком случае об этом ни разу ни полсловом не обмолвился. В новом министерстве, где он, должно быть (и не без основания), рассчитывал стать министром, он делал все, что входило в его обязанности, и многое такое, что в эти обязанности не входило.

Новое министерство было для чиновников государственного аппарата постоянным источником огорчений. Роуз сказал правду: лучшее место, чтобы спровадить врага, трудно было придумать. И не потому, что у государственного аппарата и правительства были разногласия по основным вопросам. Роуз и почти все его коллеги были консерваторами и исходу выборов радовались не меньше, чем круг Куэйфов.

Нет, дело в том, что новое министерство — как и всякое учреждение, связанное с производством новейших средств ведения войны,— тратило уйму денег, но не могло ничего представить в оправдание своих расходов. Роуз и другие высшие чиновники испытывали пренеприятнейшее чувство, что события развиваются помимо них. Ни один из сменившихся министров их не устраивал. Теперешний же — лорд Гилби, непосредственное начальство Роджера — оказался хуже всех. Высшие государственные чиновники привыкли к министрам, которых приходилось уговаривать или запугивать, чтобы они приняли то или иное решение. Но столкнувшись с таким, который, встречая их с отменной любезностью, не желал, однако, ни сам принять решение, ни предоставить это подчиненным, они окончательно растерялись.

Мне самому приходилось попадать в такое положение. Случалось, что интересы нашего департамента и министерства Гилби переплетались, и тогда Роузу требовался посредник. Такой посредник должен был обладать известным влиянием, и он приспособил на эту роль меня. В некоторых вопросах я разбирался лучше других, потому что уже очень давно ими занимался. Кроме того, у меня было еще одно маленькое преимущество — я не скрывал, что собираюсь покинуть Уайтхолл, и, вопреки всякой логике, авторитет мой от этого только возрос. Во всяком случае, ко мне стали прислушиваться с тем суеверным почтением, с каким здоровые люди слушают того, кто, по всеобщему признанию, уже не жилец на этом свете.

Таким образом, мне довольно часто приходилось бывать у них в министерстве, которое помещалось шагах в трехстах от нас, в крыле, выходившем в парк. Как и все прочие, я имел дело с самим лордом Гилби. И мои попытки добиться от него какого-либо решения увенчивались успехом не чаще, чем чьи-либо еще, а может и реже. Тем не менее, через несколько дней после нашего разговора с Роузом я вместе с непременным секретарем их министерства предпринял одну такую попытку.

Непременный секретарь был мой давнишний коллега Дуглас Осбалдистон, о котором сейчас говорили то же, что лет двадцать назад о Роузе. Его считали восходящей звездой.

Казалось бы, он резко отличался от Роуза: прост в обращении, скромен, прямодушен в тех случаях, когда Роуз бывал уклончив; невысокого происхождения, тогда как Роуз был сыном епископа, вместе с тем он обладал прекрасными манерами государственного чиновника старой школы и держался, как принято было держаться в старину — несколько небрежно. На самом деле он был не более небрежен, чем Роуз, и никак не глупее. Прежде, когда он еще работал под началом Роуза, я воображал, что для высших должностей ему недостает твердости. Я жестоко заблуждался.

Он тщательно изучил карьеру Роуза и твердо решил не повторять его ошибок. Он старался поскорей наладить дела, чтобы расстаться с нынешней должностью («Тут же ничего не добьешься»,— напрямик говорил он) и вернуться в казначейство.

Долговязый, худой, румяный, он до сих пор сохранил что-то от студента. Был находчив, совсем не чопорен, и с ним было на редкость легко иметь дело. Нрав у него был приветливый, и у нас сложились дружеские отношения, каких я так и не смог установить с Гектором Роузом.

В то утро, дожидаясь приема у Гилби, мы в два счета выработали план действий. Во-первых, это была, так сказать, грубая наметка — необходимо добиться прекращения работ по созданию некой весьма проблематичной ракеты, на которую уже ухлопаны миллионы, и во что бы то ни стало убедить Старого Героя, как прозвали лорда Гилби его подчиненные, подписать соответствующий приказ по министерству. Во-вторых, недавно начали поговаривать о новых средствах доставки боеголовок. Осбалдистон, доверявший моему нюху, соглашался, что надо поскорее этим заняться, иначе на нас обязательно станут нажимать сверху.

— Если бы только нам удалось заставить старика передать это дело новобранцу...— сказал Осбалдистон.

Под «новобранцем» он подразумевал Роджера Куэйфа.

Я спросил Осбалдистона, что он думает о Роджере. Производит лучшее впечатление, чем все его предшественники, сказал Осбалдистон. И прибавил, что, поскольку Гилби сидит в палате лордов и проводить все дела в палате общин придется Куэйфу, это весьма утешительно.

Мы вышли в коридор, безлюдный — если не считать одинокого рассыльного,— высокий, чересчур просторный и поэтому всегда темный, от него так и веяло затхлой роскошью Уайтхолла прошлого столетия. В гнетущем мраке выделялись красные буквы над дверью: «Товарищ министра мистер Роджер Куэйф». Осбалдистон ткнул пальцем в надпись и, возвращаясь к нашему разговору о Роджере, заметил:

— Хоть в одном нам повезло: он не является спозаранку.

Кабинет лорда Гилби помещался в конце коридора и выходил окнами в парк, так же как кабинет Гектора Роуза в противоположном крыле здания. При пасмурном освещении стены, обшитые белыми панелями, призрачно отсвечивали; лорд Гилби стоял между письменным столом и окном, с явным неодобрением глядя на проливной дождь, нависшие облака, шумящие пышной листвой ветви деревьев.

— Пакость! — сказал он, словно вынося наконец решительный и бесповоротный приговор погоде.— Какая пакость!

Лицо у него было приятное, с мелкими чертами и словно бы открытое, но в то же время много по нему не прочтешь. Для человека, которому перевалило за шестьдесят, он был удивительно строен. Дер-

жался приветливо и ровно. И все же предложение, казавшееся нам довольно умеренным в кабинете Осбалдистона, сейчас вдруг начало обрастать таинственными трудностями.

— Господин министр,— сказал Осбалдистон,— право же, пора кабинету что-то решить насчет «А»...— он назвал шифр ракеты.

— Насчет «А»?..— задумчиво повторил Гилби тоном человека, впервые услышавшего о какой-то новой, оригинальной, но вряд ли разумной затее.

— Ведь обо всем, о чем только можно, мы уже договорились.

— Не надо, знаете ли, торопить события,— сказал Гилби укоризненно.— Или, по-вашему, надо?

— На бумаге соглашение по этому вопросу было достигнуто уже полтора года назад.

— На бумаге, голубчик? Лично я считаю, что в таких случаях самое главное привлечь сторонников, убедить людей в своей правоте.

— Именно этого мы все время и добиваемся, господин министр,— сказал Осбалдистон.

— Значит, вы считаете, что хорошенького понемножку — попробовали и хватит. Вы и в самом деле так думаете, сэр Дуглас?

Обращение «сэр Дуглас» уже само по себе было мягким выговором. Обычно Гилби называл Осбалдистона просто по имени. Мой коллега покосился на меня, у него был вид человека, которого бьют по голове пуховыми подушками. В который уже раз он убеждался, что Старый Герой не только любезен, но еще и упрям и тщеславен... Осбалдистон прекрасно понимал, что, едва он выйдет за дверь, на Гилби «насядут» деловые тузы, вроде лорда Лафкина, для которого отказ от этого проекта означал потерю миллионов, или старые боевые друзья, уверенные, что лучше хоть какое-то оружие, чем никакого.

И Осбалдистон недаром этого опасался. Потому-то он и постарался, чтобы в комиссию по обсуждению проекта не вошел ни один военный. Дело даже не в том, что Гилби — старый прославленный воин и младшие чином не посмели бы ему перечить. Прозвище «Старый Герой» было дано ему не в насмешку — обе войны он провел в действующей армии и показал себя исключительно храбрым офицером; во время второй мировой войны он командовал дивизией. Однако дальше он не пошел. Я слышал от военных, что, будь у него хотя бы средние способности, он автоматически дошел бы до самых вершин, ибо трудно представить себе человека, обладающего лучшими связями. Звание пэра досталось ему по наследству, а не за заслуги в войне. Он был, что называется, потомственным английским аристократом.

— Господин министр,— сказал Осбалдистон,— если вы считаете, что разумнее будет еще раз проверить, насколько велики разногласия, чего проще — созовем межведомственное совещание на вашем уровне. Или на моем. Или устроим совместное заседание министров и чиновников государственного аппарата.

— Я, знаете ли, не сторонник всяких там совещаний и комиссий,— сказал Гилби,— обычно они ни к чему не приводят.

На сей раз даже Дуглас Осбалдистон растерялся. Он ответил не сразу:

— Есть еще и другой способ. Вы и министры всех трех родов войск могли бы обсудить этот вопрос с премьером. Мы могли бы очень быстро подготовить для вас необходимые материалы.

(Без сомнения, Осбалдистон про себя подумал, что соответствующие материалы получит в этом случае и премьер-министр.)

— Нет. Я не стал бы ему этим докучать. У него и так дел выше головы. Нет, мне этого не хотелось бы.

Гилби озарил нас милой, благосклонной улыбкой, в которой сквозило торжество, и продолжал:

— Знаете, что я сделаю?

— Да, господин министр?

— Я еще раз просмотрю все документы. Приготовьте их мне к концу недели, будьте так добры. И еще было бы неплохо, если бы вы составили небольшой конспект — так на страничку, не больше...— И вдруг, прервав сам себя, спросил с простодушным самодовольством: — Как вам нравится мой костюм?

Вопрос был по меньшей мере странный. Вряд ли кому-нибудь могло прийти в голову счесть меня или Дугласа Осбалдистона знатоками по части портновского искусства; а вот лорд Гилби — в рамках, дозволенных джентльмену,— безусловно был щеголь. Разговор он переменил с самым невинным видом: при всей своей неспособности принимать решения, отмахиваться от них он был способен вполне.

— Очень мило выглядит,— ответил я без всякого интереса.

— Никогда не догадаетесь, где мне его шили.

Нам пришлось довольно бестактно заставить его вернуться к делу. Теперь настал мой черед. Слышал ли лорд Гилби, что кое-кто нащупывает почву относительно возможности производства новых средств доставки? Насколько мы знаем Бродзинского, вряд ли он угомонится только оттого, что его не слишком поощряют. Не благоразумнее ли — так думают и Роуз и Осбалдистон — заняться этим делом, пока о нем не пошли разговоры; не откладывая, привлечь Гетлифа, Льюка и других барфордских ученых? Вероятно, этим пока еще незачем заниматься самому министру, но, может быть, все же следует кому-нибудь — скажем, Куэйфу — уже сейчас начать по этому поводу неофициальные переговоры?

— По-моему, прекрасная мысль,— не преминул подать голос Осбалдистон.

— Куэйфу? То есть моему новому товарищу министра? — ответил лорд Гилби, одарив нас ясным открытым взглядом.— Он будет мне хорошим помощником. На мне столько дел — одному человеку никак не справиться. Вы это и сами знаете. Конечно, мои коллеги — люди, в политике искушенные, и Куэйф тоже, а я простой солдат, и, возможно, кое-кому из них эта работа давалась бы легче, чем мне. Вполне возможно! Да, Куэйф будет мне хорошим помощником. В вашем предложении, Льюис, есть только одно «но». Справедливо ли взваливать на него такой груз, пока он еще не освоился на новом месте? Я лично считаю, что человека нужно вводить в курс дела постепенно.

Не изменяя всегдашней любезности, лорд Гилби продолжал свою тактику пассивного сопротивления. Возможно, он и считал, что одному человеку на его работе не управиться, однако она ему нравилась. Возможно, он и был простым солдатом, однако незаурядной житейской хваткой обладал несомненно; он не хуже других представлял себе, сколько талантливых молодых людей только и ждет своей очереди выдвинуться. Но тут у нас был припасен неплохой козырь. Мое ведомство охотно возьмет на себя начальные переговоры, сказал я. Если Льюк и другие ученые отнесутся к делу так, как мы предполагаем, то Гилби вообще не придется этим заниматься.

Гилби вовсе не улыбалась мысль передать часть работы кому-то другому в своем же министерстве, а уж выпустить эту работу из своего министерства он и вовсе не желал. В конце концов, держась все так же мило и добродушно, он хоть и с оговоркой, но согласился. Он сказал:

— Что ж, по-видимому, так нам и придется поступить.

Осбалдистон глазом не моргнув сделал пометку в блокноте и сказал, что пошлет товарищу министра соответствующее уведомление.

— Не следовало бы перегружать беднягу,— сказал Гилби, все еще мечтая сыграть отбой. Но, поняв, что карта его бита, он умел вовремя остановиться и теперь решительным тоном энергичного человека, имеющего дело с растяпами, сказал: — Что ж, вот и все, что мы пока можем сделать. Я бы сказал, это утро мы провели не без пользы.

Мы знали, что в двенадцать часов он должен быть на заседании кабинета. Казалось бы, он должен робеть перед этими заседаниями, чувствуя, что его слово не имеет там никакого веса. Ничуть не бывало. Он обожал их. Когда он собирался на заседание, у него появлялось совсем особое выражение лица и особая осанка. В обычные дни, прощаясь с Осбалдистоном, или со мной, или с секретарями, сидевшими в смежной комнате, он бросал на ходу «пока!» тоном молодого блестящего офицера-конногвардейца, каким он был давным-давно, еще до первой мировой войны. Но отправляясь на заседание кабинета, он никогда не позволял себе сказать «пока!». Он лишь молча величественно наклонял голову. И неторопливо шествовал к двери, очень прямой, с лицом торжественным и благочестивым, словно в храме.

Речь в палате общин

После того как нам удалось обойти лорда Гилби, я стал постоянно встречаться с Роджером по работе. Он охотно выслушивал всех. Но не слишком охотно делился собственными мыслями. Мне же необходимо было его понять, особенно в одном отношении. И не просто из любопытства, хоть оно все росло, а для того, чтобы решить, как поступать самому.

В середине июля Роджер должен был произнести в парламенте свою первую речь. На своем веку я составил немало подобных речей и хорошо знал, какое значение придают им парламентские заправилы и промышленные магнаты. Я всегда терпеть не мог составлять речи для других и в последнее время почти отделался от этой работы. Она входила в обязанности Гектора Роуза и Дугласа Осбалдистона, и оба они исполняли ее с характерным для них терпением и самоотверженностью. Когда какой-нибудь министр перечеркивал их отточенные, ясные фразы и сам принимался за литературные упражнения, они улыбались ледяной улыбкой и ни на чем не настаивали.

Осбалдистон сказал мне, что на этот раз Роджер почти всю речь пишет сам. Более того, Роджер отредактировал и окончательный вариант речи Гилби. Оба они должны были выступить от своего министерства в один и тот же день: Гилби — в палате лордов, Роджер — в палате общин.

Когда день этот настал, я пошел послушать Роджера. Во дворе Вестминстерского дворца я встретил Осбалдистона, возвращавшегося из палаты лордов, где по долгу службы он слушал выступление лорда Гилби.

— Совершенно непонятно, что он, собственно, хотел сказать,— заметил Осбалдистон с досадой знатока.— Чтобы разобраться в этом, надо быть специалистом по l'explication du texte*.

Когда мы шли на свои обычные места, я заметил, что всегдашнее спокойствие — непоколебимое, как у всех его коллег,— начало ему изменять.

---

* Толкование текстов *(франц.)*.

В центральном вестибюле на меня вдруг повеяло духами, я обернулся и увидел Кэро Куэйф. Глаза ее были широко открыты и блестели — она и не пыталась скрыть волнение.

— Пойду сяду где-нибудь в сторонке, чтобы не действовать вам на нервы,— сказала она.

Я сказал, что за Роджера можно не бояться. Мы не пошли в ложу государственных служащих и отправились вместе с ней на галерею для публики.

— Это просто ужас,— сказала Кэро,— выступать с речью по такому поводу, по которому нечего сказать.

Но, должно быть, после первых же его слов она успокоилась. Стоя там внизу, на трибуне, он выглядел очень внушительно. Его могучие плечи издали казались еще шире. Я никогда прежде не слышал его публичных выступлений и сразу понял, что передо мной незаурядный оратор. И притом оратор самый что ни на есть современный. Он не разливался в красноречии, как было принято еще недавно. И это сразу расположило к нему почти всех сидящих в зале, в том числе меня и Осбалдистона. Он говорил просто и непринужденно, отпечатанный на машинке текст лежал перед ним, но он в него и не заглядывал. Никаких метафор — разве что когда надо съязвить. Как правильно заметила Кэро, сказать ему было нечего, но он не повторил обычной ошибки и не делал попыток убедить слушателей в обратном. Окончательная линия еще не выработана; проблемы перед правительством стоят сложные, тут нет легких путей. Он говорил со знанием дела, чувствовалось, что он отлично разбирается во всех мелочах. Притом в голосе его не было ни малейшего самодовольства, и я подумал, что именно этот тон обеспечивает ему сочувствие слушателей.

Насколько я знаю палату общин, приняли его тепло — и не только его сторонники. Кэро во всяком случае в этом не сомневалась.

— Ну что ж, жаловаться, по-моему, не приходится,— сказала она.

А сидевший по другую руку от меня Осбалдистон, который оценивал речь с чисто деловой точки зрения, подумал вслух:

— Престиж наш это во всяком случае поднимет.

Мы отправились вниз и нашли Роджера в вестибюле: он принимал поздравления. Члены парламента, с которыми он был едва знаком, старались попасться ему на глаза — верный барометр успеха. Возбужденный и довольный, весь в испарине, он, однако, хотел услышать и наше мнение.

— Ну как, сносно? — спросил он, пытливо глядя на меня и Осбалдистона. Только всласть наслушавшись похвал, он заговорил о другом. Теперь, сказал он, можно будет заняться и тем, что волнует ученых. Они с Кэро приглашены на обед. Не могли бы мы после одиннадцати заехать к нему домой, чтобы приступить к делу не откладывая?

И вот позднее, в тот же вечер, я сидел в гостиной Куэйфов и ждал их. Сидел в одиночестве, так как Осбалдистон, живший за городом, решил, что я обойдусь и без него. Они не задержались. Оживленные и радостные, они взбежали по лестнице, однако к делу мы с Роджером приступили далеко не сразу.

Они радовались потому, что обедали у главного редактора «Таймс», и он дал им заглянуть одним глазом в завтрашний утренний выпуск. «Таймс» поистине расстарался. Весь отчет был посвящен Куэйфу, а речи лорда Гилби, его шефа, отведено было всего несколько ничего не значащих строк.

Сияющая Кэро налила нам еще виски с содовой, не забыв при этом и себя. Она была оживлена не меньше Роджера, но в ней чувствовалось куда больше уверенности. Ей было легче поверить в успех, чем ему. Он все еще тревожился, что скажут утренние газеты. В этот

вечер в парламенте он показал себя человеком зрелым, дальновидным, на которого можно положиться. Более того: от которого можно ждать каких-то важных решений. А такое впечатление производит далеко не каждый. И, однако, в тот час в ярко освещенной гостиной на Лорд Норт-стрит он только и думал — неотступно и непрестанно,— что скажут о нем завтра «Телеграф», «Гардиан» и другие популярные газеты. Кэро сидела, поглаживая свой стакан,— гордая, любящая, уверенная. Можно было подумать, что заголовки завтрашних газет написаны не кем-нибудь, а ею.

Мне не раз приходило в голову, что на виду у широкой публики вынуждены жить только политические деятели и люди искусства. Высшим чиновникам государственного аппарата, всем этим роузам и осбалдистонам, едва ли приходится когда-нибудь выслушивать чьи-то отзывы о своей работе, а если это и случается, то такие отзывы никогда не бывают враждебными. А вот политическим деятелям и людям искусства приходится привыкать к тому, что о них судят вслух, словно они пациенты в клинике, где день за днем толпятся студенты, которые никаких дурных чувств к ним не питают, но и не считают нужным понижать голос. Несомненно политические деятели и люди искусства сами на это напрашиваются, этого требует какая-то сторона их натуры. Но, хотя они на это и напрашиваются, им это вовсе не по вкусу. Кожа их не делается толще, даже когда они становятся звездами первой величины. Я был уверен, что Роджер, например, толстокожим не станет никогда. Хотелось бы мне быть столь же уверенным в том, какой именно линии он будет сейчас придерживаться.

Наконец мы все-таки заговорили о деле. Он не хуже меня был знаком с «документами» (имелся в виду ящик, битком набитый папками, в которых лежали докладные, памятные записки с грифом «совершенно секретно» и даже несколько книг). Он отлично разбирался в предложениях группы Бродзинского и в доводах, которые противопоставляли им Гетлиф и другие. Все, что говорил Роджер, было умно и ясно, но... своего мнения он мне так и не высказал.

В тот вечер я не продвинулся вперед ни на шаг. Несколько недель, остававшихся до летних парламентских каникул, мы так и ходили вокруг да около, принюхиваясь друг к другу, как собаки, и хоть осторожность заразительна, понемногу стали меньше остерегаться друг друга.

Во время отпуска, который я провел с семьей, я нет-нет да и возвращался мыслью к Куэйфу. Может быть, он испытывает меня? А может быть, он еще и сам не решил, какую линию избрать?

Как правило, в таких случаях я выжидаю. Но на этот раз мне нужно было знать точно. Бывают случаи — так было и сейчас,— когда необходимо верить, и притом безоговорочно.

В сентябре, вернувшись в Лондон, я решил, что надо бы как-нибудь встретиться с ним вечером наедине. И в первое же утро после каникул мне пришлось испытать чувство человека, ломящегося в открытую дверь. Едва я переступил порог и взялся за бумаги, лежавшие в корзинке с пометкой «входящие», как зазвонил телефон. Я услышал низкий, чуть прерывистый голос. Роджер спрашивал, не найдется ли у меня в ближайшие дни времени, чтобы пообедать с ним в клубе.

Наконец что-то сказано

Придя в «Карлтон», мы с Роджером заняли угловой столик. Роджер сосредоточенно ел, лишь изредка отвлекаясь, чтобы помахать знакомым. Он явно наслаждался обедом. Мы выпили бутылку вина, и он заказал вторую. Прежде мне казалось, ему все равно, что есть и что

пить, он может и вовсе забыть о еде. А вот сейчас он вел себя, как дорвавшийся до города золотоискатель. И я вдруг понял, что он безалаберен, что в его характере смешались жадность и аскетизм. Подобное сочетание я и прежде подмечал в людях, ставящих перед собой большую цель.

Весь обед я уклонялся от серьезного разговора. Ему нужно было что-то от меня. А мне нужно было лучше понять его. Но спешить было некуда. Итак, мы говорили о книгах, о которых он высказывался очень определенно, и об общих знакомых, которые интересовали его значительно больше и о которых он не высказывал ничего определенного. Роуз, Осбалдистон, Льюк, Гетлиф, кое-кто из министров — мы перебрали их всех. Роджер обнаружил тонкую наблюдательность, но ничем не выдал своих симпатий и антипатий. Я поддел его, сказав, что подобный нейтралитет ему не к лицу. Он подражает людям действия, которые, если их не припереть к стенке, ни за что не признаются, что предпочитают кого-то одного другому.

Роджер расхохотался, да так громко, что на нас стали оглядываться.

Это было очко в мою пользу. И тут Роджер вдруг наклонился ко мне и напрямик, без околичностей, сказал:

— Льюис, мне нужна ваша поддержка.

— Для чего?

— Мне кажется, вы только что упрекали меня, что я чересчур нейтрален.

Роджер завладел инициативой и не собирался выпускать ее из рук. Сейчас он говорил свободно, на редкость откровенно, почти сердито.

— Вы ведь не лишены проницательности, так? И намерения у вас, как говорят, добрые, так? По-моему, в некоторых отношениях наши с вами желания сходятся. Одна беда: вы предпочитаете роль стороннего наблюдателя. А мне это не очень подходит. Вы даже готовы испачкать руки, но только слегка. Может, вы думаете, что это делает вам честь, а я в этом не уверен. Прямо скажу, я подчас перестаю уважать людей вроде вас, которые все понимают и тем не менее предпочитают отсиживаться в сторонке.

— Чего вы хотите? — спросил я.— Чего вы на самом деле хотите?

Роджер рассмеялся — на этот раз негромко.

Он откинулся в кресле, словно отдыхал, но в глазах его было и ехидство и понимание — они как бы говорили: мы с тобой союзники.

— Разумеется, я хочу получить все, что может дать мне политика,— сказал он.— Вас это, как видно, вовсе не привлекает. Я иногда думаю: будь вы чуточку другим, вы могли бы далеко пойти. Смирения вам не хватает, что ли. Слушайте, ведь каждый политический деятель живет в настоящем,— продолжал он.— Если он не дурак, то отдает себе отчет, что памятник ему после смерти не поставят. Так пусть пользуется кое-какими благами при жизни — он их заслужил. Первое и основное благо — это власть. Право сказать «да» или «нет». Если на то пошло, власть обычно бывает не так уж велика, но все равно всякому ее хочется. И приходится очень долго ждать, прежде чем удастся этой самой власти наконец понюхать. С тех пор как мне исполнилось двадцать, я неотступно думал о политическом поприще, стремился к нему, не допускал и мысли о какой-нибудь другой карьере. И только когда мне минуло сорок, я попал, наконец в парламент. Чего же тут удивляться, если иные политические деятели успокаиваются, получив толику власти. А мне этого мало.

И снова рассердясь, прямо и откровенно он сказал, что мог бы добиться успеха и в других областях. Уж наверно из него получился бы

неплохой адвокат или крупный делец. При этом он заметил вскользь, что деньги не имеют для него существенного значения, поскольку Кэро так богата.

— Если бы я мог на этом успокоиться, все было бы просто и мило,— продолжал он.— Положение у меня достаточно прочное. Играй я по правилам, ничто не помешает мне лет через пяток возглавить хорошее спокойное министерство.— И он улыбнулся едкой и в то же время дружелюбной улыбкой: — Вся беда в том, что меня это не устраивает.— И прибавил, как нечто само собой разумеющееся: — Первая задача: добиться власти. Вторая: использовать ее с толком.

Наступило молчание. Потом он поднялся и предложил переменить декорации. Мы перешли в гостиную, и он заказал коньяк. Минуту-другую он сидел молча, как будто в нерешительности. Потом щелкнул пальцами и поглядел на меня с веселой искоркой во взгляде.

— Как по-вашему, чего ради я вообще занял этот пост? Думаете, наверно, что у меня не было другого выбора?

Я ответил, что слышал такие разговоры.

Его отговаривали, сказал он, отговаривали все, кто в него верил, а кто не верил, как раз одобряли. Конечно, прибавил он, это риск, на который политическому деятелю в его положении идти не следует. Он взглянул на меня и сказал ровным голосом:

— По-моему, я могу принести какую-то пользу. Ручаться не стану, но такая возможность не исключена. В ближайшие несколько лет еще можно будет что-то делать... Ну, а на дальнейшее, признаться, я особых надежд не возлагаю.

Нам незачем было пространно обсуждать положение. Оно и так было известно нам до тонкостей, и наш обрывочный разговор напоминал стенографическую запись, в которой, однако, прекрасно могли бы разобраться многие наши знакомые, в особенности Гетлиф и большинство ученых-физиков. Мы считали, что большинство людей, стоящих у власти (и в нашей стране и вообще в странах Запада), безусловно не представляют себе истинного значения ядерного оружия. Но — никуда не денешься — мы уже вступили на движущийся эскалатор и, чтобы сойти с него, потребовалось бы незаурядное мужество. Можно действовать двумя способами. Один в руках у нас, англичан. Не можем же мы до бесконечности цепляться за производство собственного оружия — это нереалистично. Так, может быть, выйти из игры и попытаться как-то воспрепятствовать распространению этого оружия? Другой способ меня лично уж совсем не устраивал, и тут мы ничего не могли решать. Все же оказать известное влияние мы могли бы и тут... Допустим, гонка ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом будет продолжаться слишком долго... а что значит «слишком долго», этого мы не знали... Что ж, в таком случае для меня исход был совершенно ясен.

— Это не должно случиться,— сказал Роджер.

Мы даже не улыбнулись. В таких случаях только и успокаиваешь себя общими фразами. Роджер продолжал говорить напористо, с жаром, у него все было продумано и взвешено. Надо с этим кончать. Если найдутся люди с ясным умом и твердой волей, то найдутся и силы, на которые они смогут опереться. Увлеченный всем этим, он словно бы и не думал о своей роли. Обо мне он просто забыл. Куда девались его тщеславие, тонко рассчитанный интерес к собеседнику. Непоколебимая уверенность, что он может принести пользу, владела им.

Немного погодя, когда главное было уже высказано, я заметил:

— Все это прекрасно. Но не странно ли, что этот вопрос будет поднят консерваторами?

Роджер прекрасно знал, что я к его партии не принадлежу.

— Он может быть поднят только консерваторами! Это единственный шанс добиться успеха. Слушайте, мы оба понимаем, что времени у нас в обрез. Если в нашем обществе — я имею в виду и Америку тоже — еще можно что-то сделать, то только когда за дело возьмутся люди вроде меня. Называйте меня, как хотите. Либеральный консерватор? Буржуазный капиталист? Все равно! Мы, и только мы, способны добиться ясных политических решений. И решения эти могут предложить только люди вроде меня. Но помните,— продолжал Роджер,— тут нельзя размениваться на мелочи. Надо ставить лишь самые важные вопросы. Их не может быть много — слишком уж они важны. Люди сторонние, вроде вас, могут оказать известное влияние на решение этих вопросов, но сами добиться их решения не могут. И ваши физики не могут. И государственные служащие не могут. Если уж на то пошло, я тоже не могу, пока я только секретарь министра. Чтобы решать по-настоящему важные вопросы, нужна настоящая власть.

— И вы будете ее добиваться? — спросил я.

— А иначе к чему было заводить весь этот разговор?

В последнюю минуту, когда мы уже собрались уходить, им завладели другие заботы. Он прикидывал, скоро ли ему удастся занять кресло Гилби. Он лишь вскользь упомянул это имя, не желая ставить меня в неловкое положение. Он был щепетилен, когда надо было просить о чем-либо своих сторонников, а в данном случае, пожалуй, даже излишне щепетилен. И от этого порой казался, как сейчас, куда более осмотрительным, уклончивым и лукавым, чем был на самом деле.

И все же он остался доволен нашим сегодняшним разговором. Он предвидел, что, получив настоящую власть, он должен будет, чтобы хоть чего-то достичь, погрузиться в хитросплетения так называемой «закулисной» политики — политики чиновников, ученых, крупных промышленников и дельцов. Он и раньше считал, что тут я могу быть ему полезен. А сегодня вечером убедился, что на меня можно положиться.

Когда мы распрощались на Сент-Джеймс-стрит и я пошел вверх по отлого подымающейся улице (смутно припоминая, какой крутой она мне казалась иногда в молодые годы после ночи, проведенной у Пратта), я думал о том, что Роджеру не так-то легко справляться с собой. Цельностью натуры он не отличался — в характере его было не больше гармонии, чем в лице. Как нередко бывает с людьми себе на уме, он, по-видимому, полагался только на собственное мнение и потому мог иногда и перемудрить. Однако, раскрывая мне свои карты, он нисколько не мудрил. Он знал — и не сомневался, что я тоже знаю,— что в тех случаях, когда люди чем-то озабочены всерьез, они не способны лицемерить. Ни один из нас не лицемерил в тот вечер.

Ученые

Дня через два после обеда в «Карлтоне» Роджер попросил меня выполнить для него одно поручение. Нужно было пригласить позавтракать с нами Фрэнсиса Гетлифа и Уолтера Льюка. «В отдельном кабинете»,— подчеркнул он. Предполагалось, что после завтрака мы все отправимся с визитом к Бродзинскому. Стоя с Гетлифом и Льюком в кабинете отеля «Гайд-парк», из окон которого открывался вид на Ротен-роу и на бронзовеющую листву деревьев, я недоумевал, а остальные и того больше. Конечно, если нам предстоит обсуждать какие-то секретные вопросы, его желание занять отдельный кабинет вполне естественно, но ведь Роджер и так постоянно встречался с ними обоими на

заседаниях одной из комиссий министерства обороны. Почему же вдруг такая помпа? Обоим ученым вовсе не улыбалось общество Бродзинского.

Роджер запаздывал, и Фрэнсис постепенно накалялся. С годами он становился все раздражительнее, все педантичнее. Мы с ним подружились еще в студенческие годы. Сейчас ему было пятьдесят два, и он уже стал крупнейшей величиной в научном мире. Он лучше, чем кто-либо, разбирался в проблемах военно-научной стратегии, и с его мнением мы всегда особенно считались. Но сейчас он нашел для себя новую область исследований, работал с юношеской одержимостью, и ему стоило большого труда оторваться от работы и приехать сюда из Кембриджа. Худой, с чеканным профилем испанского идальго, он стоял у окна и нервно крутил в пальцах бокал.

Рядом с ним Уолтер Льюк, седоватый и сутулый, с помятым самонадеянным лицом, выглядел куда более заурядно. Однако ученые считали, что ему просто не повезло, что по размаху творческой мысли он ничуть не уступает Фрэнсису, а пожалуй, и превосходит его. В мирное время он, возможно, делал бы гениальные открытия. А вышло так, что с 1939 года он занимался, по его выражению, «скобяным товаром». Ему не было еще и сорока четырех, а он уже многие годы возглавлял Атомный центр. Он не так злился на опоздание Роджера, как Фрэнсис, но это не мешало ему сыпать отборными ругательствами, которым он выучился у отца — портового грузчика.

Наконец Роджер явился; он был дружелюбен и деловит, но свое обаяние пускать в ход не стал. За завтраком он расспрашивал Льюка и Гетлифа о предложении Бродзинского — то ли проверяя свою память, то ли желая удостовериться, что они не передумали, потому что мнения их обоих он слышал уже не раз и знал наизусть.

— Я всегда утверждал, что технически все это, может, и осуществимо,— говорил Уолтер Льюк,— во всяком случае, шансов «за» не меньше, чем «против». Брод не дурак, голова у него варит — дай бог всякому. И, конечно, будь у нас в руках эта чертовщина, мы бы в самом деле могли вести независимую ядерную политику, а теперь мы только и можем языком болтать и дальше этого, наверно, не пойдем. Но главное, мы опять возвращаемся к тому же: какую цену вы согласны за это уплатить?

— А вы?

— Только не эту.

Льюк излучал неукротимую энергию. Слушая его, никто бы не поверил, что он без всякого удовольствия занял такую позицию. Он преданно и бесхитростно любил свое отечество. Он не хуже других ученых сознавал всю тяжесть лежащей на них моральной ответственности, однако, не задумываясь, пошел бы на любые жертвы, если бы это содействовало военному превосходству Англии. Но трезво рассудив, что это невозможно, он не стал тратить время на пустые сожаления.

— Нам за этой компанией не угнаться. Если бы мы решились истратить все, что нам отпущено на оборону, все как есть, без остатка, нам, может, и удалось бы это осилить... И что бы это нам дало, черт подери,— гордое сознание, что мы можем одним ударом покончить с Москвой и Нью-Йорком? Слишком много у нас недорослей и недоумков — вот что меня пугает.

Роджер повернулся к Фрэнсису Гетлифу.

— Мое мнение вы знаете, господин товарищ министра,— с ледяной вежливостью сказал Фрэнсис.— Вся эта затея Бродзинского выеденного яйца не стоит! Как и точка зрения некоторых лиц, занимающих более высокое положение.

Фрэнсис, который не часто вступал в открытую полемику, незадолго до этого заставил себя написать популярную брошюру. В ней говорилось, что в военном отношении ядерная политика бессмысленна. За такую ересь он подвергся яростным нападкам — главным образом в Америке, но и в Англии тоже. В некоторых правых кругах взгляды, высказанные в брошюре, сочли не только нелепыми, но и кощунственными и даже порочными.

Пока мы ехали по осенним улицам к Империел-колледжу, я все гадал, почему Роджер решил повести игру именно так. Куда он гнет? Может быть, он рассчитывает на то, что Бродзинский — большой любитель типично английской светской мишуры — не устоит перед знаками внимания, перед комплиментами и лестью?

Если так, думал я, сидя в кабинете Бродзинского и глядя на унылую Колкотскую башню, чей бледно-зеленый купол казался таким неуместным в пустынном небе, Роджер ошибся в расчетах. Бродзинский и правда был поклонником английской светской мишуры, да таким ревностным, что рядом с ним самые консервативные друзья Роджера казались суровыми революционерами. Он бежал в Англию из Польши в конце тридцатых годов. Выдвинулся во время войны, работая в одном из научных департаментов Адмиралтейства. После войны несколько лет проработал в Барфорде, рассорился с Льюком и другими учеными и недавно был назначен профессором в Империел-колледж. Правда и то, что он просто упивался тем, что казалось ему истинно английским образом жизни. Все оттенки английского снобизма были известны ему до тонкости и ничуть ему не претили, а напротив восхищали. Он горячо поддерживал политику крайне правых. Ему доставляло наслаждение величать Фрэнсиса Гетлифа и Уолтера Льюка «сэром Фрэнсисом» и «сэром Уолтером». И несмотря на все это — а может быть, именно поэтому — он упрямо держался своего замысла, вовсе не желал слушать Куэйфа и, видно, решил во что бы то ни стало его переубедить.

Он был выше среднего роста, широк в кости, плотный, мускулистый. Его гулкому голосу было тесно в стенах кабинета. Красивые ясные и прозрачные глаза освещали плоское славянское лицо; светлые, уже тронутые сединой волосы казались пепельными. Ему повсюду чудились враги, и в то же время он искал помощи, молил о ней, уверенный, что неглупый, доброжелательный человек (если он, конечно, не из стана врагов) не может не поверить в его правоту.

Он снова объяснил, в чем заключается его проект:

— Должен сообщить вам, господин товарищ министра (с английским бюрократическим этикетом он был знаком не хуже любого из нас), что ничего технически нового здесь нет! Ничего такого, чего мы бы не знали. Сэр Уолтер подтвердит вам, что я ни на шаг не отступаю от истины.

— С некоторыми оговорками,— вставил Льюк.

— С какими оговорками? — вскинулся Бродзинский, загораясь подозрением.— Какие оговорки, сэр Уолтер?

— Перестаньте, Брод,— начал Льюк, готовый ринуться в ожесточенный научный спор. Но Роджер до этого не допустил. Он обращался к Бродзинскому уважительно, едва ли не заискивающе — может быть, это была и не лесть, но чрезмерная почтительность. И Бродзинский, который при словах Уолтера загорелся подозрением, сейчас, говоря с Роджером, загорелся надеждой. Наконец-то нашелся человек, который его понимает, понимает, с чем ему приходится воевать и чего он добивается.

— Но, господин товарищ министра, когда же мы приступим к делу? — воскликнул он.— Даже если начать сейчас, сегодня, мы получим оружие не раньше шестьдесят второго — шестьдесят третьего года.

— И оно не будет иметь никакого стратегического значения...— сказал Фрэнсис Гетлиф, раздосадованный, что разговор принял такой оборот.

— А по-моему, сэр Фрэнсис, если хочешь, чтобы твоя страна уцелела, это очень важно — располагать оружием. Вы, очевидно, хотели сказать — то есть, я надеюсь, вы хотели сказать,— что у Америки запасы оружия будут куда больше, чем у нас; надеюсь, что так оно и будет. Чем больше, тем лучше — и дай им бог удачи! Но я не буду спать спокойно, пока мы не станем с ними вровень...

— Я хотел сказать нечто более серьезное...— перебил Фрэнсис. И опять Роджер не дал спору разгореться.

— Господин товарищ министра, когда же мы, наконец, перейдем от слов к делу? — вскипел Бродзинский.

Роджер помолчал, потом ответил осторожно, взвешивая каждое слово:

— Видите ли, я не считаю себя вправе возбуждать ложные надежды.

Бродзинский вскинул голову.

— Я знаю, что вы сейчас скажете. И я с вами согласен. Вы скажете, что это обойдется нам в миллиард фунтов стерлингов. Некоторые утверждают, будто мы не можем себе этого позволить. А я говорю, что мы не можем себе позволить не пойти на это.

Роджер улыбнулся ему.

— Да, я собирался говорить и об этом. Но, кроме того, я хотел сказать, что нам предстоит еще очень и очень многих убедить. Я всего лишь товарищ министра, профессор. Скажу вам по секрету то, чего, собственно, говорить не следовало бы. Строго между нами: боюсь, что мне придется убеждать и свое собственное начальство. Если министр не поддержит проект, в кабинете меня и слушать не станут.

Бродзинский согласно кивал. Ему можно было не объяснять, как действует английская политическая машина. Он кивал, взволнованный, озабоченный. Что касается Льюка и Гетлифа, то они были просто ошеломлены. Они знали, во всяком случае думали, что знают, какой линии намерен держаться Роджер. А сейчас он говорил так, словно стремления его были прямо противоположны, во всяком случае, так мог его понять Бродзинский.

Скоро Роджер собрался уходить и на прощание пригласил Бродзинского заходить к нему в Уайтхолл, повторяя, что им не следует терять связь. Бродзинский долго не выпускал руки Роджера, не сводя с него красивых доверчивых глаз цвета морской волны. С Уолтером и Фрэнсисом он попрощался холодно, зато на обратном пути в машине они в свою очередь держались весьма холодно с Роджером. Оба они — каждый по-своему — были люди прямые и благородные, и поведение Роджера неприятно поразило их.

Едва автомобиль отъехал, Роджер, как ни в чем не бывало, пригласил их выпить чаю. Прекрасно чувствуя холодок и не обращая на него никакого внимания, он сказал, что когда-то было тут неподалеку кафе, куда он частенько заглядывал в молодости,— интересно, сохранилось ли оно? Фрэнсис сухо ответил, что ему пора возвращаться в Кембридж. Нет, сперва выпьем чаю, повторил Роджер. Оба снова отказались.

— Мне надо с вами поговорить,— сказал Роджер, и в его тоне почувствовалась сила, сила не власть имущего, но просто незаурядного человека. В угрюмом молчании мы уселись за столик у окна, за окном стоял непроглядный декабрьский туман. Это было ничем не примечательное кафе — не из тех, где собирается шумная молодежь, и не тихий уголок, где пьют чай старики. Скорее всего, добропорядочная закусочная, рассчитанная на шоферов и конторских служащих.

— Вы не одобряете мое поведение? — сказал Роджер.

— Боюсь, что так,— ответил Фрэнсис.

— И напрасно.

Фрэнсис буркнул в ответ, что после сегодняшнего Бродзинский, конечно, сильно приободрится. Уолтер Льюк, человек более пылкого нрава, спросил, неужели Роджер не понимает, что этот поляк сумасшедший и только одного еще сам не знает: за что он больше ненавидит русских — за то, что они русские, или за то, что они коммунисты, и с радостью ляжет костьми вместе со всем населением Соединенных Штатов и Великобритании, лишь бы в живых не осталось ни одного русского. Если мы намерены ввязаться в эту безумную авантюру, то он, Льюк, к этому руки не приложит.

Роджер сказал, что он все это и сам знает. Уолтер не прав только в одном: Бродзинский не сумасшедший. Он, конечно, немножко шизофреник. Но немножко шизофреник — это даже полезно. Чаще всего перед шизофрениками люди пасуют.

— Мне бы тоже толика не помешала,— прибавил Роджер с невеселой улыбкой.— Тогда, может, не пришлось бы тратить время, объясняя вам, что я не собираюсь переметнуться в другой лагерь. Нет, ваш коллега Бродзинский — это сила! Не заблуждайтесь на его счет. Ручаюсь, прежде чем мы доведем это дело до конца, под его влияние подпадет немало народу. Обращаться с ним надо очень осторожно. Видите ли, у него есть большое преимущество: то, чего он хочет, о чем твердит — очень просто, именно это и хотят услышать многие. А вот чего хотите вы (и я, представьте себе, не меньше вашего), очень сложно, и очень многие вовсе не хотят об этом слушать. Провести это дело нам будет чрезвычайно трудно. Если вы воображаете, что все это легко и просто, мой вам совет: выходите из всех правительственных комиссий, да поскорее. Неприятностей у нас будет выше головы, и мы запросто можем проиграть. Мне-то обратного хода нет, но я ставлю на карту гораздо больше, чем любой из вас, так что уж позвольте мне действовать по своему усмотрению.

Да, думал я, и тогда и после, несколько поостыв,— он ставит на карту многое. Разве не рисковал он, идя на откровенный разговор со мной в клубе «Карлтон». Рисковал он и теперь, разговаривая так с Гетлифом и Льюком. И, однако, он знал, что оба они, даже не привыкший выбирать выражения Льюк, издавна приучены держать язык за зубами. Более того, он знал, что, если уж на то пошло, «обратного хода» нет и им. Еще задолго до Хиросимы оба предвидели, какими опасностями чреват технический прогресс. Роджер видел в них надежных союзников.

Льюк продолжал ворчать. Ну, какого черта Роджеру понадобилось тащить их туда? Чего он, спрашивается, этим добился?

Роджер ответил, что хочет засыпать Бродзинского знаками внимания — вряд ли его этим возьмешь, но на время он, пожалуй, угомонится.

Этого оказалось достаточно для Уолтера Льюка. Я бы на его месте таким ответом не удовлетворился.

Это был обычный прием Роджера: прикидываться более непосредственным, чем он был на самом деле. Вернее, это было свойство характера, отшлифованное до степени приема. Непосредственность была подлинная — она тоже среди прочего придавала ему обаяние,— но он прекрасно знал, когда и как пускать ее в ход. И он ни словом не намекнул Льюку и Гетлифу на то, из-за чего, по-моему, он больше всего старался умаслить Бродзинского.

А причина была простая. Роджер задался целью вытеснить лорда Гилби и занять его место. Ему вовсе не нужно было, чтобы Бродзинский угомонился. Напротив, пусть громко кричит о своем недовольстве.

Я слишком часто видел, как это делается, и сейчас, конечно, не ошибался.

Роджер был не таким уж лицемером. Он мог бы предпринять те же шаги, и не будь это оправдано обстоятельствами. Однако я начинал думать, что у него и в самом деле нет обратного хода.

Ни Гетлиф, ни Льюк не понимали, что замышляет Роджер. Но если бы и поняли, это бы их мало тронуло. Как ни странно, меня это трогало гораздо больше. Я был привязан к лорду Гилби. А привязанность к человеку иногда заставляла меня поступать наперекор здравому смыслу. Теперь, с годами, я осознал эти ошибки — ошибки, которых человек вроде Фрэнсиса, с его высокими принципами, никогда бы не совершил. Для Фрэнсиса все было бы просто. Начать с того, что лорду Гилби здесь не место. Чем скорее его уберут с этого поста, тем лучше. Роджер не может не действовать круто. Ведь Гилби — эта почтеннейшая бездарность — будет цепляться за свое место до последней возможности. Если Роджер станет церемониться, нам от него толку не будет.

Гетлиф и Льюк были бы правы. Но они, по всей вероятности, не догадывались, что Роджер — натура, куда более сложная, чем они. Я верил, что он искренне стремится к своей цели, но мне было бы легче, понимай я, почему он к ней стремится. И не раз в ту осень у меня мелькала мысль, что, пожалуй, ему и самому было бы легче, если бы он это понимал.

Уик-энд в поместье

Зимой по кулуарам Уайтхолла и лондонским клубам пополз слух, что лорд Гилби «долго не усидит». В то же время политические обозреватели воскресных газет нет-нет да и упоминали имя Роджера — первого из всех товарищей министра в новом правительстве, которому пророчили быстрое восхождение по службе. Похоже было, что за этими сообщениями в прессе — или, вернее, за теми дельцами от политики, которые с завидным хладнокровием и ловкостью пополняют свои доходы, выдавая газетам правительственные секреты,— стоит сам Роджер. О возможности существования в природе таких дельцов сановники типа Герберта Роуза до сих пор только гадали, будто это был некий неустановленный вид, вроде снежного человека или чудовища с озера Лох Несс. Роуз, человек строгих правил, просто не мог поверить, что это возможно. Роджер же, по моим догадкам, не только верил, но был с ними коротко знаком. Так или иначе, он сумел привлечь к себе симпатии, ничем не выдав, однако, что у него уже выработана своя политическая линия, и уж вовсе не раскрывая, какова она. Политические комментаторы, дружно утверждая, что он выдвигается на первый план, давали этому прямо противоположные объяснения.

В начале февраля Роджер сказал мне, что на следующий уик-энд он приглашен в Бассет — хемпширское поместье Дианы Скидмоур. Мы с Маргарет тоже получили приглашение и отнюдь не случайно. У Дианы была своя разведывательная служба, и приглашение это означало, что моя связь с Роджером не осталась незамеченной. Диана могла довольно точно определить, как стоят ваши акции, вне зависимости от того, чем вы занимались; что же касается положения акций на правительственной бирже, то тут ее оценки были, можно сказать, безошибочны. Поскольку Диана явно отдавала предпочтение тем, кто идет в гору, то вас приглашали в Бассет тем чаще, чем больше вы преуспевали на политическом поприще.

Миновав сторожку и проехав через темный, шумящий деревьями парк, мы вступили в великолепный холл Бассета. Судя по фасаду, дом

был построен в XVIII столетии, но в громадном холле было тепло, точно в дорогой нью-йоркской квартире, и так же пахло цветами. Цветы были повсюду, они заполонили все, словно на свадебном завтраке. И вы сразу же погружались в атмосферу роскоши и довольства.

Мы прошли через холл к столику, на котором лежал список гостей. Последовательность, в которой стояли имена, была уже сама по себе весьма красноречива. Лучшие комнаты предназначались мистеру Реджинальду Коллингвуду — Коллингвуд входил в состав кабинета министров. Следующие по достоинству отводились виконту и виконтессе Бриджуотер. Этот громкий титул принадлежал моему старинному знакомому Горейсу Тимберлейку — он был отнюдь не представитель поместной знати, а промышленный магнат, который успел стать маститым тори. На третьем месте в списке стояли мы — вероятно, потому, что бывали здесь довольно часто. Потом шли мистер Роджер Куэйф и леди Кэролайн Куэйф. Потом мистер Монтегю Кейв. Он стал товарищем министра одновременно с Роджером. Он был один, без жены — и это уже не первый раз. Ходили слухи, что она предпочитает общество других мужчин. Потом миссис Хеннекер. Я недовольно хмыкнул, и Маргарет улыбнулась. Замыкал лист никому не известный мистер Робинсон в единственном числе.

Из коридора донесся оживленный звучный голос Дианы. Она вышла в холл, поцеловала нас обоих и провела в одну из гостиных, залитую светом и увешанную картинами Сислея и Писсаро. Она помнила, что именно мы пьем и, не спрашивая нас, дала распоряжение дворецкому.

Ей было пятьдесят два, и для своих лет она прекрасно выглядела. Тонкая, но не хрупкая, скорее сухощавая. Красивой она никогда не была (так, по крайней мере, мне говорили), вероятно, не была даже миловидна, и, хотя казалось, что черты ее лица хранят следы былой красоты, вполне возможно, что так хорошо, как сейчас, в среднем возрасте она не выглядела никогда. Она привлекала энергией, необычайной живостью, особой повадкой женщины, знающей, что нравится мужчинам. «Красавица всегда остается красавицей!» — говорила она, понимая, что хоть красота преходяща, но непреходяща уверенность в себе, которую она дает. И, надо сказать, главное ее очарование крылось именно в этой уверенности.

На левом плече у нее горела ослепительная бриллиантовая пряжка. Я виновато покосился на жену — ее платье украшала всего лишь хризолитовая брошь, мой последний подарок. Маргарет не любила ничего броского, и все же сейчас, стоя рядом с Дианой, наверно, предпочла бы украшение не столь скромное.

Забавно, что обе они были совершенно одинакового происхождения. Отец Дианы был адвокат, и среди ее родственников, так же как и среди родственников Маргарет, были научные работники, доктора — люди, составляющие высший слой интеллигенции. Кое-кто из них проник даже в круг ученых, художников и писателей, к которому Маргарет принадлежала по рождению. Но семья семьей, а Диана еще в детстве решила, что ее место на самых верхах фешенебельного общества. И, решив так, взобралась туда с головокружительной быстротой. Ей не было и двадцати одного года, когда она вышла замуж за Чонси Скидмоура, получив в придачу одно из самых крупных состояний в Америке. И, глядя на нее теперь, вы невольно начинали думать, что именно она — а вовсе не Скидмоуры и не ее друзья из космополитического бомонда — создана для такой жизни.

Можно было подумать, что она просто искательница приключений, которой крупно повезло. Но ни она сама, ни люди, близко ее знавшие,

так и не думали. Она была своевольна, упряма, на редкость проницательна и умна, притом ей нельзя было отказать в блеске и обаянии — обаянии человека, который наслаждается каждой минутой своей жизни. За Чонси Скидмоура Диана вышла замуж по страстной любви. Она овдовела уже больше года назад, но все еще горевала о нем.

За обед в этот вечер сели восемнадцать человек. И это без Куэйфов — они приехали только на следующий день. У Дианы было обыкновение пополнять ряды гостей за счет арендаторов коттеджей, стоявших на территории усадьбы, или преподавателей Винчестерского колледжа, который находился неподалеку. Я поднял глаза к потолку, расписанному каким-то ныне забытым венецианским художником XVIII столетия. Разговор за столом успел сильно оживиться, и только в минуты затишья было слышно, как хлещет по окнам дождь. Дворецкий с видом заговорщика наполнил мой бокал; четыре лакея бесшумно скользили вокруг стола. На мгновение мне показалось невероятным, что все это происходит в наше время. Но остальные, по-видимому, не находили в этом ничего невероятного. Оживленно обсуждались перестройки, которые потребуются, когда дом перейдет во владение сына Дианы. А может быть, ей самой заняться этим исподволь? Диана повернулась к Коллингвуду, сидевшему по правую руку от нее, и сказала своим звонким голосом:

— Как по-вашему, Реджи?

Коллингвуд предпочитал не вступать в разговор, пока к нему не обратятся.

— По-моему, пусть сам об этом заботится.

Что ж, мысль была во всяком случае здравая. Я вспомнил, как четверть века назад я бывал в богатых домах, слушал разговоры своих приятелей-наследников, а сам думал, что к тому времени, как мы все достигнем среднего возраста, таких домов уже не останется. Они остались. И друзья Дианы, по-видимому, считали, что так оно всегда и будет. Пожалуй, у них были для этого кое-какие основания.

Я присматривался к Коллингвуду. Мы встречались и прежде, но всегда на людях. Загадочная фигура на политическом горизонте; казалось, политика — самая неподходящая для него карьера.

Коллингвуд был красив: природа одарила его не только правильными чертами лица, но и свежестью красок. У него была гладкая светлая кожа и глаза, как голубой кварц — такие же яркие и такие же непроницаемые. Однако для избранной им карьеры он обладал одним серьезным недостатком: как в частной беседе, так и в публичных выступлениях речь давалась ему чрезвычайно трудно. Выступая в парламенте, он говорил робко и очень скучно, но создавалось впечатление, будто именно потому, что это ему так тяжело дается, на полдороге он дела не бросит. В частной беседе он отнюдь не был робок, но все равно слова точно застревали у него в горле. Он то ли не умел, то ли не желал поддерживать разговор. Весьма неподходящее свойство, если человек посвятил себя политической деятельности.

И, однако, он сделал выбор сознательно. В прошлом это был состоятельный землевладелец; он вложил деньги в коммерческий банк, вошел в его правление и заметно преуспел на этом поприще. Однако скоро отказался от этой карьеры. Политика — вот что неудержимо влекло его, и если политический деятель должен произносить речи, что ж, он готов произносить речи.

В кабинете министров, и особенно в партии, с ним считались, считались гораздо больше, чем с его несравненно более одаренными коллегами. Вот почему я насторожился, когда услышал — а может, мне просто так показалось — неодобрение в голосе Коллингвуда, отвечавшего

на какой-то вопрос Дианы о Куэйфах. Обедая в таком многочисленном обществе, поддерживая разговор с соседкой, которой, как и следовало ожидать, оказалась миссис Хеннекер, нужно обладать сверхчеловеческим слухом, чтобы схватывать на лету перекрестную болтовню. Но если Коллингвуд и в самом деле настроен против Роджера, это очень серьезно — и не только для него, а для всех нас...

Кейв, слывший гурманом, сидел напротив меня и ел без всякого удовольствия, но, поскольку количество для него могло заменить качество, он ел с жадностью обжоры или проголодавшегося ребенка.

И снова до меня донеслись обрывки негодующих фраз. Кто-то, чье имя я не расслышал, угодил в скверную историю. Я услышал только, как лорд Бриджуотер, краснолицый человек с головой огурцом, сказал: «Ведь он же нас подводит — вы понимаете, что я хочу сказать?» На что Коллингвуд ответил: «Да, это не годится! — И немного погодя:— Пора положить этому конец». Я не знал, о ком идет речь. Не знал, и что это за скверная история, однако не сомневался, что она была отнюдь не романтического характера. В противном случае глаза Дианы так и искрились бы удовольствием, да и остальные не сидели бы с такими постными, осуждающими лицами. Что бы они там ни говорили в своих официальных речах, в частной жизни они проявляли к прегрешениям плоти завидную терпимость. Они не прощали публичных скандалов и даже установили на этот счет какие-то свои особые законы. Однако в частной жизни и в своем кругу — или в любом другом близком кругу — вы могли «развлекаться» как угодно, это никого не трогало. Разводы? Что ж, из сидевших за столом кое-кто уже прошел через это, включая Маргарет. В свое время племянника Дианы застукали в парке с солдатом. «Не повезло бедняге!» — говорили они.

А теперь почему-то за столом чувствовалась натянутость. Ни Маргарет, ни я не понимали, в чем дело.

На следующее утро, надев макинтош и высокие сапоги, я отправился с Монти Кейвом погулять под дождем. Он был поглощен своими мыслями — грустными мыслями, как мне казалось. Будь мы знакомы поближе, я спросил бы его, в чем дело. Когда мы повернули назад, он внезапно разразился залпом колкостей. Заметил ли я, что Диана начала ни с того ни с сего проявлять интерес к современной музыке? Ведь мистер Робинсон, кажется, в этой области большой знаток? Удивительная способность перенимать вкусы каждого мужчины. И дальше: ну почему это людям дают такие идиотские прозвища? Сэмикинс, например, или Боббетти? Как бы мне понравилось, если бы меня вдруг стали называть Льюикинсом?

— А может,— добавил Кейв с насмешливой ужимкой,— ваши друзья так вас и зовут.

Он был неспокоен. Настроение его то и дело менялось, пока мы не заговорили о политике. И тут сразу стало очевидно, что у него ясный ум, богатое воображение и — самое неожиданное,— что он человек гуманный. Впервые я понял, чему он обязан своей репутацией.

Вернувшись в дом, я почувствовал, что с приездом Куэйфов атмосфера снова сгустилась. Мы встретились с Маргарет глазами, но на людях не могли и словом перемолвиться. Однако вскоре я убедился, что, какова бы ни была причина царившей в доме атмосферы, мои страхи напрасны: перед самым завтраком я натолкнулся на Кэро и Диану. Они потягивали виски и говорили о том, что от Гилби пора избавиться.

— Вы ведь в курсе, Льюис? — воскликнула Диана.— Правда же, от Старого Героя нам никогда не было никакого толка.

Я сел.

— Боюсь, что он не совсем на месте, но...

— Не делайте такой постной физиономии,— сказала Диана.— Он очень мил, он бравый кавалерист. Если бы ему дали волю, он бы в свое время женился на актрисе... Но больше он ни на что не способен, и вы это знаете не хуже меня.

— Никогда бы он не женился на актрисе. Другого такого сноба я в жизни не встречала! — возразила Кэро.

— Вы думаете, что вмешались бы святые отцы? — спросила Диана.

Все Гилби были католиками, а в представлении обеих дам это понятие связывалось с провинциальной темнотой и скукой. Некоторое время Диана и Кэро изощрялись на его счет в остроумии, но при всем том было очевидно, что они прекрасно понимают друг друга и твердо намерены добиваться своего.

— Просто он нам не подходит,— сказала Диана.— И мы не можем больше поддерживать его.

Оценивающим взглядом она посмотрела на Кэро: хорошенькая, лет на двадцать ее моложе и столь же упорная в достижении своих целей, как она сама,— союзница!

— Вот что я вам скажу,— словно бы наконец решившись, прибавила Диана.— Реджи Коллингвуд тоже считает, что Гилби нам не подходит.

Казалось бы, это была хорошая новость, но Кэро вдруг нахмурилась.

— Боюсь, я предпочла бы обойтись без Реджи.

— Вот что,— сказала Диана.— Будьте на этот счет поосторожней. И Роджер тоже, но главное — вы.

Если бы они остались вдвоем, она, наверное, сказала бы больше. Но через несколько минут мы пошли завтракать.

Нам с Роджером не удалось перекинуться и словом наедине. Даже с Маргарет я мог поговорить только у себя в комнатах. Ей на долю выпало без конца выслушивать философские рассуждения лорда Бриджуотера, а я — где бы я ни находился: в знаменитой ли большой гостиной Бассета, в одной ли из примыкавших к ней малых гостиных, в библиотеке ли — непременно оказывался вовлеченным в беседу с миссис Хеннекер: она сочиняла жизнеописание своего покойного супруга и требовала от меня литературных советов.

Когда наконец я добрался до своей ванной комнаты, у нас в спальне горел свет.

— Где ты пропадал? — окликнула меня Маргарет и сказала, чтобы я поторапливался.

Я ответил, что меня задержала миссис Хеннекер,— Маргарет это показалось куда более забавным, чем мне. Когда я снимал пиджак, она снова меня окликнула:

— Кажется, это брат Кэро всех переполошил.

После чая она слышала об этом от нескольких гостей. Тут только я понял один из выпадов Кейва накануне утром. Дело в том, что брата Кэро звали Сэмикинс — причем звали не только в домашнем кругу, но и среди знакомых. Молодой лорд Хаутон, тори и член парламента, придерживался взглядов отнюдь не ортодоксальных. Мы с Маргарет вспомнили, что недавно он опубликовал небольшую книгу — историю англо-индийских отношений. Ни она, ни я этой книги не прочли, но газеты громко о ней кричали. Насколько можно было судить по рецензиям, он порицал Черчилля, восхвалял Неру и до небес превозносил Ганди. Для тори и члена парламента написать такую книгу было по меньшей мере странно. В этом и заключалось одно из его преступлений.

— Он у них, как видно, не в большом фаворе, а? — сказала Маргарет.

За обедом никто и слова не сказал о лорде Хаутоне, и я уже стал надеяться, что тучу пронесло. Разговор, как всегда под конец затянувшегося уик-энда, шел вяло, какими-то полунамеками, временами совсем замирая. Поскольку дом был без хозяина, мужчины недолго засиделись за обеденным столом; в гостиной мы расположились полукругом, и Диана с видом импресарио уселась между Коллингвудом и Роджером, делая все, чтобы между ними завязался разговор.

И вдруг лорд Бриджуотер, простодушный и простоватый, откашлялся. Мы поняли, что за этим последует. По рождению он не принадлежал к этому обществу, но отлично приспособился к нему. У себя дома это был милейший человек, однако у него была страсть брать на себя неприятные обязанности. Через всю комнату он обратился к Кэро:

— Надеюсь, мы больше не услышим ничего такого о Сэмикинсе... Вы понимаете, что я хочу сказать?

Кажется, до этого случая я никогда не видел Кэро растерянной. Лицо ее вспыхнуло. Она знала, что должна сдержаться, но это дорого стоило ей. Не в ее характере было считаться с тем, что ей говорят, больше того: обычно она не находила нужным скрывать это.

— Извините, Горейс, но я ведь не нянька своему брату,— не сразу ответила Кэро, и голос у нее был не очень твердый.

Сэмикинс был года на два моложе ее, и теперь я понял, что она его искренне любит.

— Кое-кто считает, что нянька была бы ему весьма кстати,— заметил Коллингвуд.

— Вот пусть они ему это и скажут,— возразила Кэро.

— Он причиняет вред партии,— сказал лорд Бриджуотер.— Немалый вред.

Коллингвуд посмотрел на Кэро и сказал без обиняков:

— Этому нужно положить конец.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что, если Сэмикинс не остановится сам, мы вынуждены будем его остановить.

Глупое прозвище в устах сановного, медлительного Коллингвуда звучало особенно глупо. Кэро все еще сдерживалась.

— По-моему,— сказала она,— никто из вас понятия не имеет, что он за человек.

— Это к делу не относится,— возразил Коллингвуд.— Я хочу сказать, что если он еще хоть раз напишет что-нибудь в этом роде или выступит публично с подобным заявлением, нам придется порвать с ним всякие отношения.

Я заметил, как нахмурился сидевший по другую сторону от Дианы Роджер. Он, не отрываясь, смотрел на жену. Она же, густо покраснев от досады, покачала головой, словно просила его не ввязываться. Он не сделал ни одного неверного шага с тех пор, как вошел в правительство — она знала это лучше всех присутствующих,— каждый его шаг был точно рассчитан. Сейчас было не время давать себе волю.

Кэро улыбнулась Коллингвуду светской улыбкой:

— Вы хотите сказать, что он будет отстранен от участия в делах партии?

— Вот именно.

— Для него это не так уж важно.

У меня мелькнула мысль, что она говорит о политических делах, как знаток,— говорит на том же языке, что и Коллингвуд. Ее брат — наследник отцовского титула — не мог рассчитывать на серьезную политическую карьеру.

— Ну и что же,— сказал Коллингвуд,— а все-таки кому приятно оказаться за бортом?

Наступило молчание. Кэро хотела что-то возразить, но не нашлась.

— А по-моему, все, что вы тут говорили, несправедливо.— Это сказал Роджер. Он не понизил голоса, он обращался не только к Коллингвуду, но и ко всем присутствующим. Он, вероятно, был взбешен оттого, что его принудили выбирать, но, поскольку выбор был уже сделан, говорил спокойно и непринужденно.

Я не меньше Кэро боялся этой минуты. Теперь, когда она наступила, я был взволнован, огорчен и в то же время испытывал облегчение.

— Не понимаю, как это может быть.— Взгляд Коллингвуда был высокомерен и холоден.

— И, однако, это так. Конечно, у меня есть перед вами преимущество — я хорошо знаю этого человека, я думаю, тут немногие могут этим похвастать, ведь так? — небрежно кинул Роджер и перевел взгляд на жену.— Будь среди нас больше людей, обладающих его мужеством и идеализмом, дела наши шли бы куда лучше.

Кэро покраснела до корней волос. Она волновалась за Роджера, знала, что он поступает неблагоразумно, но она гордилась им — гордилась тем, что мысль о ней оттеснила все остальные соображения на второй план. Сначала она не знала, чего ждать, пыталась убедить себя, что ей приятнее будет, если он промолчит. Но он не промолчал, и она была бесконечно рада этому. Маргарет кинула ей восхищенный взгляд, и тут же — встревоженный мне.

— Вам не кажется, Куэйф, что вы забываете о здравом смысле? — спросил лорд Бриджуотер.

Роджер закусил удила.

— Нет, не кажется. Но беда в том, что, говоря о здравом смысле, мы часто подразумеваем способность поддакивать всем и каждому. А это смерти подобно. Давайте посмотрим, что же, собственно, он совершил. Он изложил дело так, как он его понимает,— изложил не слишком деликатно, в этом я с вами согласен; он не выхолостил свои слова настолько, чтобы они потеряли всякий смысл, а эту способность мы склонны переоценивать. Раз-другой он занесся. Согласен. Но это свойственно всем пылким и искренним натурам. И, однако, все основные положения его книги правильны. Более того, все присутствующие и почти все, кто знает, как обстоят дела в действительности, понимают, что они правильны.

— Не могу с этим согласиться,— сказал Коллингвуд.

— И вы понимаете, что они правильны. Можно возражать против его тона, но нельзя отрицать, что он говорит правду. И преступление его состоит в том, что он сказал ее открыто. Когда мы сами знаем истинное положение дел — это одно, а вот когда о нем говорят за пределами магического круга — это совсем другое. Самое важное соблюсти этикет, а правда — дело десятое. Не слишком ли это входит у нас в привычку? Не знаю, пугает ли это вас, но меня определенно пугает. Политика слишком серьезное дело — это не забава для тесного семейного круга. Мы даже и представить себе не можем, какая серьезная роль будет принадлежать политике в ближайшие десять лет. Вот почему нам нужен каждый человек, у которого хватает мужества говорить то, что он думает. Вот почему, если возникает вопрос о том, чтобы отстранить его, я не буду сидеть сложа руки,— закончил Роджер своим обычным тоном, обращаясь прямо к Коллингвуду.

— Нимало в этом не сомневаюсь,— ответил Коллингвуд, как всегда с трудом выталкивая слова. Он был совершенно спокоен. Ни по его тону, ни по виду нельзя было понять, какое впечатление произвели на него слова Роджера и произвели ли они вообще какое-нибудь впечатление.— Нимало в этом не сомневаюсь.

В другом доме

Назавтра, в понедельник, мы с Маргарет должны были обедать у Осбалдистонов. Подъезжая на такси к дому, мы невольно обменялись взглядами — от Бассета он безусловно несколько отличался. Осбалдистоны жили в западной части Клепэм-Коммон, занимая домик, назвать который особняком можно было только с большой натяжкой. В провинциальном городке, где я родился, в домах, как две капли воды похожих на этот, обитал небогатый интеллигентный люд: учителя, бухгалтеры, нотариусы, и в молодые годы, бывая у них, я неизменно испытывал такое чувство, будто делаю шаг вверх по общественной лестнице.

Мы прошли по дорожке между двумя рядами подстриженных кустов. В парадную дверь были вставлены витражи в черных арабесках; сквозь цветное стекло на улицу падал мягкий розовый свет.

Войдя в дом, я подумал, что Дугласу Осбалдистону вовсе не обязательно жить так скромно. Однако, если иные из людей нашего с Дугласом происхождения держались так, чтобы их принимали за родовитых землевладельцев, Дуглас поступал как раз наоборот. Делал он это из подчеркнутой скромности, но, так же как и мнимородовитые землевладельцы, постепенно начал слегка переигрывать. Услыхав за обедом, что уик-энд мы провели в Бассете, он весело присвистнул, ловко изображая маленького конторщика, над светской хроникой размечтавшегося о недосягаемых для него сферах. Но Дуглас недаром был одной из самых светлых голов в административном аппарате — он знал: если он подозревает, что поместья вроде Бассета все еще оказывают слишком сильное влияние на правительство, то и Диана Скидмоур и ее друзья точно так же, а может и сильнее, подозревают в том же самом его коллег и его самого. Ни та, ни другая сторона толком не знала, в чьих же руках находится подлинная власть. В интимном кругу великих мира сего, собиравшихся в Бассете, тоже были люди знающие, с опаской поглядывавшие на пригородные особнячки вроде этого.

В крохотной столовой нас угостили отличным обедом, собственноручно приготовленным Мэри Осбалдистон: бульон, бифштексы, паштет из почек, лимонное суфле — все было несравненно вкуснее, чем в Бассете. Когда я похвалил обед, она вспыхнула от удовольствия. У нее были тонкие черты лица, она была неглупа и держалась скромно, как и сам Осбалдистон; женщина отнюдь не шикарная, но удивительно милая. Мы оба, особенно Маргарет, были к ней очень привязаны. Мы знали, что им не так повезло в семейной жизни, как нам, судьба обделила их — они были бездетны.

Дуглас был настойчив и решителен, как и подобает крупному государственному чиновнику; ему потребовалось знать точно, когда и как я познакомился с Дианой Скидмоур. Он спрашивал не просто из любопытства — он нисколько не завидовал моим великосветским знакомствам — и не просто потому, что его интересовали подробности жизни этого круга.

Слушал он сосредоточенно, как профессиональный детектив. Его интересовало все, что было связано с его работой, все, что в какой-то мере затрагивало министров. В частности, его весьма заинтересовал мой рассказ о выпаде Роджера.

— Должен сказать, что я считал Куэйфа человеком более уравновешенным,— заявил Дуглас.

Лицо его утратило свое юношеское выражение.

— Какого черта ему понадобилось выпускать пар именно сейчас? Вот уж действительно не везет нам с хозяевами...

Я начал было говорить, что уж с Роджером-то нам повезло, но Дуглас только отмахнулся:

— Должно быть, рыцарские чувства одолели... Рыцарство может дорого обойтись. И не только ему, но и всем нам.

Мэри сказала, что мы ведь не знаем, каковы отношения между Кэро Куэйф и ее братом. Может, в этом и кроется разгадка?

— По-моему, это не оправдание,— сказал Дуглас.— В высшей степени безответственная выходка. Не представляю, чтобы я позволил себе подобное донкихотство, если бы от этого столько зависело...— Он с беглой усмешкой взглянул на жену. Сказано это было невесело, но от души. Дуглас прекрасно знал, что́ ему нужно от жизни; он был упрям и по-своему жесток; он намеревался сделать карьеру — достигнуть самых высот,— и его напускное равнодушие мало кого могло обмануть; но я знал, что он способен на сильную привязанность, что он человек страстный, а отнюдь не холодный.

— Имейте в виду, Льюис,— сказал Дуглас,— если эта выходка сойдет вашему Куэйфу с рук, значит, его положение очень прочно. Добиваться успеха лучше всего без посторонней помощи. Уж наверно он понимает это не хуже нас с вами.

Дуглас, как всякий человек действия, был щедро наделен оптимизмом. Оптимизм этот пропастью отделяет людей действия от созерцателей и не дает человеку заметить катастрофу, пока она не разразится. У него припасены кое-какие утешительные новости, сказал Дуглас. Он порадует нас ими — вот только перейдем в «парадную комнату».

Меня позабавило это выражение. Называть комнату «парадной», как выразилась бы его или моя мать, значило чересчур скромничать даже для Дугласа. Их дом был хоть и невелик, но и не так уж мал, и так называемая парадная комната на деле оказалась просторным рабочим кабинетом. На письменном столе лежал черный чиновничий портфель. По стенам до самого потолка тянулись книжные полки, и на них разместилось любопытнейшее собрание романов XIX и XX веков, какое я когда-либо видел. Тут Дуглас позволил себе роскошь, в которой, однако, было что-то нарочитое. Ему нравилось читать книги в том виде, в каком они впервые вышли в свет. Поэтому на его полках можно было найти английских, русских, американских и французских классиков, если не в самых первых, то, во всяком случае, в очень ранних изданиях.

Мы удобно уселись в этой комнате, заставленной и пропахшей книгами, и Дуглас поведал нам свою новость. Он не преувеличивал — новость и в самом деле была обнадеживающая и совершенно неожиданная. А именно: некоторые круги, весьма влиятельные, по всей видимости не сговариваясь между собой, повели кампанию против Гилби и за Роджера. Причем эти лица были настолько влиятельны, что даже министрам кабинета приходилось считаться с их мнением или по крайней мере прислушиваться к нему. На первом месте стояла авиационная промышленность, или, во всяком случае, та ее часть, которую представлял мой прежний шеф лорд Лафкин, сильно расширивший после войны сферу своего влияния. Затем шла группа громкоголосых маршалов военно-воздушных сил. Затем довольно-таки разношерстная компания ученых. Лафкин успел побывать у лорда-канцлера, два маршала дали завтрак в честь премьер-министра; ученые проводили беседы на «министерском уровне».

— На редкость ловко действуют,— сказал Дуглас.

— Кто затеял эту кампанию?

— Хотите верьте, хотите нет, но похоже, что некоторые нити ведут к человеку совершенно незначительному.

— Кто же это?

— Некто Бродзинский. Конечно, если не он, нашелся бы кто-нибудь другой, но надо отдать ему должное: в том, кто чего стоит в «нашем Лондоне», разбирается он неплохо.

Мы стали прикидывать возможности. Если говорить о каждом в отдельности, то покровители Гилби располагают немалой властью и пользуются влиянием в обществе, но в конечном счете крупный капитал при поддержке военных и ученых обыкновенно берет верх.

— Если Куэйф сам себе не напортил непоправимо в глазах ваших великосветских друзей,— беззлобно усмехнулся Дуглас,— готов держать пари, не пройдет и года, как он займет это место.

Он подлил нам виски. Потом спросил:

— Скажите, Льюис, как по-вашему, какую он поведет политику, когда сядет на место Гилби?

Я замялся. Он подозревал, или догадывался, что я пользуюсь доверием Роджера. Я, в свою очередь, догадывался, что он доверием Роджера не пользуется. Я ни минуты не сомневался, что, придя к власти, Роджер вынужден будет начать борьбу с иными из тех сил, которые сейчас оказывают ему поддержку. В начале нашего разговора Дуглас сказал, что добиваться успеха лучше всего без посторонней помощи. Может быть, теперь он догадался, что Роджер обязан своими успехами отнюдь не одному себе?

— Видите ли, для меня в этой истории не все понятно,— не отступал Дуглас.— Ведь не только Бродзинский и «оголтелые» ратуют за Куэйфа. Взять хотя бы вашего старого приятеля Фрэнсиса Гетлифа и его собратьев — они тоже за него горой. Так вот, как бы ловко ни жонглировал Куэйф — а, по-моему, он в этом деле мастер,— вряд ли он угодит и вашим и нашим. Скажите, известны вам его истинные намерения?

Еще немного, и я открыл бы ему карты. У меня было одно ясно осознанное соображение, почему я этого не сделал. Я знал, что Дуглас, как и почти все его коллеги, убежденный консерватор. Он был слишком умен, чтобы не понимать доводов в пользу политики Роджера, и, однако, они были ему не по вкусу. Но я промолчал не поэтому. Была другая причина — осторожность, которая поистине вошла в мою плоть и кровь. Слишком долго я жил в мире крупных дел, слишком часто бывал в положении, когда сугубая осторожность оказывается, пожалуй, самой правильной и безусловно самой легкой линией поведения. В прошлом у меня бывали неприятности как раз потому, что я поддавался порывам и забывал об осторожности.

Итак, в тот вечер, повинуясь привычке, которая стала моей второй натурой, я уклонился от прямого ответа.

Мы сильно выпили в тот вечер. В такси по дороге домой Маргарет, прижав мою руку к своей щеке, сказала:

— А знаешь, ты был не прав...— И прибавила, что такому человеку, как Дуглас, можно верить с закрытыми глазами.

Она уже не сказала вслух, но я и так понял, что мы все четверо друг другу по душе и что такие отношения надо беречь. Я рассердился. Я остро почувствовал обиду — обиду, которую чувствуешь особенно остро, когда сам знаешь, что ты не прав.

Рыцарь с надгробья

В марте, недели через три после того, как мы с Маргарет побывали в Бассете и Клепэме, мы узнали еще одну, совершенно непредвиденную новость. Однажды утром, едва я переступил порог своего служебного кабинета, мне позвонил Осбалдистон: ночью заболел Гилби, его жизнь в опасности.

Утром в Уайтхолле только об этом и говорили, к полудню разговоры перекинулись в клубы. Официальное сообщение появилось в вечер-

них газетах. Все — и я в том числе — с самого начала решили, что Гилби не выживет. Один мой приятель наспех добавлял к послужному списку Гилби краткий перечень его достижений на политическом поприще; заведующий отделом некрологов одной из утренних газет жаловался, что оказался перед редактором в дурацком положении — «проворонил такого человека, как Гилби».

Как всегда в предвидении чьей-то смерти, окружающие были оживлены больше обычного, в воздухе чувствовалось возбуждение. И, как и следовало ожидать, уже начались кое-какие деловые переговоры. Один из министров пригласил Дугласа в бар выпить виски, Роуз провел несколько часов с нашим министром, обсуждая с ним, как распределить теперь по-новому обязанности между двумя нашими ведомствами. То же самое, только в меньших масштабах, я уже наблюдал двадцать лет назад, когда преподавал в колледже. Так ли уж часто людей затрагивает чужая смерть — затрагивает всерьез, скажем, как болезнь близкого человека? Из чувства своеобразной биологической солидарности мы притворяемся, что это и в самом деле нас затрагивает. В известном смысле такое лицемерие полезно. Но на самом деле мы гораздо реже ощущаем утрату, чем осмеливаемся признаться даже самим себе.

В следующие два-три дня, прислушиваясь к разговорам о Гилби, я невольно вспоминал первую заповедь политики, которую не раз приводил мне лукавый старичок-простачок Томас Бевил: *«Всегда будь под рукой. Никогда не уходи. Никогда не отсутствуй из гордости!»* Пожалуй, это все-таки вторая заповедь, первая же гласит: *«Оставайся в живых!»*

Очевидно, эта мысль явилась в те дни не мне одному. О том же думал и лорд Гилби. Через четыре дня после того, как стало известно о его болезни, мне позвонил по телефону его личный секретарь. Слухи о болезни сильно преувеличены, сообщил нараспев голос, обладателем которого мог быть только питомец Итона. Предположения о возможности смертельного исхода — сущий вздор. Был «небольшой сердечный припадок», только и всего. Лорд Гилби очень скучает и будет рад посетителям, он надеется, что я навещу его в клинике как-нибудь на будущей неделе во второй половине дня.

Оказалось, что такое же приглашение получили и другие политические деятели и высшие чиновники, в том числе Дуглас Осбалдистон и Гектор Роуз.

— Что ж,— заметил по этому поводу Роуз,— может быть, достопочтенный лорд и оставляет желать лучшего в роли главы министерства, однако в бодрости духа ему явно не откажешь.

Когда я навестил Гилби в клинике, я подумал, что в бодрости ему и в самом деле не откажешь, хотя расположение духа у него было несколько необычное. Он лежал на спине, совершенно неподвижно и был похож на изваяние рыцаря на могильной плите — рыцаря, который не бывал в крестовых походах, ибо слишком уж прямы для человека, проведшего жизнь в седле, были его вытянутые ноги. Кровать была такая высокая, что, когда я сел рядом, наши лица оказались на одном уровне и он мог разговаривать со мной шепотом. Впрочем, он не шептал — он говорил негромко, но очень четко, своим хорошо поставленным голосом.

— Очень любезно с вашей стороны,— сказал он.— Когда я выберусь отсюда, мы непременно встретимся где-нибудь в более приятном месте. С вашего разрешения, я непременно угощу вас обедом в клубе.

Я ответил, что буду очень рад.

— Меня должны бы выпустить отсюда через месяц. Но боюсь, пройдет еще месяца два, прежде чем я снова возьму бразды правления в свои руки,— прибавил он сурово, как будто я позволил себе излишний оптимизм.

Я ответил какой-то банальной фразой, в том смысле, что и это не за горами.

— Я ни минуты не думал, что могу умереть...— Он лежал не шевелясь, отлично выбритый, отлично подстриженный. Он позволил себе лишь чуть изменить выражение лица — его устремленные в потолок глаза недоуменно округлились, когда он прибавил:—А знаете, нашлись люди, которые, сидя вот здесь, в этой самой палате, спрашивали, боюсь ли я смерти.

Он сделал легкое ударение на «я». Потом продолжал:

— Я слишком часто смотрел смерти в глаза, чтобы теперь испугаться.

Это могло показаться рисовкой. Старик вообще умел порисоваться. Он стал рассказывать мне о своей жизни. Во время первой мировой войны он потерял «на поле брани» почти всех своих ближайших друзей, офицеров-однополчан. И с тех пор каждый новый прожитый год рассматривает как подарок судьбы. Да и во время второй войны он куда больше понюхал пороху, чем большинство его сверстников. Несколько раз он был уверен, что час его пробил. Он любил воевать? — спросил я. Да, еще бы. Что может быть лучше!

И тогда я спросил, что он больше всего ценит в людях.

— Если уж на то пошло, я ценю в людях только одно.

— Что именно?

— Отвагу. Отважному человеку я все прощу. А труса нипочем уважать не стану.

Я подумал тогда, а позднее совсем уверился, что мне в жизни не случалось вести более странного разговора с храбрым человеком. Я встречал отважных людей, которые считали свою отвагу чем-то само собой разумеющимся и были снисходительны к натурам менее стойким. Не таков был лорд Гилби. Из всех военных, которых я знавал, он единственный с лирическим пафосом рассуждал о «поле брани».

И я невольно подумал, что лорд Гилби всю свою жизнь искал славы. Славы в том смысле, как ее понимали в дохристианские времена, славы, которую добывали в бою древние греки и скандинавы. Посадить бы его на корабль викингов, и он вытерпел бы все, что терпели они, и хвастался бы потом ничуть не меньше. Правда, родился он в католической семье и вел себя как подобает доброму католику — этим утром, сообщил он мне, его посетил «духовник». Однако молился он не о спасении души, а о славе.

И глядя, как он лежит пластом, красивый, без единой морщинки, я думал: не потому ли его свалил этот сердечный приступ? Трудно было представить себе человека менее склонного к самоанализу, но, уж конечно, даже он понимал, что немало дров наломал, оказавшись на посту, где по странной иронии судьбы требовалась отвага совсем иного рода — та, которой он был начисто лишен. Он, уж конечно, знал, что им недовольны, что за его спиной происходит какой-то тайный сговор, что над ним висит угроза «почетной отставки». Но и вида не подавал, что догадывается об этом. Он сидел на заседаниях кабинета среди своих коллег, которые в грош его не ставили, неизменно обаятельный, тщеславный, неприступный. Вероятно, он просто не позволял себе задумываться — какого они о нем мнения, каковы их намерения. Быть может, теперь он расплачивается за это?

На другой день я пошел в парламент повидать Роджера. В связи с болезнью Гилби он теперь выполнял его обязанности. Странное дело, хотя я теперь часто заходил к Роджеру, он почти никогда не приглашал меня в кафе или в бар. Поговаривали, что он слишком мало бывает в обществе членов парламента и, то ли из высокомерия, то ли из застенчивости, не поддерживает с ними приятельских отношений. Это каза-

лось тем непонятнее, что в частной жизни он был очень прост и общителен.

Кабинет был тесноват, не в пример палатам, которые он занимал в здании министерства. За ложноготическим окном виднелось зеленовато-желтое небо.

Я спросил его, навещал ли он Гилби. Да, конечно, ответил он, уже дважды.

— По-моему, он должен благодарить свою звезду, что вообще остался жив.

Я согласился. Потом сказал ему то, о чем думал накануне в клинике, а именно: причины болезни Гилби скорей всего психологические. Или это просто моя страсть все объяснить психологией?

— Вы хотите сказать, что, не будь нажима с моей стороны и продолжай мы все петь ему хвалу, он бы не свалился? Что ж, может быть, вы и правы.

— Я имел в виду не только это,— ответил я.— Допустим, старик поправится и вернется на свой пост — что тогда?

Я мог не развивать своей мысли. Я имел в виду, что при таком состоянии здоровья старику нельзя жить в атмосфере постоянной борьбы. Если же он на это пойдет, ему вообще не жить.

Роджер все это понял. Внимательно посмотрев мне в глаза, он ответил не сразу. Некоторое время он молча курил.

— Нет,— сказал он наконец.— Я не собираюсь брать лишний грех на душу. Это маловероятно.

— Вы так думаете?

— Что бы я сейчас ни делал, он выбыл из игры,— сказал Роджер.— Он никогда не вернется.

— Это решено?

— Я уверен,— сказал Роджер и вдруг перебил себя: — Вы хотите, чтобы я ответил на то, что кроется за вашим вопросом?

— Не надо,— сказал я.

— Я готов ответить,— сказал он.— Это соображение меня не остановило бы.

Он говорил отрывисто, словно не сразу находил слова. Потом прибавил с живостью:

— Но это пустой разговор. Он все равно выбыл из игры.

Он язвительно усмехнулся:

— Он-то из игры выбыл. А вот вступил ли я в игру, это еще вопрос.

— А каковы шансы?

Роджер ответил сухо и деловито:

— Перевес в мою пользу есть, но небольшой. Скажем, шесть против четырех.

— Вы не напортили себе тогда в Бассете? В последний вечер? — спросил я.

— Может, и напортил.— И, озадаченно нахмурясь, точно близорукий ребенок, прибавил: — Беда в том, что иначе я не мог.

Дня два спустя я среди дня заехал в клинику. Гилби был все так же чисто выбрит, причесан волосок к волоску и все так же не мигая смотрел в потолок. Он заговорил о Роджере, который навестил его в то утро. Дружелюбно и снисходительно он говорил о том, что Роджер не раз отличился во время войны.

— И ведь по виду никогда не скажешь,— заметил Гилби.— Но он молодчина! Просто молодчина!

Но не прошло и нескольких минут, как ему пришлось вспомнить о бренности существования. В холодное спокойствие палаты, где застыли, как мраморные изваяния, Гилби, едва шевеливший губами, я, недвижно

сидящий рядом, и даже деревья за окном в саду, деловито вошел секретарь. Это был элегантный молодой человек с гвардейским значком в петлице.

— Сэр,— начал он.

— Да, Грин?

— Вам телеграмма, сэр.

— Прочтите, голубчик, прочтите.

Молодой человек откашлялся:

— Отправлена из Лондона, Юго-Запад, 10. Это, кажется, район Фулхема, сэр. От какого-то Порсона.

И тут я перехватил его взгляд — бесцветные глаза смотрели напряженно и испуганно. Он прочитал: «Готовит мир иной с фанфарами вам встречу».

На мгновение губы больного дрогнули, потом снова упрямо сжались. Он произнес своим хорошо поставленным голосом, обращаясь к потолку:

— Как мило!

И прибавил, еще более ровно, невозмутимо и отчетливо:

— Как необыкновенно мило!

Новость, услышанная на Саут-стрит

В начале лета Уайтхолл забурлил слухами. Гилби выписался из клиники и вернулся домой. Один политический обозреватель предсказывал, что скоро он снова приступит к исполнению своих обязанностей. Кое-кто поговаривал, что он уже принял правительственное назначение за границу. В качестве его преемника называли разных людей, в том числе и Роджера, но только одна воскресная газета выдвигала его на первый план.

Мы, стоявшие близко к центру событий, терялись в догадках. Это был один из тех случаев (не столь редких, как принято думать), когда «посвященные» читают газеты с тем же вниманием и любопытством, что и простые смертные.

Из всех нас Роджер держался наиболее хладнокровно. Он спокойно работал у себя в кабинете, отвечал на запросы в парламенте, раза два выступил с речами. Вел он себя при этом скромно, как и подобает человеку, знающему свое дело. Присматриваясь к нему в течение этой недели, я понял, что помимо самообладания ему присуще еще одно редкое качество. У него был особый дар казаться человеком более беспечным и куда менее значительным, чем на самом деле. Как-то раз вечером, после прений, на которых присутствовали и мы с Дугласом, один из молодых членов парламента пригласил целую компанию к Пратту. Огонь камина в тесном отдельном кабинете освещал несколько суровых волевых лиц, но не таково было лицо Роджера. Он сидел и пил пиво, кружку за кружкой, грузный, неуклюжий, с видом приветливым и добродушным, умный, немножко наивный — точь-в-точь доверчивый простак, затесавшийся в компанию шулеров. Среди твердых, решительных лиц его лицо резко выделялось своим радостным оживлением, без тени честолюбия или напряженности.

Как-то в июне, среди дня, я опять получил приглашение от лорда Гилби. На этот раз меня просили пожаловать в его частную резиденцию, как выразилась моя стенографистка. Зачем? Этого она не знает — приглашение передал не его секретарь Грин, а кто-то из мелких служащих и ничего больше не пожелал сообщить. Приглашен ли еще кто-нибудь? На мою стенографистку можно было положиться. Она уже звонила в

секретариат Гектора и Дугласа. Оказалось, что оба они тоже приглашены. Роуз сейчас находится на заседании, а Дуглас уже двинулся в путь.

Гилби жил совсем недалеко — он снимал квартиру на Карлтон-хауз-террейс,— но добирался я туда довольно долго. По Пэлл-Мэлл сплошным потоком шли машины с крестами на ветровом стекле, направлявшиеся во дворец, где в саду должен был состояться очередной королевский прием.

Наконец я добрался до Карлтон-хауз-террейс; квартира Гилби оказалась на верхнем этаже. В дверях меня встретила элегантная молодая женщина: леди Гилби уехала в гости, но лорд Гилби ожидает меня.

Они с Дугласом стояли у окна гостиной, из которого открывался вид на залитые ослепительным солнцем башни и башенки Уайтхолла, поднимавшиеся сразу за Сент-Джеймсским парком, за зеркальной гладью озера, над кронами по-летнему пышных деревьев. Внизу под нами вспыхивали на солнце крыши автомобилей, которые теперь бежали быстрее по уже не такой запруженной Пэлл-Мэлл. Обычный милый сердцу лондонский вид; однако лорд Гилби созерцал его без восторга. Он поздоровался со мной с изысканной любезностью, но без улыбки.

Он подошел к креслу и опустился в него. Все его движения были рассчитаны, казалось, он все время прислушивается к себе. По всей вероятности, он делал это механически — сказывалась привычка, выработавшаяся за время болезни. А так он, по-видимому, совершенно забыл о болезни и сейчас был поглощен своей досадой, да еще желанием соблюсти правила хорошего тона.

— Мне сообщили, что сэр Гектор Роуз занят и не сможет составить нам компанию,— сказал он сдержанно.— Буду благодарен, если вы передадите ему мое сожаление по этому поводу. Мне хотелось поговорить с вами, с теми, кто помогал мне советом в работе. С некоторыми коллегами я уже разговаривал,— он смотрел на нас в упор, безукоризненно одетый, свежевыбритый, печальный.— Я хотел бы, чтобы вы узнали о случившемся непосредственно от меня,— продолжал он.—Вам, полагаю, покажется это невероятным, но сегодня утром перед завтраком я получил письмо от премьер-министра.

Внезапно он вспылил:

— Он должен был сам прийти ко мне. *Должен!*

Плавно, словно сберегая силы, Гилби поднял руку и указал в сторону Даунинг-стрит.

— Здесь ведь не так уж и далеко,— сказал он,— *не так уж* и далеко.

Но тут ему вспомнилось другое правило хорошего тона.

— Должен признаться, письмо составлено с большим тактом. Да! С большим тактом. В этом ему не откажешь.

Ни один из нас не знал, пора ли уже выражать соболезнование. Однако Гилби перешел к сути дела не сразу. Наконец он сказал:

— Короче говоря, от меня решили избавиться.

Он рассеянно перевел взгляд с Дугласа на меня:

— Знаете, я просто не могу этому поверить.

Настроение его поминутно менялось — так часто бывает с человеком, на которого обрушилась дурная весть.

— Мне даже не сообщили, кто будет моим преемником, а не мешало бы спросить у меня совета. Не мешало бы.

Он обвел нас взглядом:

— Так кто же это?

Дуглас ответил, что никто из нас этого не знает.

— Если верить газетам,— сказал Гилби, оскорбленный до глубины души,— меня... меня...— он медленно поднял правую руку на уровень

плеча,— хотят заменить таким человеком, как Григсон!— И он осторожно опустил левую руку ниже колена.

Затем перевел разговор на более приятную тему. «Они» предложили ему титул виконта. (Он уже не мог заставить себя говорить о премьер-министре в единственном числе или называть его по имени.) Надо полагать, это весьма любезно с «их» стороны.

Это был первый шаг наверх по лестнице титулов, с тех пор как один из Гилби — ланкаширский землевладелец — в восемнадцатом веке женился на дочери богатого работорговца. «Мошенники! Сущие мошенники!» — заметил Гилби с непонятным удовлетворением, которое он испытывал всякий раз, углубляясь в историю своего рода. Подобного удовлетворения он отнюдь не испытывал, когда в нее начинали углубляться другие. Я слышал раз, как он отозвался об одном научном труде, где прослеживалась связь некоторых аристократических семейств с торговлей черными рабами. «На мой взгляд,— сказал он тогда с видимым огорчением,— в подобных исследованиях совершенно нет никакой надобности».

Гилби продолжал рассуждать о том, что повлечет за собой его новый титул. Изменится его место во время дворцовых церемоний, переменится герб.

— Едва ли я доживу до следующей коронации, но... кто знает. Лучше всегда быть заранее готовым.

Ему было как-то сиротливо, и мы остались еще на полчаса. Когда мы наконец стали прощаться, он сказал, что намерен бывать в палате лордов не реже, а чаще прежнего.

— За ними, знаете, нужен глаз да глаз,— сказал он наивно и обиженно.

Когда мы вышли на улицу и пересекли дорожку у парка, Дуглас, надвинув на лоб черную шляпу и пряча сочувственную улыбку, сказал:

— Вот так-то!

Министры приходят и уходят. Но ведь и Гилби вряд ли огорчился бы, если бы Дугласа понизили в должности, или обрадовался бы, если бы его вернули в казначейство.

— Теперь, пожалуй, можно будет заняться серьезными делами,— сказал он.

Дуглас не стал строить предположений насчет того, кто займет место Гилби. Возможно, он не хотел заводить разговор об этом, подозревая, что я знаю больше, чем я знал на самом деле. Я же, войдя к себе в кабинет, тотчас позвонил Роджеру, который попросил меня немедленно прийти. Он находился в своем кабинете в Уайтхолле. Войдя к нему, я взглянул на часы. Половина пятого.

Роджер, грузный, обмякший, сидел за своим столом.

— Да,— сказал он,— я все знаю.

— С вами уже разговаривали?

— Пока нет.— И прибавил ровным голосом:— Но, конечно, если мне не скажут сегодня, значит, все провалилось.

Не знаю, действительно ли он так думал или, чтоб не сглазить, делал вид, что готов к худшему.

— Я не был сегодня в парламенте. Решил, что ни к чему слишком уж испытывать судьбу.

Он ни словом не упомянул ни о своих планах, ни о будущем, ни о каких-либо политических вопросах. Мы просто сидели и разговаривали, прислушиваясь к тиканью часов, мучительно придумывая, как бы убить время. Вошел один из его секретарей с бумагами.

— Подождет до завтра,— грубо сказал Роджер. Как правило, он был вежлив с подчиненными. Через открытое окно донесся бой Большого Бена. Половина шестого.

— Это начинает действовать мне на нервы,— заметил Роджер.

Я спросил, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Он молча покачал головой.

Без девятнадцати шесть — я невольно то и дело поглядывал на часы — зазвонил телефон.

— Возьмите трубку,— сказал Роджер. На мгновение выдержка ему изменила.

Взволнованный голос сообщил мне, что на проводе Даунинг-стрит. Меня соединили с главным секретарем премьер-министра, и я передал трубку Роджеру.

— Да,— сказал Роджер.— Могу. Буду у вас в шесть.

Он с непроницаемым видом посмотрел на меня.

— Похоже, что дождались,— сказал он.— Впрочем, еще может обнаружиться какая-нибудь загвоздка.

Я поехал домой на такси: мне не терпелось рассказать Маргарет обо всем, что сегодня произошло, сообщить, что развязка близка. Но Маргарет встретила меня смехом — новости мои успели сильно устареть. Она уже знала обо всем от Дианы Скидмоур, неотрывно следившей за ходом событий; Диана пригласила нас к себе на Саут-стрит, и Маргарет была уже одета и готова к выходу.

На Парк-лейн было полно нарядных туалетов, визиток, серых цилиндров — это шли к автобусным остановкам и станциям метро гости, выдержавшие до победного конца королевский прием. Несколько цилиндров и туалетов гордо направились на Саут-стрит к дому Дианы.

По сравнению с Бассетом дом этот был невелик, потолки высокие, но комнаты тесные; и все же столько тут было нагромождено дорогих вещей, что еще сильнее ощущалась роскошь — квинтэссенция роскоши, бившая в глаза. В Бассете целый цветник порой отделял одну драгоценную диковину от другой. Там был простор, который уже сам по себе создавал впечатление простоты, свободы. Здесь же, на Саут-стрит, наперекор всем стараниям Дианы, сразу начинало казаться, что находишься в аукционном зале или на выставке свадебных подарков.

Когда мы с Маргарет вошли, Диана с подкупающей искренностью объясняла кому-то из гостей, до чего же *мал* ее дом. Объясняя, она обнаружила такие познания в архитектуре, каких я у нее не подозревал, еще месяца два назад у нее таких познаний не было. По всей видимости, она вышла из-под влияния своего музыканта и подпала под влияние какого-то архитектора и с наслаждением показывала это: так юная девушка, впервые влюбившись, с наслаждением повторяет при каждом удобном случае имя любимого.

Глядя на Диану, я нередко думал, что очень глупо воображать, будто светские люди непременно циники. Такие люди, как она, светские по самой природе своей, отнюдь не циничны. Они потому и светские, что не циничны, не равнодушны ко всему на свете.

Увидев нас с Маргарет, Диана сплавила своего собеседника ближайшему кружку гостей и, оставив пустую болтовню, вновь превратилась в деловую, уверенную в себе женщину. Да, ей известно, что Роджер сейчас у премьера. Она пригласила их с Кэро приехать, как только они смогут и если захотят.

— У меня тут сегодня ни одного политического деятеля,— оживленно сказала Диана.— Так ведь лучше?

Она оберегала Куэйфов на случай, если в последнюю минуту все сорвется.

Мы смешались с толпой приглашенных, в большинстве своем людей богатых и праздных. Вероятно, почти никто здесь и не слыхал о Роджере Куэйфе. Мы с Маргарет переглянулись — у обоих мелькнула

одна и та же мысль: ему пора бы уже прийти. Я заметил, что Диана, которая не так-то легко теряла душевное равновесие, выпила лишний коктейль.

И тут они вошли — Роджер между Кэро и ее братом Сэмикинсом. Все трое рослые, Роджер намного выше своего шурина и несравнимо грузнее. Мы могли ни о чем не спрашивать — достаточно было взглянуть на Кэро. Она так и сияла от радости, беззастенчивой радости, которую она жаждала разделить со всеми нами. Взяв с подноса по бокалу шампанского, они направились к нам.

— Все в порядке,— сказал Роджер. Среди поцелуев и рукопожатий эти слова прозвучали на редкость безразлично, до смешного невыразительно. Человек, мало его знающий, подумал бы, что он ничуть не изменился за последние два часа. Он улыбался светской улыбкой, сдержанной, чуть ли не робкой, но глаза его блестели, линии вокруг рта обозначились резче, словно торжество переполняло его и он втайне им упивался. За этой робкой улыбкой чувствовалась какая-то юношеская неукротимость. И я подумал, что он отнюдь не из тех толстокожих, которые не способны остро переживать свое горе или упиваться победой.

— Не ударил старик в грязь лицом? — сказала Кэро, обращаясь к Маргарет.

Сэмикинс разразился громким хохотом.

Вблизи он казался настоящим атлетом — пышущий здоровьем, жизнерадостный. Глаза у него были, как у сестры,— большие, наивные, дерзкие, и всем своим видом еще яснее, чем она, он показывал, что ему все нипочем. Сейчас он, как никто, откровенно ликовал по случаю назначения Роджера. Он заговорил со мной и стал громко перечислять всех, кому это будет особенно неприятно.

К нам подошла Диана, ей не терпелось как-то выразить свои чувства.

— Вот что,— сказала она.— Я хочу устроить в вашу честь банкет. Может, взяться за дело сразу и сделать это сегодня же? Или завтра? Что вас больше устраивает?

Сэмикинса устраивал любой вариант, Кэро тоже, но она вопросительно посмотрела на Роджера.

Он медленно покачал головой, застенчиво улыбнулся Диане, поблагодарил ее, потом сказал:

— Мне кажется, сейчас еще не время.

Она улыбнулась в ответ — не только улыбкой хозяйки политического салона, но с нежностью и симпатией — и тем не менее резковато спросила:

— Почему же не время?

— Министров и до меня были тысячи. Но банкета почти никто из них не заслужил.

— Какая ерунда! Вы — это вы. И я хочу дать банкет в вашу честь.

— Подождите, пока я действительно что-нибудь сделаю,— сказал Роджер.

— Вы это серьезно? — воскликнула Диана.

— Я предпочел бы, чтобы вы подождали.

Больше она не настаивала. И она и все мы в какой-то мере поняли его. Или так нам почудилось? Кое-кому в его словах могло почудиться самодовольство. Однако сказаны они были не столько из самодовольства, сколько из суеверия. Он и сейчас, когда власть была уже у него в руках, пытался, хоть и по-другому, чем несколько часов назад, у себя в кабинете, задобрить судьбу. Он был суеверен, как человек религиозный, который взял на себя определенную миссию и не даст себе ни малейшей поблажки, пока ее не выполнит, а если выполнить не сумеет, будет считать, что напрасно прожил жизнь.

Часть вторая

ВСЕ В РУКАХ МОИХ

Вводится посторонний

В последующие несколько месяцев я неоднократно спрашивал себя: заслуживает ли Роджер и его сподвижники упоминания в учебнике истории хотя бы мелким шрифтом. И если да, то что скажут о них грядущие историки? Не завидовал я этим историкам. Конечно, сохранятся документы. Документов будет больше чем достаточно. Немало их составил я сам. Есть среди них и памятные записки, и протоколы заседаний, и официальные бумаги, и «благоприятные отзывы», и стенограммы совещаний. И все это без подделки.

И, однако, они не давали никакого представления о том, что же все-таки было сделано и тем более — с какой целью, а подчас и просто вводили в заблуждение. То же могу сказать обо всех документах, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело. Думаю, многие историки сумеют составить себе довольно ясное представление о Роджере, но откуда историку понять, что руководило людьми, о которых он не знает ничего, кроме их имен,— такими, как Осбалдистон, Гектор Роуз, ученые, рядовые члены парламента? В его распоряжении не будет никаких данных. А между тем без этих людей не принималось ни одно решение, и нам надо было ежечасно помнить и знать, что ими движет.

С другой стороны, тем, кто придет после нас, многое станет виднее. Нам были понятны, хотя бы отчасти, поступки и стремления отдельных людей. А их общественный смысл? Какие социальные силы заставляли объединяться людей столь разных, как Роджер, Фрэнсис Гетлиф, Уолтер Льюк и все мы, остальные? На какие социальные силы мог опираться такой политический деятель, как Роджер? Имелись ли вообще такие силы в нашем обществе? Вот вопросы, которые могли бы у нас возникать и порой возникали; но таков уж порядок вещей, что судить о правильности ответов нам не дано, а вот для будущего историка они будут ясны как дважды два.

В один погожий летний день, вскоре после того, как Роджер принял министерский портфель, он пригласил к себе кое-кого из ученых. Ему нужно создать комиссию себе в помощь, сказал он. Каковы, по их мнению, перспективы развития термоядерного оружия в ближайшие десять лет? Он хочет знать правду, как бы неутешительна она ни была. Они могут держать свою работу в тайне. И если пожелают, Льюис Эллиот может служить им в качестве rapporteur *. Главное, они не должны церемониться. Ему нужно их откровенное мнение, и он хочет знать его не позже октября.

Он намеренно отбросил прочь все уловки и ужимки — он никогда не прибегал к ним в разговорах с такими людьми — и заговорил резко, сухо, как принято в их среде. Он обвел глазами всех сидевших за круглым столом — лица казались особенно четкими в рассеянном дневном свете. Справа от него сидел Уолтер Льюк, который только что был назначен советником по вопросам науки при министерстве Роджера — крепкий, с квадратным черепом, рано поседевший; затем Фрэнсис Гетлиф; затем сэр Лоуренс Эстил, с лицом холеным и самодовольным; затем Эрик Пирсон, советник по вопросам науки при нашем ведомстве — моложавый и самоуверенный, как подающий надежды американ-

* Секретарь — составитель докладов *(франц.)*.

ский студент; еще трое ученых, вызванных сюда так же, как Фрэнсис Гетлиф и Эстил, из разных университетов, и, наконец, я.

Уолтер Льюк ухмыльнулся.

— Что ж,— сказал он,— я на жалованье у правительства. Меня уговаривать незачем, важно, что скажут вот они.— Широким жестом он указал на Эстила и других. По мере того как возрастал его авторитет в ученом мире, манеры его становились все более бесцеремонными.

— Сэр Фрэнсис,— спросил Роджер,— вы согласны?

Фрэнсис замялся.

— Для меня, господин министр, ваше предложение, безусловно, большая честь...— начал он.

— Это не честь,— возразил Роджер,— это прежде всего пренеприятнейшая работа. Но тут вы можете сделать больше, чем кто бы то ни было.

— Право, я предпочел бы, чтобы меня от этого уволили...

— Боюсь, что вам от этого не уйти. У вас больше опыта, чем у любого из нас.

— Господин министр, поверьте, все здесь присутствующие не менее сведущи, чем я.

— Я не могу без вас обойтись.— сказал Роджер.

Фрэнсис еще помедлил, затем вежливо, но чуть нахмурясь сказал:

— Я вижу, у меня нет выхода, господин министр. Постараюсь сделать все, что в моих силах.

Можно было подумать, что это обычные словесные реверансы и что Фрэнсис первый огорчился бы, если бы его поймали на слове. На самом же деле все обстояло как раз наоборот. Ответив согласием Роджеру, он почувствовал себя так, словно попался в ловушку.

Сэр Лоуренс Эстил сказал без колебаний:

— Если вы находите, господин министр, что я могу принести какую-то пользу, считаю себя обязанным принять ваше предложение.

— Очень любезно с вашей стороны,— сказал Роджер.

— Хотя, если вы рассчитываете, что мы сможем выполнять все эти разнообразные поручения и одновременно вести свою обычную работу...— сэр Лоуренс не договорил.— Мне хотелось бы как-нибудь побеседовать с вами о положении ведущих ученых в наших университетах.

— Всегда к вашим услугам,— сказал Роджер.

Сэр Лоуренс удовлетворенно кивнул. Ему нравилось общество министров: беседовать с министрами — это тоже не всякому дано. Если Фрэнсис был сыт по горло миром высокой политики, то Эстил был в этом отношении ненасытен.

Остальные согласились работать без лишних слов. Затем Роджер перешел к тому, ради чего, на его и на мой взгляд, было созвано это совещание. Мы заранее уговорились о том, что он сейчас собирался предложить. Позднее я должен был напоминать себе, что мы оба в равной мере приложили к этому руку.

— А теперь, когда мы сформировали комитет, и притом на редкость удачный по своему составу,— впервые в этот день Роджер снизошел до лести,— я хотел бы знать, что вы скажете, если я предложу вам еще одного члена.

— Кого именно, господин министр? — спросил Эстил, заранее соглашаясь.

— Я спрашиваю вашего мнения, потому что с человеком, которого я имею в виду, вам будет не так-то просто. Я знаю, он на многое смотрит иначе, чем мы с вами. Может статься, из-за него вам придется потратить немало времени понапрасну. Но я уверен, что игра стоит свеч.— Помолчав, он прибавил: — Я говорю о Майкле Бродзинском.

Лица были бесстрастны — непроницаемые лица людей, привыкших

заседать в высоких комиссиях. После короткого молчания заговорил Эстил:

— Мне кажется, я выражу общее мнение, господин министр. У меня нет никаких возражений против сотрудничества с доктором Бродзинским.— Эстилу приятно было соглашаться с министром. И не из угодничества, не из корысти даже, просто Эстил считал, что министры всегда правы.— Безусловно, известные расхождения у нас будут. Но никто не станет отрицать, что это большой ученый. Он несомненно внесет свой вклад в работу комитета.

Кто-то, кажется Пирсон, сказал вполголоса:

— Если не можешь одолеть противника, примкни к нему. У нас получается наоборот.

Остальные ученые сказали, что сработаются с Бродзинским. Фрэнсис поглядывал на часы, давая понять, что спешит вернуться в Кембридж.

— Господин министр, я согласен с моими коллегами,— сказал он.— Я склонен думать, что будет гораздо опаснее, если он останется вне нашего комитета.

— Я, собственно, не это имел в виду,— сказал Эстил.

— Но все же, вы находите, что это удачная мысль, Эстил? — спросил Роджер.

— А я не нахожу. По-моему, вы все не правы,— выпалил Уолтер Льюк.— По-моему, это чертовски неверный ход. Я так с самого начала подумал и остаюсь при своем мнении.

Все взгляды обратились на него.

— Я ведь вам говорил: так он будет у нас на глазах...— негромко сказал я.

— Послушайте,— сказал Уолтер,— вы все привыкли принимать решения, сообразуясь с разумом, верно?

Никто не ответил.

— Вы все привыкли к тому, что всякого человека можно переубедить, верно?

Снова молчание.

— Я тоже, прости меня господи. Что ж, бывает, что и удается. Согласен. Только, по-моему, ничего путного из этого не выйдет.

Все возмущенно задвигались. Вспышка Уолтера вызвала у сидящих за столом одно и то же чувство. Гетлиф, Эстил, все хотели одного: чтобы он замолчал.

Роджер холодно смотрел на него.

— Возьмете вы на себя ответственность за все вытекающие последствия, если я послушаю вас и не приглашу Бродзинского?

— Пожалуй, возьму,— сказал Уолтер.

— Можете не беспокоиться,— ответил Роджер.— Я отвергаю ваше возражение.

Спустя неделю Майкл Бродзинский впервые появился на заседании комиссии. Все уже были в сборе и ждали начала, когда вошел секретарь и сказал мне, что приехал Бродзинский. Я вышел ему навстречу и еще до того, как мы поздоровались, по радостно признательному выражению его лица понял, что ему уже известны некоторые подробности первого совещания: он знает, что своим приглашением отчасти обязан мне, и проникся ко мне доверием. Я провел его в кабинет Роджера. Ученые еще не успели рассесться по местам; Бродзинский рядом с ними показался особенно рослым и могучим. Куда крепче Уолтера, который тоже отличался незаурядной физической силой. И тут я снова убедился, что он точно знает все, что было сказано здесь в прошлый раз по его адресу.

— Добрый день, сэр Лоуренс,— приветствовал он Эстила с изысканной любезностью и сдержанной доверчивостью. По отношению к

Фрэнсису любезность его была столь же изысканна, доверчивости же поубавилось. Когда дело дошло до Уолтера, любезность перешла все границы — это была любезность врага.

Роджер приветливо поздоровался с ним и сказал какую-то банальность — вроде того, что он очень счастлив заручиться помощью Бродзинского. И сразу же Бродзинский отвернулся от Уолтера и весь обратился в слух, словно это было невесть какое откровение. Он не отрывал от Роджера своих необыкновенных горящих глаз. Он смотрел на него так, словно перед ним был не просто единомышленник, а чуть ли не спаситель.

Пари на равных

Дважды в том месяце брат Кэро приглашал меня поужинать с ним. Приглашение это не слишком меня соблазняло, но на второй раз, когда жена моя уехала погостить к сестре, я согласился. Однако, очутившись в одном из офицерских клубов вдвоем с Сэмикинсом (имя это я с каждым разом находил все менее подходящим для столь громогласного, неуемного человека), я совсем приуныл.

Он угостил меня ужином, и, надо сказать, отменным. Потом мы перешли в читальню и, усевшись под писанными маслом портретами генералов — героев Крымской войны, усмирителей Сипайского восстания, грозных вояк, стоявших на страже империи в последние годы царствования королевы Виктории,— принялись за портвейн. Я удобно развалился в кресле. Сэмикинс сидел напротив — весь подавшись вперед, неугомонный, напористый. Он подбивал меня заключить с ним пари.

Возможно, он был азартен от природы. Еще в самом начале вечера он звал меня на скачки. Он, как и его сестра, держал скаковых лошадей, а когда я чистосердечно признался, что лошади ничуть меня не вдохновляют и даже наводят скуку, он просто не поверил. Ну, хорошо, если я не желаю ставить на лошадей, то, уж конечно, соглашусь на какое-нибудь другое пари?

Я принял вызов. Я сказал, что у него есть передо мной одно преимущество: он богаче. Но, сказал я, и у меня есть кое-какое преимущество: я имею представление о теории случайностей, с которой он вряд ли знаком. Уж если держать пари, то надо выбрать что-то такое, где шансы у нас будут равны.

— Идет! — сказал он.

В конце концов мы условились, что Сэмикинс закажет еще по рюмке портвейна, после чего не будет прикасаться к звонку. Затем в течение получаса мы будем отмечать, сколько раз вызовут звонком официанта. Я ставлю на чет, он — на нечет.

— Сколько ставим? — спросил он.

— Десять фунтов,— ответил я.

Сэмикинс положил свои часы на стол между нами. Когда секундная стрелка подошла к двенадцати, он воскликнул: «Пошел!»

Я приготовился вести счет на листке клубной почтовой бумаги В читальне, кроме нас, было всего шесть человек, и один из них злобно фыркал всякий раз, как Сэмикинс разражался хохотом. Заказов, по-видимому, можно было ждать только от трех объединившихся за одним столиком генералов. Сразу после старта они позвонили официанту и заказали по большому стакану виски каждый. При удаче, рассудил я, они успеют заказать и по второму.

С двумя из них Сэмикинс был знаком и, поглядывая в их сторону дерзкими искрящимися глазами, рассказывал мне о них всякую вся-

чину. Мне было неловко: его могли услышать. Его суждения о людях были, так же как и суждения Кэро, просты и прямолинейны. Он был куда проницательнее многих более уравновешенных людей. Сейчас он рассказывал мне разные забавные истории, якобы происшедшие с этими двумя генералами во время второй мировой войны. Он вообще любил поговорить о походной жизни. А почему он не остался в армии? — спросил я. Да, это была жизнь, сказал он. Однако, продолжал он все так же горячо и нетерпеливо, носить офицерскую форму в мирное время — это не по нему. Я невольно подумал, что в старину он, наверно, отлично чувствовал бы себя в роли кондотьера.

Нет, ему претит быть офицером в мирное время, повторил он, так же как претит самая мысль о том, что придется заниматься поместьем после смерти отца.

— Видно, жевать мне до старости жвачку в палате лордов.— Сэмикинс разразился хохотом, даже для него чересчур громким.— А вам бы улыбалась такая жизнь?

Он хотел сказать, что ему это отвратительно. По обыкновению он говорил то, что думал. Трудно было представить себе человека с характером, менее пригодным для политической карьеры. И все же она манила Сэмикинса. Его манила палата общин — и что ему было до врагов, которых он успел себе там нажить. Он говорил о лидерах своей партии с тем же обескураживающим простодушием, с каким только что говорил о сидевших неподалеку генералах. Однако глаза его так и сверкали. Он вовсе не ставил политиков выше других, просто они ему нравились.

Один из генералов нажал кнопку звонка у камина, и тотчас появился официант. Прошло уже шестнадцать минут. Они заказали еще по стакану виски. Я сделал пометку на листке и улыбнулся.

— Налижутся,— неодобрительно сказал Сэмикинс, который, кстати, отнюдь не склонен был к воздержанию.

Больше никто официанта не вызывал. Человек, которому явно досаждал хохот Сэмикинса, читал какой-то фолиант в кожаном переплете; другой писал письмо, третий с недовольным видом листал журнал в глянцевитой обложке.

— Совсем закисли,—сказал Сэмикинс укоризненным тоном. Но глаза его, когда он оглядывал комнату, говорили о том, что он наслаждается, как истый игрок. Он заговорил о новом товарище министра, недавно занявшем место, которое Роджер занимал при Гилби.

— Ни к черту он не годится,— сказал Сэмикинс.

Товарища министра звали Леверет-Смит. Про него говорили, что это человек здравомыслящий и надежный, то есть, по мнению Сэмикинса, никакими достоинствами не наделенный.

— Он очень богатый,— сказал я.

— Состоятельный — да, но не более.

Я подумал, что Сэмикинс далеко не так безразличен к деньгам, как ему полагалось быть по нашим провинциальным понятиям в дни моей юности. В ту пору мы идеализировали аристократическое пренебрежение к деньгам. Сэмикинса раздражало благополучие заурядного буржуа, но он отнюдь не презирал деньги в тех случаях, когда у кого-то их было действительно много, как, например, у Дианы Скидмоур.

— Ни к черту он не годится! — кричал Сэмикинс.— Это просто бездарный адвокатишка, выскочка. У него нет никаких идей. Даже жажды власти у него нет, он прет в гору просто из тщеславия.

Я подозревал, что Леверет-Смит был назначен товарищем министра в противовес Роджеру, который почти не был с ним знаком и с которым даже не посоветовались. Я сказал, что такие люди, которые как будто никому не опасны и ввязываются в политику неизвестно зачем (в этом я был согласен с Сэмикинсом), часто залетают высоко.

— Моль тоже высоко залетает,— возразил Сэмикинс.— Он и есть моль, да еще какая въедливая. Слишком много их развелось, доконают они нас в конце концов.

У Сэмикинса в запасе было множество самых неожиданных сведений, причем почти все они оказывались верными. О Леверет-Смите он мне сообщил два обстоятельства: а) он и его жена не расходятся только потому, что боятся публичного скандала; б) она в свое время пользовалась покровительством лорда..., о котором, кстати сказать, ходили довольно грязные сплетни. Затем с непонятным мне упорством он снова заговорил о правительственных назначениях — можно было подумать, что это у него навязчивая идея. Прошло уже двадцать семь минут, и вдруг, к своему удивлению и досаде, я увидел, что один из генералов встал и, еле передвигая ноги, подошел к звонку.

— Ставьте еще галочку, Льюис! — закричал Сэмикинс и оглушительно захохотал.— Три! Нечет, а?

Официант не заставил себя ждать. Генерал велел принести три кружки пива.

— Прекрасная мысль! — Сэмикинс снова дико захохотал. Он посмотрел на часы. Прошло двадцать девять минут; секундная стрелка начала свой последний оборот.

— Ну? — сказал он, глядя на меня с вызовом и торжеством.

Я услышал, как совсем рядом кто-то фыркнул. Человек, которого Сэмикинс так явно раздражал своим громким голосом, посмотрел на него с ненавистью, неторопливо положил в книгу закладку, закрыл ее и направился к звонку.

— Двадцать секунд в запасе,— сказал я.— Кажется, моя взяла.

Сэмикинс выругался. Как все игроки, с которыми мне приходилось встречаться, он твердо рассчитывал положить деньги в карман. По-видимому, тут дело было даже не в азартной жилке, а в следовании какой-то внутренней логике. И он, и Кэро просаживали ежегодно сотни фунтов на своих лошадей, но продолжали смотреть на содержание конюшни, как на доходное предприятие, которое рано или поздно себя оправдает. Все же ему пришлось выписать мне чек, а его враг и погубитель, метнув в него злобный взгляд, скрипучим голосом заказал себе стакан содовой.

Когда чек был уже у меня в кармане, Сэмикинс сказал безо всякого вступления:

— Плохо, что Роджер очень нерешителен.

На мгновение я растерялся, разговор принимал совершенно неожиданный оборот.

— Потому-то я за вами и гонялся,— сказал он так откровенно, так вызывающе и в то же время так естественно, что это не показалось ни лестным, ни обидным — просто он говорил то, что думал.— Именно об этом я и хотел с вами поговорить.

Теперь я был готов к чему угодно, но только не к следующему его вопросу. Даже не подумав понизить голос, он спросил:

— Скажите, Роджер уже наметил себе парламентского секретаря *?

До сих пор я как-то не задумывался над этим. Я предполагал, что Роджер подберет на это место кого-нибудь из молодых членов парламента, которые будут только рады возможности выдвинуться.

— А может, он уже присмотрел кого-то, да только мы ничего не знаем? — не унимался Сэмикинс.

---

* Парламентский секретарь не входит в правительство и не получает жалованья. Он занимается всякой черновой работой в парламенте, собирает для своего министра разнообразные сведения и вообще исполняет всевозможные поручения. Для молодого члена парламента такая работа является, как правило, первой ступенькой на пути приобщения к деятельности министерств. *(Прим. автора).*

Я сказал, что при мне об этом разговора не было.

— Я хочу получить это место,— сказал Сэмикинс.

Я почувствовал странную неловкость. Мне не хотелось встречаться с ним глазами, словно у меня совесть была нечиста. Неужели он не понимает, что он пользуется слишком громкой известностью? И что в политические деятели он никак не годится? Правда, многие восхищаются его бесшабашностью — многие, но только не партийные заправилы, не люди с весом. Ни один политический деятель в здравом уме не пожелал бы его в союзники, тем более в коллеги; и уж никак не пожелал бы Роджер, которому следует избегать трений по мелочам.

Я решил поговорить с Сэмикинсом начистоту.

— Он ведь уже пошел однажды из-за вас на большой риск,— сказал я. И напомнил ему, как Роджер вступился за него перед Коллингвудом.

— Ну как же, как же. Он славный малый — и с головой,— сказал Сэмикинс.— Только я уже вам говорил: решительности бы ему побольше.

— А что говорит Кэро?

— А какого черта может она мне сказать? Все, что в ее силах, она, конечно, делает.

Он ничуть не сомневался, что она уговаривает Роджера дать ему это место, что она, как всегда, стремится ему помочь. Я был не так уж в этом уверен. Она не могла не понимать, что ничего хорошего для ее мужа из этого не выйдет.

— Я хочу это место,— сказал Сэмикинс твердым тоном человека, ставящего точку.

Однако точка на этом не была поставлена. С обычной своей неугомонностью он потащил меня на Лорд Норт-стрит выпить по последней, бессовестно рассчитывая, что чем больше он будет мозолить глаза Куэйфам, тем скорее добьется своего. В этот поздний час тенистая Пикадилли была темна и пустынна; мы мчались в «ягуаре», который, даже после обильного возлияния, Сэмикинс вел великолепно; и тут он снова повторил, что хочет получить это место. Я слушал и недоумевал: почему он так этого жаждет? Правда, ничегонеделание могло ему надоесть. Правда, в его семье все воображали, что государственные посты полагаются им по праву, а ум и способности тут ни при чем. И все-таки слишком уж скромен был пост, который ему не терпелось занять.

В гостиной у Кэро он не услышал ни да, ни нет. Кэро понимала, зачем он явился; она была внимательна и заботлива, но ничего ему не сказала. Понимал это и Роджер. Он держался дружелюбно, даже по-отечески, так как и сам питал к Сэмикинсу слабость. Роджер был мастер избегать опасных тем, Сэмикинс же слишком уважал его и боялся, чтоб идти напролом. Я смотрел на это трио — Кэро, раскрасневшаяся, хорошенькая, но какая-то присмиревшая, пила больше обычного — и, кажется, догадывался, что́ произошло здесь до нашего приезда. Вероятно, она и в самом деле сказала Роджеру о надеждах Сэмикинса, сказала, втайне стыдясь этого, как мать, которая выпрашивает для любимого дитяти что-то, явно для него неподходящее. Вряд ли она слишком настаивала, и вряд ли Роджер сказал ей, что затея эта совершенно безумная.

Все это время Роджер твердо знал, что́ ему делать. И он это сделал через неделю после просьбы Сэмикинса: взял и назначил парламентским секретарем зятя миссис Хеннекер, Тома Уиндема. Личность это была заурядная, и выбор объяснялся трезвым расчетом.

Роджер не хуже других понимал, что Том Уиндем глуп. Но это не имело значения. Роджеру нужны были прочные тылы. Он давно уже рассчитал, какие силы будут действовать против него: командование военно-воздушного флота, авиационная промышленность, крайне правое

крыло его же партии, то есть отчасти именно те силы, которые в свое время привели его к власти, как и предсказывал когда-то в своей «парадной комнате» Дуглас Осбалдистон — еще один человек, наделенный способностью мыслить трезво и логично.

Роджер проверял силы, на которые мог опереться, а среди них было Адмиралтейство. И он решил, что из тактических соображений следует сразу же изыскать «каналы», так сказать, «частные каналы», ведущие туда. Тут-то и мог пригодиться Том Уиндем. Он сам был раньше морским офицером. Не следовало забывать и о его теще. Очень важно заручиться расположением всякого, кто может стать тебе другом, говорил Роджер; врагов, как правило, на свою сторону не перетянешь, зато друзей растерять можно запросто.

С каждой новой встречей Роджер казался мне все более твердым, решительным. Теперь, когда настало время принимать первые серьезные решения, он в кругу своих сбрасывал все напускное, и в такие минуты я начинал надеяться на победу.

Впрочем, однажды утром он показался мне отнюдь не твердым и не напористым. На нем была визитка, серый жилет и полосатые брюки. Он был рассеян и взволнован. Озабоченным я видел его и раньше, а таким — никогда. Я спросил, в чем дело, и, услышав ответ, подумал, что он шутит: ему предстоит аудиенция у королевы и присяга.

Мне случалось видеть сановников, промышленников, крупных ученых, которые ожидали своей очереди в дворцовой приемной с трясущимися руками, словно боялись, что, едва они переступят порог святилища, какой-нибудь злокозненный придворный подставит им ножку. Но мысль, что и Роджер трепещет, готовясь предстать пред монаршьи очи, казалась мне нелепой. Он производил впечатление человека, свободного от предрассудков, вполне современного; на самом же деле в нем таилась романтическая, вернее, даже мистическая тяга к старине. Не напоказ и не приличий ради ходил он в церковь. Когда я однажды спросил его, почему он стал консерватором, он дал мне разумное и вполне исчерпывающее объяснение, не упомянув, однако, что немалую роль тут сыграла именно эта скрытая черта его характера. Вероятно, не случайно он женился на девушке из знатного старинного рода,— во всяком случае, когда он познакомился с Кэро, в ее принадлежности к этому роду уже было для него особое обаяние.

Я почувствовал облегчение, когда он вернулся из дворца, снова веселый и оживленный, и стал выкладывать остроумные планы, как нам переманить на свою сторону лорда Лафкина и таким образом внести раскол в ряды авиационных магнатов.

Обед в честь лорда Лафкина

За лето наши успехи, по мнению Роджера, несколько превзошли ожидания. Тщательно, как опытный разведчик, он следил за каждым шагом своих врагов. Врагов не личных — их у него пока что было меньше, чем у большинства политических деятелей. Он внимательно приглядывался к людям, которые, то ли по своим устремлениям, то ли по тому, какие силы они представляли в парламенте, неминуемо должны были стать ему поперек дороги.

Он трезво оценивал, чего можно ждать от этих врагов. И все же, подобно большинству трезвых людей, терпеть не мог, когда об известной ему горькой правде заговаривал кто-то другой. Едва ученые начали совещаться, мне пришлось сказать ему, что Бродзинский уперся и стоит на своем. Мы оба этого заранее опасались, но весь тот день Роджер на меня смотрел, как на врага.

Скоро он снова ринулся в бой. Еще до того, как парламент был распущен в июле на каникулы, он встретился с комиссией по вопросам обороны, иными словами, с полусотней рядовых членов парламента, из которых кое-кто был уже явно встревожен его действиями. Роджер с самого начала все точно рассчитал. Он мог иметь недовольных среди депутатов, представляющих крайне правое крыло: рано или поздно это недовольство уляжется; но если он потеряет доверие ядра своей партии, ему конец. Итак, он беседовал с почтенными провинциальными депутатами. Что именно и как он им сказал, я не знаю, но догадываюсь. По словам Уиндема, который ударился в обычно не свойственный ему лиризм, все было «как в сказке».

В августе Роджер попросил Осбалдистона устроить совещание группы высших государственных чиновников: он хотел, чтобы после того, как ученые представят свой доклад, административная машина могла приступить к делу без проволочки. Поскольку в эту группу входили представители разных ведомств и среди них Гектор Роуз был старшим, совещание состоялось в его кабинете. На столе, как всегда, стояла ваза с хризантемами. Окно, выходившее в парк, было, как всегда, открыто, и, как всегда, Роуз встретил нас с любезностью столь преувеличенной, что в ней чувствовалась легкая издевка.

— Дорогой мой Дуглас, как великодушно с вашей стороны уделить нам частицу вашего драгоценного времени! Дорогой мой Льюис, как мило, что вы пришли!

Поскольку мой кабинет находился в десяти шагах и поскольку приглашение было официальное, рассматривать мой приход как благодеяние никак было нельзя.

Мы уселись за стол: непременные секретари других департаментов, Дуглас, один из заместителей министра финансов и я. Роуз был слегка раздражен. Он не хотел, чтобы совещание затягивалось. Он был недоволен, что его вообще приходится проводить. Но он сдерживался. Он лишь сказал:

— Полагаю, что все знакомы с памятной запиской Льюиса Эллиота относительно первых заседаний ученых. Насколько я знаю, Дуглас, им даны указания представить доклад мистеру Куэйфу в октябре. Или, может быть, я ошибаюсь?

— Нет, вы не ошибаетесь,— сказал Дуглас.

— В таком случае приходится признать, что даже это в высшей степени представительное собрание не может пока решить ничего определенного,— сказал Роуз.— Мы не знаем, какое заключение будет вынесено. И либо я сильно ошибаюсь, либо наши коллеги-ученые и сами этого не знают. В одном мы можем быть более или менее уверены: нам предстоит выслушать несколько разных, а возможно, и прямо противоположных точек зрения. Уж в этом на них можно положиться.

По лицам пробежала усмешка. Среди присутствующих не один Роуз испытывал неприязнь ко всем ученым вообще.

— Я думаю, Гектор, мы можем пойти несколько дальше,— сказал Дуглас, ничуть не задетый его словами.— Мой шеф не стал бы вас просить заниматься делом совершенно бессмысленным.

— Дорогой мой Дуглас, я и мысли не допускаю, что ваше достойнейшее министерство и ваш достойнейший министр способны обратиться к кому бы то ни было с подобного рода просьбой.

Роуз не мог забыть, что Дуглас был когда-то ниже его чином и работал под его началом.

— Итак,— сказал Дуглас,— будем исходить из того, что доклад мы получим не раньше октября, однако...

— Кстати,— перебил Роуз, уже деловым тоном.— Можно ли надеяться, что мы в самом деле получим его к этому времени?

— Должны бы,— сказал я.

— Но и до этого мы вполне можем представить себе в общих чертах его содержание. Этот документ,— Дуглас постучал пальцем по лежавшей перед ним памятной записке,— дает нам достаточно материала. Ясно, что некоторые ученые впадают в одну крайность, некоторые — в другую. Взять хотя бы Бродзинского — а как вы знаете, у него есть сторонники,— он делает все, чтобы заставить нас вложить весьма существенную долю средств, предназначенных на оборону, в проект, с которым он давно носится, и привлечь к этому проекту большинство наших ведущих ученых. Должен сказать (Льюис меня поправит, если я ошибаюсь), что никто из ученых, даже те, кто считает Бродзинского человеком опасным, ни разу не высказал мнения, что проект его всего лишь плод больной фантазии.

Присутствующие ознакомились с предварительными сметами. Кое-кто рад был бы поверить в реальность проекта. Однако и им пришлось призадуматься. Представитель министерства военно-воздушных сил заявил, что их эксперты хотели бы «еще раз взглянуть на проект», на что Роуз ответил:

— Конечно, дорогой Эдгар, конечно. Но боюсь, все мы будем несколько удивлены, если ваш изобретательный друг сумеет убедить нас, что мы способны осилить непосильное.

— Мы тоже так считаем,— сказал Дуглас.— Это неосуществимо.

Секретарь совещания записал в свой блокнот несколько слов. Ничего более официального сказано не было, не было принято и официального решения. Однако с этой минуты было бы наивно полагать, что проект Бродзинского может пройти.

— Существует и противоположная точка зрения,— продолжал Дуглас,— и от нее не так-то легко отмахнуться, а именно: у нас нет и покуда не предвидится ресурсов для самостоятельного производства оружия. Иными словами, без займа у американцев нам не обойтись. И эти ученые полагают, что нам было бы выгоднее честно признать это и возможно скорее свернуть нашу атомную промышленность. Как я уже сказал, это другая крайность. Но должен заметить, что этого мнения придерживаются люди, известные своей рассудительностью, например, Фрэнсис Гетлиф и наш советник по вопросам науки Уолтер Льюк.

— Да, от этого не так-то легко отмахнуться,— сказал Роуз.— Они понимают не хуже нас с вами, что тут вопрос не чисто академический, что их решение будет иметь экономические последствия и, я бы сказал, еще более серьезные политические последствия.

Роуз тщательно взвешивал свои слова. Он прекрасно понимал, куда гнет Дуглас. Своего мнения Роуз еще не высказал, но он явно склонялся к мысли, что Дуглас прав.

Дуглас непринужденно раскачивался на стуле и небрежно, но с убийственной логикой доказывал, что точка зрения Льюка—Гетлифа тоже вряд ли «пройдет». Но она может прийтись по вкусу широкой публике, и мы должны быть готовы «охлаждать пыл». Такая политика, может, будет хороша лет через пятнадцать, но сейчас она нереальна. Ученым кажется, что найти безусловно правильные решения просто, а на самом деле таких решений нет. Никто из величайших мыслителей мира, да и вообще никто в мире, не знает, где выход, да и есть ли вообще выход,— впервые в тоне Дугласа послышалось раздражение.

Снова заговорил Роуз, величественный, педантичный, знающий себе цену. Я сидел и думал, что, разделываясь с Бродзинским, Дуглас говорил как исполнительный начальник департамента, представляющий точку зрения своего министра. Однако то, что он сказал сейчас, с мнением его министра никак не вязалось, и он не мог этого не знать. Сам он, разумеется, не видел в своем поведении ничего некорректного. Это

вовсе не была интрига, скорее наоборот. Это была часть некоего процесса — не вполне осознанного и подчас загадочного для его участников, иной раз прежде всего для них,— который, пожалуй, можно назвать «формированием или кристаллизацией официального мнения». Считалось, что это официальное мнение несомненно дойдет до тех, от кого зависит политический курс, и это поможет найти в конце концов правильное решение. В чьих же руках подлинная власть? Этот вопрос возник у меня, еще когда я ехал в Клепэм-Коммон после посещения Бассета. Допускаю, что вопрос этот бессмыслен, во всяком случае, все хитроумные ответы были явно ошибочны.

Я старался выиграть время. Чем дольше будет кристаллизоваться официальное мнение, тем лучше. Но положение у меня было трудное. Ведь на служебной лестнице я стоял ниже, чем все эти начальники департаментов; кроме того, я должен был взвешивать каждое слово, чтобы они не поняли, что мне известно мнение Роджера.

Разговор продолжался. «Нельзя начинать бегать, не научившись ходить»,— сказал кто-то. Услышав это изречение, Дуглас посмотрел на меня, подняв бровь, точно хотел сказать, что мы можем иногда расходиться во взглядах, но уж там, где дело касается острого словца, вкусы у нас общие.

Я решил, что самое время вмешаться.

— Разрешите мне сказать кое-что, Гектор,— заговорил я.— Просто мое личное мнение.

Гектору Роузу это не понравилось. Мы с ним никогда не ладили — слишком уж разные у нас были характеры, но он давно знал меня, еще лучше знал, чего можно ждать от меня в подобных ситуациях, и догадывался, что сейчас идиллия будет нарушена. Он предпочел бы, чтобы я не раскрывал рта, однако ответил:

— Что бы вы ни сказали, дорогой Льюис, личное это ваше мнение или не личное, мы счастливы будем вас выслушать. Будьте так любезны, просветите нас.

— Я всего лишь хотел задать один вопрос.— Тактику его я изучил не хуже, чем он мою.

— Даже и в этом случае мы несомненно многое почерпнем от вас,— сказал Роуз.

Я задал свой вопрос, но разбил его на несколько пунктов: не предрешает ли Дуглас результат обсуждения, отзываясь о точке зрения Гетлифа, как о «другой крайности»? Быть может, Гетлиф просто находит, что надо же когда-то сделать первый шаг. Или, может быть, присутствующие здесь полагают, что этот первый шаг вообще невозможен ни сейчас, ни в будущем? Может быть, они примирились с мыслью, что мы вообще уже не способны управлять этим процессом?

Первым ответил Осбалдистон:

— Едва ли мы можем заглядывать так далеко вперед.

— Все мы весьма признательны вам, Льюис, за ваше крайне интересное выступление,— сказал Роуз.— Чрезвычайно признательны. Но, при всем моем уважении к вам, должен напомнить, что сейчас нам следует заняться делами более неотложными. Насколько я понимаю, нам надлежит решить, что смогут осуществить наши хозяева за время текущей сессии парламента. Вопрос вот в чем: смогут ли они отказаться от нынешней оборонной политики и если да, то в какой мере? Поверьте, мы очень ценим, что вы взяли на себя труд изложить нам — как бы это выразиться — более широкую точку зрения. Я весьма благодарен вам, весьма.

Меня это ничуть не задело. Никого из них я на свою сторону не перетянул, но на это нечего было и рассчитывать. Я добился своего: предупредил их, что существует прямо противоположная точка зрения

и что официальное мнение, по всей вероятности, не будет так уж единодушно. Поскольку все они были отнюдь не дураки, они прекрасно поняли, что о существовании противоположной точки зрения известно и Роджеру, а этого я как раз и добивался.

Дня два спустя, сидя с Маргарет в партере «Ковент-гардена», я убедился, что есть и еще охотники заигрывать с высшими правительственными чиновниками. Повернув голову направо, я увидел в ложе нижнего яруса наряженного во фрак Гектора Роуза. Это меня удивило: ведь Роуз отличался полным отсутствием слуха, и терпеть не мог музыку. Я и сам не большой любитель музыки, но пошел, чтобы доставить удовольствие Маргарет, притом, как она справедливо заметила, в опере по крайней мере есть слова, так что можно понять в чем дело. Еще удивительнее было то, что Роуз оказался почетным гостем одного из влиятельнейших магнатов авиационной промышленности; магнат сидел справа от Роуза, супруга магната слева, а две их хорошенькие дочки сзади.

Смешно было думать, что Роуза можно купить за обед и билет в оперу. Смешно было думать, что Роуза вообще можно купить; с таким же успехом можно было бы сунуть пятерку Робеспьеру. И тем не менее, хоть уж наверно без большой охоты, он все же принял это приглашение. Интересно знать, как чувствует себя Роуз в ложе «Ковент-гардена»?

Так же смешно было бы думать, что обедом, даже роскошным, можно купить лорда Лафкина. У него было достаточно денег, чтобы платить за свои обеды, даже самые роскошные. Тем не менее, когда Роджер задумал сделать ответный ход, лорд Лафкин, при всей своей нелюбви к светским приемам, тоже принял приглашение. Я когда-то работал в его концерне и давно знал, что он человек суровый и настоящий аскет. Подкупить его было бы не легче, чем Роуза. Я никогда не слыхал, чтобы кому-нибудь пришло в голову не то что предложить тому или другому взятку, но даже просто намекнуть на что-либо подобное. Самому мне взятку предлагали всего лишь раз, беззастенчиво, в открытую. Но было это, еще когда я читал лекции в Кембридже. Ни о чем таком в отношении роузов и лафкиных и помыслить было невозможно, хотя Роуз и Осбалдистон передавали Лафкину огромные заказы, а он своей поддержкой в огромной степени упрочивал их власть. Если Роджер добьется своего, Лафкин получит одним огромным заказом меньше. Вот почему Роджеру нужен был повод чествовать его — и повод нашелся, хоть и несколько странный: день рождения Лафкина, которому исполнился шестьдесят один год.

Главное, что Лафкин принял приглашение. На верхнем этаже отеля «Дорчестер» в ожидании его собралось много народу. Двери в жаркой, уставленной цветами гостиной были распахнуты настежь, чтобы все могли сразу увидеть Лафкина; здесь были Гектор Роуз, Дуглас, Уолтер Льюк, Лоуренс Эстил, Монти Кейв, Леверет-Смит, Том Уиндем, члены парламента, высшие чиновники, ученые, все ближайшие коллеги Роджера, бизнесмены, даже кое-кто из конкурентов Лафкина. И вот наконец его увидели: будто первый парус испанской армады, он возник в глубине коридора и приближался неслышно по толстому ковру; его прикрывали, точно телохранители, два его секретаря и двое служащих отеля.

Здороваясь с Роджером, он сообщил, что, поднявшись наверх, свернул не туда и заблудился. Сообщил таким тоном, словно ставил это в большую заслугу себе и в еще больший укор всем нам. Он стоял, попивая томатный сок, а все вокруг купались в лучах его могущества. Был здесь один человек, которого я уже видел купающимся в лучах чужого могущества, причем это доставляло ему истинное наслаждение,— то был один из старших служащих конкурирующей фирмы. Лы-

сый, румяный, чем-то похожий на мистера Пиквика, он был счастлив уже тем, что находится в обществе великого человека, и расплывался в улыбке от каждого его слова. Я вспомнил, что фамилия его Худ.

Мы перешли в столовую, Лафкин сел по правую руку от Роджера — гладко причесанный, с худым, аскетическим лицом, он казался моложе большинства присутствующих, хотя на самом деле был здесь старше всех. Был он здесь, в понимании этого общества, и самым удачливым. Сын священника-диссидента, он нажил огромное состояние и был обязан этим одному себе. Но не деньги придавали ему вес в глазах Роджера: во-первых, в его руках была сосредоточена огромная промышленная мощь, а кроме того, он резко отличался от всех остальных промышленных магнатов. Лейбористское правительство дало ему звание пэра, но он обладал такой властью и держался так независимо, что другие магнаты успели простить ему даже это. Энергичный и дальновидный, знаток своего дела, он, точно каменный, сидел рядом с Роджером и, очевидно, считал, что участвовать в разговоре ниже его достоинства. Насколько я его знал, лишь одна тема не показалась бы ему недостойной внимания: он не прочь был бы выяснить, как министр намерен поступить с интересующим его заказом. Когда же выяснится (а это произойдет не сегодня), что контракт могут и не заключить, он не прочь будет выяснить, какой контракт министр думает предложить ему взамен. Уж конечно Роджер давным-давно подготовился к такому торгу. Если ему удастся расположить Лафкина в свою пользу, другие промышленные магнаты станут более покладистыми. Тактика старая как мир.

Прием по случаю дня рождения Лафкина: огромный стол, цветы, хрусталь, пестрая публика — все это выглядело на редкость празднично. Сам виновник торжества, человек неприхотливый и воздержанный, не ел почти ничего — отказался от икры, отказался от паштета из дичи. Он только позволил себе два стакана едва разбавленного виски и кусочек жареной рыбы, к остальной же еде даже не притронулся. Роджер тем временем пустил в ход лесть — я сидел напротив и все слышал.

Человеку постороннему могло показаться, что это грубая работа, слишком уж густа была лесть. Я же боялся не того, что Роджер пересолит, а того, что он недосаливает. Что и говорить, я не встречал человека толковее и энергичнее Лафкина. Он был напорист, проницателен, обладал, как ни странно, даром воображения и отлично разбирался в людях — кто ему понадобится и кто нет. Но все эти качества, все до единого, прекрасно уживались с непомерным, просто неправдоподобным тщеславием. В прошлом, когда я работал у него постоянным юрисконсультом, я вечно слышал, как его служащие, точно сонм херувимов, пели ему хвалу. Но и они, на его взгляд, не могли в полной мере оценить его личность и его деяния. И я вспомнил, как в детстве незамужние тетушки твердили мне, что великие люди не любят лести. Да, Лафкин сильно шокировал бы их. Но они были бы шокированы куда сильнее, если бы узнали, что он любит лесть лишь немногим больше других моих выдающихся знакомых.

Хвалы Роджера Лафкин принимал как должное. Время от времени он вносил поправки: например, когда Роджер заметил, что, перебрасывая часть капитала из химической промышленности в авиационную, Лафкин изрядно рисковал, тот обронил:

— Когда у тебя голова на плечах, это не риск.

— Но тут нужен был не только расчет, а еще и смелость,— сказал Роджер.

— Это уж конечно,— ответил Лафкин. Что-то, быть может, поворот небольшой точеной головы, выдавало: слова эти не были ему неприятны.

Раза два они затрагивали вопросы действительно серьезные.

— Держитесь от этого подальше. Гиблое дело! — сказал Лафкин тоном человека, который никогда не ошибается.

Роджер, как и я, знал, что ошибается он действительно не часто.

Сначала я никак не мог определить, какое впечатление они производят друг на друга. Я надеялся, что Лафкин, который, при всем своем тщеславии, отнюдь не был слеп к чужим достоинствам, отдает Роджеру должное. Я почувствовал себя увереннее, когда Лафкин поднялся, чтобы ответить на тост, произнесенный Роджером. Он начал рассказывать историю своей жизни. Это был верный признак благоволения.

Лафкин был никудышный оратор, а выступал после оратора очень искусного. У него совсем не было чувства аудитории, тогда как Роджер умел в любом случае взять верный тон. Но все это нимало не тревожило Лафкина. Он стоял, прямой и сухощавый, и столь же мало опасался за свое красноречие, как Уинстон Черчилль, когда бывал в ударе. Сначала он сказал несколько ничего не значащих слов о правительствах вообще и министрах в частности. Он был бы сейчас куда богаче, сообщил он нам, если бы не слушал в свое время разных министров. Но тут же с присущей ему способностью во всем находить повод для самовосхваления прибавил, что деньги для него всегда были на последнем плане. Он просто хотел выполнить свой долг и рад, что Куэйф его понял.

Заподозрить Лафкина в лицемерии или в хитрости было невозможно. Как истинный человек действия, он верил в то, что говорил, и в благородство собственных намерений. В доказательство чего и рассказывал историю своей жизни. Он рассказывал ее всегда в одних и тех же выражениях. Она чем-то неуловимо напоминала «Майн кампф». Однажды домашний врач (непонятно чего ради) повез юного Лафкина осматривать какую-то фабрику, работавшую в полсилы. «Я тут же решил, что когда у меня будут собственные фабрики, они всегда будут загружены полностью. Или их не будет вообще. Точка». Другой анекдот, который мне особенно нравился, повествовал о том, как некий неизвестный умник предупреждал уже несколько подросшего Лафкина: «Ничего-то ты, Лафкин, не добьешься, потому что не желаешь помнить, что лучшее — враг хорошему». И с тем же бесстрастным выражением худощавого лица Лафкин прибавил зловеще: «Ну-с, а потом мне пришлось выплачивать этому фрукту пособие по старости». Лафкин неизбежно обрывал свое жизнеописание на той поре, когда ему только-только перевалило за двадцать. Так было и теперь— иными словами, он дошел до того времени, когда большинство присутствующих едва успело появиться на свет. Но рассказчика это мало трогало. Он вдруг замолчал, самодовольно ухмыляясь, и скрестил руки на груди.

Раздался гром льстивых аплодисментов. Худ так и сиял, он хлопал, подняв руки над головой, словно на концерте знаменитой певицы, где впору рукоплескать стоя. Роджер похлопал Лафкина по плечу. И тем не менее я все больше утверждался в мысли, что оба они оценили друг друга по достоинству. Роджер повидал на своем веку слишком много власть имущих, чтобы нелепое поведение Лафкина могло его оттолкнуть. Было похоже, что они сумеют договориться, а это означало бы, что Роджер добился первого тактического успеха.

Унижение перед друзьями

Через неделю после дня рождения Лафкина мы были на приеме у американского посла; я стоял в переполненной гостиной, оглушенный веселым гомоном. Мы с Маргарет обменялись несколькими словами с женой Дж. С. Смита, племянника Коллингвуда. Я встретил ее впервые.

Это была невысокая тоненькая темноволосая женщина, сдержанная и не слишком разговорчивая, но по-своему привлекательная. У меня мелькнула мысль, что мне почему-то давно не попадалось имя ее мужа в отчетах о парламентских дебатах. Она отошла от нас. Кто-то окликнул Маргарет, и я вдруг оказался лицом к лицу с Дэвидом Рубином.

Еще раньше я попросил официанта положить побольше льда в мой стакан виски. Стекло было такое тонкое, что пальцы у меня тотчас занемели от холода. Я стал трясти рукой, чтобы восстановить нарушенное кровообращение, а Рубин смотрел на меня с печальным Schadenfreude *. Тут к нему подошел один из советников посольства, явно искавший его в толпе гостей. Он отлично знал меня, но поздоровался как-то натянуто. После нескольких любезностей он извинился и отвел Рубина в сторону.

На минуту я остался один. Затем Рубин и дипломат вернулись.

— Надо сказать Льюису,— проговорил Рубин.

— Конечно; все равно через час это будет всем известно,— ответил дипломат.

— В чем дело?

— Не знаю, в курсе ли вы уже,— сказал он.— Дело в том, что ваши и французские войска направлены в Суэц.

Я выругался. Оба привыкли видеть меня сдержанным и спокойным и, когда я вдруг вышел из себя, несколько смутились.

— Но разве вы этого не ждали?

Мне еще летом приходилось слышать всякого рода предсказания по этому поводу, но я считал их пустой болтовней.

— Господи боже мой,— сказал я,— ведь имел же я право надеяться, что у нас сохранились хоть какие-то крохи разума. Разве мог человек в здравом уме принимать это всерьез?

— Боюсь, что теперь вам придется принять это всерьез,— сказал дипломат.

Тут к нам подошел Артур Плимптон, молодой американец, который ухаживал за дочерью Фрэнсиса Гетлифа. Он поздоровался с моими собеседниками, потом посмотрел на меня и сразу же спросил:

— Что-нибудь случилось, сэр?

— Да, Артур, случилось: мы окончательно рехнулись.

Он мне очень нравился. Это был грубовато-красивый молодой человек лет двадцати трех. Конечно, с годами скулы у него обозначатся резче, а ярко-голубые глаза глубже уйдут в глазницы. В нем уже и сейчас чувствовалось больше твердости, чем в любом англичанине его лет. Он был неглуп, самонадеян, даже немного дерзок, правда, не без приятности. Он любил проявлять к людям внимание, хотя в эту минуту ничего лучшего не придумал, как раздобыть мне еще виски.

Артур и Дэвид Рубин убедили нас с женой уехать с приема; не прошло и получаса, как мы все четверо расположились в одном из кабачков в Сент-Джонском лесу. Немного поостыв, я понял, что их очень удивило возмущение, с каким мы приняли новость. Но оба они были люди доброжелательные и тактичные. Им хотелось развеять наше дурное настроение. Сперва они избегали разговоров на больную тему, но, заметив, что от этого мы только больше мрачнеем, Артур, более молодой и прямолинейный, решился. Он спросил, что тревожит нас больше всего.

— Спросите лучше, что нас не тревожит! — вспыхнула Маргарет.

Артур не сумел сдержать улыбку.

Глаза у Маргарет сверкали, краска залила даже шею. Он не ожидал, что из нас двоих она окажется более горячей, более непримиримой.

---

* Злорадство *(нем.)*.

— Ничему они не научились, и никуда они не годятся,— сказала она.— Мне всегда претила эта их политика... очень жалею, что мы оказались к ней причастны.

— Я только надеюсь,— сказал Дэвид Рубин с печальной, насмешливой улыбкой,— это этот номер у вас пройдет, раз уж вы рискнули пуститься на такую неблаговидную авантюру.

— Интересно, как это он может пройти? — воскликнул я.— Вы что, забыли, в каком веке мы живем? Неужели вы думаете, что мы сумеем удержать в повиновении Средний Восток при помощи двух-трех дивизий?

— Не знаю, как это примут у нас в Америке,— сказал Артур.

— А как это вообще можно принять? — огрызнулся я.

Рубин пожал плечами.

— Страны, у которых власть ускользает из рук, неминуемо делают глупости,— сказал я.— Это, впрочем, относится и к правящим классам. Может, и вы окажетесь когда-нибудь в таком положении.

— До этого еще далеко,— уверенно сказал Артур.

— Да, пока далеко,— подтвердил Дэвид Рубин.

Мы с Маргарет остро чувствовали свое унижение, и друзья, как могли, старались нас развеселить. В редкие в тот вечер просветы, когда ко мне возвращалась способность рассуждать беспристрастно, мне казалось, что они должны бы занимать позицию прямо противоположную. Дэвид Рубин был человек глубокий, сложный и умудренный жизнью. Его родители были выходцами из Польши, в жилах его не текло ни капли английской крови, но, как ни странно, именно он слепо любил Англию, хотя трудно представить человека с более зорким глазом на все плохое... Ему совсем не нравилось покровительственное отношение английских ученых мужей, но все равно он был влюблен в Англию и этим чуть-чуть напоминал Бродзинского — своего противника в науке. Он любил нарядную, приукрашенную Англию, которая у нас с Маргарет вовсе не вызывала умиления. На первый взгляд это может показаться удивительным, но он любил ее куда больше, чем Артур Плимптон, такой же англосакс, как и мы, который был вхож к Диане Скидмоур и ее великосветским знакомым, знал наше привилегированное общество не хуже, чем свое американское, и не слишком уважал ни то, ни другое.

Будь Артур англичанином, я в первые же пять минут нашего знакомства определил бы, к какому кругу он принадлежит. А так я мог лишь сказать, что он человек состоятельный. Однако Диана разъяснила мне, что такое определение слишком скромно. Мысль о том, что он может жениться на Пенелопе Гетлиф, отнюдь не приводила Диану в восторг. Она считала, что дочь ученого, пускай даже маститого, ему не пара. Она уже подыскивала ему более подходящую невесту.

Вопреки всему этому, а может быть именно поэтому, Англия вовсе не внушала Артуру особого почтения. В тот вечер — первый вечер Суэцкого кризиса — он всячески поносил английское правительство и высказывал идеи самые возвышенные, причем вполне искренне. Впрочем, я прекрасно помнил, как однажды, рассуждая о капиталистических предприятиях и, в частности, о том, какими способами увеличить собственное состояние, он высказывал мысли столь мало возвышенные, что рядом с ним коммодор Вандербильт показался бы человеком излишне щепетильным. Как бы то ни было, в этот вечер он был исполнен чистых и благородных надежд.

Слушая его, Маргарет, более чистая душа, чем я, несколько приободрилась. Что касается меня, то я совсем пал духом. Мне вспомнилась молодость, родной город, мои сверстники — такие же отличные молодые люди, взрывы благородного негодования и мечты — мечты куда

более смелые, чем его, но такие же чистые. Я примолк, слушая с пятого на десятое спор, который вели Артур и Маргарет с Дэвидом Рубином, чья речь становилась все более витиеватой и все менее понятной. Потом я стал делать Маргарет знаки — не пора ли домой. Останься мы дольше, я бы только впал в еще большее уныние и еще больше напился.

Самозащита

Воскресный день выдался мглистый. Небо затянуло осенней дымкой. Мы с Маргарет отправились пешком на Трафальгарскую площадь. Дальше Хэймаркета пройти не удалось. Маргарет шла оживленная, раскрасневшаяся — ее тянуло вновь, как когда-то в юности, окунуться в самую гущу «демоса». Ей было легче, чем мне, перенестись в прошлое; она подсознательно надеялась еще раз пережить радостное воодушевление тех дней, как надеялась, что места, где мы хоть раз побывали вместе, навсегда сохранят для нас искру прежнего очарования. Ею не так владела тоска по ушедшему времени, как мною, и, однако, мне кажется, она гораздо легче могла вновь ощутить его. На площади гремели речи протеста. Мы слились с толпой, стали ее частицей. Давно уже я не испытывал этого чувства, но сейчас оно охватило меня с той же силой, что и Маргарет.

В последующие дни, где бы я ни был — в учреждениях, в клубах, на званых обедах,— всюду страсти были накалены так, как этого не бывало в «нашем Лондоне» со времен Мюнхена. Как и в дни Мюнхена, люди стали отклонять приглашения в дома, где можно было нарваться на ссору. На этот раз, однако, водораздел проходил не там, где прежде. Гектор Роуз и почти все его коллеги, высшие государственные чиновники, в свое время горячо поддерживали Мюнхенское соглашение, теперь же, хоть все они и были консерваторы и по характеру и воспитанию должны были бы стоять за правительство, они не могли примириться с таким шагом. Особенно удивил меня Роуз.

— Не хочу зарекаться, дорогой Льюис,— сказал он,— тем более, что в скором времени мои поступки ни для кого, кроме меня самого, интереса представлять не будут, но, признаться, не понимаю, как я сумею убедить себя снова подать голос за консерваторов. Я уже примирился с тем, что умственный уровень этой публики оставляет желать лучшего (он имел в виду политических лидеров, изменив на этот раз привычке подобострастно именовать их «наши хозяева»). Но я не могу примириться, решительно не желаю мириться с тем, что они ведут себя глупо и безответственно, как безмозглые попугаи.

Он сидел за своим письменным столом, отгороженный от меня вазой с цветами.

— Скажите, Льюис,— продолжал он,— вы ведь, кажется, находитесь в дружеских отношениях с Роджером Куэйфом. Во всяком случае, в более дружеских, чем те, какие обычно бывают между государственным чиновником, пусть даже не совсем типичным, и политическим деятелем, пусть тоже не совсем типичным.

— В какой-то степени вы правы.

— Он не мог оставаться безучастным зрителем. Вы что-нибудь слышали?

— Нет, ничего,— сказал я.

— Ходят слухи, будто он выступил на заседании кабинета с возражениями. Любопытно было бы узнать, так ли это. Я на своем веку повидал немало министров, которые были на редкость смелы вне стен парламента, но стоило им попасть на заседание — и независимость им изменяла.

В голосе Роуза зазвучали непривычно резкие нотки. Он продолжал:

— Так вот, дорогой Льюис, было бы невредно, а может быть, даже отчасти и полезно, если бы вы намекнули Куэйфу, что многие относительно разумные и не лишенные чувства ответственности люди вдруг обнаружили, что выполняют свою разумную и ответственную работу в обстановке сумасшедшего дома. Ему не вредно будет об этом услышать, а я был бы вам весьма признателен.

Даже Роузу было не легко в этот день взять себя в руки и вернуться к своим обязанностям, к своей «разумной и ответственной работе».

А Том Уиндем и его приятели-заднескамеечники были рады и счастливы. «Наконец-то я могу опять высоко держать голову»,— заявил один из них. В те дни я не видел Дианы Скидмоур, но слышал, что все ее окружение дружно поддерживает политику правительства в отношении Суэца. В то время как государственные чиновники были глубоко удручены, политические деятели ликовали. Сэмикинс, против обыкновения, оказался заодно со своими приятелями и ликовал больше всех. У него на то была особая причина.Выяснилось, что он единственный сторонник сионистов в своей фракции правого крыла. Возможно, это был просто каприз, но он обратился к израильскому командованию с просьбой зачислить его офицером в действующую армию и теперь бурно радовался, что успеет до старости еще разок повоевать.

Журналисты и политические комментаторы разносили слухи по клубам. Поговаривали, что среди депутатов, поддерживающих обычно политику правительства, есть и несогласные. Я своими ушами слышал, как Кейв и кое-кто из его коллег отзывались о событиях с той же горечью, что и государственные чиновники и интеллигенция. «Это последний залп Итона и нашей гвардии»,— сказал один молодой консерватор. Но как мы могли этому помешать? Сколько членов кабинета голосовало против? Собирается ли подать в отставку такой-то? А самое главное — как вел себя Роджер?

Как-то утром, в перерыве между заседаниями кабинета, Роджер вызвал меня к себе, чтобы дать кое-какие указания насчет работы комиссии ученых. Он ни словом не обмолвился о Суэце, и я решил, что сейчас не время заводить этот разговор. Мы еще не кончили обсуждать свои дела, когда вошла стенографистка Роджера и доложила, что пришел мистер Кейв. Примет ли его министр?

Едва Роджер услышал это имя, его взорвало:

— Ни минуты покоя не дадут! Господи боже мой, ну почему никто из вас не позаботился, чтобы мне не мешали?

Он снова помрачнел, сказал, что занят по горло, что его совсем задергали: пусть она придумает какую-нибудь отговорку. Но стенографистка не уходила, она знала не хуже Роджера, что из всех его сторонников в консервативной партии Кейв самый талантливый. Она понимала, что не принять его было бы ошибкой. Наконец Роджер крайне нелюбезно сказал:

— Ладно уж, введите.

Я собрался уходить, но Роджер, нахмурясь, покачал головой. В дверях появился Кейв; грузный, мешковатый, он шел, высоко подняв голову, глаза его поблескивали из-под густых нависших бровей. Роджер уже овладел собой и встретил его вполне дружелюбно. Кейв первый заговорил о главном:

— Веселенькие дела творятся, а? Ну разве это не чистейшее безумие?

— Что я, собственно, могу на это сказать?

— Видите ли,— сказал Кейв,— я пришел поговорить с вами от лица кое-кого из ваших друзей. Может быть, есть что-то такое, чего мы не знаем, что заставило бы нас переменить точку зрения?

— Странная мысль!

— Вот что, Роджер,— сказал Кейв. Теперь, отбросив подковырки и насмешливый тон, он говорил веско и внушительно:— Я спрашиваю серьезно. Есть тут что-то, чего мы не знаем?

На сей раз Роджер ответил дружелюбно и непринужденно:

— Ничего такого, что заставило бы вас переменить мнение.

— Ну, раз так, то я вам скажу, что мы об этом думаем: это идиотство! Ошибка, и притом грубейшая! Этот номер не пройдет!

— Мнение как будто не такое уж оригинальное.

Ни Кейв, ни я еще не знали тогда, что накануне ночью кабинету стало известно «вето» Вашингтона.

— Не сомневаюсь, что вы это мнение разделяете. Но в какой мере вам удалось довести его до сведения кабинета?

— Не хотите ли вы, чтобы я рассказал вам, что происходило на заседании кабинета?

— Случалось, вы кое о чем и проговаривались,— Кейв слегка повысил голос и смотрел исподлобья.

При мне Роджер никогда не бывал резок, разве из чисто тактических соображений, но тут он вышел из себя. Лицо его побелело, голос стал хриплым и сдавленным.

— Вот что,— закричал он,— я еще с ума не сошел. Конечно, это не самый блестящий ход английской политики со времен тысяча шестьсот восемьдесят восьмого года. Какого черта! Неужели вы думаете, что я не вижу того, что видите вы.

Эта вспышка была груба и безобразна. Конечно, несладко было выслушивать неприятную истину, да еще от Монти Кейва, умнейшего человека и первого соперника. Но дело было не только в этом, просто это была последняя капля.

— И вот еще что,— выкрикнул Роджер.— Вы хотите знать, что я сказал на заседании кабинета? Извольте! Ничего я не сказал.

Кейв пристально смотрел на него, ничуть не растерянный — его не так-то легко было испугать взрывами чувств,— но удивленный. Немного погодя он спокойно сказал:

— А следовало бы.

— Вы так думаете? Пора бы вам лучше знать жизнь.— Роджер повернулся ко мне:— Вот вы, кажется, воображаете, будто знаете, что такое политика. Пора бы и вам кое-чему научиться. Повторяю: я не сказал ничего. Мне осточертело объяснять каждый свой шаг. Но *это* как раз и есть ваша пресловутая политика. Что бы я ни сказал, толку не было бы ни на грош. Когда эти господа закусили удила, можно было заранее сказать, чем все кончится. Да, я умыл руки. Да, я промолчал и тем самым дал согласие на неоправданный и непростительный шаг, вы даже не представляете себе, какой непростительный. И я еще должен вам что-то объяснять! Что бы я ни сказал, никакого толку не было бы. Результат был бы один: новичок, не успевший еще укрепиться среди них, потерял бы и те крохи влияния, которые у него есть. Я не риска боюсь. Вы оба видели, как я однажды пошел на неоправданный риск...

Он имел в виду тот случай, когда ему пришлось вступиться за Сэмикинса. Он говорил с безмерной злобой, словно порицая чужое легкомыслие, а может, и хуже, чем легкомыслие.

— Если я действительно хочу осуществить то, что задумал, я не имею права рисковать ради удовольствия полюбоваться собой. Я могу пойти на риск только один раз. И я с таким же успехом могу проиграть, как и выиграть.— Он щелкнул пальцами.— Если я не добьюсь того, что, по нашему общему убеждению, сделать необходимо, этого, наверно, никто не добьется. Ради этого я пойду на такие жертвы, на которые вы оба с вашим чистоплюйством никогда не пойдете! Я не стану вылезать с бес-

полезными протестами. Можете считать меня оппортунистом и приспособленцем. Пожалуйста, сколько угодно! Но я не желаю, чтобы вы оба учили меня благородству. Благородным я кажусь или презренным ничтожеством, совершенно неважно. Лишь бы удалось! Я воюю на одном фронте. И это тяжелый бой. И никакие ваши поучения не заставят меня воевать на два фронта, или на двадцать фронтов, или как там еще, по-вашему, я должен воевать.

— По-моему, все не так просто,— сказал Монти Кейв.— Вам не кажется, что совсем не трудно находить оправдание своему бездействию, когда это бездействие вам выгодно?

Но гнев Роджера погас так же неожиданно, как и вспыхнул.

— Если бы я всякий раз без нужды лез на рожон, вам бы от меня пользы не было, да и дело тоже не выиграло бы,— уже спокойно сказал он.

Услышав эти слова, я подумал, что так же ответил бы любой знакомый мне человек действия или политический деятель. Все они — начиная с политиков в масштабе колледжа и кончая государственными деятелями, вроде Роджера,— обладали особым даром: умели подавлять сомнение в собственных силах и не быть в иных случаях излишне щепетильными. Дар не слишком возвышенный, однако натуры более утонченные — Фрэнсис Гетлиф, например,— на горьком опыте убеждаются, что без него становишься не только уязвимей, но и оказываешься в весьма невыгодном положении в житейских битвах.

Предлог для разговора

Дни Суэцкого кризиса остались позади. Монти Кейв и два других товарища министра вышли из правительства. От званых обедов в иных домах все еще благоразумнее было уклоняться. Но уклониться от посещения палаты лордов, где должен был выступить с речью Гилби, я не мог.

Ничего драматического в данном случае никто не ждал. В зале, куда более пышном, чем палата общин, где поражали глаз яркие краски, великолепные витражи, бронза и алый бархат галерей, на красных скамьях удобно расположилось человек сорок. Представитель правительства, выступавший по поводу программы обороны после суэцкой истории, изрекал нескончаемые общие фразы, что, по мнению Дугласа Осбалдистона, должно было действовать на слушателей успокаивающе. Оппозиция выражала тревогу. Некий дряхлый пэр пробормотал что-то невразумительное об использовании верблюдов. Некий молодой пэр выступил насчет баз. Затем с одной из задних правительственных скамей поднялся Гилби. Вид у него был больной, хотя, по-моему, на самом деле он был не так уж плох. Мне пришла в голову мысль, что он во что бы то ни стало хочет превзойти Питта-старшего. Однако я его сильно недооценивал. Все эти годы, связанный официальным текстом, он обычно мямлил, терялся и не раз заставлял нас краснеть. Выступая по собственной инициативе, он оказался весьма красноречив и страстен — точь-в-точь актер старой школы.

— Милорды, я очень хотел бы предстать перед вами в военной форме, которую всегда носил с величайшей гордостью,— начал он своим высоким, чистым, звенящим тенором.— Но если человек не настолько здоров, чтобы сражаться, он не вправе надевать мундир.— Медленно подняв руку, Гилби приложил ее к сердцу.— Всего несколько дней назад, милорды, я бы все отдал, лишь бы быть здоровым и сражаться. Когда премьер-министр, дай ему бог здоровья, принял историческое ре-

шение, справедливость и мудрость которого неоспоримы, когда он принял решение, что мы должны силой оружия восстановить мир в зоне Суэцкого канала и защитить наши неотъемлемые права, я почувствовал, что впервые за последние десять лет могу смотреть людям в глаза. В те дни все истинные англичане могли смело смотреть в глаза всему миру. Неужели, милорды, истинным англичанам это право дано было в последний раз?

Как всегда, лорд Гилби рисовался. Как всегда, рисуясь, он был совершенно искренен.

Однако при всей своей искренности он был далеко не так прост, как казался. Начал он речь за упокой своей любимой Англии, но оказалось, что это для него удобный случай свести счеты с теми, кто выставил его из министров. В его представлении его личные враги и враги Суэцкой кампании внутри правительства сливались в одно. Поскольку, согласно клубным сплетням, Роджер был против этой авантюры, Гилби решил, что именно этот интриган и возглавил силы, которые вытеснили его из министерского кресла. Тоном умудренного опытом государственного деятеля, ни разу не упомянув имени Роджера, он выразил сомнение относительно обороноспособности страны и деятельности «интеллектуальных аферистов», которые рады превратить нас всех в мягкотелых слюнтяев.

Один знакомый, сидевший тут же на галерее, написал на конверте и передал мне: «Да это нож в спину!»

Гилби заканчивал свою речь:

— Милорды! Я был бы счастлив, если бы мог заверить вас, что безопасность страны находится в самых лучших руках. Давным-давно я не страдал бессонницей. Но последние горькие ночи я провел без сна, спрашивая себя: можем ли мы снова стать сильными? Ибо только в этом наше спасение. Чего бы нам это ни стоило, ценой каких угодно лишений, мы должны восстановить свою былую мощь, чтобы наша страна могла защищать себя. Многим из нас, милорды, жить осталось уже недолго. Меня это не пугает, не пугает никого из нас — только бы знать в свой смертный час, что родина в безопасности.

И Гилби снова медленно приложил руку к сердцу. Опустившись на скамью, он достал из жилетного кармана коробочку с пилюлями. С ближних скамей раздались одобрительные возгласы: «Правильно! Правильно!» Гилби положил в рот пилюлю и закрыл глаза. Несколько минут он сидел так, с закрытыми глазами, держа руку на сердце. Затем отвесил поклон лорду-канцлеру и удалился, опираясь на руку какого-то молодого человека.

Когда я рассказал об этом представлении Роджеру, он принял это хладнокровнее, чем другие дурные вести.

— Если нужно подложить кому-то свинью, аристократы переплюнут кого угодно. Видели бы вы, как обделывают эти дела родственнички моей жены. Большая все-таки помеха — буржуазное воспитание со всякими там нравственными устоями.

Он говорил спокойно. Мы оба понимали, что отныне враги наши — отдельные люди и целые группы — станут явными. В обществе, построенном по образцу нашего или американского, продолжал он, крайне правые всегда будут вдесятеро сильнее крайне левых. Он и раньше имел случаи в этом убедиться. Гилби не одинок, за ним выступят и другие.

Да, Гилби был не одинок. Я понял это, когда несколько дней спустя к нам заглянула Кэро. Она, как и вся ее родня, была ярой сторонницей Суэцкой кампании. У себя дома во время званых обедов она говорила об этом совершенно открыто, тогда как Роджер обычно отмалчивался. Уславливались ли они об этом заранее или все ходы в игре были известны им наизусть, так что и уславливаться было незачем? Неплохое тактическое преимущество для Роджера иметь жену из родовитой семьи,

которая превозносит политический курс правящей партии. Но было ли это тактическим ходом и уславливались ли они заранее или нет, Кэро душой не кривила. В те дни люди как будто разучились притворяться. Слушая Кэро, глядя в ее смелые, дерзко-наивные глаза, я был возмущен до глубины души, но ни на секунду не усомнился в ее искренности. Она полностью разделяла чувства лорда Гилби касательно Суэца и по тем же причинам. Больше того, она уверяла, что эти чувства разделяют и избиратели Роджера, в том числе многие бедняки.

Она уговаривала меня поехать как-нибудь с ней к его избирателям, да так настойчиво, что я заподозрил тут какую-то заднюю мысль. В конце концов я сдался. Ехать пришлось недолго: избирательный округ Роджера находился в одном из благополучных районов Кенсингтона. Мы ехали по Куинс-гейт, еще хранившей приметы былой добропорядочности,— мимо скромных гостиниц, доходных домов, дешевых меблированных комнат, студенческих общежитий, мимо той части Кромвел-роуд и Эрлс-корт, где полным-полно статисток, студентов-африканцев, художников. Все они сейчас выбрались на улицу погреться на осеннем солнышке, и, наверно, сказал я Кэро, тревоги лорда Гилби так же далеки от них, как заботы какого-нибудь японского даймио.

— Большинство из них вообще не голосует,— только и ответила Кэро.

Ее «контора» помещалась где-то на задворках, в одном из тесно поставленных одноэтажных домиков, как две капли воды похожих на те, мимо которых я возвращался в детстве домой из школы. Оказалось, что каждый понедельник от двух до шести Кэро сидит в «парадной комнате» одной из своих «подружек» из числа избирательниц — здоровенной женщины, с типично истэндским говором. Держалась она с Кэро запанибрата и была, по-видимому, в восторге, что может называть знатную даму просто по имени.

На первый взгляд, было непонятно, почему Кэро обосновалась именно здесь: этот избирательный участок выдвигал другого кандидата. За место в парламенте Роджер мог не беспокоиться: превратись он сегодня в гориллу, кенсингтонский район все равно продолжал бы голосовать за него. Но здесь Кэро находилась в гуще рабочего класса. И хотя среди здешних бедняков-поденщиков и люмпен-пролетариата она могла заполучить для Роджера несколько голосов, остальные, с той же чисто английской флегматичной безучастностью, все равно отдадут голоса другому горилле, лишь бы тот выступал в парламенте против Роджера.

Итак, Кэро обосновалась в душной, тесной комнатенке, готовая разговаривать с любым посетителем, который заглянет сюда в эти часы. Окно смотрело на соседние дома, стоявшие так близко, что можно было различить все сучки и задоринки на дверях. Первые посетители Кэро — или, точнее, ее клиенты — были сплошь сторонники консервативной партии, пожилые люди, жившие кто на доход с маленького капитала, кто на пенсию. Что заставляло их покидать свои комнатки в высоких старых домах Кортфилд-гарденс или Неверн-сквер и ехать сюда? Главным образом желание поговорить с кем-то, подумал я.

В большинстве это были люди одинокие, никому не нужные — они сами готовили себе обед и ходили в библиотеку за книгами. Кое-кому просто хотелось поговорить о своих молодых годах, о лучшей жизни, которая миновала безвозвратно. Они были безнадежно одиноки в этом человеческом муравейнике — одиноки и напуганы. Мысль о бомбах не давала им покоя, и, хотя некоторые не могли бы сказать, для чего они живут, умирать им вовсе не хотелось. «Смерть вообще так неопрятна»,— с напускным хладнокровием заявила одна старая дама, преподававшая тридцать лет назад в пансионе для благородных девиц. Я не мог бы найти для нее слов утешения: смерть действительно неопрятна.

но для того, кто испуган, всеми брошен, одинок,— она тяжела вдвойне. Я не мог бы найти для нее слов утешения, а Кэро находила; и не потому, что она была отзывчивее; не потому, что разделяла их страхи (в смелости она не уступала своему брату),— нет, просто она держалась как-то по-товарищески, не назойливо, буднично, почти сухо, своим поведением она словно говорила: «Все мы смертны, все там будем».

Клиенты из «благородных» (среди них были люди и чудаковатые, прибитые жизнью, и старающиеся из последних сил сохранять приличия) действительно все до одного оказались за вооруженное вмешательство в Суэце. Тут не было ничего удивительного. Гораздо больше удивили меня те, которые пришли позже, когда закончился трудовой день. Это были жители окрестных улочек — пестрый люд, плотным кольцом окруживший зажиточное ядро огромного, беспорядочного, никогда не замолкающего города; они работали в метро, на мелких фабричках, охотно покупали билеты денежной лотереи и делали ставки на лошадей у уличных букмекеров. Все они были членами профсоюзов и голосовали за лейбористскую партию. Приходили они сюда поговорить по делу, главным образом о жилье, иногда о школе. Кэро отвечала тоже деловито, энергично: да, этот вопрос поднять можно, нет, это не входит в компетенцию...

Нескольким она дала совет, на какую лошадь поставить завтра, дала не «de haut en bas» *, а потому что сама увлекалась скачками, пожалуй, еще больше, чем они. Держалась она вполне этично, но все же разок-другой упомянула о Суэце. Иногда о нем заговаривали посетители. Правильно она мне раньше говорила: люди, которые никогда в жизни не подали бы голоса за кого-нибудь из ее «круга», которые не скрывали, что они против «господ», сейчас, сбитые с толку, обиженные, были на ее стороне и на стороне лорда Гилби, а отнюдь не на моей.

Когда она, наконец, распрощалась и мы вышли, наступил уже вечер. Кэро настойчиво приглашала меня заехать к ним на Лорд Норт-стрит выпить виски. Я знал, что Роджер сегодня выступает с речью где-то в провинции. Знал, что она не так уж дорожит моим обществом. Значит, ей что-то от меня нужно.

Мы быстро ехали по затихшим улицам. Кэро сама вела машину.

— Убедились? — спросила она.

Она хотела сказать: «Убедились в моей правоте?»

Мне стало неприятно. Я заспорил: эта горстка людей ровным счетом ничего не доказывает; вот если бы это были рабочие из центральных областей или из северной части страны... Но я и сам не был уверен в том, что я прав: политические деятели, возвращаясь из поездок по своим избирательным участкам, нередко привозили те же сведения.

— Надеюсь, они, по крайней мере, довольны тем, как все вышло,— сказал я.— Надеюсь, и вы довольны.

— Надо было довести дело до конца,— сказала Кэро.

— Все вы обеими руками цепляетесь за прошлое,— возразил я.— Ну скажите на милость, к чему это нас приведет?

— Надо было довести дело до конца.

Раздраженные, недовольные друг другом, мы уселись в гостиной на Лорд Норт-стрит.

— Я хочу поговорить с вами,— сказала она.

— О чем?

— Вы же и так догадались.— Она смотрела на меня смело, совсем как ее брат тогда в клубе.— Вы знаете, что у Роджера был свой взгляд на всю эту историю (она хотела сказать: на Суэц). Знаете ведь. Я же знаю, что вы знаете. И наши с ним взгляды прямо противоположны. Ну

---

* Свысока *(франц.)*.

да ладно, все теперь полетело к чертям. Какое имеет значение, кто что думал. Нужно поскорее все это забыть и начинать сначала.

И вдруг спросила:

— Вы ведь теперь часто видитесь с Роджером?

Я кивнул.

— И, наверно, понимаете, что никто не имеет на него влияния?

Она сказала это даже с каким-то смирением. Согласно сплетням, ходившим в Бассете и в других модных салонах, она вертела мужем, как хотела. Но сейчас я узнал от Кэро, кто на самом деле голова в их доме.

— Он никому не позволит собой помыкать,— сказала она,— не обольщайтесь на этот счет.

— Я ведь, как вы знаете, работаю с ним не первый день.

— Будто я не знаю, над чем вы с ним сейчас работаете. За кого вы меня принимаете? — воскликнула она.— Вот поэтому я и хотела с вами поговорить. К чему все это может привести?

— Мне кажется, ему об этом лучше судить,— ответил я.

— Ему я этого не говорила.— Глаза ее зло блеснули.— Потому что, когда он что-то решит, лучше ничего не говорить, даже в мыслях не надо допускать возможности провала... если хочешь ему помочь... Но боюсь, ничего у него не выйдет.

— Это, конечно, риск,— возразил я,— но ведь Роджер знает, на что идет.

— Знает ли?

— Что вы хотите сказать? Неужели вы не верите, что он сумеет чего-то достичь?

— Приходится верить.

— Тогда что же...

— Мне трудно с вами спорить. Для этого я слишком мало знаю,— ответила Кэро.— Но у меня есть чутье, и оно мне подсказывает, что у него слишком мало шансов на успех. И я хочу вас кое о чем попросить.— Говорила она не слишком дружелюбно, но горячо.

— О чем же?

— В конце концов он все равно сделает по-своему. Я вас честно предупреждаю. Но вы и ваши друзья можете очень все для него осложнить. Так не делайте этого! Вот о чем я вас прошу. Дайте ему возможность лавировать. Может быть, ему придется без шума выйти из игры. Это не беда, лишь бы только он спохватился вовремя. Но, если он увязнет в этом деле по уши, он себя погубит. Я прошу вас и ваших друзей: не осложняйте ему положения.

Она была ничуть не интеллигентнее Сэмикинса. Помимо модных мемуаров она почти ничего не читала. Но в тонкостях высшей политики разбиралась лучше меня, даже лучше Роджера. Потому что для нее это была игра, которую можно выиграть, а можно и проиграть. Неважно, если Роджеру придется отказаться от избранного им политического курса, зато важно, чтобы он продвинулся вверх по служебной лестнице. Этому его будущему она была предана безраздельно — телом и душой.

До этого я слушал ее с возрастающей неприязнью. Но сейчас ее горячая преданность неожиданно тронула меня.

— Ход кампании целиком зависит от Роджера,— сказал я.— Он слишком хороший политик, чтобы вовремя не почуять опасности.

— Вы должны облегчить ему отступление.

— По-моему, вы напрасно волнуетесь...

— Как же мне не волноваться? Что будет с ним, если это сорвется?

— Мне кажется, его нелегко сломить.— Теперь я говорил очень мягко.— Он выстоит. Уверен, что выстоит.

— На своем веку я повидала слишком много несостоявшихся премьеров, которые когда-то, где-то, что-то напутали, сделали какой-то

неверный ход.— Кэро тоже говорила не так резко, как раньше.— На них жалко смотреть. Наверно, это ужасно, когда блестящее будущее уплывает из рук. Не знаю, как перенес бы это Роджер.

— Если уж придется, так перенесет, конечно.

— Вторые роли не по нем. Он бы вконец извелся. Разве вы не видите? Он создан, чтобы главенствовать, и меньшим не удовлетворится.

Она смотрела на меня широко раскрытыми невинными глазами, и я чувствовал: для нее в целом мире существует один только Роджер. В эту минуту мы искренне понимали друг друга, нас объединяло общее волнение — и вдруг словно лопнула какая-то пружина. Кэро закинула голову и громко расхохоталась.

— Нет, вы только представьте себе,— воскликнула она,— Роджер отказывается от неравной борьбы и довольствуется местом генерал-губернатора в какой-нибудь Новой Зеландии!

Она развеселилась и налила себе еще виски. Вскоре я распрощался и ушел.

Вспышка подозрения

Как я сказал Кэро, Роджер был слишком хорошим политиком, чтобы вовремя не почуять опасности. В сущности, чутье на опасность — самое ценное качество для человека, который прокладывает себе путь к власти; кроме тех случаев, разумеется, когда оно полностью парализует его деятельность и, следовательно, становится качеством самым вредным. В эту зиму, когда у всех еще голова кругом шла после Суэца, Роджер уже присматривался: кто окажется через год его противником, критиком, а то и ярым врагом. К тому времени он раскроет свои карты. Из тактических соображений Роджеру следовало самому приоткрыть эти карты столпам промышленности, вроде лорда Лафкина. Поэтому, набравшись терпения, он обедал в клубе то с одним, то с другим и временами впадал в хорошо рассчитанную откровенность.

Бывая в Уайтхолле и в клубах, я улавливал кое-какие отзвуки этих бесед. Как-то раз я даже услышал от лорда Лафкина такой комплимент Роджеру: «Что ж, для политического деятеля он не так уж глуп». Столь лестная оценка, напомнившая мне — как по форме, так и по духу — новейшее течение в критике, была высшей похвалой, какой на моей памяти удостоил кого-либо лорд Лафкин.

В конце декабря Роджер предложил и мне включиться в подготовительную кампанию. Ученые запаздывали со своим докладом, но мы знали, что он будет представлен вскоре после Нового года; знали мы и его содержание. Лоуренс, Эстил и Фрэнсис Гетлиф расходились в частностях, но в целом все ученые, кроме Бродзинского, придерживались единого мнения. Бродзинский по-прежнему свято верил в свою правоту и в то, что в конце концов его точка зрения восторжествует. Ясно, что он запишет свое особое мнение.

Моя задача, по словам Роджера, заключалась в том, чтобы намекнуть ему на радужные перспективы, успокоить, но дать понять, что в настоящее время он не может рассчитывать на существенную поддержку правительства.

Я встрепенулся: у меня тоже было кое-какое чутье на опасность. Я до сих пор упрекал себя, что не открылся Дугласу Осбалдистону с самого начала, когда он вызывал меня на откровенность. И с Бродзинским надо поговорить начистоту. Но сделать это, конечно, должен сам Роджер.

Роджер был переутомлен и задерган. Когда я сказал, что вряд ли сумею добиться толку, он возразил, что я ведь всю жизнь занимаюсь

такого рода делами. Когда я сказал, что Бродзинский человек опасный, Роджер пожал плечами. Опасен только тот, за кем стоят какие-то силы. Вот он, Роджер, берет на себя авиационную промышленность и военных. А что такое Бродзинский? Одиночка, никого и ничего не представляющий. «Вы что, испугались его буйного нрава? Впереди нас ждет кое-что и похуже. Что же, вы собираетесь все взвалить на меня?»

Никогда еще мы не были так близки к ссоре.

Поговорить с Бродзинским наедине мне удалось после очередного заседания ученых, которое состоялось за несколько дней до рождества. Уолтер Льюк ушел вперед вместе с Фрэнсисом Гетлифом и Эстилом; Пирсон, как всегда спокойно и неторопливо, собирался к вечернему самолету на Вашингтон, куда он исправно летал каждые две недели. Я пригласил Бродзинского в «Атеней», и мы пошли вдвоем по берегу пруда сквозь промозглую зимнюю тьму. Над черной водой клубился туман. Поблизости трепыхнулось, булькнуло — должно быть, нырнула за добычей какая-то птица.

— Ну, как, по-вашему, идут дела? — спросил я.

— Какие дела? — спросил Бродзинский своим низким грудным голосом, как всегда называя меня полным титулом.

— Дела в комиссии.

— Разрешите мне задать вам один вопрос: почему те трое (он имел в виду Льюка, Гетлифа и Эстила) ушли вместе?

Парк был безлюден, но он понизил голос чуть не до шепота. Его лицо было обращено ко мне, большие глаза светились недоверием.

— Они ушли,— ответил он сам себе,— чтобы на свободе строить свои планы без меня.

Вполне вероятно, что так оно и было. Но если бы и не было, ему бы все равно это померещилось.

— Вы думаете, я доволен тем, что творится в этой комиссии?..— Он упорно именовал меня полным титулом.

Дальше мы шли молча. Такое начало не сулило ничего хорошего. В клубе я повел его наверх, в большую гостиную. Там на столике лежала книга кандидатов в члены. Я подумал, что при виде ее он, пожалуй, смягчится. Тут было и его имя: все мы — Фрэнсис, Льюк, Эстил, Осбалдистон, Гектор Роуз и я расписались, поддерживая его кандидатуру. Ни для кого не было секретом, что он жаждет стать членом «Атенея», что это его заветная мечта. Мы, со своей стороны, делали все, что могли. И не только для того, чтобы задобрить его и утихомирить,— тут было, мне кажется, и другое побуждение. Несмотря на волевой характер, несмотря на то, что он был явный параноик, в нем чувствовалось что-то жалкое.

А может быть, как раз потому так и получалось, что он был параноик. Перед человеком душевно неуравновешенным пасуют даже сильные, видавшие виды люди. Когда на такого находят припадки подозрительности, когда он чувствует себя несчастным и гонимым, он становится совершенно беззащитен. Он взывает о сострадании и получает его такой мерой, о какой никто из нас, простых смертных, не может и мечтать. Пусть мы лучше держимся, пусть мы несравненно больше нуждаемся в помощи и заслуживаем сочувствия. И все же никогда не пробудим в окружающих истинную жалость, никогда не тронем их так глубоко.

Так было и с Бродзинским. Я сказал Роджеру, что Бродзинский — человек опасный: это было обычное деловое соображение, о котором, осторожности ради, не следовало забывать. Однако, сидя рядом с ним в дальнем конце клубной гостиной, замечая, как притягивает его взгляд книга кандидатов, я забыл об осторожности; я чувствовал, что острая подозрительность снова овладевает им: теперь его мучил страх, что со-

брание избранных, к которому он тянется всеми силами души, вошло в тайный сговор, чтобы оттолкнуть его. И мне интуитивно захотелось прежде всего его подбодрить. Нужно как-то дать ему понять, что никто против него ничего не замышляет, думал я; нужно как-то ему помочь. Хорошо бы старшины клуба сделали исключение и приняли его в члены вне очереди...

Когда я предложил ему выпить, он попросил рюмку хереса и стал медленно потягивать его, с удивлением поглядывая, как я пью виски. Поразительно, как в этом крупном, мужественном человеке проявлялась подчас старая дева. А может, он считал, что все англосаксы прирожденные алкоголики?

— Министр весьма признателен вам за вашу работу в комитете,— сказал я.— Да вы, наверно, и сами это знаете.

— Прекрасный он человек,— с чувством сказал Бродзинский.

— Не сомневаюсь,— продолжал я,— что в недалеком будущем ваши заслуги будут отмечены правительством.

Я знал, что для него сумели выхлопотать орден Британской империи, который он должен был получить в июне. Мы уговорились с Роджером, что я намекну ему на это. Бродзинский уставился на меня своими лучистыми глазами. В политике Уайтхолла он подчас разбирался лучше многих англичан, но процедура представления к орденам оставалась для него загадкой. Он никак не мог понять, какое отношение к этому имеют Роджер, или Дуглас Осбалдистон, или кто бы то ни было еще. Тем не менее ответ он дал типично английский:

— Отметят меня или нет — не важно. Важно одно: чтобы мы нашли правильное решение.

— Министр весьма признателен вам за ценные советы. Без сомнения, он сам это подтвердит.

Бродзинский откинулся в кожаном кресле, так что его могучая грудь выпятилась, как у певца. По лицу его, широкому и скуластому, видно было, что он напряженно думает. Прядь пепельных волос упала на лоб. Я догадывался, что его все еще тревожит мысль о планах, которые строят у него за спиной. И все же он был доволен. О Роджере он говорил, как о надежном и влиятельном друге. Со мной он держался так, словно и я был ему друг — правда, поплоше, но тоже влиятельный.

— Скоро придет время министру изложить свою точку зрения,— сказал он.

Действовать приходилось с оглядкой.

— Конечно,— сказал я,— хотя любой министр весьма ограничен в своих действиях.

— Боюсь, что я вас не понимаю.

— Я хочу сказать,— ответил я,— что вы не должны ждать от него чудес. Он человек незаурядный — вы, конечно, и сами давно это поняли,— и он несравненно смелее большинства министров. И все-таки он мало что может сделать, если его не поддержат коллеги. Добиться чего-то он сможет лишь при условии, если его мнение разделят многие и многие люди как в верхах, так и внизу.

Глаза Бродзинского стали совершенно круглые, он посмотрел на меня в упор.

— И все-таки я вас не понимаю...— Он снова обратился ко мне по всей форме.— По крайней мере, *надеюсь*, что не понимаю.

— Я пытаюсь объяснить вам, что министр обладает весьма незначительной свободой действия — куда меньшей, чем принято думать.

— Допускаю, что вы правы.— Он сказал это с подчеркнутой рассудительностью. И вдруг снова воспрянул духом.— Но давайте обратимся к фактам. По некоторым вопросам — мы как раз сегодня пытались их обсуждать — у нас нет единого мнения. Нет, и не может быть. Разно-

гласия здесь неизбежны, поскольку одни ученые берут сторону Гетлифа, другие мою. Так ведь?

— Ах вот как! Вы все еще не сошлись во взглядах? — Я попробовал пронять его иронией, но он даже не улыбнулся и продолжал таким тоном, как будто мы с ним были полностью согласны.

— Значит, при таких обстоятельствах министр может воспользоваться своим авторитетом и стать на ту или другую сторону. Так ведь?

— При известных обстоятельствах — да,— ответил я.

— Ну, а при *данных* обстоятельствах? — Он вложил в эти слова весь свой темперамент, словно желая подчинить меня своей воле. И, однако, выражение лица у него было такое, как будто все очень просто, никаких трудностей нет и в помине, его друзья (я в том числе) готовы во всем пойти ему навстречу и никаких разочарований в нашем мире просто не может быть.

Я не сразу нашелся, что ответить. Наконец, я сказал:

— По-моему, вам не следует на это рассчитывать.

— Почему?

— Я уже пытался вам объяснить: министр обязан прислушиваться к мнению своих советников. Вы дали ему совет. Но вы не можете не знать, что подавляющее большинство решительно высказывается против вас. Министр не может заявить, что мнения членов комиссии разделились приблизительно поровну, и затем просто решить, как считает нужным.

— Кажется, я вас понял. Ясно понял.— Упершись могучими руками в колени, Бродзинский пристально смотрел на меня. Выражение лица его не изменилось, но глаза гневно блеснули. Переход был так резок, словно в мозгу у него повернули выключатель и все его подозрения вспыхнули с новой силой. Мгновение назад он был исполнен самых прекрасных, самых ясных надежд. Теперь передо мной был враг.

— Что же вы поняли?

— Все очень ясно. Министру не дают самому ничего решать. Ученых в комиссию выбирал не он, их подбирали другие. Да, конечно! Те ученые советуют одно, я — другое. Тогда эти лица берут министра в оборот. Они во все вмешиваются, они не желают, чтобы этот вопрос обсуждался. Да, конечно! Теперь мне ясно, что́ я должен понять.

— Не надо искать во всем злой умысел.

— Я не ищу. Но я не могу закрывать на это глаза.

— Напрасно вы намекаете, что с вами поступили непорядочно,— сказал я уже более резко.— Я не намерен это выслушивать. Неужели вы действительно думаете, что мои коллеги ведут с вами какую-то бесчестную игру?

— Я не о ваших коллегах говорю.

— Значит, обо мне?

— Что же, если вы так считаете, то, как говорится, воля ваша.

Итак, главным врагом его и гонителем оказался я. Кому приятно, когда его ненавидят? Почти все мы боимся ненависти и содрогаемся, столкнувшись с нею лицом к лицу. И все же, пусть лучше Бродзинский видит врага во мне, чем в Роджере.

Мне пришлось сделать вид, будто меня ничуть не задевают оскорбления и характер у меня ангельский. Мне хотелось отвести душу и притом в куда более сильных выражениях, чем это делал Бродзинский. Но я был при исполнении служебных обязанностей и уж никак не мог позволить себе роскошь быть самим собой. Вместо этого я сказал тоном пожилого общественного деятеля:

— Повторяю, министр весьма признателен вам за все, что вы сделали. Считаю своим долгом передать, что он о вас самого высокого мнения.

— Надеюсь, что вы не ошибаетесь.

— Он высказал это достаточно ясно...

— Надеюсь, что вы не ошибаетесь.— Лицо Бродзинского вдруг просветлело, словно он увидел кого-то у меня за спиной.— Тогда впредь я буду обращаться непосредственно к нему.

— Это не всегда возможно, он ведь очень занят...

— Пусть уж министр это сам решит,— сказал Бродзинский.

С церемонной вежливостью он осведомился, как я собираюсь провести рождество. С достоинством поблагодарил меня за приятно проведенный вечер. Когда я проводил его до лестницы, он стиснул мне руку своей ручищей. Я вернулся в гостиную и стал спиной к камину, погруженный в свои мысли, не замечая знакомых. Я был очень зол на Роджера. Ему следовало самому открыть Бродзинскому глаза.

Интересно, мог я справиться со своей миссией лучше? Ясно одно: справиться хуже было невозможно. Интересно, что теперь предпримет Бродзинский?

Он одиночка, никакие силы за ним не стоят, и все-таки я дал положить себя на обе лопатки. Что за дикость, нелепость, думал я, стоя у камина в гостиной «Атенея».

Полчаса спустя, в собственной гостиной, происшедшее показалось мне еще нелепее. Дома я застал Фрэнсиса Гетлифа, который заехал к нам пообедать и скоротать время до вечернего поезда в Кембридж. Он разговаривал с Маргарет. Она предпочитала его всем моим старым друзьям. Как и она, Гетлиф умудрялся жить, не кривя душой. Они всегда говорили друг с другом попросту, без околичностей и недомолвок.

Я рассказал между прочим, что у меня произошел неприятный разговор с Бродзинским. Маргарет улыбнулась: ей показалось забавным, что это случилось в «Атенее». Фрэнсис возмутился, ему не терпелось представить доклад Роджеру, а что до этого Бродзинского — непонятно, чего с ним так носятся. Признаться, сейчас, сидя у себя дома, за стаканом виски, я тоже этого не понимал.

Фрэнсис был озабочен совсем другим: вскоре после моего прихода появились молодой человек и девушка, оба радостные и оживленные. Молодой человек был Артур Плимптон, который тотчас же взял на себя роль виночерпия. Он заставил Маргарет сесть поудобнее, схватил уставленный бутылками поднос и пустился в обход — он наполнял наши стаканы, величал нас с Фрэнсисом «сэрами» и вообще держался со свойственной ему смесью почтительности и нахальства. Его спутница была девятнадцатилетняя Пенелопа, младшая дочь Фрэнсиса.

Артур без особого труда выманил у Маргарет приглашение на недельку к нам. Трудней было Пенелопе принять это приглашение. Фрэнсис, который обычно радовался, когда его дети влюблялись и женились или выходили замуж, от этого романа был, по-видимому, не в восторге. Уже после того как Артур стал бывать в доме, Фрэнсису рассказали, что он несметно богат. Фрэнсиса это совсем не обрадовало — вернее, если бы они поженились, он был бы рад, но никому, даже ближайшим друзьям, не хотел этого показывать. Он не желал, чтобы кто-то думал, будто он поощряет дочь выйти замуж по расчету, и поэтому был очень скуп на приглашения к себе в дом. Английская трудовая интеллигенция вообще горда, а Фрэнсис был горд еще и от природы.

Меня, который знал Фрэнсиса с юности, это забавляло. В ту пору, еще не успев стать рабом условностей, он женился по любви, но при этом на богатой наследнице. Презрев всякие запреты, он, христианин, взял в жены еврейку. Я знал его, когда он еще не был таким почтенным. И сейчас, даже когда он бывал сух и чопорен, я неизменно слышал, как слышим все мы, встречаясь с друзьями юности, отзвуки былых времен,

отзвук полуночного боя часов на пустынных безлюдных улицах, по которым мы когда-то бродили вместе.

Его нынешняя чопорность не мешала нам с Маргарет подтрунивать над ним, над его смешной церемонностью и открыть двери нашего дома Артуру. Я любил Пенелопу, она, кстати сказать, была моя крестница, но Артур был куда занятнее.

В тот вечер он старался убить сразу двух зайцев. Первая его задача была не упустить ни слова из нашего разговора. Он был изумлен: оказалось, сэр Фрэнсис, столь именитый, столь строгий моралист в семье, рассуждал о мировых проблемах, как самый настоящий (по американским понятиям) радикал. Артур слушал и ушам не верил. Эти разговоры и возмущали его и притягивали, как запретный плод. Конечно, думал я, никакие наши разговоры ни в коей мере не могут на него повлиять. Но тут же с мрачным удовлетворением решил, что все равно ему не вредно послушать, когда о коммунистах говорят, как о самых обыкновенных людях.

Вторая задача Артура была не столь интеллектуальна: ему хотелось побыть с Пенелопой наедине. Под конец обеда Фрэнсис стал поглядывать на часы. Близилось время ехать на вокзал. Стоило Артуру подождать полчаса, и они с Пенелопой могли бы ускользнуть, ничего никому не объясняя. Но Артур был не из трусливых. .

— Сэр Фрэнсис,— сказал он,— нам тоже пора собираться. Спасибо за приятный вечер.

— Куда вы? — спросила Маргарет, так как Фрэнсис не ответил.

— Мы с Пэнни хотим где-нибудь потанцевать.

Оба выжидающе смотрели на Фрэнсиса. Пенелопа, по натуре неразговорчивая, чему-то улыбалась про себя.

Артур сказал, что, наверно, они вернутся поздно, и спросил Маргарет, нельзя ли им взять ключ.

— Я доставлю ее назад в целости и сохранности,— пообещал он Фрэнсису.

Фрэнсис кивнул.

— И отправлю назад в Кембридж как раз к рождеству,— продолжал Артур нарочито покровительственным тоном.— Идем, Пэнни. Мы так приятно провели вечер, сэр Фрэнсис.

Не ждите нас с завтраком, сказали они Маргарет, увидимся позже. Артур попрощался с Фрэнсисом, Пенелопа поцеловала отца. И они вышли. Это была красивая пара, ревниво оберегающая свои секреты, не желающая ничего выдавать постороннему глазу,— видно было только, что они веселы, счастливы и радуются жизни.

Все хорошо — лишь бы не сглазить!

В то ясное январское утро телефоны в моем служебном кабинете звонили не переставая. Известно ли мне, известно ли вообще кому-нибудь, кто будет новым премьер-министром? Вызывали ли уже кого-нибудь во дворец? Весь Уайтхолл, все лабиринты казначейства так и гудели. Кое для кого, особенно для новоиспеченных министров вроде Роджера, от ответа на этот вопрос зависело очень многое. Для двоих-троих зависело все. Окружение Роджера терялось в догадках. Отставка застала всех врасплох. В качестве кандидатов называли то лорда-канцлера, то министра внутренних дел. Много рассуждали о высокой нравственности и при этом не щадили чужих репутаций.

После завтрака разнеслась весть, что во дворец вызван Чарльз Лентон. Такого головокружительного взлета не видывали вот уже тридцать с лишком лет. К концу дня лица весьма высокопоставленные

начали обнаруживать у Лентона достоинства, которые прежде в глаза никому не бросались. Это был министр среднего ранга; какое-то время после войны он возглавлял департамент, где непременным секретарем был Гектор Роуз. Ему было пятьдесят пять лет — для премьера маловато. По профессии он был адвокат, и говорили, что после Дизраэли это будет, пожалуй, первый премьер-министр консерватор, не обладающий крупным состоянием. Он был бодр, здоров, скромен, без особых претензий. В лице у него было что-то свинячье — выручали только мешки под глазами, как отметил некий политический карикатурист, а вслед за ним и модный фотограф.

— Во всяком случае, дорогой Льюис,— сказал Роуз,— можно не опасаться, что он ослепит нас блеском ума и таланта.

Роджер не говорил ничего. Он ждал, чтобы выяснилось, кто теперь пойдет в гору. Тем временем все новые и новые сведения о премьер-министре вспыхивали в политических кругах Лондона, словно лампочки на электронно-счетной машине. К чьему мнению он прислушивается. Где провел последний уик-энд. С кем пил виски в баре накануне вечером.

За три месяца Роджер и его сторонники выяснили только одно: премьер-министр обзавелся наперсником. Само по себе это было не удивительно. Так поступает почти каждый, заняв «первое место» (как иногда называют пост премьер-министра). Куда больше удивились они, узнав, кто этот наперсник. Им оказался Реджи Коллингвуд.

Внешне у этих двоих вроде бы не было ничего общего. Коллингвуд — надменный, необщительный, мрачно-величественный; премьер же — человек компанейский, щеголяющий своей обыкновенностью, словно его главная забота: как бы не выделиться из толпы мелких чиновников в котелках, что каждый день ездят на службу в метро.

Однако наперсником Лентона стал именно Коллингвуд. И сразу же досужие сплетники начали называть имена министров, к которым Коллингвуд, по всей видимости, благоволил. Все сходились на том, что акции Роджера пошли на понижение.

Это было очень похоже на правду. Я слышал как-то от Кэро, что Коллингвуд никогда не ладил с ее родными. На его взгляд, это были чересчур уж утонченные аристократы. Правда, Коллингвуд проводил немало времени среди аристократов, однако не одобрял их. Ничего общего не было у него и с Роджером. Вряд ли им хоть раз случилось вместе выпить по стакану виски. Год назад в Бассете они встретились как люди мало знакомые, и тут же Роджер то ли оказался втянутым в ссору, то ли сам ее затеял.

Скоро, однако, сплетники совсем растерялись: Монти Кейва вернули в правительство, и он даже получил повышение, стал старшим министром. Для комментаторов снова наступила горячая пора. Что это? Реверанс в сторону Роджера? Или премьер-министр решил сыграть на противоположных интересах? Или — совсем уж остроумное толкование — он хотел усыпить бдительность левого крыла партии, прежде чем убрать Роджера?

Через несколько дней после назначения Кейва я сидел в парикмахерской на Керзон-стрит, и вдруг кто-то чуть слышно прошептал у меня над ухом:

— Интересно, что-то будет завтра?

Освободившись, я узнал некоторые подробности. По слухам, Роджера пригласили на один из сугубо интимных обедов, о которых уже успели пронюхать досужие сплетники, вроде моего собеседника; на этих обедах, помимо премьер-министра и Коллингвуда, бывал, как правило, только один-единственный приглашенный, и, поскольку клубов своей

партии Коллингвуд не любил, он устраивал эти обеды в своих апартаментах в одной старомодной гостинице.

— Что-то они ему скажут?

Я не знал. Я не знал даже, насколько все это соответствует действительности. Мой собеседник принадлежал к числу сплетников бескорыстных и самозабвенных. И сейчас, идя по залитой солнцем улице, я мрачно думал, что получил сведения из не слишком надежного источника.

Но мой сплетник сказал правду. Мы убедились в этом, когда спустя два дня Кэро позвонила Маргарет и спросила, могут ли они прийти к нам пообедать — без посторонних.

Приехали они очень рано. Солнце еще стояло высоко над парком и ослепило Кэро, когда она уселась напротив окна. Она зажмурилась, расхохоталась и объявила, что ей до смерти хочется выпить, а Роджеру и подавно. Роджер помалкивал, и Кэро, чувствуя себя как дома, завладела разговором.

Вскоре они с Маргарет уселись на диване, и в комнате вдруг наступила тишина.

— Итак, вы вчера с ними обедали? — спросил я Роджера.

— А иначе, зачем бы мы к вам приехали? — воскликнула Кэро.

Роджер сидел в кресле, устремив неподвижный взгляд на картину, висевшую над камином.

— Как же все сошло? — спросил я.

Он пробормотал что-то невнятное, словно через силу.

Я не знал, что и думать. Роджер потер ладонью глаза, лоб и виски, словно сгонял усталость.

— Да не знаю...— протянул он. И вдруг весь подался вперед.— Послушайте,— сказал он,— если бы меня спросили, как сегодня обстоят дела, я бы ответил, что все в моих руках.

Он сказал это спокойно, с полным сознанием того, что говорит, но чуть недоумевающе. Сказал так, словно не хотел показывать ни нам, ни самому себе, что он счастлив.

— Но это же замечательно! — воскликнула Маргарет.

— Мне как-то не верится,— сказал Роджер.

— Пора поверить,— ласково сказала Кэро.

— Не забывайте,— Роджер говорил медленно, взвешивая слова,— что на верхах перемены происходят быстро. Сейчас я в чести. Неизвестно, что будет через год. Трудно сказать, как все это обернется. Вспомни, что произошло с твоим дядей,— обратился он к Кэро.— Уж ты-то должна знать, к чему нужно быть готовым. Так же, как и Льюис с Маргарет. Они тоже немало повидали на своем веку. Похоже, что сейчас я достиг вершины. А завтра, может, покачусь под гору, может, уже начал катиться. Нам нельзя об этом забывать.

Мы долго сидели и пили, прежде чем перейти в столовую. Да, говорил Роджер, о таком приеме он не смел и мечтать. Премьер был очень любезен. Это, конечно, ровно ничего не значит: премьер-министру положено быть любезным. Но он сказал, что Роджер может рассчитывать на его поддержку, а это уже кое-что значит. Что до Коллингвуда, он изо всех сил старался быть приветливым; для человека, который обычно не снисходит до приветливости — а может, и просто не способен на нее,— это было более чем неожиданно.

— Самое удивительное, что он как будто действительно ко мне расположен,— сказал Роджер смущенно и простодушно.

— А почему бы и нет? — спросила Маргарет.

— А с чего, собственно? — сказал Роджер.— Знаете,— продолжал он,— ведь это впервые кто-то с самого верха поманил меня пальцем и сказал: «Голубчик, место твое здесь». До сих пор мне приходилось ка-

рабкаться самому и драться за каждый шаг. Я ведь не из тех, кому любят помогать.

Он говорил взволнованно. В тоне его чувствовалась давняя и горькая обида, вероятно, она-то много лет назад и сделала его таким волевым и жестоким.

— Брось,— сказала Кэро.— Ведь они расположены к тебе. Они ясно дали тебе понять, что ты свой.

— Они не слишком с этим спешили,— отозвался Роджер.

За обедом он был любезен, но рассеян; Кэро — хорошенькая как никогда — рассказывала что-то о своем брате. И вдруг Роджер перебил жену. Через стол он сказал ей:

— В нашем деле не так уж важно, расположены к тебе или нет.

Он говорил так, словно мы все еще сидели в гостиной и рассуждали о премьер-министре и Коллингвуде. А мы и не догадывались, что все это время мысли его витали где-то далеко.

Кэро в первую минуту не поняла, к чему относятся его слова. А поняв, неправильно их истолковала.

— Но ведь они и правда расположены к тебе,— сказала она.

— Не в том суть. Я хотел сказать, что не так уж важно, расположены к тебе или нет. В серьезных делах личные отношения в расчет не принимаются. Все не совсем так, как думают твои родственники.

Она ответила не сразу. Она не могла не заметить его тона. Он говорил «твои родственники», словно не признавал их за своих и признавать не собирался. На самом деле все было как раз наоборот. Как я слышал, когда они с Кэро поженились, Роджеру пришлось нелегко. Она влюбилась в него без памяти, и родня волей-неволей вынуждена была примириться с ее выбором. Не то чтобы он был совершенно неприемлемым женихом, да и Кэро была не какая-нибудь шалая девчонка, увлекшаяся эстрадным дирижером. Нет, Роджер был приличной партией, он мог «сойти». Но он был «не их круга». Они охотно приобщили бы его к своему кругу, если бы это зависело только от их желания. Оказалось, однако, что это не в их власти. Спустя много лет они все еще порой невольно держались с ним так, будто это был деревенский доктор или священник, которого Кэро вдруг вздумала посадить с собой за стол.

— Но почти все они делали карьеру именно благодаря личным отношениям.

— В серьезных делах этим ничего не достигнешь,— возразил Роджер.— Тут нужен кто-то, кто полностью разделяет твои мысли. И желательно, чтобы это не был твой лютый враг.

То же самое он говорил в тот вечер, когда мы с ним обедали вдвоем в клубе «Карлтон». По-видимому, эта мысль постоянно его преследовала.

— В серьезных делах личные отношения ничего не решают,— продолжал Роджер.— Принадлежность к определенной группе — скажем, к поместной аристократии, как родня Кэро,— дает гораздо больше. Но в конечном счете и это ничего не меняет. Я не могу рассчитывать на поддержку Реджи Коллингвуда при решении действительно важных вопросов только потому, что ему приятно посидеть со мной за бутылкой вина. Не так все это просто, не так романтично. Если они ко мне расположены — а похоже, что это так,— они просто немного подождут, прежде чем выставить меня. Они могут даже выставить меня с повышением. Вот и вся польза от их симпатии. Что же до того, чтобы оказать поддержку — это уже другой коленкор. Некоторое время они будут меня поддерживать, потому что им это на руку. Потому что они думают, будто мы смотрим на вещи одинаково. До известного предела я могу на это рассчитывать. Они ведь присматриваются ко мне.

Но, уверяю вас, настоящая политика вовсе не так зависит от отдельных людей и их отношений, как принято думать.

— Может, это и плохо? — спросила Маргарет.

— А может, наоборот, хорошо? — ответил Роджер.

Он произнес это без насмешки. Но и без особого глубокомыслия. Просто взволнованно. И вдруг я почувствовал в нем то, что обычно было скрыто от глаз, потому что он был такой властный, хитрый, напористый,— что-то очень простое и понятное. Он был не чужд соблазнов, его неодолимо влекла политика, ее романтическая мишура, но в иные минуты ему хотелось все это отбросить. В иные минуты он мог сказать себе, и притом совершенно искренне, что стремится к высокой цели. Не зря он живет на свете. Ему, как никому, нужны были такие взлеты. В эти минуты он словно сбрасывал с души все лишнее и ощущал необыкновенную легкость, душевную ясность и цельность.

Когда после обеда, сытые и разомлевшие, мы снова перешли в гостиную пить виски, Роджер продолжал рассуждать о политике. Коллингвуд сообщил ему вчера кое-что, о чем, как он сказал, Роджеру следует знать. Ходили слухи о назначении Кейва. Об этом уже говорили в клубах. А в воскресенье, наверно, заговорят и газеты, сказал Коллингвуд, не подозревая, по-видимому, что слух докатился и до нас в Уайтхолле. Так вот, утверждают, будто это своего рода подачка Роджеру и его единомышленникам, будто в свое время, когда освободилось место премьер-министра, Роджер заключил такую сделку с Чарльзом Лентоном: он и его сторонники поддержат кандидатуру Лентона при условии, что Кейв получит министерский портфель.

— Что вы на это скажете? — спросил Роджер. По-видимому, сплетня эта удивила его не меньше, чем Коллингвуда. Коллингвуду — вдовцу и человеку замкнутому — это было простительно, но от Роджера я такой наивности не ждал.

— Ну,— сказал я,— мне случалось слышать обвинения и пострашнее.

Мне было смешно. Весь вечер он явно наслаждался возможностью не притворяться и говорить все, что было на уме. Он не заносился, был скромен, почти кроток — так подействовала на него надежда на успех. И вдруг оказалось, что сравнительно безобидная сплетня обозлила его и обидела.

— Но это же неправда! — он даже повысил голос.

— Вам придется услышать неправду и похуже.

— Не в том суть,— сказал Роджер.— *Политику так не делают!* Что греха таить, я и не такие вещи проделывал. И впредь буду, если понадобится. Но только не так.— Он говорил убежденно и рассудительно.— Безусловно, в политике не все делается честно. Но не так. Никто не заключает такие сделки. И не потому, что мы уж очень благородные. Просто нам нужно делать дело, а этим путем многого не добьешься. Я в жизни не слышал, чтобы кто-то шел на такую сделку. Это все выдумывают люди, которые совершенно не понимают, как устроен мир.

Мы не задернули занавесей, и в открытые окна задувал легкий ветерок. Я высунулся в окно. Запах бензина, долетавший и с Бэйсуотер-роуд, смешивался с запахами весны. Для Лондона ночь была ясная, и повыше неоновой дымки, над деревьями парка, можно было разглядеть несколько звезд.

Я обернулся. Роджер, снова умиротворенный и довольный, растянулся на диване. Маргарет о чем-то спросила его. Он задумчиво ответил, что с решениями тянуть нельзя. Кто знает, долго ли он пробудет у власти. Если он продержится десять лет, можно будет считать, что ему крупно повезло.

Конец докуке

Озадачила меня не настойчивость, с какой Бродзинский домогался свидания с Роджером, а то, как внезапно он свои домогательства прекратил. Убедившись, что от моего посредничества толку не добьешься, он начал забрасывать письмами самого Роджера. Бродзинский просил принять его по делу исключительной важности. Он хотел объяснить, почему он не согласен с коллегами-физиками. Его чрезвычайно беспокоила позиция, которую занял секретарь комиссии.

Все это было, конечно, неприятно, но министрам к неприятностям не привыкать. Встретиться с Бродзинским Роджер поручил Осбалдистону. Дуглас повел себя более осторожно и официально, чем я, и разговаривал с ним так, словно отвечал на запрос в парламенте: нет, министр еще не пришел к окончательному решению; в настоящее время он изучает как доклад большинства членов комиссии, так и доклад меньшинства в лице Бродзинского. На несколько дней Бродзинский как будто успокоился. Потом письма посыпались снова. И снова я сказал Роджеру, что не следует его недооценивать.

Но что он может сделать, спросил Роджер. Написать в «Таймс»? Поговорить с военными специалистами из оппозиции? Тут мы можем быть спокойны. У нас есть с этими людьми свои связи через Фрэнсиса Гетлифа, да и не только через него. Многие годы мы с Фрэнсисом стояли к лейбористам гораздо ближе, чем к коллегам Роджера. В самом деле, ну что может сделать Бродзинский? Возразить мне было нечего. Сначала после разговора в «Атенее» меня одолевала тревога. Теперь она как будто улеглась.

По привычке я все-таки снова сказал Роджеру, что ему следует поговорить с Бродзинским.

В четверг на той же неделе, что он обедал с премьер-министром, Роджер был приглашен на вечер в Королевское общество. Назавтра он сказал мне, что минут пятнадцать разговаривал там с Бродзинским наедине.

Похоже было, что Роджер превзошел сам себя. В следующем письме Бродзинский написал, что он ни на минуту не сомневался, что господин министр прекрасно все понимает. Если бы только они могли спокойно продолжить беседу, несомненно, все препятствия были бы устранены! Через несколько дней Роджер вежливо ответил ему. Ответ Бродзинского был получен с обратной почтой. Потом начались звонки по телефону: не выяснит ли секретарь, когда министру будет удобно его принять? Нельзя ли соединить его непосредственно с министром?

И вдруг все прекратилось. Ни телефонных звонков. Ни писем. Мы даже растерялись. Я принял посильные меры предосторожности. Мы знали, чьим покровительством он пользуется в министерстве военно-воздушных сил и в парламенте. Может быть, он стал нажимать там? Но нет, оказалось, что в последнее время его там и не видели. Все было тихо и мирно, даже никаких сплетен на этот счет я не слышал.

Долготерпеливые молодые люди из секретариата Роджера вздохнули с облегчением. Слава богу, кажется, самому надоело, говорили они. За четыре месяца ни минуты покоя, и вдруг блаженное затишье. По их записям можно было установить, когда наступило это затишье. Во второй половине мая.

В те же дни мне понадобилось проверить, посланы ли приглашения некоторым лицам, представленным к наградам. К Бродзинскому это никакого отношения не имело, но я машинально подумал, что приглашение, должно быть, отправили и ему. Мне и в голову не пришло сопоставить эти две даты.

С наступлением лета все мы, единомышленники Роджера, стали проникаться уверенностью в успехе. Составлялись первые наметки законопроекта. Дважды в неделю из Кембриджа приезжал Фрэнсис Гетлиф на совещания с Дугласом и Уолтером Льюком. Между ведомствами, возглавляемыми Дугласом и Роузом, шел оживленный обмен бумагами. Роджер распорядился, чтобы окончательный вариант законопроекта был у него на столе к августу. А тогда уж он выберет подходящий момент, чтобы опубликовать его. Я знал, что он хочет сделать это вскоре после рождества — в январе 1958 года.

Пока мы составляли проект за проектом, у Дианы Скидмоур шли обычные летние приемы. В день закрытия Аскотских скачек она пригласила кое-кого, в том числе и нас, к себе на Саут-стрит. Она слышала, что приехал Дэвид Рубин,— можно было подумать, что у нее в доме стоит собственный телетайп — так хорошо она была осведомлена о приездах и отъездах важных посетителей из Америки. Она с ним не знакома, но он ведь выдающаяся личность? Да, подтвердил я, безусловно, Рубин личность выдающаяся.

— Приведите его с собой! — распорядилась Диана. Было время, когда в Бассете преобладали антисемитские настроения. Теперь хоть это изменилось.

Однако, когда в дождливый июньский вечер, часов в семь, мы с Маргарет и Дэвидом Рубином переступили порог гостиной, никаких других перемен я там не заметил. Голоса звучали все так же оживленно, шампанское лилось рекой, женщины были в специально сшитых по случаю скачек туалетах, мужчины — в жокейских костюмах. В гостиной было с десяток министров, несколько представителей оппозиции из наиболее видных, много депутатов-консерваторов, кое-кто из противного лагеря.

Широко представлена была и денежная аристократия. Диана экспансивно приветствовала нас. Ну, еще бы, конечно, она слышала, что Дэвид Рубин ведет переговоры с английскими учеными-атомниками.

— С ними можно найти общий язык? — спросила она его.— Вы обязательно должны прийти и рассказать мне обо всем подробно. Я что-нибудь устрою на будущей неделе.

Она, как всегда, говорила тоном, не допускающим возражений, и, поскольку она ни минуты не сомневалась, что ей все дозволено, что именно ей принадлежит право гостеприимно открывать ему двери Англии, он тоже принял это как должное.

Отчего это, думал я иногда, хотя она так выставляет напоказ свое богатство, на нее редко обижаются? Даже когда она бесцеремонно вмешивается в политику?

Веселый, шумный людской водоворот поглотил Диану. Когда я снова увидел ее, она стояла рядом с красивым архитектором и благоговейно внимала ему. Даже при жизни мужа, которого Диана нежно любила, она вечно металась от одного guru * к другому. Она ни минуты не сомневалась в своем празе поучать министров, но роль кроткой ученицы нравилась ей ничуть не меньше. И если другие видели в этом какое-то несоответствие, то сама она находила это вполне естественным, а чужое мнение ее мало интересовало.

Монти Кейв увел Маргарет в другую комнату. Сэмикинс что-то весело кричал издали Рубину. Я потолкался среди гостей и через полчаса снова очутился рядом с Рубином. Он задумчиво разглядывал толпу умными грустными глазами.

— Кажется, они немного оправились?

Он хотел сказать, что эти люди — по крайней мере некоторые,—

* Учитель, наставник *(инд.)*.

растерявшиеся было в связи с суэцкой историей, вновь обрели уверенность в себе. Рубин не хуже моего знал, что политические горести недолговечны. Память о них коротка — недели две, не больше. Что́ они по сравнению с новой любовной интрижкой, с новым назначением, даже, для многих из присутствующих, с радостным оживлением после удачной речи в парламенте?

— Ни в одной стране нет такого правящего класса, как у вас. Не знаю, на что они надеются, да они и сами этого не знают. А ведь по-прежнему уверены, что весь мир принадлежит им.

Мне очень нравился Рубин, я уважал его, но мне досадны были его неодобрительные слова об Англии. Не следует по этому сборищу судить обо всей стране, сказал я. Я родился в провинциальном городке, он — в Бруклине; разница небольшая. Значит, он должен был бы знать, что представляют собой мои однокашники...

Рубин не дал мне договорить.

— Погодите,— сказал он с тонкой усмешкой.— Вы, Льюис, человек дальновидный, я знаю. Но вы так же самонадеянны, как и вся эта публика.— Он пожал плечами, глядя на гостей.— Вам чуждо все, что дорого им, но вы даже не отдаете себе отчета в том, как много вы от них переняли.

Приближалось время обеда, и толпа гостей начала редеть. Оставшиеся постепенно сошлись на середину гостиной. Там стояли Диана со своим архитектором, Сэмикинс с двумя весьма эффектными дамами, Маргарет с лордом Бриджуотером и еще несколько человек. Я присоединился к ним как раз, когда с другой стороны подошел Дэвид Рубин с женой Кейва, которая в виде исключения появилась сегодня с мужем. Это была пепельная блондинка с красивым лицом, в выражении которого было что-то холодное и деланное. Рубин заметно повеселел. Может, судьбы мира и представлялись ему в более мрачном свете, чем остальным присутствующим, но находить в этом мире известные утешения он умел.

Разговор уже замирал, и только Сэмикинс был еще полон жизни. Он громко хвастал, его больше обычного переполняла радость бытия. Не в пример Диане, которая на скачках в Аскоте проигралась, он выиграл. С непоследовательностью, свойственной людям богатым, Диана была этим угнетена. С непоследовательностью, свойственной людям материально стесненным (положение, в котором он был обречен пребывать до смерти отца), Сэмикинс ликовал. Он непременно хотел пригласить нас всех куда-нибудь. Он сиял, как человек, чьи финансовые затруднения разрешены раз и навсегда.

— На скачках играют одни простофили,— громко и безапелляционно заявила Диана. Она была слишком счастлива, чтобы затягивать светскую беседу. Впереди ее ждал обед с архитектором. И, когда мы уже совсем собрались уходить, она только по обязанности упомянула о новом правительстве.

— Дела у них, кажется, пошли на лад,— сказала она.

Гул одобрения был ей ответом.

— Роджер молодец! — обратилась она ко мне.

Мое мнение ее не интересовало, она и тут считала себя высшим авторитетом.

— Реджи Коллингвуд очень хорошо о нем отзывается,— продолжала она. И когда мы были уже у двери, прибавила: — Да, Реджи говорит, он умеет слушать.

Это была добрая весть, и я ушел очень довольный. Слова Коллингвуда были совершенно справедливы, но в устах человека, до такой степени косноязычного, эта похвала одному из самых блестящих ораторов Лондона звучала несколько странно.

Вечером в парке

В сентябре парламент распустили на каникулы, но Роджер по-прежнему бывал в министерстве. Шел «сезон отпусков». Дуглас уехал куда-то отдыхать, не было в Лондоне и моего шефа Гектора Роуза. Тем не менее совещания у Роджера шли своим чередом, и на них я должен был присутствовать. Однажды Роджер деловито спросил, не смогу ли я немного задержаться. Ему нужно со мной поговорить.

Во время совещания он, по-видимому, был чем-то озабочен. Он не сразу находил нужные слова, так бывает, когда человек устал и не в духе. Я не придал этому особого значения.

В седьмом часу бумаги наконец были упрятаны в портфели. Роджер с привычной любезностью попрощался, поблагодарил всех, и мы остались вдвоем.

Он спросил:

— Пройдемся по парку, не возражаете?

Мы прошли по коридорам, спустились по каменной лестнице и через главный вход вышли на улицу. Вступили в парк и зашагали вдоль озера; один из пеликанов при виде нас широко расправил крылья. Деревья поскрипывали на ветру; на траве лежали первые опавшие листья. Вечер был темный, с запада наползали низкие свинцовые тучи. С тех пор как мы вышли из его кабинета, Роджер не проронил ни слова. На минуту я совсем забыл о нем. Запахи воды, осеннего вечера наполнили меня смутным, но всепоглощающим чувством, печальным и отрадным, будто пробуждалось давнее, полустертое воспоминание: много лет назад в этом же парке моя первая любовь, которой давно уже нет на свете, неласково сказала мне, что будет моей.

Мы медленно брели по дорожке. Нас обгоняли засидевшиеся на службе секретарши. Было так ветрено, что почти все скамейки у озера пустовали. Вдруг Роджер сказал:

— Посидим?

По озеру бежали игрушечные волны. Некоторое время мы сидели молча и смотрели на них, затем Роджер, не поворачивая головы, сказал ровным безжизненным голосом:

— Возможно, нас ждут неприятности. Надеюсь, все обойдется, но может, и нет.

Я сразу возвратился на землю. Моя первая мысль была, что кто-то из его высоко или низко поставленных сторонников, Коллингвуд или кто-нибудь из заднескамеечников, пошел против него.

— Нет. Не то. Ничего похожего.

Может, он не решается сообщить неприятную новость, потому что эта новость касается меня? Я ничего не понимал и терялся в догадках. Спросил об этом, но он только покачал головой.

Теперь, когда дошло до дела, откровенность не давалась ему. Он неотрывно смотрел на воду. Наконец он сказал:

— У меня есть любовница.

В первое мгновение я удивился, и только.

— Мы были крайне осторожны. А теперь ей угрожают. Кто-то все-таки пронюхал.

— Кто же?

— По телефону... Незнакомый голос.

— По-вашему, это серьезно?

— Как знать?..

— Что вас пугает?

Он ответил не сразу.

— Если это выйдет наружу, хорошего будет мало.

Я все еще не мог опомниться от удивления. Я-то считал, что он счаст-

лив в браке. Что это обычный для человека действия супружеский союз, удобный и прочный, в котором вовсе не обязательна всепоглощающая любовь. Тревога Роджера передалась и мне. Я с трудом сдерживал досаду, злость. Ну чего ему еще надо? — спрашивал я себя с наивной нетерпимостью, совсем как могла бы спросить моя мать. Красивая жена, дети, дом полная чаша — для чего ему понадобилось рисковать? Ставить под удар и свои планы и мои? Я осуждал его, осуждал наивно, как будто мне никогда не приходилось видеть людей в трудном положении, как будто и самому никогда не приходилось оступаться.

И в то же время я невольно сочувствовал ему — сочувствовал не умом, а скорее нутром. Как ни велика была его тревога, эта исповедь, очевидно, доставила ему известное удовольствие. Не то удовольствие, которое испытывают, скромно признаваясь в своих победах, натуры более утонченные,— нет, это чувство было глубже, сродни радости. Он по-прежнему неотрывно смотрел на озеро и не хотел встречаться со мной взглядом, а я смотрел на него и думал, что вряд ли до этого он был близок со многими женщинами. Но он человек сильных чувств и, вероятно, сильных страстей. Он сидел насупясь, думал о подстерегавших его опасностях и все же, казалось, был доволен тем, что с ним произошло, доволен, как человек, понявший, что ему еще рано отказываться от всей полноты жизни. Я заставил себя задать ему деловой вопрос: велика ли вероятность, что все откроется?

— Она нервничает. Раньше я никогда не видел, чтобы она так падала духом.

Я сказал, что, наверно, ей никогда еще не приходилось опасаться скандала, но ведь на такие случаи выработаны меры защиты. Нужно сходить к опытному ловкому адвокату. И все ему рассказать.

— У вас ведь нет оснований предполагать, что уже ходят сплетни, верно? Я, например, ничего не слыхал.

Роджер покачал головой.

— Тогда заткнуть брешь, должно быть, не так уж трудно.

Он не ответил, не посмотрел на меня. Он сидел, уставившись вдаль. Понимая, что мои слова не могут его утешить, я все-таки не удержался:

— Уверен, что все это можно уладить. Скажите ей об этом. Но допустим, что ваши худшие опасения оправдаются и все всплывет наружу — это тоже еще не катастрофа.— Я хотел сказать, что в его кругу привыкли к скандалам и почище.

— Не обольщайтесь,— резко возразил Роджер,— не так это все просто.

Он долго молчал, потом вдруг заговорил с таким жаром, что я даже опешил.

— Не важны поступки. Важно, кто их совершает. Вы знаете не хуже меня, что очень многие ждут только предлога, чтобы со мной разделаться. Вам не кажется, что это подходящий предлог?

— Но что они могут использовать против вас?

— Знаете правило, издавна установленное англиканской церковью: ты можешь сам впасть в ересь — и это сойдет с рук; ты можешь проповедовать ересь — и это тоже сойдет тебе с рук; но если ты вздумаешь заниматься тем и другим сразу — тебе этого не простят никогда.

Вдруг он вспылил. Резко, трезво, почти насмешливо он прибавил:

— Не забывайте, что я всегда был «не их круга». Если бы не это, мне сошли бы с рук грехи и похуже.

Что же представлял собой «их круг»?

Тесный привилегированный круг Кейвов, Уиндемов, Коллингвудов, Бриджуотеров, друзей Дианы — все эти люди, возможно, относились друг к другу хуже, чем к Роджеру, но они были друг другу свои, а Роджера за своего не признавали.

— Да,— сказал я.— Вы всегда были среди них чужим. Вы, но не Кэро.

Я умышленно назвал ее. Наступило молчание. Затем он ответил на вопрос, которого я не задавал:

— Если это выйдет наружу, Кэро от меня не отвернется.

— Она не знает?

Он покачал головой, и вдруг у него вырвалось:

— Я не допущу, чтобы Кэро страдала.

Еще ни одно его слово за весь этот разговор не звучало с такой яростной силой. Быть может, он потому и говорил только об одной своей тревоге, которая все еще казалась мне не слишком обоснованной, об опасности, грозящей его карьере, чтобы скрыть от самого себя иную тревогу. Какую вину чувствовал он за собой? Насколько запутался? И тут я, кажется, понял, почему тогда в Бассете он так горячо вступился за Сэмикинса. Не только в наших глазах, но и в его собственных вспышка эта была неуместна и несвойственна ему. Это был просто рыцарский поступок. И совершил он его ради Кэро. Но в своем рыцарстве он явно хватил через край, тут был надрыв, чрезмерное самоотречение человека, который всем жертвует жене, пытаясь искупить главное: то, что он ее не любит.

— Но Кэро в любом случае будет страдать! — сказал я.

Роджер промолчал.

— Вы не думаете оборвать эту связь?

— Мы слишком ею дорожим — и я, и... она.— Он так и не назвал имя этой женщины. Уже хотел назвать, но не решился.

— И вы не можете от нее отказаться?

— Нет! — сказал Роджер.

Он откинулся на спинку скамьи, и больше я ничего от него не услышал.

Часть третья

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Завтрак

Наутро после нашего разговора с Роджером в парке мы с Маргарет сидели за завтраком. Она сразу поняла, что меня что-то тревожит, и спросила, в чем дело. Я рассказал ей про Роджера. Я ни минуты не колебался: мы никогда ничего не скрывали друг от друга; мне хотелось с ней поделиться. С Роджером она не была так дружна, как я, да и с Кэро не слишком дружила, и я не ожидал, что она примет все так близко к сердцу. К моему изумлению, Маргарет густо покраснела, глаза ее стали еще голубее.

— Угораздило его! — пробормотала она.

— Ничего, как-нибудь выпутается...— Я хотел успокоить ее, но она возмущенно перебила:

— Он меня мало волнует. Я беспокоюсь о Кэро.— И прибавила: — А ты о ней, видно, не задумался...

— Помимо нее, есть еще двое...

— Он поступил безобразно, а расхлебывать придется ей.

Обычно в вопросах нравственности Маргарет была так же либеральна, как я. Но сейчас она вспылила, да и я тоже начинал злиться. Чтобы не дать ссоре разгореться, я сказал примирительно, что и до Род-

жера люди нарушали супружескую верность — он не один такой на свете.

— Ты хочешь сказать, что я разбила чужую жизнь, когда ушла к тебе,— вспыхнула Маргарет.— Ты совершенно прав.

— Я вовсе не то хотел сказать.— Я уже пожалел о необдуманных словах.

— Надеюсь.— Гнев ее погас, и она улыбнулась.— Ты же знаешь, я и сейчас поступила бы так же. Но гордиться мне тут нечем.

— Мне тоже.

— Ты никому не изменял. Потому-то я и не могу так легко отнестись к измене Роджера.

— Ты говоришь, я не подумал о Кэро...— Снова мы спорили, снова были на грани ссоры.— Ну, а о нем ты подумала?

— Ты же сам сказал, он выпутается, ничего с ним не случится,— презрительно возразила она: в эту минуту участь Роджера нимало не трогала ее.— А ты только представь себе, что придется пережить ей, если они разойдутся.— Маргарет все сильнее горячилась.— Такой удар! Унижение! Потеря!

Я невольно подумал: Кэро была счастлива в браке и откровенно гордилась своим счастьем. Она много сделала для Роджера — быть может, слишком много? А он — примирился ли он с ее великодушием, как и с высокомерным отношением ее родни?

Да, все это так. И тем не менее, сказал я, как умел, рассудительно, не надо делать из этого трагедию. Пусть даже она потеряет его — неужели она с этим не справится? Она еще молода, хороша. Не какая-нибудь кисейная барышня. И богата. Долго ли ей найти другого мужа?

— Уж очень у вас все просто получается,— сказала Маргарет.

— У кого это «у вас»?

— У него. И у тебя.— Глаза ее сверкнули.— Потерять его еще не самое страшное. Хотя и это достаточно скверно. Гораздо страшнее унижение.— Она помолчала и добавила: — Ты всегда говорил, что Кэро очень мало считается с чужим мнением. Не больше, чем ее брат. Но ведь как раз люди, которые ни с кем не считаются, труднее всего переносят унижения. Оказаться в унизительном положении для них просто невыносимо.

Маргарет знает, о чем говорит, думал я. По своему характеру, по воспитанию она тоже не привыкла считаться с условностями. Она тоже жила по своим собственным правилам — пусть гораздо более утонченным, чем правила Кэро, но чувствовала себя такой же независимой. Вся ее родня, все их друзья в кругу высшей интеллигенции так же мало считались с чужим мнением, как и окружение Кэро — может быть, даже меньше. Маргарет знала, как непрочна такого рода независимость.

Она знала и нечто другое. Когда мы с ней только что поженились, на нее, случалось, находил страх: а что, если мы разойдемся? Сам я мог думать, что нашел свое счастье. Она же, зная меня, в глубине души была не столь уверена. Она понимала, что́ ей придется испытать, если ее опасения оправдаются, чего ей это будет стоить.

Сейчас, когда она узнала о Роджере и Кэро, давно забытые страхи с прежней силой нахлынули на нее. Внезапно я понял, почему наш спор перешел в ссору. Я перестал возражать. Перестал защищать Роджера и, глядя ей в глаза, сказал:

— Нелегко дается гордость, а?

Для всех, кроме нас с Маргарет, это были пустые, ничего не значащие слова. Маргарет же они сказали, что я признаю свою вину, но что и она не без греха. И сразу все стало на свои места. Ссора погасла, раздражение прошло, и Маргарет улыбнулась мне через стол открытой, ясной улыбкой.

«Враги не дремлют»

Однажды вечером, через несколько дней после того, как Роджер открылся мне, в моем служебном кабинете появилась стенографистка Гектора Роуза: мистер Роуз свидетельствовал мне свое почтение и спрашивал, не буду ли я так любезен зайти к нему. Пройдя по коридору десятка полтора шагов, отделявших его кабинет от моего, я, как всегда, выслушал горячую благодарность за свой «подвиг».

— Дорогой мой Льюис, как необыкновенно мило, что вы пришли!

Он заботливо, словно это был мой первый визит к нему, усадил меня в кресло подле стола, так что я мог любоваться деревьями в солнечных бликах за окном. Потом уселся сам и из-за хризантем одарил меня ослепительной и ничего не выражающей улыбкой. И тотчас заговорил о деле.

— Организуется правительственная комиссия,— сказал он.— Под этим названием наши хозяева, со своим всегдашним беспечным отношением к значению слов, подразумевают нечто совсем иное. Тем не менее она организуется.

Эта комиссия займется некоторыми вопросами, находящимися в ведении Роджера, и в первую очередь новым законопроектом. Председателем комиссии назначен Коллингвуд, в нее входят: сам Роджер, Кейв и глава нашего ведомства. Кроме того, как теперь принято, еще целый ряд лиц будет посещать заседания от случая к случаю: министры, государственные чиновники, ученые — это-то и послужило поводом для ехидного замечания Роуза.

— Во всяком случае,— продолжал он,— приглашением побывать на некоторых из этих представлений несомненно осчастливят и нас с вами.

Еще минуту-другую педантичный Роуз рассуждал о расплывчатом стиле работы теперешнего руководства, но я прервал его:

— Что это значит?

— Само по себе — ничего! — Роуз сразу вернулся к делу.— Во всяком случае ничего существенного. Судя по составу комиссии, она создана с тем, чтобы укрепить положение мистера Куэйфа. Я слышал, причем из источников, по-моему, вполне достоверных, что господин председатель (то есть Коллингвуд) в известных пределах поддерживает Куэйфа. Так что, по всей видимости, создание комиссии означает поддержку политического курса мистера Куэйфа и его единомышленников.

Он вызывал меня на разговор, но всегдашнее рассчитанное самообладание изменило ему. Видно было, что ему не по себе. Он скрестил руки на груди. И сидел не шевелясь, устремив на меня пристальный взгляд светлых глаз.

— Я понял скрытый смысл вашего вопроса,— отрывисто сказал он.— Не вполне уверен, но подозреваю, что ответить следует утвердительно.— И прибавил: — Очевидно, вы тоже так думаете. Может быть, я и не прав, но считаю своим долгом предупредить вас: враги не дремлют.

— Какие у вас доказательства?

— Почти никаких. Ничего существенного.— Он замялся.— Нет, пожалуй, я не имею права зарождать у вас тревогу в связи с такими пустяками.

Снова в его голосе почувствовалась неловкость. Можно было подумать, что он, как ни странно, хочет оградить меня от чего-то.

— Вы хотите сказать, что это касается лично меня?

— Я не считаю себя вправе говорить об этом. Не стану тревожить вас понапрасну.

Сдвинуть его с этой позиции оказалось невозможно. Наконец он сказал:

— Но одно я все-таки вправе сообщить вам. Мне кажется, вам следовало бы предупредить ваших друзей, что им не мешало бы поторопиться со своими решениями. Мне кажется, чем больше вы дадите оппозиции времени, тем она станет сильнее. Я бы сказал, что сейчас не следует мешкать.— Неторопливо, как закуривают сигарету, Роуз понюхал хризантему.— Признаться, я очень хотел бы понять, какие прогнозы на будущее у нашего друга Осбалдистона. У него редкостная способность чуять, куда дует ветер. Конечно, он наш общий друг, но справедливость требует отметить, что этот дар отнюдь не был помехой его карьере.

Я не узнавал Гектора Роуза. Во-первых, он сказал мне, правда, «иносказательно» (по его собственному выражению), но все же достаточно определенно, что сам он поддерживает политику Куэйфа. Это было неожиданно. Я считал, что он, так же как Дуглас и другие его коллеги, сначала относился к ней с некоторым предубеждением. Очевидно, взвесив все трезво, он решил, что это разумный курс,— кто-кто, а Роуз был на это вполне способен. А может, происшедшие с ним перемены являлись следствием Суэцкого кризиса? Во всяком случае, это было неожиданно. Но еще неожиданней был его выпад против Дугласа.

Я знал Гектора Роуза уже лет двадцать. За все это время я ни разу не слышал, чтобы он осудил кого-то, равного ему по чину. Осуждать-то он, наверно, осуждал, но привык держать свои мысли про себя. Многие годы я понимал, что он, скорее всего, не любит Дугласа и уж наверняка ему завидует. И все же я был поражен — да и он сам, вероятно, тоже,— что он не сумел этого скрыть.

Зазвонил телефон. Мне сообщали, что у меня в кабинете сидит Фрэнсис Гетлиф. Услышав об этом, Роуз сказал:

— Может быть, он согласится уделить мне пять минут?

И тут Роуз вторично за этот вечер посмотрел на меня так, словно колебался: заговорить или нет.

— У вас ведь будет возможность поговорить с ним? — спросил он.

— Думаю, что да,— ответил я.

— В таком случае, я был бы вам признателен, если бы вы передали ему вкратце то, что я вам только что сказал.

— Значит, вы считаете, что надвигаются неприятности.

— Всегда лучше быть к ним готовым — вам не кажется?

— В том числе неприятности и личного характера?

— Ну, так далеко я заходить не собирался...

Не собирался, однако хотел, чтобы Фрэнсис Гетлиф знал, чего можно ждать, только не хотел сам говорить ему об этом.

Когда Фрэнсис вошел в комнату, Роуз встретил его с любезностью столь преувеличенной, что казалось — он передразнивает самого себя.

— Дорогой сэр Фрэнсис, вот уж поистине нечаянная радость! Я и не мечтал о таком удовольствии.

Он поминутно величал Фрэнсиса полным титулом. А Фрэнсис, и сам склонный к церемонности, упорно называл его «господином непременным секретарем». Прямо испанцы XVII века, нетерпеливо думал я, хотя мне пора было привыкнуть к этой их слабости, да и к тому же я был несправедлив. Никакие они были не испанцы, а самые обыкновенные англичане — государственные чиновники середины XX столетия. И они в самом деле уважали друг друга. Фрэнсис был куда больше по душе Роузу, чем я.

Роуз нас не задержал. Он спросил Фрэнсиса, доволен ли тот деятельностью комиссии ученых. Доволен, ответил Фрэнсис. А согласится ли он, если дело дойдет до открытых разногласий («И вы, конечно, сами понимаете, что совсем даром вам это не пройдет»),— согласится ли он поддержать решение комиссии силой своего авторитета?

— Да,— сказал Фрэнсис и прибавил: — А как же иначе?

Последовали благодарности, обмен любезностями, слова прощания и снова благодарности и любезности. Вскоре мы с Фрэнсисом уже шли через парк к лестнице герцога Йоркского.

— С чего это он вдруг? — спросил Фрэнсис.

— Он давал вам понять, что готовится грандиозный скандал.

— Так ведь мы на это шли?

— Похоже, что все обернется хуже, чем мы предполагали.— Я повторил то, что слышал от Роуза, и прибавил: — Он может кого угодно довести до белого каления своими намеками и недомолвками, но все же мне стало ясно, что на этот раз мишенью буду я.

На траве под солнцем расположились парочки. Фрэнсис шел раздраженный, озабоченный. Он сказал, что скорее все обрушится на него.

— Послушай,— сказал я,— никто не любит сообщать дурные вести, но, хоть Роуз ничего определенного не сказал, мне кажется, он ждет дурного.

— До чего мне все это надоело,— сказал Фрэнсис.

Несколько шагов мы прошли в молчании, затем он продолжал:

— Хоть бы нам удалось довести это дело до конца, а там я выйду из игры. Хватит с меня!

Он заговорил о делах международных. Что я о них думаю? Будь то с точки зрения технической, будь то с военной — все указывает на то, что надежда сохранить мир становится все более реальной. Логически рассуждая, это так. Я с этим согласен? Но вот, пожалуйста: едва Куэйф и несколько ученых попытались перейти от слов к делу, и на них уже готовы обрушить все громы и молнии.

— Иной раз поневоле думаешь, что люди так и не опомнятся вовремя. Я не хочу сказать, что люди злы. Я даже не хочу сказать, что они глупы. Но все мы — пассажиры сумасшедшего автобуса и согласны только в одном: лишь бы никого не подпустить к рулю.

Мы поднимались по лестнице.

— Мне нужен совет, Льюис,— вдруг резко сказал Фрэнсис.

Я испугался: уж не решил ли он отстраниться. Однако он сказал:

— Просто не представляю, как быть с Пенелопой и этим юнцом.

Он стал еще тревожней, еще угрюмей. Пока мы шли через парк, его — человека, который лучше, чем кто бы то ни было, знал, чем грозит грядущая война,— одолевали мрачные мысли об этой войне. А теперь он заговорил так, словно его только и беспокоила судьба дочери. Он говорил точь-в-точь как англичанин времен царствования королевы Виктории, так, точно будущее представлялось ему ясным и безмятежным и у него одна забота: получше выдать замуж дочь и обеспечить внуков.

Он должен встретиться с Пенелопой в дамской гостиной «Атенея». Не пойду ли я с ним? Это поддержало бы его! Он понятия не имеет, что там у них происходит и что она задумала. Возможно, они с Артуром тайно обручены и даже собираются пожениться! Но летом Артур уехал к себе в Америку. Что это — ссора? Фрэнсис ничего не знал.

Не знал он также, близка ли она с Артуром. Но этого вопроса он не коснулся: как-никак она его дочь, и говорили мы о ней куда осторожнее, чем если бы обсуждали поведение любой другой девушки. Но сам я считал, что это вполне возможно.

Мы сидели в дамской гостиной, поджидая Пенелопу. Никогда еще я не видел Фрэнсиса таким озадаченным. И он и жена его совсем растерялись. Пенелопа была упрямее их обоих и не привыкла объяснять свои поступки. К наукам у нее вкуса не было, окончила она всего лишь какие-то секретарские курсы, и ученые друзья отца интересовали ее не больше, чем индейцы с Амазонки. Теперь, однако, она решила признать их существование. Она сообразила, что кое-кто из них живет в Соединенных

Штатах и, уж конечно, кого-нибудь можно будет уговорить взять ее на работу.

— Нужно положить этому конец,— заявил Фрэнсис.— Я не допущу, чтобы она уехала.

Он сказал это с решимостью короля Лира в бурю и почти столь же убедительно. Он уже заказал бутылку шампанского, и вид у него был такой, точно он готовился умиротворять взбалмошную возлюбленную.

Наконец в гостиную влетела Пенелопа — раскрасневшаяся, красивая, сердитая.

Ей хотелось пить, и она с явным удовольствием выпила подряд два бокала шампанского.

Фрэнсис разговаривал с ней учтиво, но несколько натянуто, почти как с Гектором Роузом. Он сказал ей, что пригласил к обеду одного ученого из Оксфорда.

— А сколько ему лет? — Пенелопа выпрямилась.

— Лет сорок семь — сорок восемь.

Она снова откинулась на спинку кресла.

— Если бы ты увидела его,— заметил я,— ты бы сразу побежала наряжаться в новое платье.

— Вот уж нет! — Но тут ее осенило: — А у него есть знакомые в Америке?

— Почему именно в Америке? — спросил я, пытаясь прийти на помощь Фрэнсису.

— Да я собираюсь туда осенью или будущей весной.

Фрэнсис откашлялся. И, набравшись духу, сказал:

— Извини меня, Пэнни, но я предпочел бы, чтобы ты выбросила это из головы.

— Почему?

— Потому что это вряд ли осуществимо.

— Ну, это мы посмотрим.

Фрэнсис решил взять быка за рога.

— Дело вовсе не в том, что мы не могли бы найти там тебе службу. Наверно, могли бы...

— Так за чем же остановка? — обрадовалась Пенелопа.

— Не в работе дело. Неужели ты сама не понимаешь?

Фрэнсис помолчал, потом снова пошел в наступление.

— Разве ты не понимаешь, что мы не можем позволить тебе вешаться на шею этому Плимптону.

— А почему бы нет?

Пенелопа с наслаждением потянулась, лицо ее приняло замкнутое выражение: больше на эту тему она распространяться не желала.

Фрэнсис продолжал еще что-то говорить, но она словно не слышала. Неужели она не понимает, что родители не могут этого допустить? Не понимает, что у них есть обязательства по отношению к ней?

Внезапно Фрэнсис заговорил мягче, с еще большим смущением:

— Вот что, девочка, я не буду тебя спрашивать, какие чувства ты питаешь к этому... к Артуру, или он к тебе. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас имел право задавать тебе подобные вопросы.

Пенелопа смотрела на него своими прекрасными серыми глазами, лицо ее оставалось непроницаемым.

— Допустим, ты любишь его, но что-то в ваших отношениях вдруг разладилось. Вы оба так молоды, это вполне возможно. Так вот, если ты уедешь к нему и вдруг останешься одна... Мне страшно подумать, что ты можешь подвергнуться такому риску.

Пенелопа загадочно улыбнулась.

— Когда я поеду в Америку, я, может, вообще не встречусь там с Артуром,— сказала она.

В маленькой гостиной

Сентябрь еще не кончился. Как-то утром у меня на столе зазвонил телефон. Моя стенографистка сообщила, что какая-то дама по имени Элен Смит хочет разговаривать со мной по неотложному делу. Имя это ровно ничего мне не говорило. А какое у нее дело? Она отказывается сказать, ответила стенографистка. Я заколебался. Никогда не знаешь, на что можно нарваться. Но потом сказал: «Ладно, соедините меня с ней!»

— Меня зовут Элен Смит...— Голос был живой, интеллигентный.— Мы с вами однажды встречались.

— Да? — сказал я, но ничего не припомнил.

— Насколько я знаю, Роджер... Роджер Куэйф... говорил вам обо мне.

Тут я понял.

— Он позволил мне самой поговорить с вами,— продолжала она.— Вы не возражаете?

Может быть, я заеду к ней как-нибудь вечером? Днем она на службе. Это ведь лучше, чем вести разговор по телефону — не так ли? Ей неприятно быть навязчивой, но она очень обеспокоена. Она надеется, что это меня не слишком обременит.

Голос был настойчивый, взволнованный, энергичный. Но совершенно мне незнакомый. По дороге на Эбери-стрит, где она жила, я подумал, что отсюда до парламента рукой подать: случайность ли это? Но кто же она? Замужняя женщина, одинокая? Я не знал о ней ничего.

Когда она открыла мне дверь, я сразу подумал о пошлой иронии судьбы. Лицо знакомое — только где же я ее видел? Пожимая мне руку, она смотрела и застенчиво и строго. Невысокого роста, тоненькая, но отнюдь не хрупкая, с темными волосами. В белом свитере и черной юбке. Она была не моложе Кэро. И рядом с Кэро — нашей блистательной и самоуверенной Кэро — сильно проигрывала. И тут я вспомнил, как в гостиной на Лорд Норт-стрит Кэро, покатываясь со смеху, говорила, что женам следует бояться не сногсшибательных красавиц, а тихих сереньких мышек. Вот уж действительно шутки судьбы — вспомнить об этом, проходя за Элен Смит в ее нарядную маленькую гостиную. Я так и не мог сообразить, кто же она и где мы встречались.

Она налила мне виски и удобно, с ногами, устроилась на диване. Стаканы стояли на низеньком столике перед нами.

— Как мило, что вы пришли,— сказала она.

— Пустяки! — ответил я, пожалуй, излишне бодро.

— Пустяки ли? — Она посмотрела на меня. На миг перед моим умственным взором возникли глаза Кэро: большие, дерзкие, наивные. Глубоко посаженные глаза Элен дерзкими не были, но они были пытливее и проницательнее. Больше я не сравнивал. Я приглядывался к ней: не красавица, даже не хорошенькая, но лицо тонкое и изящное. Эта тонкость и одухотворенность особенно поражали по контрасту с широкими, прямыми плечами. Она улыбнулась мне застенчивой и искренней улыбкой.

— Мне ужасно неловко,— сказала она.

И вдруг я вспомнил — быть может, потому, что пальцы коснулись холодного стакана,— посольство в Риджент-парке, вечер Суэцкого кризиса... Жена Дж. С. Смита!

Так вот кто она такая! Да, получалось действительно неловко, хотя она имела в виду совсем не то. Смит — племянник Коллингвуда! Говорили, что это фанатик, одержимый; мне приходилось читать его статьи и речи: в них чувствовался непонятный яростный вызов. Исто-

рия, политика — обо всем он говорил с глухой злобой, и тем не менее я знал молодых консерваторов, которые буквально боготворили его. Жена Дж. С. Смита! Да, неловко! Я сказал что-то невнятное, вроде того, что главное — не надо мучить себя.

На этот раз ее улыбка была просто ослепительна.

— Это, знаете ли, легче сказать, чем сделать.

Чтобы как-то разрядить атмосферу, я спросил, чем она занималась сегодня. Она ответила, что была на службе. Оказалось, что она работает в справочной библиотеке. Мы стали перечислять общих знакомых — всплыло имя лорда Лафкина. Я сказал, что когда-то работал у него.

— Уверена, что вам это пошло на пользу,— сказала она не без ехидства.

Хоть она и волновалась, но довольно скоро овладела собой и стала оживленна и разговорчива. Не забывала она и своих обязанностей хозяйки: налила мне еще виски, открыла сигаретницу.

— Я вовсе не мучаюсь из-за наших с ним отношений,— начала она.— Надеюсь, вы верите мне? Я счастлива. Никогда в жизни я не была так счастлива. Мне кажется, и он счастлив. Это звучит до безобразия самонадеянно, но мне кажется, он тоже счастлив.

Нисколько она не самонадеянна, подумал я, будь она самонадеянной, ей было бы куда легче.

Элен говорила так откровенно, что и я мог последовать ее примеру. Я спросил, где ее муж. Что у них произошло?

Она покачала головой.

— Я должна рассказать вам. Это звучит чудовищно. Если бы я узнала такое про другую женщину, я не подала бы ей руки.

Кроме Роджера, прибавила она, только родители мужа знают, что с ним. Это должно оставаться тайной. И сказала глухо и жестко:

— Он в доме для умалишенных.

Неизвестно, поправится ли он когда-нибудь. Избирателям сообщили, что он болен и, возможно, не выставит своей кандидатуры на следующих выборах.

— Это надвигалось давно. И меня это не остановило. Я поняла, что передо мной счастье, и ухватилась за него обеими руками.— Она посмотрела на меня искренними, виноватыми и строгими глазами.— Я вовсе не хочу оправдываться, но если бы не его душевная болезнь, я бы давно оставила его. Я пыталась ему помочь. Если бы не это, я ушла бы от него еще до того, как появился Роджер.— В ее горькой улыбке не было снисхождения к себе.— Когда женщина влюбляется сначала в человека, которого еле переносит, а потом в такого, за которого не может выйти замуж, должно быть, с ней что-то неладно,— вам не кажется?

— А может, это просто невезение?

— Нет, тут дело не в одном невезении.— И добавила очень просто: — Только, знаете, сейчас я вовсе не чувствую, что со мной что-то неладно. Вы меня понимаете?

Она громко рассмеялась. Трудно было не заметить в ней нежности, душевного жара, умения быть счастливой. И все же мне показалось, что такая жизнь не для нее. Я знал в Лондоне многих женщин, которые припеваючи жили по-холостяцки в таких же квартирках (даже не столь нарядных и дорогих). Многие, так же как она, возвращаясь со службы, наводили уют в своих гнездышках и поджидали своих мужчин. Некоторые смотрели на это спокойно — легко сходились, легко расходились. Некоторым даже приятно щекотала нервы необходимость сохранять тайну, нравилось сидеть за задернутыми шторами, в одиночестве, и прислушиваться, когда же стукнет наконец дверца лифта... Гля-

дя на Элен, я не сомневался, что, хоть она и решилась жить, скрываясь и прячась, раз иного выхода не было, ей приходилось дорого платить за свое счастье — может быть, дороже, чем она сама сознавала.

Я спросил, давно ли они вместе.

— Три года,— ответила она.

Я не мог поверить своим ушам. Три года! И все это время мы были хорошо знакомы с Роджером. Как же это я ничего не заметил!

Мы помолчали. Она испытующе смотрела на меня своими синими, до боли честными глазами. Потом сказала:

— Я хочу задать вам один вопрос. Очень серьезный.

— Да?

— Должна я оставить его?

Я ответил не сразу.

— Можно ли об этом спрашивать?

— А разве нельзя?

— И вы могли бы его оставить?

Она не отвела глаз. Помолчала немного, потом сказала:

— Я просто не могу причинить ему зло. Нам всегда было хорошо вместе. То, что он нужен мне, само собой понятно, только не так уж это все у нас односторонне. Не знаю почему, но иной раз мне кажется, что я тоже нужна ему.— Она говорила просто, раздумчиво и вдруг не выдержала: — Во всяком случае, если он уйдет от меня, моя жизнь кончена.

Голос ее зазвенел, на глаза навернулись слезы. Порывисто, как девчонка, она размазала их пальцами по щекам. Всхлипнула и, взяв себя в руки, продолжала тверже:

— И все равно причинить ему зло я не могу. Вы понимаете?

— Кажется, понимаю.

— Я верю, что он делает важное дело. И вы тоже в это верите. Правда?

Элен призналась, что она «ничего не смыслит в политике», но она была умна и проницательна. Она понимала, в чем сила Роджера и в чем слабость.

— Я ведь говорю с вами, не кривя душой. Я не из тех, кто способен на красивые жесты. Конечно же, загубить его карьеру было бы для меня ужасно. Ведь это значит загубить ему жизнь. А это было бы для меня ужасно, потому что я эгоистка. Если наша связь повредит ему в глазах общества, он по-настоящему никогда мне этого не простит. Вы согласны?..

Странная у нее была манера — задавать мне вопросы, вопросы о себе самой, на которые я не мог ответить, потому что слишком мало ее знал. Но она ждала от меня помощи. Она не то что поверяла мне свои тайны, а как бы вводила в курс дела, чтобы при случае я мог оказаться ей полезен.

Я ответил уклончиво.

— Не простил бы,— уверенно сказала она.— Это был бы конец!

И прибавила спокойно, рассудительно, чуть ли не насмешливо:

— Выходит, как ни кинь, все клин.

Мне хотелось ее утешить. Я сказал, что могу помочь ей только одним практическим советом. Была ли она у адвоката? Предпринимала ли еще какие-нибудь шаги? До сих пор она, в сущности, ничего мне не сказала,— видимо, побаивалась начать этот разговор. Впрочем, так ли? Побаивалась-то побаивалась, однако ей нельзя было отказать в решительности и смелости. Ведь она затем и пригласила меня, чтобы поговорить о деле. И потом, после стольких лет молчания, ей, конечно, хотелось излить душу.

Факты мало что прояснили. Да, к адвокату она обращалась. Он устроил так, чтобы за телефонными звонками к ней проследили. Два—три раза удалось перехватить тот голос. Но звонили всякий раз из автомата, так что установить личность, конечно, невозможно. Голос всегда один и тот же? Да! А какой он? Да не совсем нашего круга, сказала Элен — точь-в-точь как сказала бы миссис Хеннекер, как могла сказать только англичанка. Грубый? Нет, нисколько, скорее интеллигентный. Говорил гадости? Вовсе нет. Просто говорил, что ее связь с Роджером известна, перечислял, в какие вечера Роджер бывал у нее, советовал предупредить Роджера, чтоб поостерегся.

После того как телефонные разговоры были взяты под контроль, она получила два анонимных письма. Вот из-за этого она и попросила меня зайти к ней сегодня, сказала она, когда мне было уже пора уходить. Да, она показывала их адвокату. Теперь она разложила их на столике, на котором стояли наши стаканы.

Анонимных писем я не выношу. В свое время я и сам из-за них натерпелся. Я до сих пор не могу унять нервную дрожь при виде теснящихся друг к другу букв, выведенных рукой маньяка, писем, в которых все дышит расстроенной психикой, ищущим выхода безумием, злобой, которая ранит исподтишка, ненавистью, пульсирующей в пустых комнатах. Но эти письма были необычны. Написаны совершенно нормальным размашистым почерком на хорошей белой бумаге. Вежливые, деловитые. Известно, говорилось в них, что Роджер посещал ее между пятью и семью часами вечера в такие-то и такие-то дни. («Все точно?» — спросил я. «Совершенно точно!» — ответила Элен). Пишущий эти строки располагает документами, подтверждающими их связь. («Это возможно?» — «К сожалению, мы переписывались».) Если Роджер намерен оставаться на виду, эти сведения, как ни прискорбно, придется предать гласности. Вот и все, что было в этих письмах.

— Кто это? — воскликнула Элен.— Сумасшедший?

— Разве похоже? — медленно сказал я.

— Может, этот человек просто ненавидит нас? Его или меня?

— Хорошо бы, если так...

— То есть...

— Мне кажется, за этим скрыт точный расчет...

— Это как-то связано с политической деятельностью Роджера?— Ее лицо гневно вспыхнуло.— Я этого и опасалась! Какая подлость!

Я был рад, что она рассердилась, а не пала духом. Я сказал, что хотел бы взять письма с собой, у меня есть знакомые в службе безопасности, пояснил я. На их скромность вполне можно положиться. С такими делами они справляются мастерски. Если кто и может выяснить, что это за человек или кто за ним стоит, так только они.

Возможность действовать несколько успокоила Элен, поскольку она сама была человеком действия. Блестя глазами, она заставила меня перед уходом выпить еще виски. Она оживилась, голос ее впервые за весь вечер звучал почти весело, но вдруг она помрачнела и ни с того ни с сего спросила:

— Вы, конечно, с ней знакомы?

Она порывисто поднялась с дивана, отвернулась от меня и стала поправлять цветы в вазе — ей явно хотелось поговорить о Кэро, но она боялась, что это будет слишком мучительно.

— Да, знаком.

— Я хотела спросить вас, какая она?.. А впрочем, неважно...

Когда мы прощались у лифта, мне показалось, что она взглянула на меня с доверием. Но тотчас лицо стало опять такое, как в первую минуту встречи: застенчивое и строгое.

Министерская почта в спальне

Бассет в октябре, за неделю до очередной сессии парламента: подъездная аллея, засыпанная опавшими листьями, застывший в воздухе дымок над крышей сторожки, пылающий закат, свет, льющийся из окон, подносы с бокалами в холле, полном цветов. Прямо пастораль, нарочно задуманная, чтобы показать, как счастливы здесь люди, или чтобы привлечь новое пополнение в ряды политических деятелей.

Даже и непостороннему картина показалась бы на редкость благополучной.

Все выглядело на редкость благополучно и за обедом. Коллингвуд — молчаливый и величественный, как монумент,— сидел справа от Дианы; Роджер, который удостоился чести сидеть по левую руку от нее, тоже казался совершенно спокойным и вполне на месте. Кэро, оживленная, искрящаяся весельем, обменивалась через стол с ним и с Дианой какими-то знаками. Сосед Кэро, член «теневого» лейбористского кабинета, поддразнивал ее с таким видом, словно и он чувствовал себя за этим столом легко и свободно, как все; впрочем, так оно и было. Это был красивый, обходительный человек по имени Бэрнет — сосед Дианы, которого она пригласила к обеду. Артур Плимптон сидел между моей женой и очень хорошенькой девушкой, Гермионой Фокс, родственницей Кэро. Не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться, что это было уловкой, с помощью которой Диана пыталась обезвредить Пенелопу Гетлиф. Артур, который приехал в Англию на неделю, держался и дерзко и неуверенно и очень старался не привлекать нашего с Маргарет внимания.

Но был за столом один человек, которому светская непринужденность давалась с большим трудом. Жена Монти Кейва все-таки его бросила. Все считали это счастливым избавлением — все, кроме него самого. Получив ее прощальное письмо, он, как всегда, отправился утром в министерство и занялся работой. Произошло это три дня назад. Сейчас он сидел за столом, и его толстое, умное и хитрое лицо не выражало ничего, кроме любезной готовности слушать собеседника, однако самая мысль, что такой выдержанный человек способен страдать и мог даже совсем недавно желать смерти, казалась нелепой.

Самообладание у него было сверхъестественное. Так что миссис Хеннекер, к примеру, даже не догадывалась, что с ним произошло.

Когда в этот тихий идиллически погожий вечер мы с Маргарет подъехали к Бассету, в холле меня уже подстерегала миссис Хеннекер. Она вчерне закончила «Жизнеописание», как она упорно называла биографию своего мужа. Спасения не было. Я последовал за ней в библиотеку. Она вплотную придвинула ко мне кресло и, пока я читал, неотрывно следила за мной тупым и самонадеянным взглядом.

Я сказал, что у нее получился настоящий роман — в книге много интересного и поучительного. Но лучше бы ей не подчеркивать несправедливости, которые, как ей кажется, претерпел ее супруг, и не говорить о том, кем он мог бы стать.

Все это я постарался высказать ей как можно мягче. Но миссис Хеннекер помрачнела.

За обеденным столом она все еще была мрачна. Она была так занята своими мыслями, что не обменялась со мной ни словом. Артур, который знал подход к пожилым дамам, попробовал занять ее разговором, но успеха тоже не имел. Наконец, после рыбы она не выдержала и, обращаясь не ко мне и не к Артуру, а ко всем, сидевшим за столом, провозгласила:

— Должно быть, я очень старомодна.

Она изрекла это так громко и так грозно, что все стихли.

— В чем дело, Кэт? — весело, как ни в чем не бывало, спросила Диана.

— По-моему, браки должны быть счастливыми. Я была счастлива с мужем и не вижу, зачем мне это скрывать. Но вот мой сосед...— Она говорила обо мне, и в голосе ее звучало нескрываемое отвращение,— утверждает, что мне лучше об этом помалкивать.

На минуту я обозлился. Давай после этого литературные советы! Теперь уже ни ее, ни кого-либо другого не убедишь, что говорил я как раз обратное. Однако и она была зла и уже ни с кем и ни с чем не считалась.

— Неужели в наше время никто, кроме меня, не признает брака?

За столом все затихли. Роджер знал, в каком состоянии находился Монти. Знала и Кэро. И Маргарет знала. Я не удержался и посмотрел в его сторону. И не я один: в наступившей растерянной тишине почти все взгляды обратились к Монти. Он сидел, глядя в пространство пустыми, широко раскрытыми глазами, приоткрыв рот; лицо его сейчас уже не казалось умным, в нем появилось что-то ребяческое, простодушно-глуповатое.

Молчание прервала Кэро. Она густо покраснела.

— Все мы стараемся по мере сил, черт возьми! — воскликнула она, с вызовом в голосе.

Она начала поддразнивать нас с Маргарет, потому что для нас обоих это был уже второй брак; посмеялась над Артуром и Гермионой Фокс: у них все еще впереди, только, вероятно, они преуспеют не лучше нашего. Артур неестественно засмеялся. Напряженная атмосфера несколько разрядилась.

Только лицо Монти Кейва сохраняло еще несколько секунд странное, простодушно-глуповатое выражение. Потом и он и все мы овладели собой.

За одним исключением, которое заставило нас с Маргарет призадуматься: у Дианы — хозяйки дома, восседавшей во главе стола,— вдруг подозрительно заблестели глаза. Правда, после обеда Диана держалась как обычно, забавно сочетая в себе Бекки Шарп и бравого батальонного командира, у которого все солдаты ходят по струнке. Считалось, что ее брак со Скидмоуром был на редкость счастливый. Не потому ли у нее и навернулись слезы на глаза?

Наутро, встретив меня в холле, Диана сказала, что устала и на охоту не пойдет. Впервые я видел, что ей изменила бодрость. Но Диана оставалась Дианой. Она не могла не командовать: хоть я и не охотник и мне, по всей вероятности, будет скучно, все равно я должен вместо нее составить компанию Монти Кейву.

— Не годится сейчас оставлять его одного,— сказала Диана; сказано это было совсем просто, словно бы мимоходом, и по-доброму. Доброта добротой, но не так-то все было просто: Диана опасалась, как бы он не вздумал покончить с собой.

Вскоре, разделившись на группы, мы двинулись в путь. Реджи Коллингвуд, Кэро и Роджер пошли вместе по золотящимся полям. Среди немногих развлечений, которые признавал Коллингвуд, охота стояла на первом месте. Он одобрял Роджера за то, что и тот не прочь поохотиться. Сам же Роджер, который пристрастился к такого рода забавам только после того, как женился на Кэро, шел вразвалку между женой и Коллингвудом с естественной непринужденностью сановника начала века.

Мы с Монти подались влево. Когда я заговаривал с ним, он отвечал вполне приветливо, но и только. По сравнению с теми тремя, мы шли, как на похоронах. Вдруг за нами послышались мягкие торопливые

шаги. Я оглянулся. Нас догонял Артур Плимптон, одетый так же не по-охотничьи, как я, но с ружьем. Я не понимал, почему он пожертвовал обществом хорошенькой девушки, но обрадовался ему. Возможно, он последовал за нами просто по доброте душевной.

— Вы любите охоту, сэр? — весело спросил он Кейва.

— Нет! Никогда не охочусь,— ответил Монти, только что подстреливший дуплетом двух птиц.

— Позвольте заметить, сэр, что для первого раза у вас получается совсем неплохо.

Артур не хуже меня знал, что настоящий англичанин никогда не назовет «охотой» подобное истребление птиц. Он употребил это слово нарочно. Он и сам оказался метким стрелком, почти таким же, как Коллингвуд и Роджер. Однако до Монти всем им было далеко. Пусть этот умный печальный человек с лицом клоуна не имел никакого успеха у женщин, но у него был верный глаз и твердая рука.

Около часа, собравшись на холме, мы открыли корзины с провизией и принялись закусывать. Утренний туман рассеялся, краски были чистые, прозрачные, как на картинах Констебла. Кэро растянулась на траве с видом человека, который наслаждается заслуженным отдыхом, отхлебнула коньяку из фляжки и протянула ее Роджеру. Все это напоминало живую картину, словно кто-то пытался изобразить доброе старое время.

Коллингвуд загляделся на озаренные солнцем поля и холмы.

— Чудесный день,— сказал он.

В сумерки, когда мы вернулись и сидели в библиотеке, дожидаясь чая, Коллингвуд повторил эти слова, видимо считая, что лучше не скажешь. Он, Роджер и Кейв, все еще в охотничьих костюмах, сидели вокруг Дианы, разливавшей чай.

Прибыла почта, и Коллингвуд с Дианой привычно поворчали: так повелось у них с двадцатых годов, когда он впервые получил министерский портфель, а она завела политический салон. Мы с Маргарет прогуливались в синеющих сумерках возле дома, когда подъехала правительственная машина. Из нее вышел секретарь, в руках у него была хорошо знакомая всем продолговатая красная сумка. Мы пошли за ним в дом — это была почта для Монти Кейва. Спустя несколько минут два других секретаря с точно такими же курьерскими сумками прошествовали через огромный холл Бассета, направляясь к Коллингвуду и Роджеру Куэйфу.

В библотеке трое мужчин в охотничьих костюмах вскрыли красные курьерские сумки, лежавшие у них на коленях, а Диана, все еще ворча по заведенному обычаю, но оживленная и словно помолодевшая, с удовлетворением на это взирала.

— Может, лучше отложить обед на девять? — спросила она.

— Боюсь, что да,— ответил Коллингвуд.

Он сказал это хмуро и обиженно, но, как и Диана, не мог скрыть удовольствия, сквозившего в каждой черточке его лица,— этого тщательно скрываемого удовольствия от того, что на их долю выпало делать историю.

Диана сейчас же принялась командовать. Обед отложить. В комнаты министров немедленно послать виски и содовую. Во мне пока никто не нуждался, и, выждав немного, я поднялся к себе. Пока я переодевался, Маргарет через дверь поддразнивала меня: ее очень развеселил весь этот ритуал. Неужели все люди, стоящие у власти, так важничают? Но почему? Да потому, что без этого они не могли бы ни достичь власти, ни удержать ее, ни радоваться ей, ответил я.

Тут в дверь постучали. Лакей подал мне конверт, на котором размашистым старомодным почерком Коллингвуда было написано мое имя.

Внутри оказался лист почтовой бумаги с гербом Бассета, исписанный тем же крупным почерком. Я прочел:

«Я был бы Вам чрезвычайно признателен, если бы Вы смогли уделить нам несколько минут. Вы бы нас крайне одолжили, если бы смогли тотчас прийти».

Я молча протянул записку Маргарет и, провожаемый ее смехом, вышел из комнаты.

В спальне Коллингвуда, самой большой в Бассете, на столе стояли открытые курьерские сумки, а на громадной кровати с балдахином были раскиданы бумаги.

— А вот и вы! — сказал Коллингвуд.— У нас к вам есть просьба.

Роджер пояснил, что они получили правительственный документ.

— Я полагаю, Эллиоту можно его показать? — спросил он Коллингвуда.— В понедельник он все равно увидит эту бумагу у себя в ведомстве.

Коллингвуд кивнул.

Я пробежал бумагу глазами. Всего две странички текста, напечатанного через три интервала на машинке с крупным шрифтом, словно специально предназначенным для дальнозорких пожилых людей. Это была памятная записка министра труда. Он хотел бы, на тот случай, если намечаются какие-то изменения в планах производства оружия, с самого начала уточнить вопрос о рабочей силе. Ведь неожиданное прекращение хотя бы одного проекта — такого, например, как... — будет означать, что семь тысяч человек окажутся без работы, причем три тысячи из них — узкие специалисты, которых не так-то легко трудоустроить. Это создаст для министра известные сложности. Любые существенные изменения в политике вооружения приведут к значительной безработице. Программу вооружений можно менять только постепенно, на протяжении нескольких лет,— в противном случае на это нельзя идти.

Бумага была составлена сугубо официально, осторожно, убедительно. Но все присутствующие понимали, что за этим кроется. Это был пробный шар, причем пущенный не впрямую. Вовсе не министру труда нужно было выведать намерения Роджера. За его спиной стояли другие силы, которые пока что предпочитали оставаться в тени. Но какие именно? Какие-то фракции в правительстве? Крупные фирмы? Никто из нас этого не знал, но у каждого были свои догадки.

— На него нажимают,— сказал Коллингвуд.

— Я уже говорил, что они легко могут пересолить,— Роджер откинулся на спинку кресла.

Вид у него был уверенный, властный, решительный. Коллингвуд, повернув красивую голову, молча смотрел на него. Если чутье меня не обманывало, в комнате царило полное единодушие.

— Что ж, Куэйф, я с вами согласен. Я тоже считаю, что комиссия (он имел в виду вновь созданную правительственную комиссию по вопросам обороны, о которой я недавно слышал от Роуза) должна собраться завтра или во вторник. Вот тут нам и нужна ваша помощь...— обратился он ко мне.

Как всегда, держался он натянуто, неестественно, и, как всегда, казалось, что ему совершенно безразлично, какое он производит впечатление. Все в Бассете называли его просто Реджи, но сам он, видимо, с трудом удерживался, чтобы не величать двух своих коллег «мистер Куэйф» и «мистер Кейв». Ему стоило большого усилия ограничиваться фамилиями. Что же до меня, хотя мы с ним встречались в этом доме не раз и не два, он оказался не способен даже на такую маленькую фамильярность.

Он, по-видимому, решил, что я нахожусь в его распоряжении для

мелких услуг. Заседание комиссии нужно будет провести в начале недели. Позаботиться об этом — дело Дугласа Осбалдистона, секретаря комиссии. Так вот: не позвоню ли я ему сейчас, перед обедом, и не попрошу ли, чтобы он этим занялся безотлагательно.

Это было не слишком вежливо. И, уж конечно, достаточно неуклюже. Однако не прошло и десяти минут, как я понял (или мне показалось, что понял), почему он пользуется такой властью. Перед моим приходом они обсуждали три крупные фирмы — насколько велико влияние, которым располагают они, вместе взятые. Роджер и Кейв уже научились вставлять в разговор чисто американские словечки, как «группы нажима» и «лоббисты».

— Будь они более сплочены, они были бы куда опаснее,— сказал Роджер.— Но мы не дали им сплотиться. Ведь всегда будут существовать правительственные контракты. Некоторые наши друзья делают из этого прямые логические выводы.

Рядом с язвительным, воинственно настроенным Роджером Кейв казался вялым и безвольным. И все-таки сейчас он был больше в своей тарелке, чем все эти дни.

— Я как-то не представляю себе, чтобы «лоббисты» действовали сами по себе,— заметил он. И продолжал: — Но надо учитывать два обстоятельства: во-первых, правительство должно твердо знать, чего оно хочет. Во-вторых, — и это вовсе не такая уж избитая истина,— «лоббисты» могут сыграть важную роль, если им посчастливится затронуть более глубокие слои общественного мнения. Иными словами, те слои, которые обычно не идут за ними.

— Правильно подмечено,— сказал Роджер.

Коллингвуд переменил позу и обхватил столбик кровати.

— Ясно.— Он не обращался ни к кому в отдельности и говорил медленно, с запинками, словно разбирал незнакомый почерк. И все-таки в словах его была властность.— Если я правильно понимаю вас обоих, между нами нет особых расхождений. Кейв, по-видимому, считает, что мы должны действовать очень осмотрительно. Согласен. Мы должны следить за тем, чтобы какая-нибудь из этих группировок не начала оказывать давления на партию. Мы не можем толкать партию на шаги, к которым она еще не готова. Я не собираюсь давать Куэйфу какие-либо советы... Я никогда никому не даю советов,— он сказал это так, словно это было величайшее достоинство.— Однако на месте Куэйфа я постарался бы завуалировать некоторые свои намерения. Я бы не дал людям возможности задуматься над некоторыми последствиями нашего курса, пока мы не увлечем за собой большинство. Увлечем дальше, чем они рассчитывали. Но не дальше того предела, который мы сами себе поставили. Я постарался бы сформулировать законопроект так, чтобы неясно было, какое именно оружие предполагается снять с производства в первую очередь. Я бы это завуалировал.— Он по-прежнему обращался к стенке.— На месте Куэйфа, я не забывал бы и еще кое о чем. У меня такое чувство, что партию нужно направить по новому пути. И не только партию, а и всю страну. Надо вызвать у людей ощущение, что перед ними стоит совершенно новая цель. У меня такое чувство, что тому, кто укажет этот путь, многое простят. Может быть, и не все, что он делает, понравится, но его будут готовы простить.

Странная речь, думал я, слушая его; а потом она показалась мне еще более странной. Почти вся она состояла из общих мест, тщательно взвешенных и ничего не выражающих. А вот в заключении были уже не одни общие места. Казалось, Коллингвуд подбивает Роджера на какой-то рискованный шаг. И, слушая его, я впервые почувствовал, что он и в самом деле значительная личность. Не толкал ли он Роджера на слишком опасный шаг? Казалось, при всем своем бесстрастии, он гово-

рит искренне. Чего он желал Роджеру? В прошлом он оказал ему не одну услугу. Питал ли он к Роджеру симпатию? Люди вроде Коллингвуда не проникаются ни с того ни с сего симпатией или антипатией. Но я так и не смог определить, питает ли он к Роджеру какие-либо чувства. И какие именно.

Мы с Маргарет должны были уезжать из Бассета на следующий день после чая. Погода не изменилась. Вечер был такой же тихий, как в день нашего приезда, дымок над трубами казался нарисованным, пахло кострами из палого листа. Диана стояла одна во дворе и махала нам вслед.

Так прошел этот уик-энд в поместье — в доме, где было мало счастья и вдоволь дурных предчувствий. И когда мы сели в машину, я почувствовал не облегчение, а тревогу. Отчасти я понимал, откуда она, но отделаться от нее не мог — она нарастала, бередила душу, как бывало в детстве, когда я возвращался домой после каникул и не знал, что меня ждет и чего, собственно, я боюсь.

Речь перед рыботорговцами

Окна комнаты, где заседала комиссия, выходили во двор казначейства. Лил холодный затяжной дождь. В окне за спиной Коллингвуда качались на ветру тронутые увяданием ветви платана. Сейчас, сидя во главе стола, Коллингвуд вел себя точно так же, как тогда в спальне, в Бассете. С министрами он держался официально, с Дугласом Осбалдистоном обращался как со слугой, но Дуглас словно бы и не замечал этого и, уж во всяком случае, не обижался. Впрочем, все протекало так, как хотел Коллингвуд. Споры не затягивались, разве только в случаях, когда его это интересовало, а это бывало не часто. Он приехал, чтобы обсудить основные положения законопроекта. Он считал, что должны быть подведены все итоги. Роджера это вполне устраивало.

Все шло совсем не так, как мы предполагали летом, когда еще не начала складываться оппозиция. При теперешнем положении у Роджера оставалась некоторая свобода маневра. Похоже было, что после того совещания в спальне они с Коллингвудом нашли общий язык.

А вот когда я в тот день явился к Гектору Роузу, хоть его и мучила мигрень, он тут же почувствовал, что в воздухе пахнет компромиссом.

— Мне кажется, я уже говорил вам, дорогой мой Льюис, что враги не дремлют. Вам не приходило в голову, что наши хозяева что-то слишком пугливы? — Он поглядел на меня язвительно, очень довольный собственной проницательностью.

Я рассказал ему подробнее об этой встрече, на которой он присутствовал бы и сам, если бы не мигрень. Я сказал, что министр авиации, в сущности, остался на своих прежних позициях. Роуз кивнул. Все сошлись на том, что законопроект будет отработан не раньше чем месяца через два. К тому времени (как мельком, перед самым концом совещания, сказал Роджер) он подготовит и сможет показать им свои соображения.

— И это прошло? — Роуз поднял брови.— Вам не кажется, что он очень ловко обходит все острые углы?

Но и Роуз и еще очень многие были весьма озадачены, когда всего через две недели Роджер выступил публично. Еще задолго до уик-энда в Бассете Лафкин заставил его принять на себя совершенно определенные обязательства. Не знаю, может быть, после речи Коллингвуда он сказал не то, что предполагал раньше. Не знаю также, не решил ли он воспользоваться этим случаем вместо того, чтобы выступить по телевидению. Может быть, как раз эта возможность разом выполнить обяза-

тельства и перед Коллингвудом и перед Лафкином и побудила его выступить с речью, которая потом стала известна под довольно странным названием «Речь перед рыботорговцами».

Лорд Лафкин был рыботорговец. Не то, чтобы он когда-нибудь продал хоть одну рыбку, хотя бы даже только в гамлетовском смысле. У Лафкина был особый дар сочетать несочетаемое. Он не одобрял потомственного дворянства, а сам стал пэром. Точно так же он глубоко презирал все допотопные гильдии.

— Смехотворно,— с едким презрением говорил Лафкин,— когда дельцы прикидываются ремесленниками, хотя к ремеслу не имеют ни малейшего отношения, и пируют на деньги, заработанные людьми, которым сами они в подметки не годятся. Это какой-то пережиток средневековья. Это атавизм,— говорил он загадочно, таким тоном, как мог бы говорить Джон Нокс в минуты, когда был меньше обычного расположен к Марии Стюарт. Но все это ничуть не мешало ему принимать все почести в собрании своей гильдии (по прихоти случая он состоял в гильдии рыботорговцев). В этом году он был избран первым старейшиной.

Он исправно выполнял свои обязанности. Вот почему он пригласил Роджера выступить у них на торжественном обеде в Михайлов день. Вот почему он стоял в этот ноябрьский вечер в просторной гостиной клуба, облаченный в красно-коричневую, подбитую мехом тюдоровскую мантию, окруженный другими официальными лицами гильдии, в мантиях менее роскошных, подбитых менее роскошным мехом. Над этим маскарадным костюмом возвышалась его маленькая, хорошо вылепленная красивая голова — классическая голова человека двадцатого столетия; с видом чрезвычайного радушия он пожимал бессчетное множество рук. Вслед за жезлами, которые несли перед ним, он прошествовал во главе процессии в обеденный зал. Зал был похож на столовую в каком-нибудь колледже, только побольше, и обед был похож на какое-нибудь пиршество в колледже, только пообильнее. Роджер сидел на почетном месте — по правую руку от Лафкина. Я сидел где-то в конце зала между каким-то весьма просвещенным и реакционно настроенным банкиром и каким-то лейбористом — членом парламента, менее просвещенным, но едва ли меньшим реакционером. Я здесь почти никого не знал; впрочем, на другом конце зала я вдруг увидел Сэмикинса,— он сидел, откинувшись на стуле с бокалом в руке. Еда и напитки были недурны, но не более того. Я знал, что Роджер намерен воспользоваться случаем, чтобы пустить пробный шар.

Речи. Длиннейшую и прескверную произнес председатель какого-то страхового общества. Я выпил еще рюмку портвейна. Короткую и прескверную произнес Лафкин и сел; как положено, раздались аплодисменты, которые он принял с таким видом, словно и ждал их и в то же время был к ним совершенно равнодушен. Затем председатель провозгласил:

— Прошу внимания. Перед нами выступит наш гость — достопочтенный Роджер Куэйф, советник ее величества, член парламента от округа....

Уставленный свечами стол сверкал хрусталем, золотом и серебром. Я повернулся к Роджеру. Он стоял во весь рост и после Лафкина казался огромным. Он начал с обычной формулы:

— Господин первый старейшина, ваша светлость, господа члены почтенной гильдии рыботорговцев, господа...

Он умолк. Потом заговорил спокойнее. Нам всем, здесь присутствующим, следует за многое быть благодарными. На дворе осень, а войны нет. Осень, а войны нет. Последние десять лет почти никто из нас не мог предполагать, что так будет. Пока что нам везет. И надо по-

заботиться о том, чтобы удача нам не изменяла и впредь. Иные из нас участвовали в двух войнах. Большинство — в одной. Мне незачем объяснять тем, кто воевал, что война — это ад. Мы видели смерть лучших людей. Мы видели, как они умирали. Мы видели наших мертвецов. Но это еще не самое тяжкое. В этих войнах мы порой еще могли восхищаться нашими друзьями: пусть сам ты охвачен ужасом, но другие храбры. Война — это была мерзость, вонь, пожарища, но люди порой бывали прекрасны. От отдельного человека еще что-то зависело. Но трудно себе представить, чтобы в войне, которая может разразиться теперь, хоть что-то зависело от отдельного человека.

Тут Роджеру пришлось перейти на официальный язык и напомнить, что вооруженные силы и сейчас имеют первостепенное значение. Но скоро он снова заговорил своими, не казенными словами. Вот этим он и завоевывал слушателей, это был не только ораторский прием, это было особое свойство, которое многих к нему привлекало.

В зале стояла тишина. Роджер продолжал:

— Все мы порой задумываемся о термоядерной войне. Как же иначе. Мы были бы и глупы и безнравственны, если бы не задумывались об этом. Мы даже представить себе не можем, какой будет эта война. По сравнению с нею все ужасы, которые люди до сих пор изобрели для того, чтобы уничтожать друг друга,— просто детские игрушки. И мы понимаем, что этой войны не должно быть. Но хоть мы это и понимаем, мы не знаем, как ее предотвратить. Я встречал людей доброй воли, которые нелегко отказываются от надежды, и тем не менее в глубине души думают, что все мы, все человечество, попались в чудовищную ловушку. А я в это не верю. Я верю, что мужество, разум и некоторая доля удачи помогут нам найти выход. Не стану уверять, что это будет легко и просто. Не знаю, возможно ли тут какое-то всеобъемлющее решение. Быть может, нам следует вести поиски в разных направлениях, не гнушаться и мелочами, если это может хоть немного ослабить угрозу войны. Вот почему я сегодня пользуюсь случаем, чтобы задать несколько вопросов. Наверно, ни один человек на свете не знает ответа на все эти вопросы, или хотя бы на многие из них. Вот поэтому-то их следует, по крайней мере, задавать. И прежде всего у нас, в Англии. Наша страна сохраняла устойчивость дольше, чем какая-либо другая страна в мире. Мы — народ многоопытный. Мы прошли через великое множество опасностей. И не мы повинны в том, что эта новая опасность, этот изменившийся характер войны, этот термоядерный удар для нас страшней и гибельней, чем для любой другой великой державы. Просто это потому, что страна наша на земном шаре — лишь крохотный клочок и живем мы в такой тесноте. Разумеется, степень опасности не должна влиять на ясность наших суждений. Я знаю, есть люди, главным образом одинокие старики и кое-кто из молодежи, которым наше положение кажется несправедливостью, и вполне естественно, что подчас ими овладевает тайный страх.

В зале было совсем тихо, даже не кашляли. Мои соседи внимательно слушали, иные с жгучим интересом, банкир — сосредоточенно и мрачно. И тут с другого конца пьяный голос крикнул:

— Говори сам за себя!

Сэмикинс вскочил.

— Заткнись, скотина! — в бешенстве крикнул он.

— Говори сам за себя! — повторил пьяный.

Соседи старались усадить Сэмикинса на место.

— Ты где воевал, свинья? — кричал он.— А вот он воевал!

Роджер поднял руку. Он стоял бесстрастный, неподвижный, даже бровью не повел.

— Пусть кто угодно обвиняет меня в трусости. Это не имеет зна-

чения. Иногда мне думается, что отцу малых детей трудно не быть трусом. Но я не допущу, чтобы кто бы то ни было обвинял в трусости весь английский народ. Всякому разумному человеку ясно, что англичане доказали свое мужество. Что бы мы сейчас или в будущем ни предприняли в военном отношении, это будет сделано потому, что мы сочтем такие шаги нравственными и благоразумными, а не потому, что мы напуганы или, напротив, стараемся доказать, что мы не напуганы.

Тут впервые в зале раздалось: «Правильно! Правильно!» Роджер подождал, пока крики одобрения смолкнут, и снова поднял руку.

— Ну-с, пошутили и хватит, а теперь я буду задавать вопросы. Как я уже говорил, ответы никому не известны. Но если все мы над этим задумаемся, мы в один прекрасный день сумеем сказать такие слова, которых ждут все порядочные люди, люди доброй воли во всем мире. Первое: если не будет никакого соглашения или контроля, сколько стран будут владеть термоядерным оружием, скажем, к тысяча девятьсот шестьдесят седьмому году? По моим расчетам, по расчетам политика — и вы можете рассчитать это не хуже меня,— четыре или пять во всяком случае. Если только человечество не сумеет эту гонку остановить. Второе: становится ли термоядерная война более вероятной оттого, что оружием овладевают все новые страны, или менее вероятной? Опять-таки, вы можете строить догадки не хуже меня. Но мои предположения самые мрачные. Третье: почему государства стремятся владеть этим оружием? Ради национальной безопасности или из менее разумных соображений? Четвертое: можно ли предотвратить эту катастрофу,— впрочем, нет, это слишком сильное слово, мне следовало сказать: можно ли предотвратить эту все нарастающую опасность? Может ли кто-нибудь из нас, какая-нибудь страна или группа стран предложить какой-то путь, какой-то выход, разумный и с точки зрения военной и с точки зрения общечеловеческой?

Речь Роджера продолжалась уже десять минут, и после этого он говорил еще столько же. Но теперь он снова перешел на официальный язык, загадочный и невыразительный, каким министры изъясняются перед широкими массами. Это было странно, но, без сомнения, рассчитано заранее. Он по-настоящему задел их, теперь надо было их успокоить. Они будут рады услышать привычные общие слова, и он охотно доставит им это удовольствие.

Заключительную часть своей речи он не затягивал и сел под дружные, хотя и не слишком бурные аплодисменты. Собрание любезно и довольно бестолково поблагодарило его, и затем процессия во главе с первым старейшиной — жезлы впереди, Роджер бок о бок с Лафкином — покинула зал. Вспоминая тот вечер, я думаю, что мало кто из моих соседей понимал, что речь, которую они слушают, получит широкую известность. Пожалуй, я и сам этого не понимал. Слушали с любопытством, кое-кто с чувством неловкости, кое-кто подавленно. Выходя, я слышал разные толки. Большинство отзывалось о речи Роджера уважительно, но не без растерянности.

В толчее у гардеробной я увидел Сэмикинса — глаза его сверкали, лицо горело. Мы были совсем недалеко друг от друга, но он закричал во все горло:

— Осточертела мне эта публика! Пойдем пройдемся!

Едва ли столь изысканное приглашение пришлось по вкусу тупым, надутым рыботорговцам, через толпу которых он проталкивался — стройный, франтоватый, с орденскими ленточками на лацкане.

Оба мы были без пальто и без шляп и потому раньше других вышли на вечернюю улицу.

— Черт побери! — воскликнул Сэмикинс. Он много выпил, но пьян не был. Он был вне себя от обиды, от злости на субъекта, который

прервал Роджера.— Все они ему в подметки не годятся, черт побери.— Он говорил о Роджере.— Я знавал его однополчан. Он настоящий смельчак, можете мне поверить.

Я сказал, что в этом никто и не сомневается.

— Кто он такой, тот наглец?

— Да не все ли равно,— сказал я.

— Наверно, какой-нибудь интендантский полковник. Я бы охотно набил морду этой жирной скотине за такие слова. А вы говорите: «Не все ли равно»! Как это, не все ли равно, черт возьми!

Я сказал, что когда тебе предъявляют нелепое обвинение, и ты сам и все вокруг знают, что оно нелепое, это ничуть не обидно. Но говоря это, я думал: да полно, так ли...

Мы молча дошли до угла и постояли немного, глядя через дорогу на Колонну, черневшую в лунном небе. Было нехолодно, дул юго-западный ветер. Мы свернули на Артур-стрит, потом пошли параллельно Темзе, мимо верфей. За пустырями и развалинами, оставшимися после воздушных налетов и бомбежек почти двадцатилетней давности, где и по сей день росла сорная трава, поблескивала река, теснились склады, как железные скелеты, торчали подъемные краны.

— Он великий человек, верно? — сказал Сэмикинс.

— А что это такое — великий человек?

— Как, теперь и вы против него?

Я не имел в виду ничего подобного, но Сэмикинс еще не остыл.

— Послушайте,— сказал я,— я стою за него и отдаю ему все, что только могу, и я рискую при этом куда больше, чем почти все его друзья.

— Знаю, знаю. Да, он великий человек, черт побери.— И Сэмикинс дружески улыбнулся мне.

Мы шли по некогда узкой улице, которую сейчас поверх развалин без помех заливал лунный свет, и Сэмикинс говорил:

— Моя сестра хорошо сделала, что вышла за него. Наверно, она все равно была бы счастлива в замужестве и обзавелась бы кучей ребятишек. Но, понимаете, я всегда думал, что она выйдет за кого-нибудь из наших. Ей повезло, что этого не случилось.

«За кого-нибудь из наших» — Сэмикинс сказал это так же естественно, как его прадед сказал бы, что его сестра должна была выйти за джентльмена. Несмотря на все свое преклонение перед Роджером, Сэмикинс как раз это и имел в виду. Но в его словах меня заинтересовало другое. Кэро больше беспокоилась о нем, сильнее любила его, чем он ее. Но все же он был очень к ней привязан, и тем не менее брак ее казался ему счастливым, точно так же, как и всем посторонним. Так могло казаться Диане, когда она видела, как они гуляют по парку в Бассете или понимают друг друга с полуслова, точно союзники, во время какого-нибудь официального приема. А ведь и Диана и тем более Сэмикинс всю жизнь провели в среде, где тишь да гладь была только на поверхности, а под нею скрывалось немало беспутства. Я слушал, как Сэмикинс говорит о браке сестры, и думал об Элен, которая сидела сейчас одна в своей квартирке здесь же, в Лондоне.

— Что ж, ребятишки у нее есть.— Сэмикинс все рассуждал о Кэро.— А я бесплодная смоковница.

Впервые на моей памяти он себя пожалел и впервые украсил свою речь пышным сравнением.

Мы миновали Грейт-Тринити-лейн, повернули направо, и перед нами вдруг встал во весь рост собор св. Павла — белый с черной штриховкой копоти.

— Я думаю, Роджер прав,— сказал Сэмикинс.— Если будет новая война, нам крышка, верно?

Я согласился.

Он обернулся ко мне.

— А какое это имеет значение?

Он говорил серьезно. Нельзя было съязвить в ответ. И я сказал:

— Что же тогда имеет значение?

— Нет, вы скажите. Верит ли кто-нибудь из нас, что человеческая жизнь чего-то стоит? Если говорить без дураков.

— Если мы не верим, для нас все потеряно.

— Скорей всего, так оно и есть,— сказал Сэмикинс.— Вот я и говорю, разве мы не лицемеры? Разве кто-нибудь из нас дорожит человеческой жизнью, разве нам не все равно?

Я промолчал. И он продолжал, спокойно, без ярости и без отчаяния:

— Вот вам не все равно? Если не считать самых близких? Ну-ка, скажите по совести.

Я не сразу нашелся. Потом наконец ответил:

— Нет, не все равно. По крайней мере, я хочу, чтобы мне было не все равно.

— А вот мне, кажется, все равно,— сказал Сэмикинс.— Мне приходилось убивать людей, и, если случится, я опять смогу убить. Конечно, есть на свете люди, чья жизнь мне дорога. А что до остальных, если говорить начистоту, мне, пожалуй, наплевать. И таких, как я, гораздо больше, чем всем нам хотелось бы думать.

(Окончание следует)

ГЕНРИХ БЁЛЬ

Чем кончилась одна командировка

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого НАТАЛИИ МАН и С. ФРИДЛЯНД

1

В суде первой инстанции города Бирглара ранней осенью прошлого года слушалось дело, о котором до публики дошли лишь самые скудные сведения. Все три газеты Биргларского округа — «Рейнише рундшау», «Рейнишес тагблат» и «Дуртальботе»,— под рубриками «Из зала суда», «В зале суда» и «Новости из зала суда» обычно печатавшие подробные репортажи о таких делах, как кража скота, крупные дорожные катастрофы и драки на ярмарке, в данном случае поместили лишь небольшую заметку, текст которой странным образом совпадал во всех трех газетах:

«Отца и сына Грулей судил снисходительный судья. Личность весьма популярная в общественной жизни нашего окружного города, д-р Штольфус (о его заслугах мы еще будем говорить) в последний раз перед уходом на пенсию председательствовал на процессе Иоганна и Георга Грулей из Хузкирхена, чье непонятное преступление, совершенное в июне месяце, взбудоражило некоторые умы. В конце однодневного заседания суд вынес приговор обоим Грулям: полное возмещение убытков и лишение свободы сроком на шесть недель. После краткого совещания со своим защитником, адвокатом д-ром Гермесом из Бирглара, они решили не опротестовывать этот достаточно мягкий приговор. Поскольку им было зачтено предварительное заключение, обоих правонарушителей немедленно освободили из-под стражи».

Местные редакции «Рейнише рундшау» и «Рейнишес тагблат» еще за несколько недель до начала процесса пришли к соглашению на сей раз друг с другом не конкурировать и не особенно «раздувать» это дело, поскольку оно, собственно, «не стоит выеденного яйца». На случай — хотя этого опасаться не приходилось,— если читатели станут высказывать недовольство отсутствием информации о процессе, обе редакции заготовили отговорку, которая, как выразился редактор «Рундшау» Крихель, «будет пригнана не хуже, чем коньки на ногах чемпионки мира по фигурному катанию», а именно: одновременно начавшийся слушанием в соседнем большом городе процесс детоубийцы Шевена для читателя куда более интересный.

Попытка привлечь к этому соглашению главного редактора, издателя и наборщика «Дуртальботе» господина д-ра Хольвега потерпела неудачу. Д-р Хольвег, примыкавший к своего рода либеральной оппозиции округа Бирглар, учуял — и не безосновательно — в этом соглашении сговор между клерикалами и социалистами и предложил своему тогдашнему репортеру, бывшему студенту евангелически-богословского факультета Вольфгангу Брезелю, который предпочитал судебные репортажи всем остальным, взять это себе на заметку.

Внимание Брезеля на внезапность назначения этого дела к слушанию обратила супруга защитника д-ра Гермеса, и она же после доклада «Вселенский собор и нехристианские народы», сидя за кружкой пива вместе с докладчиком, прелатом д-ром Кербом, и Брезелем, разъяснила последнему, что́ именно в этом процессе примечательно и о чем ему следует писать: полное признание обвиняемых, их преступление, их личности, но прежде всего тот факт, что прокурору угодно было усмотреть в странном преступлении Грулей всего лишь «нанесение материального ущерба и нарушение общественного спокойствия», игнорируя фактические обстоятельства дела, то есть поджог.

Далее супруге адвоката, которая и сама cum laude * защитила диссертацию на степень доктора прав, показалось существенным помимо спешного назначения разбирательства помещение обвиняемых в здании суда, где временно были оборудованы две тюремные камеры, в которых им, как то стало известно в Биргларе, жилось как рыбе в воде, а также то обстоятельство, что дело назначено к слушанию в суде первой инстанции, да еще под председательством уходящего на пенсию д-ра Штольфуса, на все лады прославляемого за гуманность в прошлом и настоящем.

Брезелю, хотя он только-только начал разбираться в основах судопроизводства, тоже подумалось, что такое дело должно было бы слушаться при участии судебных заседателей, а не разбираться одним судьей. Адвокатша это подтвердила, но тут же обернулась к докладчику, прелату д-ру Кербу, которому, видимо, уже наскучили эти провинциальные пересуды, и попросила его дать два-три основных положения господину Брезелю для его статьи о сегодняшнем докладе, ибо, не будучи католиком, он-де весьма интересуется всем, происходящим в христианском мире.

В тот же вечер Брезель говорил в редакции со своим шефом д-ром Хольвегом обо всех этих юридических тонкостях, диктуя ему прямо в наборную машину статью о докладе прелата,— редактор любил на деле доказывать, что он как свои пять пальцев знает ремесло наборщика и печатника. Хольвег, которому энтузиазм Брезеля нравился, хотя, как он выражался, временами и «давил на мозги», счел необходимым изменить в его статье выражение «весьма оптимистично» на «не без надежды», а «с великолепным либерализмом» — на «не без доли свободомыслия» и поручил ему написать для «Дуртальботе» отчет о процессе Грулей.

Затем он вымыл руки с той детской радостью, которая всякий раз его охватывала после праведного «истинного труда», сел в машину и укатил за несколько километров в Кирескирхен к товарищу по партии и депутату, пригласившему его обедать.

Хольвег, человек лет пятидесяти с небольшим, благодушный и обходительный, хотя по природе и несколько апатичный, не подозревал, от какой неприятности он избавил своего приятеля, первым заговорив о странном деле Грулей. Больше всего его удивляло, что государственная власть, суровость которой, в чем бы она ни проявлялась, он всегда клей-

---

* С отличием *(лат.)*.

мил позором и будет клеймить и впредь, на этот раз выказала себя столь мягкой; чрезмерная предупредительность властей, продолжал он, представляется ему не менее подозрительной, чем их чрезмерная суровость; как либерал, он считает своим долгом и в данном случае разбередить рану правящей клики.

Хольвег не в меру разговорился, но хозяин деликатно остановил его, заметив, что не стоит переоценивать события в Биргларском округе, как то уже не раз с ним случалось,— к примеру, в деле Генриха Грабеля из Дульбенвейлера, которого Хольвег без долгих размышлений объявил мучеником свободы, тогда как на деле тот оказался всего лишь мелким аферистом и жалким хвастунишкой, любителем схватить то, что плохо лежит. Хольвегу пришлось не по вкусу напоминание о деле Грабеля: для этого типа он, что называется, землю рыл, сделал ему неимоверную рекламу, более того, привлек на его сторону своих иногородних коллег и даже одну центральную газету.

Он поцеловал руку жене депутата, когда та, зевнув, извинилась и попросила разрешения уйти из-за стола — ей всю ночь пришлось прободрствовать у постели маленькой дочки,— и на некоторое время занялся камамбером с луком и паприкой, к которому было подано отличное красное вино.

Подливая ему вина, депутат сказал:

— Мой совет — не связывайся с делом этих Грулей.

Хольвег запальчиво возразил: ему ясно — не настолько же он глуп,— что такое предложение делается неспроста и его, страстного либерала и журналиста, это тем более побуждает заняться упомянутым делом. Хозяин помрачнел и сказал:

— Послушай, Герберт, помнится, я никогда не просил тебя, как редактора газеты, ни о каком одолжении.

Хольвег, несколько озадаченный, вынужден был с ним согласиться.

— Теперь,— продолжал хозяин,— я впервые обращаюсь к тебе с просьбой, и, заметь, *в твоих же интересах.*

Хольвег, которого частенько поддразнивали за его местный патриотизм, стыдился репутации закоренелого провинциала и пообещал сыграть отбой своему репортеру, если депутат объяснит ему подоплеку всей этой истории. Никакой здесь подоплеки нет, отвечал тот; Хольвег волен идти и слушать процесс, а там пусть решает, стоит ли давать о нем отчет в газете; глупо, если какой-нибудь репортер бог знает как его раздует.

На Хольвега напала зевота, как только он себе представил зал суда, это промозглое помещение в старом здании рядом с церковью, все еще пахнущее школой, старика Штольфуса и его кузину Агнес, неизменную посетительницу судебных заседаний; но помимо всего прочего: разве плохо, что у Грулей будет снисходительный судья и процесс не вызовет шумных толков?

А как обрадуются все любители старинной мебели в округе Биргларр, да и за его пределами, когда Груль-старший выйдет на свободу и его умелые руки, его безупречный вкус будут снова служить обществу.

Наливая гостю кофе, теперь уже в кабинете, депутат поинтересовался, помнит ли он некую Бетти Халь из Кирескирхена, впоследствии она еще стала актрисой.

— Нет,— отвечал Хольвег,— да и не удивительно, как-никак между нами разница лет эдак в пятнадцать, ну, а что, собственно, происходит с этой Халь?

— Она выступает в близлежащем городе в какой-то польской пьесе. Пресса у нее блестящая.

Хольвег принял предложение съездить в театр.

На следующее утро, часов около восьми, Хольвег позвонил Брезелю и распорядился, чтобы тот не писал о деле Грулей, а поехал бы в соседний город, где в этот самый час начался сенсационный процесс детоубийцы Шевена. Брезель в первую минуту удивился столь раннему звонку своего шефа, который слыл отъявленным соней, но потом сообразил, что отъявленные сони по большей части поздно ложатся спать, и решил, что Хольвег, вероятно, только сейчас вернулся домой.

Но и голос Хольвега показался ему что-то чересчур энергичным, почти повелительным; оба эти обстоятельства его озадачили. Вообще-то Хольвег был человеком покладистым и спокойным, волновался он, только когда в один день поступало три или четыре отказа от подписки.

Брезель не стал долго размышлять над этими минимальными отклонениями от нормы, побрился, позавтракал и поехал на своей малолитражке в соседний город; он немного нервничал, не зная, удастся ли ему найти место для машины, и еще потому, что побаивался королей международного репортажа, которые съехались туда со всех концов света. Хольвег его заверил, что пропуск для него уже приготовлен. Раздобыл его ранним утром путем телефонных переговоров все тот же депутат, состоявший членом парламентских комитетов по делам обороны и прессы.

Дело Грулей слушалось в самом тесном из трех небольших судебных залов, в котором присутствовало не более десяти человек, причем все они состояли в родстве с обвиняемыми, свидетелями, экспертами, членами суда или другими участниками процесса. Местным жителем не был лишь один из публики, стройный, не броско, но изящно одетый мужчина средних лет, известный только председательствующему, прокурору и защитнику как член судебной палаты господин Бергнольте из соседнего города.

Комната для свидетелей была некогда учительской в четырехклассной школе, построенной в восьмидесятых годах прошлого столетия и в начале этого века превращенной в шестиклассную; в конце пятидесятых годов школа переехала в новое здание, старое же было передано суду первой инстанции, бедность которого давно уже вошла в поговорку, ибо ранее он прозябал и вершил правосудие в бывшей школе унтер-офицеров. В этой комнате, рассчитанной на шесть, от силы на восемь человек, теснилось четырнадцать свидетелей самого различного социального и морального достоинства: старый священник Кольб из Хузкирхена, две его прихожанки, одна из которых слыла женщиной баснословно добропорядочной и рьяно преданной церкви, другая же пользовалась репутацией сверхчувственной особы (причем приставка «сверх», усиливающая прилагательное «чувственный», здесь применялась отнюдь не в значении чего-то метаэмпирического), кроме них — офицер, фельдфебель и ефрейтор бундесвера, экономист, судебный исполнитель, чиновник финансового ведомства, коммивояжер, окружной дорожный инспектор, старший мастер столярного цеха и содержательница бара.

Когда суд начался, судебный пристав Штерк, специально командированный сюда из близлежащего большого города, вынужден был запретить свидетелям прохаживаться по вестибюлю: если в зале суда говорили громко, в вестибюле было слышно каждое слово.

Это обстоятельство уже не раз приводило к безрезультатным перепалкам между судьей д-ром Штольфусом и вышестоящей инстанцией. Когда слушались дела о кражах и авариях или велись тяжбы о наследстве, суд мог установить истину, лишь используя противоречия в свидетельских показаниях, и потому судебный пристав бывал вынужден обходиться со свидетелями куда более сурово, чем его коллега в зале суда с обвиняемыми.

Случалось даже, что в комнате для свидетелей дело доходило до рукоприкладства, грубой брани, взаимной дискредитации и взаимных подозрений. Единственным преимуществом отслужившей свой век школы было то, что, как не раз уже иронически упоминалось в заявлениях, подаваемых в вышестоящую инстанцию, «в туалетах там не было недостатка».

В близлежащем большом городе, где вышестоящая судебная инстанция помещалась в новом здании с явно недостаточным числом туалетов, стало уже стандартной шуткой советовать каждому, кто ворчал на это неудобство, взять такси и съездить за двадцать пять километров в Бирглар, изобилующий подведомственными министерству юстиции туалетами.

Среди публики в зале суда царило настроение как перед спектаклем в любительском театре, поставившем классическую пьесу,— благосклонная напряженность, хорошо темперированная благодаря отсутствию риска в этом начинании: всем известен сюжет, действующие лица и исполнители таковых, никаких неожиданностей не предвидится, и тем не менее все напряжены; окажется спектакль неудачным — беда невелика, разве что любительское рвение растрачено понапрасну, окажется хорошим, —что ж, тем лучше. Всем присутствующим были известны результаты дознания и предварительного следствия благодаря болтливости причастных и не причастных к этому делу лиц — явление, неизбежное в провинциальных городках. Каждый знал, что оба обвиняемых полностью признали свою вину, больше того, как на днях сказал прокурор в кругу своих друзей, оба они оказались самыми откровенными из всех встречавшихся ему обвиняемых, даже «побили рекорд откровенности». Еще во время предварительного следствия они безоговорочно соглашались с показаниями экспертов и свидетелей. В общем, добавил прокурор, судебное разбирательство, как видно, пройдет без сучка и задоринки, что, разумеется, не слишком интересно опытному юристу.

Лишь трое из сидевших в зале суда знали то, что, конечно, уже было известно «наверху»,— иными словами, в близлежащем большом городе, а именно: тамошние власти сочли за благо включить в обвинительный акт лишь нанесение материального ущерба и грубое бесчинство, без упоминания о поджоге, далее, предоставили судье Штольфусу возможность единоличного решения по этому делу — короче говоря, странным образом «спустили дело Грулей на тормозах». Двумя посвященными в эти хитросплетения были супруга прокурора д-ра Кугль-Эггера, всего несколько дней назад, после того как ее мужу удалось, наконец, найти квартиру, перебравшаяся в Бирглар, и супруга адвоката Гермеса, дочь местного коммерсанта, которая еще накануне вечером выложила репортеру Брезелю все, что ей удалось узнать. А именно: «наверху» было решено слушать дело без судебных заседателей и уж конечно не в уголовном суде, но так как каждому ясно, что ни один адвокат, зная, что его подзащитных будет судить такой старый испытанный «рыцарь гуманизма», как Штольфус, не потащит их в уголовный суд к этому «шелудивому псу» Прелю, то «наверху» постановили — «не раздувать» дело Грулей. За этим, надо думать, кроется явная поблажка, а в какой-то мере и просьба о поблажке, но Гермес, ее муж, решил оставить за собой право, смотря по тому, как обернется дело, не принимать ни поблажки, ни просьбы о таковой, и настаивать на новом рассмотрении хотя бы при участии судебных заседателей.

Третий человек из публики, информированный об этих хитросплетениях, член судебной палаты Бергнольте, никогда бы не разрешил себе вдаваться в подобные размышления. Обладая умом недюжинной вос-

приимчивости и таким знанием буквы закона, что оно вошло в поговорку среди судейских чиновников, он, конечно, понимал, что облеченная властью и призванная охранять и восстанавливать право юстиция в данном случае, как выразился один его коллега, «ушла в кусты». Но такие понятия, как «поблажка» или «просьба о поблажке», в этой связи он решительно отверг.

Когда судья и прокурор вошли и заняли свои места, все присутствующие встали, однако в том, как они встали и снова уселись, чувствовалась фамильярная небрежность, с какой разве что монастырская братия выполняет давно знакомый и привычный обряд. Не произошло в зале большого движения и тогда, когда ввели обвиняемых. Почти все присутствующие хорошо знали их и знали также, что в течение десяти недель предварительного заключения самая хорошенькая девушка, когда-либо расцветавшая в Биргларском округе, носила им завтрак, обед и ужин из лучшего ресторана на площади. Так хорошо они не ели уже двадцать два года, со дня смерти жены и матери. Поговаривали даже, что, когда в камере не было других заключенных, которые могли бы проболтаться, Грулей, случалось, звали в комнату судебного пристава Шроера посмотреть какую-нибудь особо интересную телевизионную передачу. Шроер и его жена, правда, опровергали эти слухи, но не слишком энергично.

Из всей публики только жена прокурора и Бергнольте не были знакомы с обвиняемыми. Жена прокурора за обедом объявила мужу, что прониклась к ним живейшей симпатией. Бергнольте вечером заметил, что «отчасти даже против воли вынес о них впечатление самое положительное». У отца и сына был здоровый, спокойный вид, да и одеты они были хорошо и опрятно. Казалось, они не только сохраняют самообладание, но и отлично настроены.

Опрос протекал сравнительно гладко. Конечно, д-р Штольфус делал то, что делал обычно, то есть просил обвиняемых говорить громче, отчетливее и не злоупотреблять местным диалектом, тем более что для прокурора, человека приезжего, приходится переводить некоторые диалектизмы; в остальном ничего достойного упоминания не происходило и ничего особенного или нового не выяснилось. Обвиняемый Грульстарший на вопрос об имени и возрасте отвечал: Иоганн Генрих-Георг, пятьдесят лет. Затем этот узкоплечий, даже хрупкий человек среднего роста с темновато мерцающей лысиной заявил, что, прежде чем ответить на поставленные ему вопросы, он хочет сделать небольшое сообщение, в полной уверенности, что господин председательствующий, которого он знает, ценит, более того — почитает, не поставит ему этого в вину. То, что он сейчас намерен сказать,— это правда, чистая правда, чистая, как стеклышко, хотя она и носит несколько личный характер. Итак, он должен сказать, что до права и закона ему никакого дела нет, ни вот столечко, и он не стал бы отвечать на обращенные к нему вопросы, даже своего имени и возраста бы не назвал, если бы тут — дальнейшее Груль произнес таким тихим и беззвучным голосом, что в зале вряд ли кто разобрал его слова,— если бы тут не сыграли роль личные мотивы. Первый из этих личных мотивов — его глубокое уважение к господину председательствующему, второй — его глубокое уважение к свидетелям, и прежде всего к полицмейстеру Кирфелю, который был другом, можно даже сказать, закадычным другом его отца, фермера Груля из Дульбенвейлера, и, наконец, он не хочет подводить или ставить в затруднительное положение свидетельницу Лейфен, свою тещу, свидетельницу Вермельскирхен, свою соседку, а также свидетелей Хорна, Грэйна и

Кирфеля — только поэтому он и дает свои показания, нимало не рассчитывая, что мельница правосудия смелет хоть одно зернышко правды.

Во время чуть ли не всей этой преамбулы он говорил на местном диалекте, и ни председательствующий, ни защитник, к нему благоволившие, его не прерывали, не требовали, чтобы он говорил отчетливо и понятно. Прокурор, уже не раз беседовавший с Грулем, но все равно не научившийся разбираться в его диалектизмах, слушал его, что называется, вполуха; протоколист Ауссем на данной стадии разбирательства, наводившего на него тоску, еще не вел протокола. Отдельные места из речи Груля, произнесенной почти беззвучной скороговоркой, в публике поняли только двое его коллег, да еще госпожа Гермес и пожилая, даже старая особа фрейлейн Агнес Халь, хорошо с ним знакомая. Далее Груль назвал свою профессию — столяр-краснодеревщик, место своего рождения — Дульбенвейлер, Биргларский округ. Там он посещал начальную школу, в 1929 году окончил ее и поступил в ученики «к уважаемому мастеру Хорну», на третьем году учения он стал ездить еще на вечерние курсы при художественно-ремесленном училище в близлежащем большом городе; в 1936 году, когда ему стукнуло двадцать один, открыл собственное дело, в двадцать три года женился, в двадцать пять— «раньше все равно не положено» — сдал экзамен на мастера. В армию его призвали только в 1940-м, и прослужил он до 1945-го. На этом месте председательствующий впервые прервал монотонные маловразумительные показания Груля, во время которых протоколист Ауссем, как он потом признался, с трудом подавлял зевоту, и спросил обвиняемого, принимал ли тот участие в боевых действиях во время войны, а также занимался ли до войны или во время ее политической деятельностью. Груль угрюмо и почти беззвучно — хотя д-р Штольфус настойчиво призывал его говорить громче — отвечал, что по этому пункту он может сказать то же, что говорил о праве и законе; он не принимал участия в боевых действиях и никакой политической деятельностью не занимался, но здесь он хочет подчеркнуть — голос его звучал теперь несколько громче, так как он начинал сердиться,— что причиной тому был не героизм и не безразличие, просто этот «идиотизм» для него уж слишком идиотичен. Что касается его солдатской службы, то он почти все время проработал по специальности, то есть отделывал офицерские квартиры и клубы «в их, для меня отнюдь не бесспорном вкусе», но главным образом реставрировал в оккупированной Франции «краденую или конфискованную мебель в стиле Директории, Империи, а иногда даже Людовика Шестнадцатого» и упаковывал ее для отправки в Германию. Здесь прокурор заявил протест против термина «краденая», имеющего целью укрепить и воскресить давно изжитые представления о немецком варварстве. Как известно, вывоз достояния французского народа из оккупированной Франции был запрещен законом и подлежал суровой каре.

Груль взглянул на прокурора и отвечал, что он не только знает, он готов присягнуть, если уж нужна присяга, что большая часть мебели — вопреки существовавшему запрету, о котором ему хорошо известно,— переправлена в Германию, в основном на самолетах «самых видных» рекордсменов. К этому Груль добавил, что ему «наплевать с высокого дерева», высказывает ли он сейчас общее мнение или свое личное.

Что же касается его политической деятельности, то он, собственно, никогда политикой не интересовался и «уж конечно не интересовался тогдашним идиотизмом»; его покойная жена была женщиной религиозной и часто говорила об «антихристе», в таких вещах он ничего не смыслил, хотя очень любил жену и уважал «за то, что она все принимает так близко к сердцу», сам он, конечно, всегда держал другую сторону и, само собой разумеется, был инакомыслящим.

После войны с помощью голландских друзей — он тогда находился в Амстердаме — ему удалось «не попасть кое к кому в плен», с 1945 года он снова жил в Хузкирхене и работал столяром. Прокурор спросил, что он, собственно, подразумевает под этим «само собой разумеется». Груль отвечал: «Вам этого все равно не понять».

Прокурор, в первый раз, кажется, несколько уязвленный, заявил протест против недопустимой критики его умственных способностей со стороны подсудимого. Когда после замечания председательствующего д-ра Штольфуса Грулю было предложено ответить на вопрос прокурора, он отказался: это-де для него слишком затруднительно.

Далее прокурор, уже начинавший злиться, спросил, находился ли когда-нибудь Груль в конфликте с законом; тот отвечал, что вот уже десять лет пребывает в постоянном конфликте с законом... о налогах, но к суду, если таков смысл вопроса, заданного ему прокурором, никогда ранее не привлекался. Когда ему довольно энергично было указано на то, что суждение о смысле вопроса следует предоставить самому прокурору, Груль добавил, что ничего обидного не хотел сказать; другое дело, что он неоднократно подвергался принудительным взысканиям и на его имущество налагался арест; вообще же пусть об этом выскажется Губерт.

Губерт, в свою очередь уже раздражаясь, отвечал Груль на вопрос прокурора,— это господин судебный исполнитель Губерт Халь, проживающий в Биргларе, кстати сказать, двоюродный брат отца его, Груля, тещи. Когда адвокат задал Грулю вопрос относительно его доходов и состояния, тот добродушно рассмеялся и попросил разрешения ответ на этот, очень непростой, вопрос предоставить свидетелям Халю и экономисту д-ру Грэйну.

Сын Груля Георг — белокурый, на голову выше отца, плотнее его, несколько склонный к тучности,— ничуть не походил на своего родителя, но до такой степени напоминал мать, что кое-кто из присутствующих «видел ее сейчас, как живую». Лизхен Груль, урожденная Лейфен,— дочь мясника из Хузкирхена, белокурые волосы и нежная бледность которой, равно как благочестие и кротость, вошли в поговорку, так что жители окрестных деревень, говоря о ней, и поныне прибегали к таким поэтическим выражениям, как «златокудрый ангел», «слишком хорошая для земной жизни», «почти святая»,— родила только одного этого сына.

С несколько деланой, по мнению кое-кого из публики, веселостью Георг показал, что до четвертого класса ходил в начальную школу в Хузкирхене, затем перешел в реальное училище в Биргларе, впрочем, он с раннего детства помогал отцу и, по договоренности с цехом столяров, сдал экзамен на подмастерье одновременно с выпускными экзаменами в реальном училище, точнее же — несколькими неделями позднее.

После этого он три года проработал у отца, а в двадцать лет был призван в бундесвер; когда «это случилось», он уже был ефрейтором. В остальном он присоединился к тому, что показал отец.

То, что было кем-то сочтено за «несколько показную веселость» Груля-младшего, в одной из частей протокола, написанной стажером Ауссемом скорее «для себя», как своего рода литературный набросок, было названо — и к тому же неоднократно — «фривольной развязностью». В таком же тоне Груль-младший отвечал и на ряд вопросов прокурора. Не причинило ли ему содержание под стражей психической травмы или телесного ущерба?

Нет, отвечал Груль-младший. После военной службы он был рад побыть с отцом, а поскольку им еще было дано разрешение выполнять разные мелкие работы, то он даже кое-чему подучился; вдобавок отец давал ему уроки французского, «телесно» же они оба ни в чем не терпели недостатка.

Хотя слушателям, сидевшим в зале, было известно чуть более того, о чем так спокойно и без всякого пафоса говорили оба Груля, они с увлечением слушали их показания, а затем сочувственно выслушали обвинение, из которого тоже ничего нового не почерпнули.

В один из июньских дней 1965 года обоих Грулей видели (здесь председательствующий поправился и сказал «застигли») на дороге, идущей через поле и удаленной на равное расстояние — около двух километров — от деревень Дульбенвейлер, Хузкирхен и Кирескирхен; они курили, сидя на межевом камне возле догоравшего джипа бундесвера, водителем которого, как выяснилось несколько позднее, являлся Груль-младший, и смотрели на пожар «не только с полным спокойствием, но и с очевидным удовлетворением» — так, по крайней мере, записал в своем протоколе полицмейстер Кирфель из Бирглара.

Согласно письменному заключению профессора Кальбурга, эксперта по пожарной части и выдающегося пиротехника, «бензобак джипа сначала был продырявлен заостренным стальным предметом» и затем, что, по всей вероятности, произошло уже на месте преступления, снова наполнен бензином, кроме того, «джип, видимо, был весь облит, даже насквозь промочен горючим», ибо огонь, вспыхнувший в порожнем баке, не мог бы привести к повреждениям, равным тем, кои были установлены экспертизой.

Благодаря этой дерзко задуманной перфорации, писал далее профессор Кальбург, возможность взрыва можно считать почти исключенной. Несмотря на то, что оба Груля преднамеренно выбрали место, отстоявшее, как сказано, на добрых два километра от окрестных деревень, а значит, «относительно» уединенное, «высокое пламя» в удивительно короткий срок привлекло на место пожара большую толпу крестьян, работавших на полях.

Школьники, возвращавшиеся домой из Хузкирхена в деревушки Дульбенховен и Дульбенкирхен, и прежде всего шоферы, заметившие пламя с дороги, государственной автострады второго класса,— все бросились к месту пожара, чтобы оказать помощь, удовлетворить свое любопытство или потешить свой взор видом «высокого пламени».

На первом допросе оба обвиняемых подтвердили, что вся картина обрисована правильно, им нечего к ней добавить; некоторые же существенные для них детали выяснятся позднее из показаний свидетелей. Когда председательствующий призвал их наконец высказаться, несмотря на запирательство во время предварительного следствия, и объяснить свой необъяснимый поступок, каждый из них в отдельности отвечал, что это сделает в своей заключительной речи их адвокат.

Не желают ли они, по крайней мере, возразить против порочащей их формулировки «с полным спокойствием и очевидным удовлетворением» или хотя бы ограничить значение таковой, осведомился председательствующий. Нет, полицмейстер Кирфель запротоколировал все, как было. В таком случае, признают ли они себя виновными в соответствии с формулой обвинения? В соответствии с таковой — да, отвечали оба.

Когда председательствующий, против обыкновения уже начинавший нервничать, спросил еще, должен ли он понимать это «в соответствии» как некое ограничение, оба обвиняемых ответили утвердительно.

На вопрос, раскаиваются ли они, оба с готовностью и уже без всяких ограничений отвечали «нет».

Прокурору, потребовавшему, чтобы ему разъяснили, кто из двоих и каким образом продырявил бензобак, ибо это все еще оставалось невыясненным, Груль-старший ответил только, что, согласно экспертизе, бак был продырявлен заостренным стальным предметом, к этому ему нечего добавить.

Груль-младший на вопрос, являлись ли обе канистры, найденные на месте преступления, собственностью бундесвера, отвечал, да, являлись, одна, как положено, всегда находилась в машине, другую ему дали с собой перед отправкой в «длительную командировку». Отправился ли он в эту командировку? Да, но, доехав до дому, ее уже «более не продолжал».

Защитник спросил было Груля-младшего, какого рода была эта командировка, но тут прокурор заявил протест, считая, что, если дело слушается при открытых дверях, подобные вопросы неуместны, посему он вносит предложение либо снять вопрос, либо удалить публику.

Тогда председательствующий предложил защитнику задать этот вопрос Грулю-младшему в присутствии его бывшего начальника оберлейтенанта Хеймюлера, вызванного в суд для свидетельских показаний; согласны ли защитник и прокурор принять его предложение? Оба кивнули в знак согласия.

Первым давал свои показания свидетель Хейзер, окружной дорожный инспектор, настоявший на том, чтобы выступить незамедлительно, так как у него назначена встреча, затрагивающая наиболее животрепещущие интересы округа.

Хейзер, полный курчавый блондин, одетый не без вычурности, на вопрос о возрасте и профессии ответивший: двадцать девять лет, специалист по социологии коммуникаций, показал, что «уже через пятнадцать минут после предполагаемого момента поджога», то есть около 12.45 пополудни, на месте происшествия собралась толпа в сто человек, к тому же времени на шоссе образовалась пробка и выстроилась длинная очередь машин — двадцать пять, ехавших в южном направлении, и сорок — в северном.

Тот факт, что хвост, вытянувшийся в северном направлении, на пятнадцать машин превосходил хвост, вытянувшийся в южном, служит подтверждением, обстоятельно и самодовольно излагал Хейзер, «опыта по части передвижения транспорта, накопленного в нашем округе» и уже хорошо известен широкой общественности как «наиболее уязвимое место проблемы коммуникаций», поскольку с ним связан значительный износ дорожных покрытий.

Далее Хейзер перешел к вопросу, видимо очень его занимавшему: в чем секрет «перевеса северного направления над южным» в смысле количества машин, перевеса, постоянно равняющегося шестидесяти процентам, как это было установлено в деле Грулей.

Хейзер называл машины, которых недосчитывались в южном направлении, «уклонистами» и «отклонистами», а также «циркулянтами» (что звучало почти как цыгане), объяснял же он это явно огорчительное для него обстоятельство тем, что севернее Хузкирхена, в силу социологически легко объяснимых причин, возник некий своеобразный пункт скопления коммивояжеров и что, направляясь на север, эти коммивояжеры пользуются государственной автострадой, возвращаясь же обратно на юг, предпочитают боковые дороги.

Он проглядел жест председательствующего, который на этих словах попытался остановить его, и, воздев правую руку, крикнул в зал, словно грозя невидимому врагу: «Но я еще выслежу их и выведу на чистую воду!» Он уже велел записать номера машин «этих господ» и начал расследование их образа действий, мотивов «уклонения» и «отклонения», а также, разумеется, и проблемы «циркуляции», поскольку одностороннее использование автострады «на долгий срок совершенно недопустимо». Такой неравномерный износ дорожного покрытия затрудняет переговоры с учреждениями в Федеративной Республике и вне

ее, каковые стараются свалить эту неравномерность на специфику нашего сельского хозяйства.

Здесь он наконец сделал паузу в изложении своей теории, чем поспешил воспользоваться председательствующий, чтобы задать тот простой вопрос, к ответу на который, собственно, все и сводилось: вызвал ли поступок обоих обвиняемых затруднения в дорожном движении? Хейзер без обиняков на него ответил: «А еще бы! И очень значительные». На месте происшествия произошли две аварии. Малолитражная машина наскочила на притормозивший «мерседес СЛ-300», посыпались взаимные оскорбления, водитель «мерседеса» крикнул водителю малолитражки, что «ему только кроликов возить», тот огрызнулся: «С вашего разрешения»,— и еще добавил: «А вам только прохожих засерать», после чего водители подрались.

Вдобавок от него, Хейзера, не укрылось, что на месте пожара водитель машины, груженной цементом, и его напарник завязали дружбу с обоими водителями машины пивного завода и «с ходу» приступили к обменным операциям, надо надеяться, в пределах той части груза, которая им причиталась в качестве натуральной оплаты. Что на что менялось, пиво на цемент или цемент на пиво, ему, к сожалению, установить не удалось. Зато два дня спустя он видел, как один из водителей пивной машины, некий Хумперт из Дульбенховена, ремонтировал свои ворота цементом той самой фирмы.

Водители же цементовоза, «нахлеставшись пива», двинулись дальше, километрах в трех от места происшествия съехали с шоссе и врезались прямо в полевое овощехранилище. Еще один несчастный случай произошел с грузовиком, везшим керамические трубы, и маленьким «оппелем». Семь штук керамических труб... но тут он взглянул на свои часы, испустил отчаянный вопль: «Бог ты мой, а депутаты ландтага уже дожидаются!» — и взволнованным голосом попросил разрешения удалиться.

Председательствующий вопросительно взглянул на прокурора и защитника — оба они рассеянно кивнули головами,— и Хейзер покинул зал, на ходу еще бормоча: «Бедственное положение с транспортом». Никто не жалел об уходе Хейзера, и всех меньше его жена, сидевшая в публике.

Показания старого полицмейстера Кирфеля были столь же краткими, сколь и четкими. Место происшествия, сказал он, известно всей округе под названием Куперово дерево, хотя никакого дерева там и в помине нет и никогда не было, даже во время его детства, но он позволил себе упомянуть это название, поскольку оно помечено даже на полевых картах. Учитель Гермес из Кирескирхена, известный как талантливый краевед, объясняет это название следующим образом: в далекие времена там, надо думать, стояло дерево, на котором повесился или был повешен некий Купер.

То, о чем столь обстоятельно разглагольствовал Хейзер, Кирфель подтвердил несколькими фразами: затор на шоссе, несчастные случаи, нанесение взаимных оскорблений, потасовка; к нему уже поступили две жалобы на непозволительные выражения, кроме того, два требования возмещения убытков от крестьян, чьи поля граничили с местом аварии. При столкновении грузовика с керамическими трубами и «оппеля» люди, к счастью, не пострадали, но возникло крупное недоразумение при составлении протокола. Ко всем прочим неприятностям прибавилось то, что проезжавший мимо крестьянин Альфонс Мертенс ободом заднего колеса своего велосипеда зацепил керамический осколок и, разумеется, «непреднамеренно» поцарапал им лак на крыле новенького «ситроена», причем «эти царапины имели весьма неприглядный вид».

Кирфель подтвердил также, что несчастный случай с овощехранилищем действительно имел место, но подчеркнул, что «нетрезвое состояние за рулем» категорически отрицается соответствующей экспертизой, причиной аварии явились гнилые овощи, валявшиеся на шоссе. Далее он несколько раз кряду назвал овощехранилище «мокрой яминой» — выражение, общепринятое в тех местах, но для прокурора, лишь недавно приехавшего из Баварии, таковое пришлось перевести.

Кирфель, седовласый и уже несколько отяжелевший полицейский чиновник, в кругу своих знакомых сокрушавшийся из-за «горькой необходимости» в последний раз перед уходом на пенсию давать в суде показания против сына и внука своего старого приятеля Груля, Кирфель, в котором еще сидел деревенский полицейский старых времен, сообщил также, что джип, пока длилась вся эта суматоха, сгорел почти что дотла и уже только чадил и разбрасывал искры, так что ему пришлось подальше отогнать ребятишек-школьников.

Прибывшие на место происшествия полицейские Шникенс и Тервель тем временем не без труда заставили двинуться в путь все скопившиеся машины, задержав для составления протокола водителей «мерседеса», малолитражки, «оппеля», «ситроена», грузовика с керамическими трубами и крестьянина Альфонса Мертенса, которого, впрочем, скоро отпустили, так как все его данные были им хорошо известны.

Более всего старика Кирфеля удивило, «даже возмутило», что оба Груля не сделали ни малейшей попытки выдать ими содеянное за несчастный случай, а без всяких околичностей заявили, что подожгли джип преднамеренно.

Тут слова впервые попросил защитник, молодой адвокат Гермес, уроженец Бирглара. Он задал вопрос Кирфелю: как это может быть, что вы, опытный полицейский чиновник, непременно ожидали услышать лживый или уклончивый ответ, и не следует ли защите сделать из этого вывод, который послужит ему, адвокату, руководством в дальнейшей жизни, а именно: ложь в таких случаях дело самое обыкновенное, и не исключено, что немедленное признание его подзащитных также было ложью.

Прежде чем удивленный Кирфель, разумеется, знавший Гермеса с малолетства и потом в кругу друзей охарактеризовавший его вопрос как «неджентльменский, но очень ловкий», с прибавлением «этот малый далеко пойдет», итак, прежде чем Кирфель, чья осмотрительность к старости обернулась тугодумием, успел ответить адвокату, прокурор д-р Кугль-Эггер поднял брошенную перчатку и строгим голосом заявил протест против диффамации государственного служащего, чья честность и политически безупречное прошлое ставят его выше подозрений.

Негодование свидетеля ему вполне понятно, безоговорочно признаться в столь постыдном и наглом преступлении, не выказав раскаяния, не стремясь к самооправданию,— все это, вместе взятое, не может не возмутить здорового восприятия человека из народа. Он, прокурор, еще будет подробно говорить о преступлении, но сейчас считает себя обязанным в свою очередь выразить негодование по поводу этого «неприкрашенного признания», проливающего свет на порочный образ мыслей обвиняемых.

Защитник отвечал ему, что, во-первых, здоровое восприятие заставило бы человека из народа отнестись к поступку Грулей не как к возмутительному преступлению, а разве как «к несколько далеко зашедшей шутке», во-вторых, он, разумеется, и не помышлял о диффамации, ибо высоко ценит Кирфеля и почитает его образцовым чиновником, а просто хотел извлечь для себя некоторую пользу из его многолетнего психологического опыта работы с преступниками, пойманными на месте преступления.

Тут слушание дела пришлось прервать, ибо в зале возникла небольшая суматоха. Обвиняемый Груль-старший бесцеремонно и неприметно, поскольку «никто все равно своим глазам не поверил», как стояло в протоколе, составленном Ауссемом «для себя одного», зажег свою трубку и принялся «курить ее с дерзким и веселым видом».

Судебный пристав Шроер, желая предупредить скандал, попытался отобрать трубку у Груля; Груль оказал сопротивление, скорее инстинктивно, чем злонамеренно, и высоко поднял трубку, отчего горящая табачинка крупно резанного трубочного табака пронеслась по воздуху и упала в декольте одной дамы из публики.

Дама эта, госпожа Шорф-Крейдель, юная супруга водителя «мерседеса СЛ-300», явилась в суд с единственной целью — буде представится такая возможность — вписать в протокол, что ее муж после «коммунистических угроз» нервно заболел, что может удостоверить лечащий врач, профессор Фульброк. Социально прогрессивные убеждения ее мужа общеизвестны и одинаково внушают страх правым и левым, так что же тут удивительного, если он слег от оскорблений, нанесенных ему этим парнем из Хузкирхена, чьи убеждения не менее хорошо известны во всем округе.

Дама взвизгнула, что опять-таки заставило Груля испуганно двинуть рукой, отчего несколько табачинок упали на колени другой дамы и прожгли дыру в ее новом с иголочки платье; эта дама тоже завизжала.

Короче говоря, возникла небольшая суматоха, и судебное разбирательство было прервано. Какой-то парень из публики, наряженный в воскресный костюм,— позднее выяснилось, что это был мясник Лейфен из Хузкирхена, то есть шурин Груля,— выходя из зала, крикнул обоим обвиняемым то, что кричат при деревенских драках: «Валяй, бей, гони их взашей!»

Однако председательствующего, который воспользовался вынужденным перерывом, чтобы позвонить жене и несколько раз затянуться своей сигарой, поджидал еще один досадный инцидент: как только суд и представители обвинения заняли свои места, дама в прожженном шелковом платье встала и обратилась к нему, бесцеремонно называя его «Алоис, ты», с вопросом, кто должен возместить ей убыток: обвиняемый Груль, судебный пристав Шроер, она сама, суд или страховое общество.

Наиболее огорчительным для председательствующего было то, что дама, не без злонамеренности, как он предполагал, выдала тайну, долгие годы тщательно хранимую в Бирглре: дело в том, что для всех, кто называл его по имени, он был Луи. Даже его жена уже не помнила его настоящего имени, которого он так стыдился.

Эта дама, его двоюродная сестра Агнес Халь, чье тонкое девичье лицо все еще хранило нежную красоту, редко встречающуюся у замужних женщин ее возраста, вот уже двадцать лет не пропускала ни одного судебного заседания под его председательством. В городе ее прозвали Агнес Судейская Мебель. Она жила вполне независимо, в старинном патрицианском доме, где родилась мать Штольфуса, в девичестве Халь, и куда он частенько наведывался еще молодым человеком, в бытность свою асессором, обычно затем, чтобы пойти с Агнес на танцы или еще куда-нибудь поразвлечься.

Штольфус был окончательно сбит с толку: молчаливый доселе упрек за то, что он не женился на ней, облечь в форму публичного скандала! Он воспринимал все это как нарочитую и злую выходку, тогда как на самом деле, узнав утром из телефонного разговора, что его ходатайство об отставке наконец удовлетворено, она захотела с ним проститься — ведь вряд ли им доведется еще встретиться,— в последний раз

назвать его Алоисом — радость, не понятная для тех, кто не понимает платонической любви.

Штольфус, все более раздражаясь, неожиданно злобно реагировал на случившееся. В суровых словах он стал поучать Агнес, которую впервые в жизни назвал «фрейлейн Халь», что в суде дожидаются вызова, прежде чем начать говорить, и что здесь дело идет об установлении истины, а не о банальных и второстепенных вопросах страхования.

Зная, что ее это красит, фрейлейн Халь напустила на свое лицо выражение легкой насмешки, но, как видно, это не произвело впечатления, ибо Штольфус продолжал говорить поучительно, сухо и сурово; тогда фрейлейн Халь стала проявлять явные признаки строптивости, досадливо поводила плечами, капризно вздергивала губку; кончилось тем, что Штольфус велел ей удалиться, и она, горделиво выпрямившись, покинула зал.

Вокруг царила смущенная тишина, когда эта красивая старая дама с видом воплощенного величия закрыла за собой дверь. Штольфус поглядел ей вслед сначала сердито, потом сконфуженно, откашлявшись, попросил старика Кирфеля вернуться к своим показаниям и суровее, чем тот этого заслуживал, предложил ему полностью исключить из них все второстепенные подробности, как-то: затор на шоссе и его последствия, правонарушения, вызванные этим затором, жалобы отдельных лиц, явившиеся следствием таковых, и предстоящие разногласия со страховым обществом.

Кирфель, с живейшим сочувствием отнесшийся к инциденту с Агнес Халь, тихим голосом попросил запротоколировать, что после урегулирования «различных задержек» он тотчас же направился к обвиняемым, но тут подоспела пожарная команда и ему лишь с величайшим трудом удалось остановить пожарных, уже приготовившихся качать воду из протекавшей поблизости речки Дур, чтобы взять под «водяной обстрел» медленно догоравший джип и тем самым смыть все следы и доказательства. Пожарные, «разобиженные, как водится в подобных случаях», отбыли восвояси, и ему наконец представилась возможность подойти к обвиняемым. Не доходя метров шести, он им крикнул: «Бог ты мой, да как же это случилось?» На что Груль-младший ответил: «Мы подожгли эту штуковину». Он, Кирфель, несколько удивленный: «Но почему, собственно?» Груль-старший: «Мы малость продрогли и решили за счет happening* обогреться». Кирфель: «Слушай, сынок (его отец был моим закадычным другом, я обвиняемого знаю, можно сказать, с пеленок и говорю ему «ты»), понимаешь ты, что говоришь?» Груль-старший: «Очень даже понимаю, это happening, и все тут». Кирфель Грулю-младшему: «Отец-то, видно, заложил за воротник, а?» Груль-младший: «Да нет, Генни (меня Генрихом зовут, господин председательствующий), он уже давно таким трезвым не был». Кирфель добавил еще, что все эти переговоры велись на местном диалекте. Позднее он рассказывал, что его последнее показание в суде было «приблизительно пятисотым при председательствующем Штольфусе» и ему, да и Штольфусу тоже — он это заметил — нелегко было ограничиваться чисто деловыми вопросами, ибо они оба, Штольфус и он, «стараясь, по большей части тщетно, внести немножко порядка в этот сумасшедший мир», вступали в борьбу друг с другом в том, что касалось отдельной личности, но за справедливость всегда боролись плечом к плечу. А как часто ему приходилось заявлять, с занесением в протокол, что его крестное имя Генрих, когда обвиняемый обращался к нему просто «Генни»; не менее двухсот раз были запротоколированы эти его слова.

Защитник попросил дозволения задать несколько вопросов свиде-

* Происшествие *(англ.)*.

телю Кирфелю. Получив таковое, он сказал, что хочет заранее подчеркнуть: в его намерения отнюдь не входит расставлять западню Кирфелю, подвергать сомнению его служебные достоинства или выставлять его в смешном свете, ибо он Кирфеля уважает, считает высококвалифицированным полицейским чиновником и безупречным свидетелем; Гермес разгорячился и слегка сбился, говоря, что первый его вопрос многим, вероятно, покажется несущественным, тем не менее он имеет решающее значение для его подзащитных. Затем Гермес попросил Кирфеля объяснить суду, как им было понято выражение «happening». Кирфель поначалу одобрительно кивал, выражая этим, что он не считает вопрос защитника некорректным, но теперь покачал головой и заявил, что не совсем понял это выражение, да и особого значения ему не придал. Впоследствии он, правда, размышлял над ним и пришел к выводу, что Груль, большой охотник пошутить, вечно сидящий без денег и вечно преследуемый судебным исполнителем, употребил это выражение как усеченное и искаженное «без пфеннига». Правда, и этот домысел не уяснил ему связи между пылавшей машиной и отсутствием денег, но все равно он принял малопонятное выражение Груля «за старую песенку на новый лад». Установить какую-либо связь между безденежьем Груля и его преступлением он, конечно, не сумел. Когда защитник спросил, как он пишет слово «happening» и как, соответственно, записать его в протоколе, через «е» или «а», Кирфель ответил, что в своем первом протоколе он об этом слове вообще не упомянул, а если ему велят его написать, то, разумеется, он напишет его через «е», потому что так произнес это слово Груль. Председательствующий, для которого после досадного недоразумения с кузиной эта проволочка явилась весьма желанной, сдвинув брови, заинтересованно прислушивался к диалогу между Гермесом и Кирфелем. Когда последний на вопрос о правописании слова «happening» ответил «е», председательствующий осведомился, почему защитник настаивает на этих фонетических деталях. Гермес зловеще намекнул, что его вопросы не преследовали цели поставить под сомнение достоверность сообщенного свидетелем Кирфелем, большего он на данной стадии судебного разбирательства сказать не может.

Прокурор с самодовольной улыбкой прислушивался к этой дискуссии об «а» и «е», бормоча себе под нос что-то вроде: «ничего не скажешь, хитро придумано — обсуждать этот рейнский воляпюк, которому грош цена». Ему также, впрочем, как и председательствующему, спор о каком-то словце рейнского диалекта представлялся смешным и никчемным. В этом чуждом диалекте, о который, как ему казалось, «можно язык сломать», он, впрочем, временами замечал сходство с английским произношением, и слово «happening» напомнило ему английское слово «halfpenny». Когда защитник попросил запротоколировать этот диспут об «а» и «е», на что председательствующий с улыбкой дал свое согласие, прокурор расхохотался, но тут же сделал серьезное лицо и обратился с вопросом к обвиняемому: всерьез ли он заявил, что продрог, ведь стоял жаркий июньский день, двадцать девять градусов в тени. Груль отвечал, что ему всегда холодно, когда жарко.

Второй вопрос защитника, правда, не занесенный в протокол, поверг Кирфеля — это было заметно всем и каждому — в полное смущение. Правда ли, что оба Груля пели, постукивая трубкой о трубку, и правда ли, что он, Кирфель, «на этой стадии пожара» еще слышал пощелкивание, как то показали другие свидетели? Кирфель — ему, видно, нелегко давалась ложь — обернулся, покраснел, взглянул на Штольфуса, словно взывая о помощи, а тот в свою очередь, словно испрашивая снисхождения для Кирфеля, вопросительно взглянул на Гермеса. Адвокат, видимо, желая пойти навстречу Кирфелю, заметил, что ответ на этот вопрос крайне важен для его подзащитных в смысле «благоприят-

ствования», к тому же он тесно связан с вопросом о написании слова «happening», и если Кирфель, проявляя заботу о благе обвиняемых, умалчивает об этих подробностях, то он, Гермес, должен его заверить, что эффект получается обратный, а покажи он правду, это пошло бы им на пользу.

Тут Груль-старший попросил слова и стал уговаривать Кирфеля, фамильярно называя его «дядюшкой Генни», не мучить себя, не стесняться, надо же ему после стольких лет беспорочной службы обеспечить себе и беспорочный уход в отставку, а потому пусть говорит «в открытую». Кирфель, впоследствии отозвавшийся об этой сцене, как о «весьма тягостной», запинаясь и подыскивая слова, начал свое показание: да, он видел, как обвиняемые постукивали трубкой о трубку, и слышал, что они при этом пели. Спрошенный, происходило ли это постукивание в определенном ритме, он отвечал уже несколько развязнее: да, это было ритмическое постукивание — он, Кирфель, как известно, вот уже сорок лет состоит в церковном хоре и, конечно, хорошо разбирается в литургических песнопениях, постукивание трубок происходило в ритме ora pro nobis * и повторялось достаточно часто, так что, подходя к Грулям, он имел возможность несколько раз себя проверить. Прекратилось таковое, только когда он задал Грулям свой первый вопрос — кстати сказать, добавил Кирфель опять несколько неуверенным голосом, пел только Груль-младший,— и совсем тихо присовокупил: ему удалось даже разобрать, что это было «Моление всем святым» и довольно далеко зашедшее, он уже добрался до св. Агаты и св. Лючии. Что же касается пощелкивания, тут ему больше ничего «установить не удалось». Пощелкивание слышали только те, кто первыми прибыли на место происшествия, а именно: коммивояжер Эрбель из Воллерсховена под Хузкирхеном и школьники Крихель и Боддем из Дульбенховена, на основании чьих показаний это и было занесено в протокол. Гермес с большой теплотой поблагодарил Кирфеля. Прокурор тотчас же осведомился, был ли запротоколирован весь «этот вздор», о котором свидетелю Кирфелю, как человеку разумному, надо думать, очень нелегко было говорить. Кирфель отвечал, что показания обоих школьников, как уже сказано, были запротоколированы, остальное может дополнить разве что свидетель Эрбель.

Прокурор тихим голосом, вежливо, но назидательно осведомился, не забыл ли господин председательствующий о замечании, которое сам же сделал Грулю за курение на скамье подсудимых. Д-р Штольфус поблагодарил его за напоминание и с отеческой строгостью в голосе попросил обвиняемого Груля объяснить наконец, о чем он, собственно, думал, закуривая свою трубку,— всем ведь известно, что его никак нельзя причислить (иначе это свидетельствовало бы против него) к людям неучтивым или невоспитанным. Груль все с тем же серьезным и достойным видом сказал, что просит прощения за свой поступок. Он ничего при этом не думал, напротив, в ту минуту находился в бездумном и рассеянном состоянии духа. В его намерения отнюдь не входило выказать неуважение суду, просто он задумался об одной небольшой работе, которую ему дозволено было делать во время предварительного заключения,— ремонт и подкраска старинной шкатулки для драгоценностей из розового дерева, с которой были сорваны замочки и шарниры, видимо, сделанные из чистого золота, и неудачнейшим образом заменены медными во вкусе начала века. Эта шкатулка вдруг пришла ему на ум, а стоит ему только подумать о своей работе, как он вытаскивает трубку, набивает ее табаком и закуривает. На вопрос, способен ли он в этом бездумном и рассеянном состоянии следить за столь важ-

* Молись о нас (*лат.*).

ным для него судебным разбирательством, Груль отвечал, что бездумное — это определение правильное, а рассеянное — пожалуй, не совсем. Ему случалось, будучи в бездумном состоянии, быть в то же время и вполне сосредоточенным, патер Кольб, приглашенный в качестве свидетеля из его, Груля, родной деревни Хузкирхен, может подтвердить, что он иной раз закуривал трубку даже в церкви. Тут Груль обернулся к публике, попросил прощения у обеих дам, пострадавших от его небрежности, и предложил им возместить убытки — в случае, если у него не достанет наличных денег,— своей работой, тем более что он уже не раз выполнял различные заказы для госпожи Шорф-Крейдель и фрейлейн Халь. Груль говорил тихо, по-деловому, но без приниженности, покуда прокурор, на этот раз уже довольно резко, не прервал его заявлением, что в манере, с какою обвиняемый предлагает здесь свои услуги, он усматривает некую скрытую advertising, иными словами, саморекламу — новое доказательство «недопустимого легкомыслия и развязности», и требует пресечь это хотя бы вынесением строгого выговора подсудимому именем государства, которое вершит здесь свой правый суд. Д-р Штольфус не слишком уверенным, но строгим голосом сделал замечание Грулю, которое тот выслушал, одобрительно кивая головой. Затем он вернулся на скамью подсудимых и вручил — это все видели — судебному приставу Шроеру трубку, кисет и спички, а тот в свою очередь одобрительно кивал головой, принимая у него из рук эти предметы.

Опрос Кирфеля подходил к концу. Он немедленно арестовал обоих Грулей, говорил Кирфель, и был очень удивлен, когда они пошли с ним не только без всяких возражений, но как будто даже и с радостью. По правде говоря, он колебался секунду-другую, но Груль-старший крикнул ему, что они намеревались бежать в Париж или Амстердам,— налицо, следовательно, «попытка к бегству». Однако он, Кирфель, и тогда еще не сразу решился арестовать Груля-младшего, одетого в военный мундир, в этом вопросе буква закона была ему не совсем ясна, но поскольку Груль-младший сопротивления не оказывал, он счел себя вправе до выяснения, подлежит ли военнослужащий компетенции гражданских властей, подменить собою фельдъегеря. Возглас прокурора: «Правильно действовали», видимо, был Кирфелю неприятен. Председательствующий сделал замечание прокурору за недозволенный и не относящийся к делу выкрик: здесь-де не место для фамильярного похлопывания по плечу. Прокурор принес извинения, заметив, что после развязной веселости обвиняемых его привело в восторг, которого он не сумел сдержать, трезвое, проникнутое чувством долга показание заслуженного чиновника полиции.

По ходатайству защитника было еще раз подробно разъяснено правовое положение Груля-младшего. Утром, после взятия под стражу, молодой Груль был препровожден в свое подразделение и там посажен на гауптвахту, где и был допрошен своим командиром, но вечером того же дня его оттуда выпустили и, переодетого в штатское, переправили с фельдъегерями в Биргларскую тюрьму. Он, защитник, оставляет за собой право выяснить, было ли подразделение правомочно поручить фельдъегерям переправить в Биргларлицо, единогласно признанное гражданским лицом. Теперь его ближайшая задача узнать, состоит ли Груль-младший перед судом как гражданское лицо или ему предстоит еще и военный суд. Председательствующий разъяснил, что вопрос о подсудности поначалу был не совсем ясен, поскольку преступление Груля-младшего рассматривалось как совершенное военнослужащим, однако же, когда был поднят вопрос, не совершил ли и Груль-старший преступления против бундесвера, в ротной канцелярии уже успели выяснить, что Георг Груль вследствие ошибки, допущенной ротным писарем, соб-

ственно, уже три дня назад подлежал увольнению в бессрочный отпуск, а следовательно, хотя субъективно и считал себя военнослужащим, но объективно в рядах бундесвера уже не состоял, а посему, хотя субъективно и имел право быть водителем джипа, объективно уже был такового лишен. Грулю следует рассматривать это обстоятельство как большую удачу: если бы его поступок был приравнен к саботажу, все дело приняло бы для него весьма и весьма неблагоприятный оборот. Теперь же бундесвер не выступает как истец, но, возлагая основную ответственность на Груля-старшего — здесь д-р Штольфус довольно кисло улыбнулся,— так сказать, «умывает руки». На данном процессе в суде первой инстанции бундесвер выступает лишь как «свидетель» в лице нескольких своих представителей. В остальном этот случай следует рассматривать только в связи с упомянутой командировкой Груля, о военно-правовом его аспекте мы еще будем говорить после того, как свидетель обер-лейтенант Хеймюлер даст свои показания, разумеется, при закрытых дверях. В одном он может заверить защитника: возмещения убытков бундесвер будет требовать с гражданского лица Груля, через Биргларский суд первой инстанции. К нам уже поступило соответствующее письмо командира полка полковника фон Греблоте. Молодой Груль попросил слова и, получив его, сказал, что ему безразлично, каким подарком его обойдет бундесвер, пусть то будет даже судебный процесс. Прокурор, даже не попросив слова, с яростью накинулся на Груля и обозвал его «неблагодарным щенком». Груль крикнул в ответ, что не позволит обзывать себя щенком, он-де взрослый человек и волен решать, хочет он принимать что-либо в подарок или не хочет, при этом он подчеркивает, что даже избавления от судебного преследования принимать в подарок не намерен. Прокурору было предложено взять обратно выражение «щенок», Грулю — не выказывать строптивости. Оба принесли извинения, но не друг другу, а председательствующему.

Коммивояжер Альберт Эрбель из Воллерсховена под Хузкирхеном, округ Бирглар, сообщил суду, что ему тридцать один год, женат, двое детей и «две собаки», шутливо добавил он. Председательствующий запретил ему впредь отпускать подобные шутки. Да, продолжал Эрбель, извинившись, в день, о котором идет речь, в 12.35 он, проезжая на своей машине мимо места, о котором идет речь, заметил огонь, притормозил, повернул — что позднее, когда ему нужно было ехать в обратную сторону, поставило его в весьма затруднительное положение,— затем прошел пешком метров пятьдесят в направлении горящей машины и увидел обоих обвиняемых, которые постукивали трубкой о трубку «точь-в-точь, как чокаются пивными кружками, провозглашая тост», слышал и как они пели, а вот *что* пели, не разобрал, возможно, по-латыни, но уж «безусловно не по-немецки и не на диалекте, я хорошо его знаю». Спрошенный о щелканье, Эрбель сказал, что звук этот был очень странный — «даже красивый», скорее всего он «смахивал на барабан, а может, и на трещотку, несомненно одно: происходил этот звук от движения каких-то мелких предметов в полом жестяном корпусе и, пожалуй что, так ему теперь думается,— в ритме румбы. Разумеется, он спросил обоих обвиняемых, не может ли он что-нибудь для них сделать. Нет, отвечали те, это они должны что-нибудь сделать для него, а он пусть «слушает», нравится ему или нет. Вместо ответа он ткнул себя пальцем в лоб, уже более не сомневаясь, что либо они оба спятили, либо «здесь разыгрывается какая-то шутка, для налогоплательщика, пожалуй, дороговатая», и направился к своей машине. На вопрос защитника, счел ли он обвиняемых сумасшедшими или счел, что они ведут себя «как сумасшедшие», Эрбель, подумав секунду-другую, отвечал:

скорее второе — не сумасшедшие, а «как сумасшедшие». Какое у него создалось впечатление, продолжал спрашивать Гермес, что он стал свидетелем дорожного происшествия, несчастного случая или «сознательного акта»? Эрбель: происшествие или случай, по его мнению, исключаются, выражение «сознательный акт» в этой связи представляется ему не совсем точным, но в общем-то «достаточно приближенным»; так или иначе, но ему ясно, что все это было сделано преднамеренно. Когда прокурор напомнил Эрбелю его показания на предварительном следствии, значительно более подробные, тот хлопнул себя по лбу, извинился и сказал, что только сейчас вспомнил: Груль-младший действительно спросил его, от какой или для какой фирмы он разъезжает по стране, на что он отвечал: от одной известной фирмы, производящей экстракты для ванны, тогда Груль попросил дать ему пробный флакончик или тюбик, он эту просьбу отклонил, но Груль сказал, что хочет купить бутылку этого экстракта — не вечно людям купаться, надо же когда-нибудь и машину искупать.

Оба обвиняемых подтвердили показания Эрбеля словами: «точь-в-точь так и было». Далее Эрбель рассказал, что ему стоило немало трудов развернуть машину и попасть в ряд, движущийся в нужном ему направлении, поскольку там уже скопилось штук десять машин,— спасибо полицейскому Шникенсу, который указал ему объезд.

Прокурор, человек приезжий, всего одну неделю исполнявший свои обязанности в Биргларе, при попытке очернить личность Груля-старшего допустил роковую ошибку. За несколько минут до начала процесса председатель настойчиво посоветовал прокурору отказаться от опроса свидетельницы Занни Зейферт, но тот, учуяв коррупцию в здешнем судопроизводстве, настоял на вызове свидетельницы Зейферт. На самом же деле д-р Кугль-Эггер намеревался вызвать свидетельницу Зейферт по наущению редактора социал-демократической газеты «Рейнишес тагблат», которого его партия за такое наущение не только не похвалила, но резко раскритиковала и чуть не исключила из своих рядов. Эта самая Зейферт, уверял редактор, в любую минуту покажет, что Груль-старший пытался ее изнасиловать.

Итак, когда судебный пристав Шроер вышел, чтобы вызвать свидетельницу «госпожу Занни Зейферт», и у дверей комнаты свидетелей, нимало не чинясь, крикнул, да так, что каждое слово слышно было в зале: «Иди, иди, голубушка, твой час пробил», большинство сидевших в публике злорадно заулыбались, понимая, что прокурор сам себе расставил западню. Появление свидетельницы, хорошенькой, хотя уже немолодой особы, по моде одетой, в красных сапожках и с выкрашенными в темный цвет волосами, повергло в смущение председательствующего. При слушании дел об укрывательстве краденого, сводничестве, сутенерстве и совращении малолетних ему уже не раз приходилось допрашивать Зейферт, у которой имелся такой обильный запас диалектизмов для обозначения того, что в обиходе называется «половым актом», что даже самые бывалые люди заливались краской. Кроме того, он дважды допрашивал Зейферт в связи с подозрением в шпионаже, которое, впрочем, оказалось необоснованным; суд выяснил, что Зейферт просто поддерживала интимные отношения с американским офицером, который на аэродроме, расположенном к Бирглару ближе, чем близлежащий большой город, держал под замком атомные боеголовки, за что и был прозван «атомным Эмилем»; состояла она также в связи и с бельгийским майором секретной службы, но оба раза сумела доказать, что не преследовала иных целей, кроме профессиональных. Ее голубые глаза, по

мере того, как она говорила, становившиеся все светлее и жестче и неопровержимо доказывавшие, что от природы она блондинка с вполне определенными наклонностями, смотрели на всех присутствующих мужчин, исключая обвиняемых и прокурора, презрительно и вызывающе. Председательствующий не позволил себе улыбнуться, когда на вопрос о профессии она отвечала «гастроном», о возрасте — «двадцать восемь лет». Прокурор, который уже при ее появлении осознал свою ошибку и мысленно осыпал проклятиями редактора социал-демократического листка за его наущения, решил при следующих выборах не голосовать за его партию и неуверенным голосом спросил Зейферт, не приставал ли к ней когда-либо обвиняемый Груль и, больше того, не пытался ли совершить над ней насилие. При этих словах адвокат вскочил как ужаленный и возбудил ходатайство — не в интересах своего подзащитного Груля-старшего, которому не приходится опасаться показаний свидетельницы, но в интересах общественной благопристойности и нравственности, охранять каковые обязан прокурор, а не защитник, тем не менее он ходатайствует об удалении из зала суда не только публики, но и своего юного подзащитного, Груля-младшего. Волнение его было неподдельно, когда он выкрикнул, что считает беспримерно чудовищным то, как господин представитель государственной морали старается унизить отца в глазах сына. Прежде чем прокурор сумел подыскать слова для ответа, свидетельница Зейферт неожиданно кротким голосом заявила, что это ее профессия — побуждать мужчин к этому, но она...— тут председательствующий решительно прервал ее замечанием, что ей дозволяется только отвечать на вопросы, на что она, громче, чем раньше, возразила, что ей предложили вопрос и она на него ответила, а больше ничего не сказала. Между тем прокурор бросил взгляд на свою жену, сидевшую в публике, сухопарую особу в темном платье, не известную здесь никому, кроме жены адвоката. Жена взглядом дала ему понять, что настаивать на опросе Зейферт не стоит, и когда председательствующий осведомился, настаивает ли он на продолжении опроса, прокурор тихим голосом отвечал — нет, не настаивает. Председательствующий, не глядя на Зейферт, вежливо сказал, что она свободна. Но Зейферт с кротостью, впрочем, уже давшей небольшую трещину, попросила дозволения ответить и на вторую часть вопроса, дабы не оставлять Груля-старшего под несправедливым подозрением. Поощренная кивком председательствующего, она заявила, что Груль-старший никогда к ней не приставал и уж конечно не пытался ее изнасиловать, он разве что работал на нее — отделывал ее бар в стиле Fin-de-siècle *,— она правильно выговорила эти слова, а уж так повелось, что всех мастеровых, на нее работающих, подозревают в том, что они состоят с ней в несколько иных, не только деловых отношениях. Впрочем, и молодой Груль работал у нее, и ей доставляло удовольствие стряпать для этих двух «осиротевших» мужчин. Когда Зейферт согласно распоряжению председательствующего покидала зал, чувствовалось, что ее, как говорится, «душат слезы». В зале суда возникло оживление, задвигались стулья, раздались какие-то неопределенные, но явно выражавшие одобрение возгласы, их председательствующий немедленно утихомирил. Выступление Зейферт, которая, как всем было видно, выйдя из здания суда, уселась в красную спортивную машину, дожидавшуюся ее на бывшем школьном дворе, и нажала на стартер, завершилось нсловким молчанием, не нарушившимся даже тогда, когда протоколист Ауссем подошел к председательствующему и шепотом спросил его, должен ли он этот инцидент отметить как «шум в зале». Председательствующий в ответ лишь досадливо, поскольку этот шепот был слышен всем, покачал головой.

* Конец века *(франц.)*.

Довольно бесцеремонный стук заставил судебного пристава Шроера вскочить и броситься к двери. С порога он крикнул председательствующему, что прибыл комиссар полиции Шмульк и готов дать свои показания. Д-р Штольфус велел просить его в зал. Шмульк, в штатском, «подтянутый и высокоинтеллигентный», обрисовал кое-какие подробности преступления, доселе еще никому не известные. Подсудимый — старший или младший, это так и не удалось установить ни на одном из допросов — бросил «с безопасного расстояния заранее подожженную маленькую подрывную шашку из тех, что продаются у нас для карнавалов», в насквозь промоченную бензином машину, что и дало немедленный эффект. К сожжению были подготовлены даже покрышки, две из них, однако, не сгорели, а лопнули — видимо, от жара. Следствием, произведенным на месте преступления, было обнаружено: в бензобаке и двух запасных канистрах обгорелые остатки каких-то мелких предметов, напоминающих пистоны, а метрах в четырех, на поле — картонная гильза от подрывной шашки, в продаже именуемой «Пушечный выстрел». Обвиняемые, покуда он их допрашивал, не запирались, но и не были особенно сообщительны; они настойчиво твердили, что действовали совместно, тогда как поджечь шашку и бросить ее в машину мог только один. Остов машины, признанной собственностью бундесвера, после криминологического исследования был отбуксирован с места преступления; разумеется, все отвинчивающиеся детали, как это водится, были еще до того сняты с машины юными обитателями деревни Дульбенховен; на спидометре в это время было 4992 километра. Председательствующий спросил Шмулька, имеет ли смысл произвести осмотр места происшествия — нет, отвечал тот, ни малейшего. Он еще в конце лета нашел спички, валявшиеся возле межевого камня, и жестяную коробку от сигарет американской марки, явно принадлежавших обвиняемому, но теперь, в пору уборки урожая, тяжелые сельскохозяйственные машины разворотили все кругом и там уже ничего обнаружить не удастся. Он посмотрел на свои часы и с деловитой вежливостью попросил его отпустить; ему надо вовремя поспеть в близлежащий большой город, где он выступает свидетелем по делу детоубийцы Шевена, действовавшего также и в Биргларском округе, но, «по счастью, безуспешно». Ни прокурор, ни председательствующий не имели оснований возражать против его ухода.

Суд вызвал в качестве экспертов двух психиатров — одного профессора и одного крупнейшего специалиста без профессорского звания. Точно так же поступила и защита. Возможные разногласия в оценке поведения подсудимых были заранее исключены тем фактом, что приглашенный защитой профессор принадлежал к той же школе, что и непрофессор, приглашенный судом,— к школе, перманентно враждовавшей с той школой, к которой принадлежали профессор, приглашенный судом, и непрофессор, приглашенный защитой.

Много трудов было положено на организацию этой необычной экспертизы, которая должна была снискать председательствующему славу «наверху», в кругах специалистов стать известной как «метод Штольфуса» и помочь Биргларе, где он впервые был применен, а заодно и обоим Грулям, навеки войти в историю права. Поскольку эксперты успели уже не раз проинтервьюировать обвиняемых во время предварительного заключения, то Штольфус, учитывая, что жили они далеко (Мюнхен, Берлин, Гамбург), по договоренности с защитой и обвинением разрешил им на суд не являться, а дать свои показания специально выбранному для этого судье. Итак, председательствующий заявил, что результат экспертизы известен сторонам, что в ней также не заключено ничего нового касательно личностей обвиняемых, поэтому он позволит

себе не зачитывать текст полностью, а ограничится напоминанием, что все четыре эксперта, независимо друг от друга и несмотря на свою принадлежность к двум различным школам, пришли к единому выводу, а именно: оба обвиняемых люди незаурядного ума и несут полную ответственность за свои поступки, никаких физических или психических дефектов у них не имеется, и самое их преступление — как это ни странно — совершено не в эмоциональном порыве, а с заранее обдуманным намерением, не исключено даже, что здесь речь идет о проявлении, пусть противозаконном, психологии homo ludens *, что вполне соответствует артистическим натурам обоих обвиняемых. Один из четырех экспертов, а именно профессор Херпен, заметил в Груле-старшем — сейчас я цитирую текстуально, сказал председательствующий,— «известную ранимость социального сознания, обусловленную эмоциональным восприятием житейских обстоятельств, что, возможно, явилось следствием безвременной кончины его горячо любимой жены». Все четыре эксперта единогласно и безоговорочно отрицают пироманию ** как причину преступления. Итак, продолжал председательствующий, из четырех заключений экспертов мы должны сделать вывод, что преступление явилось сознательным актом; побуждения к таковому не были бессознательными и возникли не в подсознании обвиняемых. Это явствует еще и из того факта, что преступление было совершено обоими, хотя по своим склонностям и характерам они совершенно различные люди. Когда председательствующий спросил, имеются ли какие-либо вопросы по пункту «психиатрическая экспертиза», прокурор сказал, что не видит надобности в дальнейших экспертизах, с него достаточно признания экспертов, что обвиняемые полностью отвечают за свой поступок, так же как и термина «сознательный акт». Однако он предлагает считать выражение «человек добропорядочный», несколько раз встречающееся в экспертизе, медицинским, а никак не юридическим термином. Защитник попросил разрешения еще раз прочитать вслух тот пункт, в котором говорится об «артистических наклонностях обоих обвиняемых». Когда председательствующий это разрешил, адвокат прочитал, подчеркнув, что во всех четырех заключениях экспертов нижеследующее совпадает почти слово в слово, об «удивительной способности Груля-старшего различать стили, их воспроизводить и имитировать», способности Груля-младшего, говорилось далее, носят более творческий характер, о них можно судить по его деревянным скульптурам и некоторым произведениям беспредметной живописи. Председательствующий любезно, даже дружелюбно обратился к защитнику с вопросом, намерен ли он требовать дальнейшей экспертизы, дабы отец и сын Грули, совершившие столь непостижимое преступление, еще могли надеяться на признание их невменяемыми. После краткого совещания со своими подзащитными — все трое говорили шепотом — адвокат учтиво отклонил предложение председательствующего.

В стыдливой его раздраженности (ведь и он знал обвиняемого Груля еще мальчишкой и всегда чувствовал к нему симпатию, а месяца за три или четыре до преступления даже пригласил его для реставрации великолепного ампирного комода, доставшегося ему после долгих споров из-за наследства с кузиной Лизбет, сестрой Агнес Халь. К тому же Штольфус считал себя вроде как должником Груля, ибо при расчете, зная, что тот с головы до ног засыпан исполнительными листами, сунул ему в карман довольно умеренный гонорар), итак, в робкой своей раздраженности д-р Штольфус позабыл объявить перерыв в положенное

* Веселящийся человек *(лат.)*.
** Страсть к поджигательству.

время и около 13.00 велел еще вызвать свидетеля Эрвина Хорна, старшину столярного цеха.

Хорн, пожилой господин, опрятно и благопристойно одетый, седовласый и краснощекий, вид имел столь жизнерадостный, что отлично мог бы сойти за отставного прелата. Возраст, сказал он, семьдесят два года, местожительство — Бирглар, обвиняемого, ходившего к нему в учение, он знает вот уже тридцать пять лет, ему, Хорну, даже довелось быть в экзаменационной комиссии, когда Груль «с отличными отметками» сдавал экзамен на подмастерье. Когда Грулю пришла пора сдавать на мастера, он, Хорн, по политическим причинам уже не был членом комиссии. Хорн хоть и не производил впечатления бодрячка, но поражал своим юношеским запалом и показания давал звонким, даже веселым голосом. Груль, говорил он, был смирным пареньком, смирным он остался и в зрелом возрасте, у них были общие политические симпатии, а во время войны, когда эти «паршивцы» оказывали на него «сильнейшее экономическое давление», Груль всемерно его поддерживал. Привез ему из Франции масла, сала, яиц и табаку, а жена Груля, Лизхен, постоянно его снабжала молоком и картошкой, короче говоря, Груль не скрывал от людей своей приверженности к нему, но политически активным так никогда и не сделался. Хорн не скупился на похвалы и ремесленным способностям Груля: он принадлежит к вымирающей расе краснодеревщиков, таких, как он, теперь днем с огнем не сыщешь. Хорн не отказал себе в удовольствии заметить, что на протяжении последних сорока пяти лет немецкой истории столяры не раз подымались до высших государственных постов, а один так даже возглавил государство. Когда председательствующий спросил, кого он имеет в виду, ведь Эберт, насколько ему известно, был шорником, а Гитлер маляром, Хорн смутился и попытался прибегнуть к грамматической увертке, он-де сказал «возглавил», а не «возглавлял», вообще же он не имел намерения оскорблять профессию маляра, но Гитлер даже с малярной кистью толком не управлялся, а следовательно, ни один маляр его своим не признает, а уж *столяром* Гитлера даже и не вообразишь. Тут его прервал прокурор: прежде чем предоставить свидетелю возможность продолжать свои славословия и прежде чем ему удастся с помощью какой-нибудь новой исторической арабески затушевать свое только что сделанное чудовищное заявление, он, прокурор, считает необходимым со всей решительностью заявить протест против того, чтобы здесь «в зале немецкого суда беспрепятственно говорилось о советской зоне как о государстве», немецкий суд не вправе этого терпеть, он просит председательствующего поставить на вид свидетелю Хорну его поведение, а обвиняемому Грулю, чье лицо снова выражает «недопустимую веселость», напомнить об уважении к суду. У председательствующего, который только сейчас сообразил, о каком главе государства шла речь, вырвалось: «Ах, вот оно что!» — и он поспешил заверить, что понятия не имел, является ли «тот господин» столяром или был им когда-то, затем он скучливым голосом сделал замечание свидетелю Хорну и предложил Грулю-старшему «покончить с этими штуками».

На вопрос о финансовом положении обвиняемого Хорн отвечал, что в течение последних десяти лет оно является «перманентно катастрофическим», но он должен со всей настойчивостью заметить, что виноват в этом не один Груль, хоть он и правда человек нерасчетливый и иной раз легкомысленно относится к деньгам, не в меньшей мере виновата в этом и «убийственная политика по отношению к ремесленникам». Тут прокурор снова прервал его: как представитель государства, он считал недопустимым использование судебного процесса как средства агитации против налоговой политики правительства, но председательствующий спокойным голосом указал ему на то, что устанавливать связь ме-

жду субъективным положением обвиняемого и объективными обстоятельствами никогда и никому не запрещалось, даже если сущность этой связи излагают обывательским языком. Хорн, явно испытывая удовлетворение, продолжал не менее подробно: конечно, он не в состоянии вскрыть все взаимосвязи, это дело финансового эксперта; у Груля, не справлявшегося с многочисленными поборами, как-то: налог с оборота, промысловый и подоходный налоги, взносы в больничную кассу и тому подобное,— образовалась задолженность по уплате, а тут еще многократные описи имущества все время ее увеличивали. Далее начались принудительные продажи, у Груля с молотка пошли родительский дом в Дульбенвейлере, затем два акра пахотной земли и луг под Кирескирхеном, доставшиеся ему от крестной, и, наконец, его часть в ресторации «Пивная кружка» — то есть уже материнское наследство. Тем временем у него сволокли и всю домашнюю обстановку, описанную за долги, а там, среди прочего, имелась и очень ценная мебель, кое-что из этих вещей вдруг объявилось в биргларском музее. Прокурор попытался было заявить протест против формулировки «сволокли», примененной к государственной акции, но председательствующий движением руки остановил его. От дальнейших подробностей, продолжал свою речь Хорн, он готов воздержаться, только хочет сказать еще несколько слов о финансовом положении обвиняемого — при этом не затрагивая вопроса о долгах,— каковое является столь же запутанным, сколь и запущенным. Дело дошло уже до наложения ареста на его гонорары, так что Груль утратил интерес к крупным заказам и порвал с лучшими своими клиентами, чтобы не вовлекать их во всю эту путаницу. На жизнь он стал зарабатывать мелкими поделками, а под конец, «находясь в естественном состоянии самозащиты», брал плату уже только натурой, продукты ведь описать не так-то просто. Прокурор энергично, уже почти невежливо запротестовал против выражений «естественно» и «самозащита» — прибегать к подобным обозначениям для характеристики образа действий обвиняемого недостойно и недопустимо, в частности, возмутительным, прямо-таки вопиющим к небесам представляется ему в этом контексте выражение «самозащита», ни один гражданин, не вступивший в разлад с законом, не может находиться в состоянии «самозащиты» по отношению к своему государству.

Председательствующий, спокойствие которого все больше и больше выводило из себя прокурора, напомнил ему, сколько граждан и в наше время навлекли и навлекают на себя кару не тем, что они в прошлом придерживались закона, а тем, что они не прибегали к самозащите, единственному средству, каким тогда можно было отстаивать гуманизм. В демократическом государстве выражение «самозащита», правда, является «несколько преувеличенным», и посему он просит Хорна по мере возможности его избегать. Выражать ему порицание за слово «естественно» он, однако, считает излишним, ибо установить свое отношение к этому понятию можно, только предпослав ему точное определение, что следует считать естеством человека; нет такого гражданина ни в одной стране на земном шаре, который воспринимал бы налоговое законодательство и его последствия как нечто «естественное», и не подлежит сомнению, что человек с житейским опытом свидетеля Хорна, человек, вынесший немало насмешек и нападок из-за своей честности, вправе воспринимать и характеризовать действия обвиняемого как естественные. Право и закон иной раз мощно ополчаются на отдельного человека, и трудно ждать, чтобы каждый гражданин относился к мерам, направленным против него, как к естественным.

До слуха Штольфуса, уже начинавшего впадать в проповеднический и довольно-таки скучливый тон, вдруг донеслось громкое покашливание адвоката. Это был их условный знак в подобных случаях. Итак,

он оборвал свою речь на полуслове и обратился с вопросом к Хорну: неужели такой способный человек, как Груль, не мог заниматься своим делом, не испытывая постоянных финансовых затруднений? Мог, отвечал Хорн, но при нынешних обстоятельствах это предполагает хотя бы — он подчеркнул «хотя бы» — некоторое знакомство с основами экономики или по меньшей мере новое экономическое сознание. Наш столярный цех не только ставит себе задачей распространение этих знаний, внедрение нового экономического сознания, не только старается посвятить всех своих членов во всевозможные теперешние трюки, оно с этой целью даже организовало специальные курсы и рассылает разные циркуляры, да только Груль на эти курсы не ходит и циркуляров не читает. Он спрятал голову, как страус,— да оно и понятно, потому что в его положении никакие наставления уже помочь не могут, и перестал заносить в книги некоторые доходы, даже довольно значительные, это вышло наружу во время разных производственных ревизий и повлекло за собой высокие штрафы. В подобных случаях, а их больше, чем можно предположить, и в других отраслях, пострадавшему остается только одно — «идти в промышленность или до конца своих дней иметь дело с судебным исполнителем», а Груль от этого как раз и отказался, не пожелал занять даже хорошо оплачиваемой должности руководителя столярной мастерской в известной фирме оборудования и отделки квартир на том основании, что он-де свободный человек и хочет им остаться.

На вопрос председательствующего, была ли катастрофа неотвратимой, Хорн отвечал: «Отвратимой-то она была, но если бы вы увязли так же глубоко, как Иоганн Груль, от этого сознания вам было бы не легче. Где уж тут выбраться, вы только подумайте обо всех расходах из-за описи имущества, обо всех этих процентах, сборах и пошлинах — это бы вас обязательно доконало». Председательствующий тихонько усмехнулся и в самых вежливых выражениях запретил свидетелю употреблять в данной связи местоимение «вы».

Уязвленный прокурор не без горькой иронии сказал, что он все же просит «со смирением, здесь, видимо, подобающим ему, как представителю государства», позволения перебить свидетеля Хорна в его захватывающем описании хождения по мукам обвиняемого Груля и задать ему несколько вопросов. Он оставляет без внимания определение все «теперешние трюки», низводящее законы о налогах до уровня «наставления, как показывать фокусы», более того, порочащее эти законы, он не требует, чтобы за такое определение было вынесено порицание, а только хочет спросить свидетеля Хорна, знал ли он о системе ведения торговых книг обвиняемым Грулем, прежде чем таковая была обнаружена. Хорн отвечал без всяких колебаний, да, он знал об этом, Груль питал к нему полное доверие и все ему рассказывал. Почему же свидетель Хорн не счел нужным сообщить об этом в соответствующие инстанции? Хорн, которому удалось сдержать свой гнев, отвечал, что он старшина столярного цеха, а не шпик из финансового управления, более того, он не только не шпик из финансового управления, а «вообще не шпик»; господину прокурору следует уяснить себе, если я вправе дать ему такой совет, что цех — это объединение, оберегающее интересы лиц одной профессии. Он, Хорн, предостерегал Груля, советовал ему навести порядок в своих делах и даже добивался в финансовом управлении соглашения о сторнировании, дабы его коллега Груль снова почувствовал почву под ногами и желание работать. Финансовое управление, видимо, готово было пойти ему навстречу, но тут положение Груля снова ухудшилось из-за того, что сына, его единственную опору, призвали на военную службу. Груль стал работать ровно столько, сколько было необходимо, чтобы спасти свой дом в Хузкирхене от продажи с молотка да еще оплачивать счета за электричество и необходимейшие материалы.

Груль с тех пор производил на него впечатление покорившегося судьбе человека, а сейчас он, Хорн, считает своим долгом еще раз подчеркнуть: он не шпик и не рожден быть шпиком. Председательствующий предложил ему в связи с вопросом, который поставил прокурор, взять обратно слово «шпик», но Хорн от этого отказался, он-де достаточно хорошо расслышал требование: шпионить за своим коллегой. Председательствующий сделал ему вторичное предупреждение и затем миролюбиво посоветовал не ставить себя в затруднительное положение и взять это слово обратно. Нет, отвечал Хорн, за свою жизнь — до 33-го года, после 33-го и после 45-го, он тридцать шесть раз выступал как свидетель и не намерен отказываться от слова «шпик». Его тут же на месте приговорили к уплате пятидесяти марок штрафа в пользу государства. На вопрос, согласен ли он с этим приговором, Хорн отвечал: если правда обходится так дорого, он готов уплатить требуемую сумму, хотя, конечно, предпочел бы передать ее в пользу рабочей взаимопомощи. Штольфус заговорил уже более резким тоном, предлагая Хорну взять обратно это повторное оскорбление суда. Когда же тот в знак несогласия упрямо покачал головой, ему припаяли второй штраф, уже в размере семидесяти пяти марок в пользу государства. Согласен ли он с этим приговором, его на сей раз не спрашивали. Председательствующий объявил обеденный перерыв на полтора часа и отпустил свидетеля Хорна.

2

Бергнольте, стройный мужчина средних лет, одетый изящно и не броско, все время молча сидел в публике, но за десять минут до того, как председательствующий объявил перерыв, неприметно покинул зал. Едва ступив на школьный двор, он ускорил шаг, потом взглянул на свои часы и пошел еще быстрее: телефонной будки у восточного фасада биргларской католической церкви он достиг уже беговым шагом легкоатлета, недавно поставившего крест на своей спортивной карьере. В будке он, не то чтобы запыхавшись, но торопливо вывалил содержимое своего черного кошелька на маленький пульт — две или три монеты отскочили от телефонной книги и скатились на пол, он нагнулся и поднял их. После недолгого колебания он решил опустить в автомат несколько грошей, а монеты покрупнее держал наготове. Итак, в щель для монет этого достоинства он семь раз сунул по грошу, уныло глядя, как они, скатившись по покатому желобку, скапливаются друг за дружкой внутри аппарата, этот процесс напомнил ему другой, похожий, в игральных автоматах, называвшихся «Паяц», которые так забавляли его в юности (он играл украдкой, так как они большей частью стояли в пивных, куда ему запрещено было ходить); он бросил еще два гроша, они провалились — улыбнулся, оттого что в памяти всплыло слово «провалиться», набрал четыре первые цифры, затем шесть следующих, дожидаясь ответа секретарши Грельбера, правой рукой сгреб монеты покрупнее, сунул их в раскрытый кошелек, то же самое сделал с пятипфенниговыми монетами, начал кучкой складывать остальные — по пятьдесят пфеннигов и по марке, когда в трубке, наконец, послышался девичий голос. «Хелло,— быстро, даже таинственно, как заговорщик, проговорил он,— это звонит Бергнольте»; девушка переключила аппарат, отчего ее «сейчас» коротким и жалобным «сей» донеслось до Бергнольте; теперь уже мужской голос проговорил: «Грельбер слушает»,— и мгновенно утратил свою неприветливую официальность, когда Бергнольте вторично назвал себя.

— Ну, ну, валяйте!

— Так вот,— сказал Бергнольте,— движется все несколько медленно, но хорошо, в вашем смысле.

— Надеюсь, и в вашем тоже.

— Само собой. Представители прессы отсутствуют, обычный местный колорит, добряку Штольфусу он доставляет столько же удовольствия, сколько и хлопот. Короче говоря — никакой опасности.

— А новый как?

— Немного, пожалуй, ретив и путаник к тому же, ну да он человек пришлый, тут нечему удивляться, иной раз и глуповатый, но если его вежливо осадить — ничего, стерпит. И не в том дело, что он ошибается по существу, а в том, что он часто жонглирует политическими, я хочу сказать, государственно-правовыми понятиями, чего делать не следует.

— А Гермес?

— На высоте. Неизбежную адвокатскую демагогию ловко прикрывает своим рейнским выговором и постоянным расшаркиванием перед Штольфусом и свидетелями. Иногда не в меру хитер и расторопен. Различие между «а» и «е» вряд ли спасет его подзащитных.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ну, сделал он один такой выкрутас, я вам вечером объясню.

— Вы считаете, что я должен сказать Штольфусу о?..

— Разве что его поторопить, и притом осторожно. Он, прямо скажем, великолепен — но если оставшимся одиннадцати свидетелям позволить столько же говорить, ему понадобится еще четыре дня.

— Хорошо, останьтесь, пожалуйста, там еще и на сегодняшний вечер.

— Что слышно с делом Шевена?

— Ничего нового, он с упоением во всем признается, как и Грули.

— От их признаний упоением и не пахнет.

— А чем же, собственно?

— Безразличием, от которого волосы на голове шевелятся.

— Ладно, вечером расскажете, всего хорошего!

— До свидания.

Бергнольте ссыпал остатки мелочи с пульта в свой кошелек, повесил трубку, вздрогнул, когда два гроша из семи от падения рычага с шумом вывалились в желобок, вытащил их и закрыл за собой дверь будки. Затем он неторопливо обогнул церковь, вышел на главную улицу Бирглара и после недолгих поисков обнаружил лучший дом на площади, рекомендованную ему гостиницу «Дурские террасы». Ему хотелось есть, а от перспективы пообедать за государственный счет — случая, не часто ему представлявшегося,— аппетит у него и вовсе разыгрался. В надежде на солнечную осень несколько белых столиков были оставлены на террасе над Дуром, их усыпали желтые листья, прилипшие после долгого дождя. Бергнольте оказался первым, пришедшим к обеду. В тихом зале с темными панелями старомодная печка распространяла приятное тепло, показавшееся ему символом традиционного гостеприимства. Из двадцати или более столиков пятнадцать были накрыты к обеду, на каждом в стройной вазочке красовалась свежесрезанная роза. Бергнольте снял пальто, кашне, шляпу и, потирая руки, направился к столику у окна с видом на Дур, речушку, назвать которую ручейком значило бы обидеть местных жителей, протекавшую среди по-осеннему усталых, мокрых лугов, устремляясь вдаль, к электростанции. Дур был глубоким и быстрым, но здесь, на равнине, буйство его несякло, он пожелтел и разлился вширь. Бергнольте погладил рыжую кошку, дремавшую на скамеечке возле печки, поднял одно из буковых поленьев, сложенных рядом, и понюхал его. Он еще стоял в этой позе, когда вошел хозяин, дородный человек лет пятидесяти, который

на ходу отчаянно дергал свой пиджак за отвороты, покуда не надел его как следует. Бергнольте весь как-то сжался, но мужественно продолжал держать полено в руке и даже его обнюхивать, что, впрочем, сейчас получалось у него как-то менее убедительно.

«Да,— заметил хозяин, застегнув пиджак на все пуговицы и наново раскуривая свою сигару,— сама природа, тут ничего не скажешь». «Да, да»,— подтвердил Бергнольте, радуясь, что может, наконец, положить полено на место и пройти к своему столику. Хозяин принес ему меню. Бергнольте заказал кружку пива, вынул из кармана записную книжку и пометил в ней: «Поездка в Бирглар и обратно (перв. кл.) — 6.60. Такси с вокзала — 2.30. Телефон...» здесь он остановился, не без удивления смеясь над внутренним прохвостом, который ему шепнул вместо 50 пф. написать 1 м. 30; еще когда он утром записывал расходы на такси, внутренний прохвост ему нашептывал вместо 2 м. 30 поставить 3 м. 20, и тут же этот самый внутренний сожитель велел ему подумать о том, что поездку на такси легко проконтролировать, ибо расстояние вокзал — суд в общем-то всем известно (когда расторопный таксист, у которого он попросил квитанцию, предложил ему написать пять-шесть, а то даже и восемь марок, Бергнольте покраснел и сказал, что хочет иметь только правильные данные, включая чаевые, исчисленные им в один пфеннинг); но ведь телефонные расходы, продолжал шептать невидимый сожитель его души, почти непроверяемы, трудно предположить, чтобы фрейлейн Кунрат, секретарша Грельбера, включила секундомер во время их разговора. Покачивая головой и смеясь — до чего же слаб человек — он написал подлинную сумму 0,5 м., затем проставил одну под другой рубрики: «обед», «чаевые», «прочие расходы». Изучение меню окончилось, как он и предполагал, к удовольствию неисправимого ветрогона, тоже в нем укрывавшегося, второго сожителя его души, чье внезапное появление он всегда радостно приветствовал. Так как в десерте самых дорогих обедов, а их было четыре в цене от 4 м. 60 (рейнское кисло-сладкое жаркое) до 8 м. 50 (шницель из телятины со спаржей, ананасом и pommes frites *) значилось одно из любимых его блюд: шоколадное парфе со сливками, то он, вздохнув, поддался уговорам ветрогона. Услышав, как за буфетной стойкой некая молодая девица произнесла имена «Иоганн» и «Георг», Бергнольте навострил уши. Большие серые глаза этой особы показались ему не менее достойными восхищения, чем ее стройные руки, которыми она, едва ли не с нежностью, поглаживала большую четырехэтажную подставку для закусок (или для тортов). Не то чтобы ворчливо или сердито, но с оттенком досады в голосе хозяин говорил в это время молодой особе на местном диалекте: «Который раз я тебе говорю, что Иоганн не пьет кофе с молоком, это Георг до него охотник, а у тебя только Георг в голове». По-видимому, он намекал на содержимое красивого черно-красного термоса, так как заглянул в него, понюхал и уже тогда завинтил крышку. «На вот, возьми,— он сунул руку под стойку и вытащил изящную и с виду дорогую сигару из невидимого ящика, спрятанного там, надо думать, для собственного употребления, ибо другие сигары, в богатейшем выборе, стояли за стеклянной витриной,— и снеси Иоганну». Он аккуратно завернул ее в бумажную салфетку и засунул в металлическую гильзу, которую опустил в карман пальто, уже надетого девушкой. «Смотри не забудь принести гильзу обратно».

Бергнольте невзначай окинул взглядом зал, и ему вдруг открылась удивительная его красота.

Изысканно обработанные филенки панелей отличались одна от другой тонкими нюансами протравки; в стену было вделано резное дере-

* Жареный картофель *(франц.)*.

вянное панно, занимавшее разве что двадцатую часть ее плоскости, оно изображало сцену уборки урожая. Вокруг него были разбросаны чайные кусты и кофейные деревья в различных стадиях цветения и зрелости. На втором поле панно цвели деревянные ромашки, мята, заячья капустка и липовый цвет. Между панелями высились стройные шкафы из вишневого дерева, светло-коричневые с красноватым отливом. Хозяин принес пиво, поставил его перед Бергнольте, проследил за его взглядом, сочувственно сложил губы трубочкой и сказал: «Да, тут любой музей может позавидовать». Когда Бергнольте спросил: «Но это ведь не старинная работа — кто же в наше время еще делает такие вещи?» — хозяин с загадочным видом отвечал: «Да, за этот адресок можно денежки заплатить». Затем он спросил Бергнольте, что ему принести на первое, консоме или спаржевый суп, Бергнольте выбрал консоме и, глотнув пива, решил, что свой вопрос задал слишком уж в лоб. (Позднее хозяин сказал в кухне своей жене, бывшей в полуобморочном состоянии после признания дочери, что она «отдалась молодому Грулю и понесла от него»: «Я этих судейских носом чую».)

В комнате для свидетелей в течение первого часа судебного разбирательства царило беспокойное настроение. Фельдфебель и ефрейтор бундесвера, несмотря на предостерегающие и довольно энергичные знаки своего начальника, подошли к Зейферт, раздобыли для нее стул и тотчас же завязали разговор о модных танцах. Когда выяснилось, что она не такая уж охотница танцевать, фельдфебель, поддержанный ефрейтором, перевел разговор на «drinks»*, ефрейтор заявил, что «Bloody Mary»** с небольшой примесью водки предпочитает всем остальным. Зейферт хмуро, так как час был ранний и она не выспалась, тихим, но проникновенным голосом внушала фельдфебелю, что терпеть не может мужчин, которые с утра пораньше пристают к женщине, а не то и под юбку лезут, да и вообще нахалов не выносит, а когда фельдфебель ей шепнул, что по ее виду этого не скажешь, она, уже погромче, заявила: «Булочнику не всегда охота булки есть, даже если ему их задаром дают»; фельдфебель этого не понял, а ефрейтор понял отлично, так как не без удовлетворения констатировал, что он — относительно, разумеется, ибо Зейферт и на него смотрела хмуро,— взыскан ее милостью; он напустил на себя вид бывалого человека, который, кстати сказать, был ему к лицу, и пустился в рассуждения о коньяках, тогда как фельдфебель в грубой своей мужественности признавал только пиво и водку, чем навлек на себя презрение Зейферт, пробормотавшей, что только вино истинный напиток любви. Ефрейтор был низкорослый хилый паренек в очках, но с мужественным ртом и очень характерным носом; фельдфебель, курносый малый с безвольным подбородком, тщетно пытался взглядами склонить юнца отступиться от Зейферт в его пользу, на что тот отвечал едва заметным покачиванием головы и насмешливой улыбкой. Начальнику их обоих, молодому офицеру, блиставшему несколько, правда, плешивой мужской красотой, эта группировка бундесвер — Зейферт была в высшей степени неприятна. Когда же до него донеслось слово «водка», он и вовсе расстроился. Ему давно уже не нравилось, что водка становится модным напитком. Ему казалось — по этому поводу он даже послал письмо в отдел пропаганды телевидения,— что за этой модой на водку и пропагандой водки таится недооценка и преуменьшение русской опасности, в связи с которой даже вошедшие в моду меховые шапки представляются ему подозрительными.

---

* Спиртные напитки *(англ.)*.

** Кровавая Мери *(анг.)*.

Старый патер Кольб из Хузкирхена тихонько беседовал со своими прихожанками, той, что помоложе,— вдовой Вермельскирхен и той, что постарше,— тещей Груля, вдовой Лейфен, урожденной тоже Лейфен. Эти трое негромко обсуждали тему, которая вряд ли могла заинтересовать кого-нибудь из присутствующих, а именно: чья собака лаяла этой ночью в Хузкирхене. Вдова Вермельскирхен полагала, что это была овчарка Белло, принадлежавшая хозяину гостиницы Грабелю, вдова Лейфен подозревала бергхаузеновского пуделя Нору, патер же упрямо отстаивал тезу, что это Питт, колли тележника Лейфена; при этом он с добродушной улыбкой ссылался на то, что нередко проводит ночь без сна, впрочем, в его возрасте это не удивительно, и потому узнает лай любой собаки в Хузкирхене, а Питт тележника Лейфена, собака с исключительно тонким слухом и вообще животное умное и усердное, реагирует на любой шорох; он начинает лаять, даже когда ему, патеру, иной раз случается среди ночи открыть окно, чтобы выпустить табачный дым, а Белло, овчарка Грабеля, не просыпается, даже когда он среди ночи, что тоже бывает нередко, отправляется на прогулку «по своей спящей деревне», чтобы подышать свежим воздухом, и проходит от патерского дома до липы и потом еще раз туда и обратно. Что касается бергхаузеновского пуделя, то он слишком труслив, чтобы лаять, даже если и просыпается. Но всего прекраснее ночные шумы, доносящиеся из коровников: дыхание коров, их кашель, их зевота и даже те звуки, что у человека считаются неприличными, так умиротворяюще воздействуют в ночи, тогда как куры... кур мы терпим только потому, что они несут яйца; и еще приятно ночью видеть спящих птиц, за сараем Грабеля, не хозяина гостиницы, а крестьянина Грабеля, птицы часто усаживаются на ночь на яблони, правда, больше всего там голубей, которых он, патер, недолюбливает. Вдова Вермельскирхен, младшая из его собеседниц, толстая черноглазая особа, удивилась, как это она не знала, что патер совершает ночные прогулки, а знает ли об этом госпожа Лейфен? Вдова Лейфен сказала, что нет, не знает; люди ведь вообще мало знают друг о друге, и это очень жаль, им следовало бы знать больше, знать не только злое, но и доброе. От этих слов молодая вдова Вермельскирхен зарделась. В деревне она пользовалась некоторой симпатией, но отнюдь не доброй славой, и замечание вдовы Лейфен поняла превратно, как намек. Патер возразил, что он, напротив, знает много доброго о людях, хотя ночью и гуляет по деревне, а ведь ночь — время, когда обычно совершается не самое доброе. Вдова Вермельскирхен покраснела еще сильней: мысль, что патер по ночам в своей черной сутане — точно черная кошка, только что глаза у него не светятся,— дозорным бродит или бродил по деревне, была ей не слишком приятна, но и патер ни о каких намеках не помышлял. Она заметила, что в исповедальне патеру приходится немало слышать о зле и ее удивляет, что он так хорошо думает о людях; ни хорошо, ни плохо о людях он не думает, возразил патер, разговоры же о том, что приходится выслушивать исповеднику, почти всегда сильно преувеличены, ну «а ходить ночью по деревне, когда все спит кругом и разве что животные немного беспокойны»,— ему это просто доставляет радость, и он проникается состраданием к людям, все равно злым или добрым. Желая успокоить вдову Вермельскирхен, у которой все еще горели уши и краска была разлита по гладким щекам, он положил руку ей на плечо и сказал, что не хочет быть упрямцем, но все-таки это лаял колли Лейфена, вдова не стала с ним спорить. Пренебрегая инструкцией для священнослужителей, запрещавшей им курить в общественных местах, патер достал из кармана трубку, обстоятельно набил ее табаком из жестяной коробочки, покрытой зеленым, уже изрядно поцарапанным лаком, на котором тем не менее еще можно было разобрать надпись

«Шоколадные лепешки с мятой», втянул в себя воздух из нераскуренной трубки, вздрогнул, когда молодой офицер, считая весьма полезным завязать разговор с одной из образовавшихся здесь групп, мгновенно подскочил к нему, поднося зажженную спичку — как это делают все некурящие — к самому его носу. Патер вздрогнул и, немного раздосадованный этой поспешностью, равно как и опасной близостью спички, боязливо огляделся вокруг, задул спичку и, виновато глядя на молодого офицера, сказал: «Простите, пожалуйста, но мы тут уже договорились не курить». В ответ на его слова отовсюду послышался шепоток дружелюбного протеста, к которому громко и энергично присоединилась Зейферт, а также еще не покинувший свидетельской комнаты Хорн. Из этого шепотка можно было ясно расслышать, что для него, патера, все здесь охотно делают исключение, во-первых — как для духовного лица, во-вторых — как для самого старшего. Он позволил себя уговорить на том условии, что курить по старшинству будут и другие курильщики, и теперь уже благодарно кивнул, когда обер-лейтенант, радуясь, что на сей раз его не осаживают, подсунулся к нему со второй спичкой. Широким неподражаемым жестом, который он осуществил с помощью своей трубки, патер пригласил обер-лейтенанта вступить в круг хузкирхенских разговоров, и тот круто, как все по натуре застенчивые и молчаливые люди, и к тому же неожиданно резким голосом пустился в обсуждение термина «народный язык», удивившего его в последних церковных отчетах. Не приведет ли это к вульгаризации языка наших проповедников? Обе женщины, из вежливости все еще прислушивавшиеся к их разговору, теперь с надеждой и ожиданием взглянули на своего патера, чьим умом так гордились, даже если не всегда умели понять или оценить его. Патер спросил, слышал ли когда-нибудь офицер выражение vulgata; да, ну в таком случае ему известно, что наиболее распространенное может быть также обозначено словом «вульгарно»; сам он держится того мнения, что народный язык не может быть достаточно вульгарен, он уже начал переводить наиболее популярные воскресные евангелия на хузкирхенский диалект, который значительно отличается даже от кирескирхенского. Обе женщины гордо переглянулись. Гордостью их наполнил одержавший победу разум патера. Офицеру это толкование, видимо, пришлось не по душе. Он сказал, что имел в виду суровый, жреческий, изысканный язык Стефана Георге, более того, язык, доступный лишь элите, да, да, он не боится произнести это слово. Интерес женщин к этой теме мгновенно угас, вежливости тоже поубавилось, они сблизили головы за спиной патера, он немного подался вперед, чтобы им было удобнее, и заговорили о своих цветниках: как быть с георгинами, время *уже* выкапывать или *еще* не время? — спросила вдова Лейфен у вдовы Вермельскирхен, которая слыла опытной садоводкой; для *уже*, пожалуй, рановато, отвечала та, а для *еще* — так можно и до заморозков повременить. До этого она и не додумалась, сказала вдова Лейфен, хотя садоводством занимается вот уже пятьдесят лет. Как она добивается того, что розы у нее так долго цветут, продолжала расспрашивать вдова Лейфен, на что вдова Вермельскирхен отвечала, что сама не знает, как это у нее получается, правда, не знает, ничего особенного она с ними не делает, вдова Лейфен подмигнула, и хитрая улыбка тронула ее губы, когда она охарактеризовала это как «непомерную скромность», разумеется, это тайна, и она очень хорошо понимает, что госпожа Вермельскирхен не желает выдавать ее, будь она обладательницей такой тайны, она, возможно, тоже бы ее не выдала, но у нее на цветы несчастливая рука. Меж тем господин патер и господин офицер обсуждали тему «Религия и богословие», которые патер определил как две совершенно различные области, что вызвало протест господина офицера. В это мгновение возглас: «Иди, иди, го-

лубушка, твой час пробил!» призвал Зейферт на скамью свидетелей. Фельдфебель, чьи мужественные повадки в конце концов «все-таки проняли» Зейферт, как она сама выразилась, теперь уже без стеснения рычал на ефрейтора, так что тот счел за благо, сделав три шага, то есть ровно столько, сколько позволяло пространство, присоединиться к третьей, оживленно беседовавшей группе, которая состояла из дипломированного экономиста Грэйна, судебного исполнителя Халя, старшего финансового инспектора Кирфеля (сына полицмейстера), старшего мастера Хорна, пока еще не вызванного в зал суда, и коммивояжера Эрбеля. Все пятеро, надо думать, говорившие о Груле, в данный момент слушали главного своего оратора Грэйна, рассуждавшего о «структурных изменениях в ремесленном деле». Патер заявил, что он уже докурил свою трубку «после долгого поста, конечно, с непростительной быстротой», и сейчас первый на очереди Хорн, но так как он человек некурящий, то право закурить, по его скромным сведениям о возрасте присутствующих, сейчас принадлежит Халю, ибо госпожа Лейфен, следующая за ним, патером, по старшинству, тоже, разумеется, не курит. Халь с радостью воспользовался своей прерогативой и схватил сигарету. Обе женщины встали, пошептались в дверях с судебным приставом Штерком и, хихикая, скрылись в глубинах вестибюля, еще памятного старшим из свидетелей — Халю, Кирфелю и Хорну — по школьным временам. Эти трое быстро переменили тему и, таким образом, временно исключили из общей беседы Грэйна и Эрбеля, людей молодых и к тому же приезжих, покуда, через школьные воспоминания не подошли к вопросу, позволившему Грэйну снова вступить в разговор,— экономическому кризису двадцатых годов.

Вскоре после того, как были вызваны свидетели Эрбель и Хорн, ефрейтор, видевший в Грэйне специалиста, спросил его, как обстоит дело с кредитоспособностью мелких и средних предприятий в Бирглярском округе, так же ли она велика, как в их краях; он родом из Бергишена, его отец банковский служащий. Грэйн охотно подхватил этот разговор, тогда как Халь и Кирфель предпочли, наконец, после того как вызвали Хорна, договориться с Грэйном о «тоне» их показаний касательно Груля. Они с откровенным неудовольствием смотрели на ефрейтора, произносившего слова вроде «фактор колебаний» и «револьвирующая кредитная политика» с тем же небрежно-невозмутимым видом, с каким он только что щеголял перед Зейферт названиями коньяков, потом отошли от обоих и образовали собственную группу у окна, шепотом принявшую решение «не вываливать в грязи ни Иоганна, ни Бирглар».

Когда вскоре после Зейферт были вызваны свидетели Эрбель и Хорн, во многих группах вздохнули с облегчением — и в первую очередь фельдфебель, которого его начальник выразительными взглядами побуждал встать у окна. Нравственные воззрения обер-лейтенанта, в гарнизоне прозванного Робертом Благочестивцем, были ему в высшей степени неприятны. Поскольку опрос Хорна, видимо, затянулся, судебного пристава Штерка попросили сказать, в каком порядке будут вызывать свидетелей, это дало бы им возможность по очереди выпить кофе; когда он отклонил эту просьбу, на том основании, что засекреченная очередность исключает возможность сговора. Грэйн, снискавший себе в «Объединении дипломированных экономистов» славу «души общества», предложил своего рода игру в загадки, вернее, в фанты; он даже готов первым отвечать патеру на любые вопросы по катехизису, на что патер торопливо возразил, что никогда не знал на память катехизиса, да никогда и не мог бы его запомнить, старуха Лейфен отозва-

лась о предложенной игре: «Ну, это уже слишком»; энергичные жесты обер-лейтенанта послужили ей поддержкой. После этой короткой паузы, носившей несколько анархический характер, свидетели произвели перегруппировку: фельдфебель, ефрейтор и судебный исполнитель пристроились играть в карты на подоконнике; Грэйн смотрел, как они играют; обер-лейтенант, в высшей степени неодобрительно относившийся к игре в карты, не хотел сейчас, да еще публично, разыгрывать из себя начальника и потому снова подошел к патеру, который только-только собрался поговорить с Кирфелем, почетным казначеем своего прихода, о состоянии приходской кассы и в первую очередь о том, что ставилось ему в вину — использование не по назначению средств, собранных на колокол, большая часть каковых ушла на финансирование переезда некой Фины Шурц, шесть лет назад перебравшейся в близлежащий большой город и там вышедшей замуж за этого самого Шурца, который бросил ее, беременную четвертым ребенком. Фина Шурц, урожденная Кирфель, после этой истории дала волю своим легкомысленным задаткам, впервые сказавшимся в том, что она, стремясь уберечь детей от горькой нужды, стала кое-что подрабатывать, служа кельнершей в ночном баре; короче говоря, родители вынуждены были забрать ее домой в Хузкирхен, ибо работодатель Фины, безответственный малый, по фамилии Келлер, присоветовал ей «во время работы подключаться к клиентам». Патер вел сейчас сугубо конфиденциальную беседу и появление обер-лейтенанта воспринял не то что «как назойливость», но все же заметил потом, что «у этого юноши странная привычка навязываться». Словом, патер истратил колокольные деньги не по назначению, чтобы помочь Фине Шурц вернуться в родимый Хузкирхен (напрасно, как он уже понимал, но в чем еще не решался себе признаться), ибо Фина Шурц, зная, что за детьми присматривает ее мать, ежевечерне уезжала скорым поездом в близлежащий большой город, чтобы, как выяснилось, «тем усерднее подключаться к клиентам».

Из-за поспешного вторжения обер-лейтенанта произошло небольшое, можно даже сказать, комическое недоразумение, в котором был отчасти виноват и Кирфель. Обер-лейтенант, «страстный связист», как он сам себя отрекомендовал, слово «подключаться» знал лишь как термин, известный каждому рядовому связисту; в этом же и только в этом значении понимал его и чистый душою Кирфель II, словом, оба они, Кирфель и обер-лейтенант, некоторое время пребывали в уверенности, что Шурц работает ночной телефонисткой в частной телефонной компании, до подлинного смысла ее ночных «подключений» они не додумались. У обер-лейтенанта немедленно возникло подозрение об осведомительной службе для «иностранной державы», у Кирфеля голова и без того шла кругом, главным образом из-за предстоявших ему свидетельских показаний, но еще и потому, что патер, не по назначению истратив колокольные деньги, попал в неприятное положение и сам еще не отдавал себе отчета, насколько неприятное. Наконец, старому патеру, который никак не мог взять в толк, почему оба его собеседника упорно говорят о телефоне, стало невмоготу слушать этот вздор, и он воскликнул: «Да полноте, милостивые государи, она же не call-girl *, она ведь, так сказать, только подключается». И с сарказмом, который делал его любимейшим гостем в домах всех духовных лиц, добавил: «Я, впрочем, допускаю, что ее хватает и на то, и на другое: и на телефонные, и на прочие контакты». Кирфель и обер-лейтенант в полном обалдении воззрились на патера; между ними начало устанавливаться нечто вроде взаимной симпатии, ибо слово «call-girl» в устах священнослужителя обоим показалось несколько странным, хотя смысл термина «подключаться»

* Девушка на час *(англ.)*.

в его явно аморальном значении еще не до конца им открылся. Вот видите, голос патера, когда он обернулся к обер-лейтенанту, вполне утратил свою шутливую интонацию, как важно знать вульгарную лексику; но, впрочем, добавил он, ему стало известно, что Фина Шурц, нравственное будущее которой он принимает очень близко к сердцу, в близлежащем большом городе предается своему постыдному занятию в злачном месте, где «кишмя кишит бундесверовцами, а также депутатами от христианско-демократического и христианско-социального союзов», которые не стесняются в других местах «разыгрывать из себя стражей христианской морали». Обер-лейтенант раздраженно отвечал, что нельзя и не должно делать обобщения на основе таких «частных случаев». Большинство офицеров бундесвера отличается безупречным поведением и борется за чистоту нравов, к сожалению — при этих словах он бросил взгляд на стул, на котором недавно сидела Зейферт, а теперь восседала вдова Вермельскирхен,— не всегда успешно, ибо приказом никому моральной чистоты не предпишешь. Патер пристально на него посмотрел и сказал: «Из вашей глины кое-где лепят самых лучших коммунистов», слова, против ожидания, не вызвавшие возражений обер-лейтенанта, а, напротив, повергшие его в задумчивость.

О злополучной Шурц, еще более тихим шепотом, чем трое мужчин, беседовали также вдовы Вермельскирхен и Лейфен; характерно, что молодая Вермельскирхен высказывалась о ней куда более сурово, чем старуха Лейфен, которая основную вину возлагала на удравшего Шурца, тогда как Вермельскирхен, признаваясь, что она и сама «женщина чувственная, иной раз даже легкомысленная», вопиющую испорченность усматривала в том, что «Шурц делала такое за деньги». Лейфен с ней спорила, утверждая, что женщины, которые «такое делают за деньги», менее опасны, они только «обслуживают мужчин», те же, что деньги не берут, их «скручивают по рукам и ногам». Вдова Вермельскирхен, решительно все принимавшая на свой счет, отвечала, что она не скрутила еще ни одного мужчины и всем предоставляла полную свободу. Но в момент, когда всеобщее возбуждение достигло критической точки — у картежников тоже, ибо у ефрейтора была просто неслыханная полоса везения и он несколько раз подряд объявлял большой шлем, тогда как к фельдфебелю карта не шла и он чувствовал себя вконец униженным,— судебный пристав Штерк распахнул дверь и объявил перерыв на полтора часа.

(Окончание следует)

М. ГУС

ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ И МНИМОМ.

Энгельс в 1890 году высмеял тех молодых марксистов, которые превратили понятие «материалистический» в пустую фразу и «применяют к разным вещам, не давая себе труда заняться дальнейшим изучением, то есть приклеивают этот ярлычок и считают, что этим все исчерпывается»*.

Нечто подобное происходит теперь с термином «отчуждение»: он с недавних пор стал очень модным в философских, социологических, эстетических дискуссиях и спорах на Западе. Иной раз кажется, что в «отчуждении» видят отмычку, позволяющую без «дальнейшего изучения» разрешить сложнейшие проблемы современности.

Более того, нередко утверждается, будто «отчуждение» есть краеугольная категория исторического материализма. А наиболее ярые сторонники теории «отчуждения», как всеобщего закона исторического процесса, берут в единомышленники... Маркса, объявляя именно его творцом этой «теории».

Сводя всю историю человечества к развертывающейся в ней «трагедии отчужденной личности», теоретики «отчуждения» видят его и в социалистическом обществе. Ибо для них «отчуждение» есть всеобщая, всеобъемлющая категория бессмысленности и бесцельности человеческого существования.

«То, что предстает как судьба в искусстве авангардизма,— пишет критик Лео Кофлер,— это не что иное, как новое отчуждение. Можно также сказать: каковы бы ни были различия, существующие между разными представителями новой литературы, необходимо искать особенные оттенки в отношении к проблеме отчуждения и в способе, каким они его преодолевают в своем творчестве».

Лео Кофлер правильно определяет характерную черту многих и многих течений и направлений в современной литературе. Еще вернее сказать, что этот критик отметил важнейшую черту модернизма, поскольку именно модернистское мировоззрение и модернистская эстетика сделали «отчуждение» своим идейным и художественным знаменем.

Именно поэтому Клаус Менерт, небезызвестный западногерманский «эксперт» по проблемам «Восточной Европы», то есть социалистических стран, на страницах журнала «Остэуропа» (№ 1, 1966 г.) называет «отчуждение» одной из отличительных черт современной западной буржуазной литературы, «особенно опасной с коммунистической точки зрения». Более того: этот ярый враг коммунизма вообще и Советского Союза в частности видит в модернистской концепции «отчуждения» одно из важных средств идеологической борьбы против социализма, его культуры и литературы. Клаус Менерт с удовлетворением подчеркивает, что концепция «отчуждения», проникая в социалистические страны, становится оружием в борьбе против «монополии социалистического реализма», и даже заявляет, что «это духовное детище Карла Маркса направлено теперь против его собственного дела».

Это свидетельство нашего идейного противника заслуживает самого серьезного внимания и подтверждает настоятельную необходимость тщательного рассмотрения всей проблемы «отчуждения» — ее действительного и ее мнимого содержания.

«Отчуждение» стало очень модным у многих философов и социологов в силу

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 37, стр. 371.

того, что эта абстрактная схема позволяет избегнуть конкретно-исторического анализа. Капитализм, как исторически преходящая стадия общественного развития, исчезает, растворяется в туманных формулировках «изначального одиночества» человека, «предвечного страха», «коллективной виновности» и т. д.

Мы можем различить в нынешней философской и социологической литературе несколько концепций «отчуждения», но все они сходны в главном: они мистифицируют реальные социально-исторические явления и процессы — во-первых, они представляют идеологию безнадежности, отчаяния, «космического пессимизма»—во-вторых.

Суть этих концепций можно передать словами известного британского историка А. Тойнби: человечество имело больше шансов выжить, когда было беззащитно от тигров, нежели теперь, когда оно беззащитно от самого себя.

А причина в том, поясняет американская «реальная школа» социологии, что человек по натуре своей двойствен: он и грешник и праведник одновременно, в нем сосуществуют начало созидательное и начало разрушительное. Второе начало берет верх над первым, и потому исторический процесс протекает как развертывание Зла.

Наиболее последовательно концепцию «отчуждения» проводит философия экзистенциализма. Хотя Хейдеггер и не пользовался этим термином, но сущность его учения как раз и составляет «отчуждение» человека. Страх есть суть существования человека, тревога — спутник его жизни, которая есть не что иное, как «бытие для смерти».

В этом бытии личность подвергается насилию со стороны «безличного», то есть общества. Освобождение от такого насилия есть цель усилий личности — каждой в отдельности. Но такое «освобождение» ничего не изменяет в общем ходе вещей: условия человеческого существования в страхе, заботе, одиночестве предопределены раз и навсегда.

Философия экзистенциализма хотя и назвала себя философией существования («экзистенции»), но на деле она несовместима с подлинным существованием человека, в котором она видит только «отчуждение» от смысла и разумности, от человечности.

Особое место в экзистенциализме занимает учение Ж.-П. Сартра. Он — решительный противник фашизма и империализма, активный участник борьбы за мир, справедливость, свободу.

Но для автора книг «Бытие и ничто», «Критика диалектического разума» «возможность опредмечивания дана во всех человеческих отношениях». Это значит, что человек, поскольку он действует, постольку неизбежно «опредмечивает», делает чуждым по отношению к себе все, что создает в объективной действительности.

Сартр ссылался в этих книгах на Гегеля, который, говорит он, «превращает отчуждение в постоянное свойство любой объективации».

Действительно, в гегелевской философии отчуждение играет важнейшую роль. Абсолютный дух (мировая идея) в результате самоотчуждения порождает природу и общество. Это, по Гегелю, и есть опредмечивание, или овеществление, духа.

В «Феноменологии духа» Гегелем даны и два других аспекта этого понятия. Все плоды деятельности человека, материальной и духовной, признаются отчуждением и опредмечиванием сущности человека, а история выступает как результат отчужденной — то есть враждебной человеку — его же человеческой деятельности. Ее продукты представляются ему как чуждые, господствующие над ним, не зависящие от него враждебные силы.

Поэтому отчуждение и оказывается свойством «любой объективации», то есть человеческой деятельности, как таковой, становится всеобщим законом истории.

Сартр следует за Гегелем в признании этого мнимого закона. «Страдания индивидуальной личности,— читаем мы в «Поисках метода»,— приобретают свой истинный смысл, когда вспоминаешь, что они конкретно выражают отчуждение человека. Экзистенциализм при помощи психоанализа может сегодня анализировать только ситуацию, в которой человек с детства утрачен, ибо нет никаких иных ситуаций в основанном на эксплуатации обществе».

Однако последние слова об обществе, основанном на эксплуатации, вовсе не означают, что Сартр приписывает всеобщий закон отчуждения только такому обществу. Р. Гароди справедливо писал в свое время:

«Как и у Гегеля, у Сартра отчуждение представляет собою не исторические явления, а метафизическое построение: отчуждение сосуществует с деятельностью человека. Мы оказываемся вне истории, в полной власти теологии. Если отчуждение и не представляет собой «выбора, сделанного до рождения», то оно все-таки более близко к «первородному греху» теологов, чем к «товарному фетишизму» Маркса... Следовательно, Сартр отрывает отчуждение от его исторической основы. У него отчуждение возникает одновременно с человеком. И это проклятие вечно будет висеть над человеком, поскольку оно возникает из любого действия и существует в любом коллективе».

Что дело обстоит именно так, свидетельствует такое рассуждение Сартра в «Критике диалектического разума»:

«Как не видеть, что опредмечивание приходит к человеку благодаря отраженному воздействию, то есть благодаря именно тому, что принуждает его действовать как Другого по сравнению с самим собой и определяет его реальные отношения на основе отношений Других между собой».

Итак, человек принужден «действовать как Другой по сравнению с самим собою»,

то есть отказываться от себя, от своей личности, «опредмечивается» из-за того, что он живет с Другими в обществе, и не только в обществе, где человек эксплуатируется Другими, а вообще *в обществе, как таковом.* Маркс же не только определил суть человека как совокупность общественных отношений. Ему принадлежит также следующее замечательное рассуждение: «Так как он (человек.— *М. Г.)* родится без зеркала в руках и не фихтеанским философом: «Я есмь я», то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел, как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода «человек»*.

Мысль Маркса противоположна определению Сартра. Человек не «действует как Другой по сравнению с самим собой» оттого, что его окружают Другие. Наоборот, он становится самим собою потому, и только потому, что живет в общении с Другими.

Сартр объявляет себя сторонником марксизма, но предлагает включить в марксизм «антропологию», то есть учение о человеке, которого якобы нет в марксизме, имеющем дело только с человечеством, а не с отдельными индивидами. Однако же «антропологизм», каким хочется Сартру дополнить марксизм, это не материалистический, земной антропологизм, а учение о личности, восходящее к Кьеркегору.

Как у Кьеркегора, у Сартра существование человека — это развертывание во времени предвечной и непреодолимой трагедии личности как «несчастного сознания» (по определению датского философа). Несчастного потому, что оно не способно найти ответ на вопрос, для чего человек существует, почему он неизбежно обречен на неизбежную смерть.

А это и есть концепция отчуждения, как вечного проклятия, тяготеющего над человеком. Ибо Сартр на вопрос: «Следует ли исчезновение капиталистических форм отчуждения отождествлять с уничтожением всех форм отчуждения?»— дает отрицательный ответ.

Ж.-П. Сартр применил эту концепцию к анализу фильма «Иваново детство». В истории участия мальчика в войне и его гибели Сартр видит подтверждение того, что история трагична. Он особенно напирает на заключительную сцену фильма. В покоренном Берлине, в атмосфере ликования победоносной Советской Армии, офицер находит в имперской канцелярии фотографию казни Ивана. Эта сцена, пишет Сартр, рассказывает «трагическую правду человека и исторического прогресса». Правда состоит в том, что за прогресс (в данном случае за победу над фашизмом) приходится платить слишком дорогой ценой — «смертью ребенка, умирающего с ненавистью и отчаянием. Никто, даже будущий коммунизм, не окупит этого».

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 23, стр. 62.

Прежде всего, мысль эта не нова: Иван Карамазов давным-давно объявил, что не приемлет гармонии, купленной ценой хотя бы одной слезинки ребенка. Но, главное, мысль эта и не верна. Хотя Сартр и спешит предостеречь против пессимистических выводов, однако же он утверждает, что «мы настаиваем на прогрессе, забывая о потерях, которые ничто не может компенсировать». А в таком случае — хочет ли этого Сартр или не хочет,— но понятие прогресса становится абсурдом, неизбежно порождающим отчаяние, тоску, страх перед жизнью.

Видеть в прогрессе только развертывание в истории предвечной трагедии человечества — это и значит считать отчуждение сущностью исторического процесса. На деле его содержание связано с классовыми отношениями в капиталистическом обществе и исчезает вместе с породившими ее отношениями.

Ж.-П. Сартр считает, что необходимо соединить *исторический* материализм, как «единственно годное объяснение истории», с философией экзистенциализма, как «единственным конкретным подходом к реальности». А это значит, что Сартр хочет соединить несоединимое: ведь концепция «отчуждения» как извечной трагедии человека прямо противоположна марксистской теории исторического развития человечества.

На примере Ж.-П. Сартра, стоящего на прогрессивных политических позициях, особенно отчетливо видно, насколько распространены представления об отчуждении как об основном законе истории.

Венгерский социолог-марксист А. Хеллер в книге «Социология морали или мораль социологии» показал на примере американских философов и социологов Э. Фромма, К. Райта Миллса, В. Г. Уайта и других, что в среде критически относящихся к современной империалистической действительности представителей радикально настроенной интеллигенции стала популярной мысль, что причиной отчуждения является бесцельность труда и вообще человеческой деятельности. А это — типично экзистенциалистская точка зрения на труд как источник враждебной человеку «объективации» и «опредмечивания».

«По Миллсу,— пишет А. Хеллер,— труд не только не является больше самоосуществлением, он больше не является и обязанностью, а лишь необходимым средством к потреблению. Человек не может ни планировать, ни видоизменять своего труда, то есть своей необходимой деятельности. И это относится не только к рабочему, но и ко всем, кто участвует в организованной общественной деятельности».

Совершенно очевидно, что такая позиция исторически конкретное и исторически обусловленное явление генерализирует, превращает в свойства и особенности подневольного, все более и более автоматизируемого труда, в свойства труда, как такового. Но даже и по отношению к труду при капитализме теоретические построения американских буржуазных сторонников теории

«отчуждения» неполны и неточны, как мы увидим ниже.

Эти ученые распространяют свою теорию «отчуждения» и на сферу потребления. Они показывают, что потребление из сознательно определяемого удовлетворения потребностей человека превращается в пустое подражание готовым образцам в выборе еды, одежды, квартиры.

Всемогущая реклама навязывает человеку его вкусы, определяет, помимо его воли, его потребности и способ их удовлетворения.

Когда-то Э. Синклер в памфлете «Деньги пишут» назвал «тропизмом» это механическое следование личности образцам поведения «всех», то есть предписываемым модой стандартам.

И в этом случае также американские теоретики «отчуждения» бесспорный процесс, свойственный современному буржуазному обществу, обобщают, превращают во всеобщий закон человеческого общества.

Как мы уже сказали, в этих своих рассуждениях буржуазные социологи ссылаются на Маркса, на его понимание «отчуждения», которое он изложил в «Рукописях 1844 года». А некоторые идут дальше и объявляют зрелого Маркса, а не только молодого основоположником абстрактных, экзистенциалистских теорий «отчуждения».

Американский профессор Э. А. Тирьякьян в книге «Социология и экзистенциализм. Две перспективы отношений индивида и общества» пишет: «Человек — это проекция самого себя в обществе, и это составляет одно из величайших открытий Карла Маркса в его концепции отчуждения». Тирьякьяну невдомек, что Маркс, как раз наоборот, видел в человеке проекцию общества, сгусток общественных отношений. Ссылаясь на такой авторитет, как.. Бердяев, Тирьякьян отождествляет экзистенциалистское «отчуждение» с Марксовой теорией товарного фетишизма. «Маркс открыл (заявляет американский экзистенциалист) основную форму отчуждения или самоотчуждения, которая является кардинальной концепцией в экзистенциализме».

Но экзистенциализм, как уже было сказано, в полном противоречии с Марксом считает отчуждение вечным, непреодолимым свойством общества.

■

Экзистенциалистские, как и все прочие буржуазные и мнимомарксистские теории «отчуждения», не имеют ничего общего ни с марксизмом в целом, ни с ранними работами молодого Маркса.

А в этих работах, именно в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» и видят теоретики «отчуждения» первоисточник и оправдание своих взглядов.

Дают ли для этого какие-либо основания «Рукописи 1844 года»?

Не дают!

Об этой работе молодого Маркса существуют два неверных мнения.

Одни полагают, что Маркс зрелый, Маркс - автор «К критике политической экономии» и «Капитала», ни в чем не отошел от высказанного им в «Рукописях 1844 года».

Другие упрекают его в том, что в «Капитале» он совсем отказался от понятия «отчуждения» 1844 года, из-за чего в «Капитале» речь идет не об отдельном человеке, об индивиде, а только о безликой массе — о рабочем классе.

Разумеется, неверны оба мнения. Маркс не только не отказался от «антропологии», а, напротив, в «Капитале» полностью и до конца развил *подлинно человеческую* точку зрения на систему эксплуатации человека человеком и открыл законы, в силу которых неотвратимо произойдет уничтожение обесчеловечивающей системы и подлинное освобождение человека Но Маркс и не сохранил в неприкосновенности тех суждений об «отчуждении», какие мы находим в «Рукописях 1844 года».

Маркс в этой своей работе уже видел абстрактность тех определений отчуждения, какие даны были Фихте и Гегелем.

Фихте противополагал субъективное начало «Я» — объективному «не-Я», которое есть не что иное, как отчуждение духа «Я». Иными словами, «Я» у Фихте — это первопричина, «не-Я» — его производное. Фихтевское понятие «отчуждения» Маркс отверг вместе со всей его философией, суть которой он иронически выразил в афоризме: «Я есмь я».

А о Гегеле Маркс говорил в этих «Рукописях»: «Когда, например, он рассматривает богатство, государственную власть и т. д. как сущности, отчужденные от *человеческой* сущности, то он берет их только в их мыслечной форме. Они — мысленные сущности и потому только отчуждение *чистого,* т. е. абстрактного философского мышления»*.

Сохраняя еще гегелевскую терминологию, Маркс высказывает прямо противоположную гегелевской мысль. Он показывает, что «человеческая сущность *опредмечивается бесчеловечным образом,* в противоположность самой себе», а у Гегеля «она *опредмечивается в отличие* от абстрактного мышления и *в противоположность* к нему» **. То, что происходит в реальном мире — превращение сил человека в чуждые ему предметы,— Гегель изображает как присвоение, совершаемое в абстракции, как отчуждение мыслей и движения мыслей.

Отчуждение человеческой сущности у Гегеля — это процесс отчуждения не труда и продуктов труда человека в пользу капиталиста, а отчуждение самосознания. Отчуждение переносится из реального, предметного мира в сферу мышления, и получается, что «*мысленная* частная собственность снимается в *мысленную идею* морали» ***. Но такое «мысленное снятие»

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 625.
** Там же, стр. 626.
*** Там же, стр. 636.

М. ГУС
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ И МНИМОМ

оставляет в неприкосновенности якобы преодоленный предмет, то есть ту частную собственность на средства производства, которая обусловливает «отчуждение» и «самоотчуждение» рабочего.

И то, что получается у Гегеля, Маркс резюмирует так: «Поэтому вся *история самоотчуждения* и все *устранение* самоотчуждения есть не что иное, как *история производства* абстрактного, т. е. абсолютного мышления, логического, спекулятивного мышления» *.

Поэтому гегелевская концепция «отчуждения» приводит к парадоксу: «Человек, понявший, что в праве, политике и т. д. он ведет отчужденную жизнь, ведёт в этой отчужденной жизни, как таковой, свою истинную человеческую жизнь» **.

Таким образом, Маркс отверг идеалистическую, абстрактную теорию Гегеля, оставлявшую в неприкосновенности действительные социальные отношения капиталиста и рабочего. Уже в 1844 году он написал:

«*Коммунизм,* как *положительное* упразднение *частной собственности* — этого *самоотчуждения человека* — и в силу этого как подлинное *присвоение человеческой* сущности человеком и для человека; а потому, как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития, возвращение человека к самому себе как человеку *общественному*, т. е. человечному» ***.

Однако Маркс в 1844 году еще говорил об *универсальном* самоотчуждении человека, правда, уже понимаемом материалистически. Но все же это было еще в значительной мере гегельянизированное понятие «всеобщей объективации». Маркс также еще пользовался фейербаховским понятием «рода» и «родового человека».

Реальные отношения человека труда в капиталистическом обществе к самому себе, к обществу, к условиям эксплуатации класса наемных рабочих классом капиталистов Маркс в 1844 году облекал в «антропологическую» фейербаховскую форму отношения «родовой жизни» к жизни индивидуальной.

Такая форма не проясняла сущности действительных отношений наемного рабства пролетариата. Маркс после 1844 года отказался от этой фейербаховской терминологии, равно как и от его «антропологии». К сожалению, некоторые марксистские исследователи продолжают и сегодня пользоваться категориями родовой жизни.

Разумеется, это не так.

«Рукописи 1844 года», сохраняя еще понятия и терминологию фейербаховской антропологии, не содержали важнейшего в Марксовой теории: учения о прибавочной стоимости. Свое второе великое открытие, после создания материалистического объяснения истории, открытие закона движения капиталистического способа производства, Маркс совершил десять с лишним лет спустя. Только в рукописях 1857—1858 годов он пришел к открытию и формулировке теории прибавочной стоимости, объясняющей сущность капиталистической эксплуатации наемного труда и, следовательно, конкретную, реальную сущность того, что в «Рукописях 1844 года» еще не вполне отчетливо трактовалось как «отчуждение».

В рукописях 1857—1858 годов, которые являются как бы черновым наброском «Капитала», Маркс точно определил, что в капиталистической экономике «полное обнаружение сущности человека проявляется как полнейшее опустошение», «как полное отчуждение» от человека продукта его труда и всего человеческого. Однако и здесь еще нет понятия «товарного фетишизма». Лишь в первом томе «Капитала», в главе I, в разделе «Товарный фетишизм и его тайна» разъяснил Маркс «загадочный характер продукта труда, как только этот последний принимает форму товара. «Фетишистский характер товарного мира» порождается тем, что стоимость, будучи определенным общественным отношением людей в процессе производства товаров, принимает в глазах людей фантастическую форму отношения между вещами.

У стоимости, говорил Маркс, не написано на лбу, что это такое. Более того: «Стоимость превращает каждый продукт труда в общественный иероглиф. Впоследствии люди стараются разгадать смысл этого иероглифа, проникнуть в тайну своего собственного общественного продукта...» * Пока эта тайна не раскрыта, в глазах людей «их собственное общественное движение (в процессе обмена стоимостей.— *М. Г.)* принимает форму движения вещей, под контролем которых они находятся, вместо того чтобы его контролировать» **.

Эту «тайну», которая мистифицирует все общественные отношения, разгадал марксизм. Буржуазия использует ее не только для экономического и юридического обоснования своего господства, но и для психологической и идейной обработки сознания трудящихся.

Таинственный иероглиф «товарного фетишизма» и есть действительное зерно абстрактных теорий отчуждения.

Раскрыв эту «тайну», марксизм показал, что не существует внеисторического, абстрактного отчуждения, как якобы извечно присущего человеку и обществу свойства «всеобщей объективации», как «непреодолимой враждебности человеку» всякого результата его деятельности. Для марксизма отчуждение не есть универсальный закон бытия, из тенет которого не в состоянии вырваться человек.

Маркс вовсе не считал проблему отчуждения проблемой отношения всякой человеческой деятельности к любым предметам и институтам, ею создаваемым. Марксизм в соответствии с реальной действительностью признает основой отчуждения именно то, что Маркс назвал «товарным фетишизмом».

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 625.
** Там же, стр. 634.
*** Там же, стр. 588.

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 23, стр. 84.
** Там же, стр. 85.

При этом товарный фетишизм также исторически преходящ. С устранением капиталистической эксплуатации исчезают и предпосылки к отчуждению.

Абстрактная, умозрительная концепция «отчуждения» оспаривается сегодня и теми, кто считает, что марксизму будто бы присущ «теоретический антигуманизм».

Французский философ-марксист Л. Альтюссер утверждает, что марксистская теория должна отказаться от понятия «отчуждения», «целостного человека» и прочих «атрибутов умозрительного, абстрактного антропологизма» В этом Л. Альтюссер прав, ибо, как заметил другой участник дискуссии во французской печати о гуманизме и марксизме Х. Ибаррола («Нувель критик» № 171), Маркс абстрактное и расплывчатое понятие «отчуждения» заменил строго научным понятием эксплуатации. Некоторые замечания Альтюссера и его единомышленников можно было бы вполне принять, но их возражения против концепции «отчуждения» неразрывно связаны с ложным пониманием марксистской теории.

Коротко говоря, эта точка зрения такова. Маркс, разрывая в 1845 году со всеми формами антропологизма (как идеалистическими, так и фейербаховскими), создал такую материалистическую теорию исторического развития, в которой человек отнюдь не является «центром истории». «Со времени Маркса,— пишет Л. Альтюссер в книге «Читать «Капитал»,— мы знаем, что человек больше не является субъектом истории, но что люди не более как носители (les supportés) производственных отношений, производное (les effets) капиталистической структуры».

В доказательство этой центральной идеи «теоретического антигуманизма» Маркса Л. Альтюссер утверждает, что в «Капитале» все стадии производство, распределение, потребление — анализируются *безлично*. Не входя в подробности этих рассуждений, отметим, что суть их, конечно, в ограниченном, узком, противоречащем истинному взгляду Маркса, ошибочном понимании шестого тезиса о Фейербахе: «Человек есть совокупность общественных отношений». Л. Альтюссер в сущности исключает из этого определения субъект, *личность*, обращая ее в *объект* и делая субъектом истории безличные производственные отношения.

Из такой предпосылки и делается вывод, будто марксизм, как наука об обществе, теоретически антигуманистичен.

Л. Альтюссер и его единомышленники, разумеется, не отвергают гуманизма, но, выводя его за скобки теории, «передают» в сферу практики, в область морали.

Но ведь в таком случае невозможна научная разработка проблем этики!

Положение о «теоретическом антигуманизме» Маркса было подвергнуто убедительной и доказательной критике как во французской марксистской печати, так и на пленуме ЦК ФКП, обсуждавшем проблемы идеологии и культуры.

Марксизм, как наука, как теория исторического развития, включает в себя последовательный, научно обоснованный гуманизм.

Жак Дюкло процитировал письмо Маркса С. Мейеру, посланное 30 апреля 1867 г., когда первый том «Капитала» был уже в печати:

«Я презираю так называемых «практичных» людей и их великую мудрость. Если хочешь быть жестоким, то, очевидно, следует повернуться спиной к страданиям человечества и заниматься только собственной шкурой».

Великая книга Маркса была посвящена уничтожению страданий человечества и *человека*. Она излагала научное объяснение причин этих страданий и способы их устранения.

Другой участник дискуссии Ж. Сюре-Каналь в большой обстоятельной речи показал, что «марксизм одновременно и наука и гуманизм».

Подводя итоги дискуссии, Вальдек Роше подчеркнул, что Маркс, разрывая с ненаучными системами антропологизма, отнюдь не сделал марксизм особым сортом «антигуманизма». Наоборот, последовательный и всесторонний гуманизм есть важная составная часть революционной теории пролетариата, призванного навеки освободить человека от всех и всяческих форм угнетения и эксплуатации.

Таким образом, концепция «теоретического антигуманизма» учения Маркса несостоятельна. А потому ее критика абстрактной концепции «отчуждения» бьет мимо цели. Ибо она исключает из *теоретического рассмотрения* действительную сущность того, что именуется «отчуждением»,— обесчеловечивание человека в обществе, основанном на эксплуатации наемного труда.

И мы, на примере этой дискуссии о гуманизме, еще раз убеждаемся, что только со строгих марксистских позиций можно успешно критиковать и преодолеть ложную концепцию «отчуждения».

■

Абстрактная теория отчуждения абстрактна и ложна еще и в силу того, что она не видит и не анализирует той стороны положения человека в буржуазном обществе, которая диалектически связана с превращением трудящегося в наемного раба капитала. С одной стороны, общественный строй, в котором человек эксплуатируется человеком, обесчеловечивает эксплуатируемого. Но, с другой стороны, капитализм создает, объединяет, организует из эксплуатируемых им людей своих собственных могильщиков — авангард человечества в его борьбе за подлинную свободу и счастье на земле.

Именно потому, что абстрактная концепция универсального отчуждения отрицает это, она и не дает никакой положительной исторической перспективы: отчуждение неустранимо и вечно

М. ГУС
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ И МНИМОМ

Маркс в XXIV (предпоследней) главе первого тома «Капитала», характеризуя историческую тенденцию капиталистического накопления, писал, что по мере развития капиталистического способа производства «...возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который... *обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства*» *. (Курсив мой. — *М. Г.*)

Филистеры разных толков (в числе их Дюринг), наши «субъективные социологи» никак не могли уразуметь этой диалектики отчуждения. Они не могли взять в толк, как это угнетаемый капитализмом, поставленный в бесчеловечные условия наемный рабочий может быть великой освободительной, революционной силой.

Ленин, критикуя ненаучность и бессмыслицу теоретических построений «субъективной социологии» (Михайловский и др.), разъяснял, что «это подчинение (крупному капиталу.— *М. Г.*) является прогрессивным по сравнению с тем (угнетением мелкими кровопийцами.— *М. Г.*) несмотря на все ужасы угнетения труда, вымирания, одичания, калечения женских и детских организмов и т. д.— потому что оно будит мысль рабочего, превращает глухое и неясное недовольство в сознательный протест, превращает раздробленный мелкий, бессмысленный бунт в организованную классовую борьбу за освобождение всего трудящегося люда, которая черпает свою силу из самых условий существования этого крупного капитализма и потому может безусловно рассчитывать на верный успех» **.

И еще раз Ленин счел необходимым указать что «это положение фабрично-заводского рабочего в общей системе капиталистических отношений делает его единственным борцом за освобождение рабочего класса» ***

Так Ленин писал в 1894 году, когда русский рабочий класс только вступал на освещенный марксистской теорией путь революционной борьбы.

Буржуазные философы и социологи наличие «отчуждения» при социализме связывают с характером труда и власти (государства), будто бы непрерывно воспроизводящих это «отчуждение».

Протестантский социолог Иринг Фетшер считает, что при социализме сохраняется «отчужденное отношение к труду», так как продолжает существовать разделение труда, а непосредственной целью рабочего остается получение зарплаты, что есть важнейший признак «отчужденного труда».

Иринг Фетшер не видит, что заработная плата на социалистическом предприятии *не* является платой за покупаемую предпринимателем рабочую силу — вследствие того, что каждый трудящийся есть совладелец общественной собственности на средства производства.

Рабочий класс в целом и его исполнительные хозяйственные органы не могут «покупать» у одного из собственников этих средств производства его рабочей силы, ибо она больше не есть товар, выносимый на рынок тем, кто ничего больше, кроме этой силы, не имеет.

«...Каждый отдельный производитель,— писал Маркс, критикуя Готскую программу германской социал-демократической партии,— получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему».* Это — индивидуальный трудовой пай рабочего, из которого определенная часть изымается в пользу общественных фондов.

Внешне, пояснял Маркс, при социализме господствует принцип обмена товаров, поскольку производитель получает от общества в другой форме такое же количество труда, какое дал ему. Но «содержание и форма здесь изменились,— подчеркивает Маркс,— потому что при изменившихся обстоятельствах никто не может дать ничего, кроме своего труда, и потому что, с другой стороны, в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления» **.

Последняя оговорка как раз и напоминает, что социалистический способ производства не знает прибавочной стоимости, производимой рабочим в неоплачиваемую часть его рабочего времени. Нет прибавочной стоимости, а имеется прибавочный продукт, поступающий не в собственность отдельного капиталиста и тем самым класса капиталистов в целом, а входящий в состав общественных фондов, которые принадлежат социалистическому государству, рабочему классу, обществу в целом.

Маркс подчеркнул также, что при социалистическом способе производства, до перехода в высшую фазу коммунизма, принцип «от каждого по его способностям, каждому по его труду» означает фактическое неравенство отдельных производителей. Ведь люди по своим способностям, по образованию, по умению не одинаковы. «При равном труде и, следовательно, при равном участии в общественном потребительном фонде один получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и тому подобное» ***

Но такое неравенство не является «отчуждением». Не является потому, что коренным образом изменился характер труда. При капиталистическом способе производства рабочий, писал Маркс в 1844 году, «в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развертывает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свой дух... У себя он тогда, когда он не работает,

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 23, стр. 772.
** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 241.
*** Там же стр. 311.

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 19, стр. 18.
** Там же.
*** Там же, стр. 19.

а когда он работает, он уже не у себя».* Деятельность рабочего выступает как страдание, как не принадлежащая ему деятельность,— это и есть самоотчуждение рабочего. Оно происходит в пользу того, кто «чужд труду, стоит вне труда», в пользу капиталиста **

Так Маркс обрисовал порабощение рабочего, когда он работает на капиталиста, покупающего его рабочую силу.

Но рабочий на социалистическом заводе не продает своей рабочей силы капиталисту, его рабочая сила не превращена в товар, и изготовляемый им продукт не противостоит ему, как отчужденная от него, чуждая ему, враждебная ему действительность.

Наконец, не может быть «отчуждения» труда при социализме, как проклятия, тяготеющего над человеком, еще и потому, что социалистическому обществу чужд товарный фетишизм. «Тайна» стоимости разгадана, и вместе с нею исчезают и предпосылки восприятия общественных отношений людей в процессе производства и обмена, как отношений не между ними, а между вещами. «Иероглиф» стоимости раскрыт, и труд становится тем, чем он и может быть только при социализме: сознательным и добровольным участием каждого в общем труде всех. Но еще не становится всецело жизненной потребностью, какою будет при коммунизме. Мы видим, что на пути к этому последнему превращению труда мы сделали уже много шагов: от первых коммунистических субботников наше общество поднялось до образования бригад, цехов, целых предприятий коммунистического труда.

Доводы против наличия «отчуждения» труда при социализме удачно суммированы на страницах английского марксистского журнала «Марксизм тудей» в статье Ю. Кози:

«Главная причина, почему развивающееся индустриальное общество при социализме не порождает отчуждения, лежит в различии всей жизни рабочего при социализме и капитализме... При капитализме рабочий не имеет никакого контроля над обществом... Это абсолютное отсутствие контроля и безопасности, полное отсутствие единения и участия (в жизни общества в целом и в производстве — *М. Г.*) вызывает отчуждение при капитализме. При социализме, как бы монотонна ни была работа, великое чувство соучастия, сознание роли, какую рабочий играет в жизни общества, плюс тот факт, что по мере развития социализма рабочий все более осознает единство интересов своих и общества, все это должно в огромной мере уничтожать эффект широко проводимой автоматизации».

Такую же аргументацию развивает в немецком журнале «Айнхайт» и Вольфганг Эйхгорн, напоминая, что в социалистическом обществе трудящиеся «превращаются из факторов, над которыми производство господствует, в факторы, которые сами господствуют над производством».

Теперь рассмотрим второй довод сторонников «отчуждения» труда при социализме. Это — наличие разделения труда, которое называют также «техническим отчуждением» рабочего

И. Фетшер полагает, что разделение труда усиливает эту форму отчуждения.

Немецкий ученый Г. Клаус в книге «Кибернетика и философия» о «техническом отчуждении» говорит так: «Техническое отчуждение человека — это возникающая в результате определенного состояния развития производительных сил необходимость выполнять монотонную физическую работу или умственную работу, подчиняться темпу конвейера и т. п.».

Это «техническое отчуждение» реализуется как «приборное»: «Мы понимаем под приборным отчуждением индивидуума такое состояние, при котором индивидуум, пользующийся прибором (инструментом), знает лишь полностью или частично функции прибора, но не его структуру» (Г. Клаус).

«Техническое отчуждение», «приборное отчуждение», «инструментализация» все более и более усугубляются в капиталистических странах — вследствие быстрого роста автоматизации производства. Она обращает в автоматы и тех, кто ее обслуживает. «Новые времена» Чаплина более трети века назад показали, как это происходит. А с тех пор автоматизация ушла далеко вперед, а с нею и ее страшные последствия.

Г. Клаус утверждает, что устранение «технического отчуждения» при социализме предполагает «собственно высокий уровень развития производительных сил, который в настоящее время еще не достигнут».

Если Г. Клаус разумеет повышение квалификации рабочего, рост его сознательности в соответствии с развитием производительных сил, то спорить с ним не приходится Но «техническое отчуждение» — в том смысле, какой оно имеет в буржуазном обществе,— тут ни при чем.

В проблеме «технического отчуждения» суть дела не в том или ином уже достигнутом уровне производительных сил (уровне, непрерывно возрастающем), а в том, что производительные силы освобождены от оков капиталистического способа производства. *Свободный* труд при социализме не знает не только социального, но и технического отчуждения.

Что же касается «приборного отчуждения» или «инструментализации», то, разумеется, человек должен в своей подготовке быть на уровне того сложного прибора, с которым работает. А это предполагает и требует высокого уровня культуры рабочего: и общеобразовательной подготовки, и широкого технического образования. Чем дальше идет развитие техники, тем больше приближается квалифицированный рабочий в СССР к уровню инженера.

М. ГУС
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ И МНИМОМ

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 563.
** Там же, стр. 564.

Таким образом социалистический способ производства не знает того, что именуют «отчуждением» труда,— ему чужды обесчеловечивание трудящегося, обессмысливание его труда, превращение продукта труда в противостоящую и враждебную ее творцу стоимость с таинственным иероглифом товарного фетиша на лбу.

Конечно, уничтожение отчуждения есть целый процесс, творимый руками самих членов общества. Только социалистическому обществу по силам решить эту задачу. Если полагать, что отчуждение исчезнет тогда, когда человека полностью заменит автомат, то, значит, надо надеяться на освобождение человека не от «отчуждения», а от *труда,* как такового. Но коммунизм, наоборот, предполагает превращение труда в первую жизненную потребность.

Коммунизм без труда, первой жизненной потребности, это «рай на небесах», а не царство свободы и счастья человечества на земле.

■

Ирина Фетшер отыскал в социалистическом обществе еще «политическое отчуждение личности».

Это старая песня: ее впервые мы услышали из уст Каутского в 1918 году. С тех пор враги социализма неустанно и непрестанно твердят о «враждебности» социалистического государства личности, о подавлении личности и т. д. и т. п.

Один из новейших примеров дает книга западногерманского профессора А. Бергштрессера «Власть как миф и как действительность» Этот философ и социолог вскоре после войны организовал в университете Фрейбурга свою школу «научной политики», чтобы «научно» обосновать буржуазную империалистическую политику наследницы третьего рейха — ФРГ. Какую же политику? Такую, чтобы и монополистические заправилы — волки реваншизма были сыты и овцы «демократии» были целы, разумеется, на словах.

Конкретно говоря, «научная политика» Бергштрассера — это некий гибрид между фашистским тоталитаризмом и американской демократией «свободного предпринимательства»

Теоретической основой всех построений почтенного профессора является формально-логическое, абстрактно-юридическое определение власти Макса Вебера: «Власть означает всякую возможность внутри данных социальных отношений навязать свою волю вопреки сопротивлению, безотносительно к тому, на чем такая возможность покоится».

Следовательно, для Макса Вебера и его последователя Бергштрессера не существует социальной обусловленности власти. Она лишена *классового* содержания и тем самым лишена всякого *реального* содержания. Такая власть есть всего только миф. Но для Бергштрессера она-то как раз и представляет действительность. Этим мифом буржуазные профессора пользуются для того, чтобы скрыть истинную суть буржуазного государства и исказить сущность социалистического строя. С помощью абстрактной формулы власти Вебера обосновывается такое рассуждение. Так как суть власти в том, что она «навязывает свою волю», то и в социалистической стране природа власти точно такая же, как в буржуазном государстве. А такое «навязывание своей воли» и есть пресловутое политическое «отчуждение», якобы присущее советскому строю.

Очень показательны суждения фрейбургского профессора о роли бюрократии в государстве Она существует наряду с хозяйственными руководителями (сиречь монополистами) и политиками — как особая корпорация задача которой поддерживать установленный властью (монополистов и политиков!) порядок. Бюрократия, говорит Бергштрессер, отличается своей неустранимостью: в истории не было примера, чтобы бюрократия, добившись единовластия, исчезла бы с исторической сцены. Это мыслимо только с гибелью той культуры, носителем которой она является. Ее жизнестойкость объясняется свойством, которое закрепляет ее власть: рациональная служебная специализация и квалификация.

Возникает законный вопрос о том, как же примирить это, в общем, удачное определение роли бюрократии с демократией, якобы господствующей в странах «западной цивилизации». На этот вопрос у Бергштрессера ответа вразумительного и ясного не найти. Но зато он спешит отождествить буржуазную бюрократию с явлениями бюрократизма в социалистическом государстве — совершенно не считаясь с тем, что его же собственное определение бюрократии теоретически и фактически неприменимо к обществу, в котором нет социально-экономической почвы для образования такого «служилого слоя».

Ленин в докладе на IV Конгрессе Коминтерна в 1922 году зло высмеял пороки буржуазного мышления и буржуазной политики.

Когда мы, говорил Ленин, совершаем ошибки, то это ошибки типа «дважды два пять». Но когда лучшие люди буржуазии ошибаются в своих расчетах, то они это делают по принципу «дважды два стеариновая свечка...» *

«Стеариновой свечкой»—и ничем иным!— являются и глубокомысленные философствования Бергштрессера о «социалистической системе».

Его центральная мысль: подавление личности социалистическим государством — есть, в сущности, то «политическое отчуждение» личности, о котором твердят И. Фетшер и многие другие хулители социализма со времен Каутского. Практика социалистического строительства, подымающая к общественной деятельности, к активному историческому творчеству широкие массы, служит наглядным опровержением этих ложных теорий.

---

* См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, стр. 291.

Что буржуазные социологи и философы изощряются в различных теоретических домыслах и концепциях для критики и осуждения социализма, в этом нет ничего удивительного.

Но, к сожалению, идеи Фетшера, Бергштрессера в той или иной форме, прямо и косвенно, в большей или меньшей мере, но разделяют и некоторые марксисты.

На страницах польской печати недавно прошла дискуссия вокруг книги А. Шаффа «Марксизм и человеческая личность». В этой книге он изложил «всеобщий закон алиенации» как отчуждения труда и отчуждения государства и общественных институтов. Или, говоря проще, Шафф, а также и его единомышленники считают, что в социалистическом обществе существует «политическое отчуждение личности».

«Шафф,— писал критик Вл. Лоранц на страницах журнала «Жице литерацке»,— рассматривая, чем является государство с точки зрения личности, приходит к выводу, что оно всегда будет ей чуждым, потому что само его существование является для личности источником угрозы».

Единомышленники А. Шаффа находят в социалистической системе «фетишизацию» институтов, созданных человеком, так как они начинают господствовать над ним. Этому способствует разделение на исполнителей и руководителей, а также и то, что государство становится преимущественно аппаратом административного и хозяйственного руководства.

А. Шафф пишет, что «государство является отчужденной властью», ибо «обширный аппарат власти, даже если он не осуществляет функции принуждения, стоит над личностью».

А. Шафф, подобно Бергштрессеру, видит в социалистическом государстве якобы неизбежно возникающую касту бюрократии. «В социалистическом обществе формируется элита власти, которая, естественно, пользуется привилегированным общественным положением».

Все это вместе и составляет «отчуждение» (алиенацию) личности при социализме.

Книга А. Шаффа, равно как и аналогичные высказывания его единомышленников, вызвали в Польше решительную и, на наш взгляд, вполне доказательную, справедливую критику.

Зенон Клишко отметил, что А. Шафф лишь в незначительной степени использует теоретические достижения марксизма в работах Ленина и в практике социалистического строительства. Многие рассуждения автора закона «всеобщей алиенации» теоретически не обоснованы.

Нам кажется, что в этом — корень ошибок и книги «Марксизм и человеческая личность» и всех рассуждений о «политической алиенации» в социалистическом обществе.

Давным-давно известно, какую роковую роль играет в теоретических спорах подмена диалектики софистикой. Такая подмена обычно начинается с того, что неправильно устанавливается предмет спора. В данном случае: конкретным исходным материалом служат извращения и искажения принципов социалистической демократии, допускавшиеся или допускаемые в то или иное время. Но вместо этих конкретных явлений предметом спора делается самая *сущность* социалистической государственной системы, самая *суть* пролетарской демократии.

Говорить сегодня о том, что имели место очень серьезные, даже трагические отступления от принципов социалистической демократии, значит ломиться в открытую дверь.

К сожалению, упоминание о таких фактах служит предлогом для того, чтобы оспаривать «естественную способность социалистического государства разрешать подобные противоречия на собственной основе, без изменения классовой и общественно-политической структуры».

Поставленные в кавычки слова принадлежат Вл. Сокорскому, который выступил в печати против концепции А. Шаффа и правильно определил предмет спора: действительно ли социалистическое государство и пролетарская демократия по своей природе порождают «алиенацию» личности?

При разрешении этого коренного вопроса сторонники «алиенации» так же, как и в постановке самой темы, как раз и допускают подмену диалектики софистикой. Они принимают, как само собой разумеющееся, чисто формально-логическое, абстрактно-юридическое определение власти — в духе Макса Вебера, а не марксистское классовое определение государства. Только общество полного коммунизма не будет нуждаться в государственной организации, оно будет безгосударственным. А до наступления этой фазы истории человечества, в период построения социализма и коммунизма пролетарская, социалистическая демократия и ее государственная организация не могут обойтись без административных решений и мер. И государство — пока оно существует и выполняет функции орудия строительства социализма — пользуется наряду с убеждением также и принуждением.

Ленин в основополагающей для всего периода перехода от капитализма к коммунизму работе «Очередные задачи советской власти» точно и ясно сказал, что «...всякая крупная машинная индустрия — т. е. именно материальный, производственный источник и фундамент социализма — требует безусловного и строжайшего *единства воли*, направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей» *

В. И. Ленин в этой работе раскрывает диалектику демократии и дисциплины. В современных условиях высокоиндустриализованного общества необходима централизация руководства, строжайшая дисциплина снизу доверху и сверху донизу.

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 200.

М. ГУС

ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ И МНИМОМ

Но ведь между теми, кто облечен доверием и полномочиями социалистического государства, и теми, кто трудится под их началом, нет принципиального различия. Они равны, как сочлены социалистической семьи.

Словом, наличие слоя «управителей» в социалистическом обществе отнюдь не равнозначно наличию «элиты» или «бюрократии» как «естественного, закономерного порождения» социалистического строя.

Мы уже приводили слова Маркса о том, что в социалистическом обществе никто не может получать от общества ничего сверх предметов личного потребления. Или, иначе говоря, в личную собственность не поступают средства производства, позволяющие извлекать прибавочную стоимость, то есть эксплуатировать трудящихся. Этого коренного обстоятельства не решаются оспаривать даже и самые рьяные сторонники «алиенации». Но тогда в чем же они видят «элиту»? В более высоком уровне оплаты? Но принцип распределения по труду есть на деле принцип неравного права, как показал Маркс в критике Готской программы. А Ленин с первых дней Советской власти разъяснял теоретически и проводил в жизнь практически политику необходимо высокой оплаты специалистов и знатоков той или иной отрасли экономики, науки, культуры.

Вл Сокорский ставит вопрос: «Не может ли создаться в этих условиях новая культурная, экономическая, технократическая или даже новая элита власти, которая во все большей степени будет узурпировать себе привилегии власти, и что за этим последует превращение в новую отчужденную группу общества?»

На вопрос этот Вл. Сокорский отвечает, что широкий и открыто происходящий в обществе процесс формирования руководящих кадров «исключает не только возникновение элиты власти, но и старается предохранить аппарат власти от бюрократической дегенерации...»

Конечно, бюрократизм, когда он возникает в социалистическом государстве, требует неуклонной борьбы с ним (на что последовательно указывал Ленин), но речь идет именно о борьбе с конкретными проявлениями бюрократизма, с конкретными его носителями, как с явлениями, *чуждыми* всему строю социалистической жизни.

Противопоставляя «бюрократической элите» «свободу личности и творчества», А. Шафф и его коллеги взамен одной и притом выдуманной «элиты» требуют создания другой «элиты» — тех немногих, избранных генчев, которые, как полагает американский социолог Морено, играют решающую роль в истории и которые эксплуатируются большинством как при капитализме, так и при социализме.

Вл. Сокорский высказывает весьма важное соображение: «Лишь тогда мы будем в состоянии верно решать эту проблему, когда перестанем устрашать самих себя выдуманной опасностью формирующейся и отчуждающейся «элиты власти», грозящей противопоставить себя и нам, и обществу, как новая антитеза социалистического строя».

Ленин на заре Советской власти сказал, что многие теоретические и политические колебания объясняются недостатком выдержки в трудную минуту трудного перехода. Несомненно, что именно таковы и причины появления теорий «алиенации», объявляющих социалистическое государство принципиально враждебным личности.

Я хочу снова процитировать польского оппонента А. Шаффа. Вл. Сокорский писал, что «роль личности при социалистическом строе систематически повышается а тем самым растет ее независимость в формировании критики и собственных суждений».

Несколько слов об «отчуждении» по отношению к «партийному руководству», к коммунистической партии.

Наша партия есть, по выражению Ленина, ум, честь и совесть нашей эпохи — эпохи крушения капитализма и победы социализма и коммунизма на земле. Наша партия выражает, защищает, воплощает в жизни то, о чем веками мечтали люди, их идеалы счастья.

И если полвека назад можно было не верить, оспаривать, что интересы человечества нашли в учении Маркса—Ленина наиболее точное, научное, полное выражение, то ныне лишь слепые и глухие, с одной стороны, классовые враги трудящихся — с другой, могут отрицать то, что доказано всемирно-историческим опытом. А им доказано, что коммунистическая партия и трудящиеся массы в целом, каждый трудящийся в отдельности неразрывно спаяны общностью своих идеалов и целей, единством своего дела.

Чтобы закончить рассмотрение проблемы «отчуждения» как свойства социалистической системы, напомним, что наши великие учители говорили о так называемой «чистой демократии», которую со времен Каутского неизменно вытаскивают на свет божий наши идейные противники, а также и те в нашем стане, кто в трудных ситуациях проявляет недостаток теоретической и практической выдержки.

Энгельс в 1884 году писал Бебелю, что противники социализма в моменты революционных кризисов будут объединяться вокруг лозунга чистой демократии. А Ленин в 1918 году, споря с Каутским, напомнил, что «чистая демократия» есть не только *невежественная* фраза, обнаруживающая непонимание как борьбы классов, так и сущности государства, но и трижды пустая фраза, ибо в коммунистическом обществе демократия будет, перерождаясь и превращаясь в привычку, *отмирать*, но никогда не будет «чистой» демократией»*.

«Чистая демократия» — на деле чистейшая фикция, которой, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, прикрываются те, кто «обнаруживает» в социалистическом строе явления и факты «отчуж-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 251.

дения» как противоположности вожделенной и мифической.

Итак, мы можем констатировать:

Во-первых, «модная» ныне теория «отчуждения» есть теория абстрактная, внеисторическая ибо она конкретные, исторически обусловленные явления и процессы в капиталистическом обществе (наемное рабство рабочих, товарный фетишизм, превращение общественных отношений людей в вещные отношения стоимостей) трактует как извечную, изначальную, неустранимую враждебность общества личности. Эта концепция извращает действительные исторические процессы, затемняет их реальный смысл и тем самым не способствует, а мешает и их верному пониманию, и действенной борьбе с тем, что действительно существует,— с капиталистической системой.

Во-вторых, эту неверную ни философски, ни исторически теорию применяют и к социалистическому строю, обнаруживая и здесь «алиенацию», то есть чуждость и враждебность социалистического государства личности.

А это еще больший абсурд, нежели исходная абстрактная теория «отчуждения» при капитализме.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОМЕНА РОЛЛАНА

ИЗ ПЕРЕПИСКИ *Ромена Роллана и Жана-Ришара Блока*

Перевод с французского и публикация МОРИСА ВАКСМАХЕРА

«Встретились два человека...» — так названа книга, фрагменты из которой мы сегодня печатаем. Два человека — это Ромен Роллан (1866—1944) и Жан-Ришар Блок (1884—1947), замечательные французские писатели, гуманисты, борцы. Тесная идейная и личная дружба связывала их долгие годы. Их переписка составляет содержание 15-го выпуска «Тетрадей Ромена Роллана», подготовленного г-жой Ромен Роллан и г-жой Жан-Ришар Блок и выпущенного в конце 1964 года парижским издательством Альбен Мишель. Переписка Ромена Роллана и Ж.-Р. Блока (ей предпослано — «вместо предисловия» — письмо Роже Мартен дю Гара в ответ на просьбу Ж.-Р. Блока написать статью о Роллане) охватывает огромный круг политических, социальных, эстетических проблем, до сих пор не утративших своей злободневности.

Журнал «Иностранная литература» начиная с самого первого своего номера регулярно знакомил читателя с публикуемыми во Франции дневниками, письмами, воспоминаниями Ромена Роллана. Нынешняя публикация дополняет дорогой советским людям образ этого замечательного художника и мыслителя новыми живыми черточками и ценными свидетельствами.

Вместо предисловия

Жан-Ришар Блок — Роже Мартен дю Гару

Пя Мериго́т, 24 апреля 1912 года.

[...] Не затруднит ли тебя принять участие — написать страничек 10—20 — в специальном номере «Эффор», * который мы хотим посвятить Р. Роллану и где молодежь нашего поколения, рассматривая его творчество и разные стороны его личности, скажет, чем мы ему обязаны и почему мы его любим? Только лишь ответ на анкету. Сотрудничество в номере. Я беру «Купину» и «Жизнь Толстого». [...]

◆

Роже Мартен дю Гар — Жану-Ришару Блоку

2 мая 1912 года.

Целый день таскал в кармане твое письмо: «Не затруднит ли тебя принять участие в специальном номере, посвященном Р. Роллану?..»

Целый день лентяйничал и грыз себя за это. И пришел в конце концов вот к чему: мне нечего сказать о Ромене Роллане.

Ты ведь знаешь — он оказал на меня значительное влияние. Он — единственный писатель нашего времени, чей голос был для меня воспитателем — в том самом смысле, в каком были ими некоторые голоса прошлого: Монтень, Руссо,— и особенно два великих голоса современности, ныне умолкшие: Толстой и Ибсен. (Если ты

* «Эффор» (впоследствии «Эффор либр») — название журнала, выпускавшегося Ж.-Р. Блоком с июня 1910 года по июль 1914 года; слово «эффор» по-французски означает «усилие».

приедешь ко мне, я тебе покажу, с каким детским старанием я выделил в особую полку в моей библиотеке эти три имени, которые представляются мне вечными учителями: Ибсен, Толстой, Ромен Роллан.)

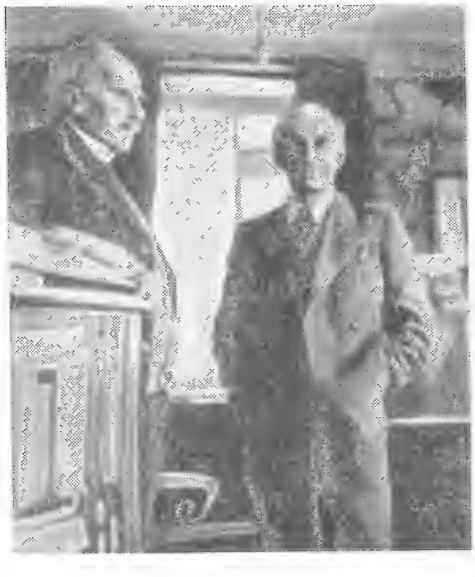
И все же нет, дорогой друг, нет: мне нечего сказать.

Отвечаю тебе по зрелом размышлении; скажу больше (потому что знаю, ты не станешь надо мной смеяться): отвечаю тебе после большой внутренней работы, после мучительной борьбы совести. В течение нескольких дней я готов был считать, что не должен отказываться от твоего предложения, что это нечестно — мне дается возможность скромно признать, чем было для меня появление «Жана-Кристофа» на пороге моего собственного усилия, и я не имею права от этого увиливать. А возможность так соблазнительна для моего исполненного признательности сердца — возможность сказать во весь голос «Спасибо!», открыть этому доброму человеку, которому это наверняка будет приятно, как всякий искренний порыв, устремленный к нему,— открыть, хоть немного, сколько добра, сам того не ведая, он для меня сделал, открыть ему, какой прекрасный пример он мне преподал, какими удивительными стимулами для моих творческих сил явились он и Толстой, его старший брат.

И все же — нет. В самом деле — мне нечего сказать. То, что я чувствую, не поддается анализу. Я попытался — но ничего не остается, все теряешь по дороге. То, что я чувствую, просто нельзя анализировать. Это нечто обыкновенное и глубокое, нечто простое и смутное, как самые большие порывы души, как братская привязанность, как сострадание. В моей преданности ему есть частица неосознанного, о которой я лишь догадываюсь, которая священна, которая облагораживает мое чувство. И эта частичка — драгоценный для меня залог той искренности, которая мне всегда так нужна.

Не думай, что я отступаю из трусости. Ведь ты меня понимаешь, правда? Ты должен понять. «Написать о...» Нет! Я смог бы создать лишь нечто, называемое словесностью, надуманное, профессионально ловкое... Чувства, которые я испытываю к Ромену Роллану,— совершенно другого порядка; я бы стал самому себе противен, если бы прикоснулся к ним. Восхищение не исключает истолкования, но то, что ощущаю я, эта слепая и живительная привязанность,— наверняка его исключает. Если понадобится, я напишу его биографию, как он написал биографию Толстого, и тогда я отдамся на волю фактов, чья последовательность говорит сама за себя. Но препарировать творение столь непосредственное, столь свежее — и только для того,

Р. Роллан и Ж.-Р. Блок, 1926 г. (снимок из журнала «Эроп», посвященного Ж.-Р. Блоку, июнь 1966 г.).



Ромен Роллан у М. Горького, 1935 г. (снимок из журнала «Эроп», посвященного Р. Роллану, ноябрь — декабрь 1965 г.).

чтобы посмотреть, что там внутри? Не могу. Я слишком дорожу личными чувствами, которые, точно узы родства, связывают меня с этим творением. Они лишь утратили бы свою чистоту, свой благотворный внутренний огонь. И, глядя на написанное мною, на ту малость, которую я сумел бы выразить, я почувствовал бы только отвращение и жгучий стыд. Забавы ради я опошлил бы тайную близость, которой я отдаюсь, когда хочу, когда у меня возникает желание — когда я беру в руки такие вещи, как «Бунт», «Подруги»», или «Антуанетта», или «Неопалимая купина», или «Жизнь Микеланджело» Нет, я предпочитаю молчать.

И потом — кто я такой (я не говорю: «Чего я хотел?», я говорю: «Что я осуществил?»), чтобы вылезать на люди со своим наивным одобрением?

Посылаю тебе это письмо, не перечитывая. Может быть, завтра я бы его не отправил, я бы — не открывая перед тобой своего сердца — поддался на твое лестное предложение.

Любящий тебя

Роже Мартен дю Гар.

Жан-Ришар Блок — Ромену Роллану

«Эффор», литературный и художественный журнал, выходит 6 раз в год.

Пуатье, улица Сен-Жак, 2. 7 июня 1910 года.

Мосье,

Имею честь послать вам новый журнал, который я — вместе с несколькими друзьями — попытался создать. Твердо надеюсь, что, прочитав прилагаемый к нему манифест и ознакомившись с принципами редактирования материалов, вы убедитесь, что этот новый орган не представляет собой простого дополнения к нынешней журнальной продукции. Но еще более горячо я надеюсь, что ваше духовное влияние не прошло бесследно для всех нас, для нашего формирования; для нас было бы невыносимым, если бы наш порыв к искренности прошел мимо вас или не был бы вами признан.

Разрешите мне, мосье, воспользоваться случаем и выразить вам свою самую глубокую признательность за то моральное освобождение, которое свершил в нас — и во мне лично — «Жан-Кристоф». Мне было двадцать лет, когда явилась «Заря». И если бы не боязнь, что громкие слова исказят мое признание, я сказал бы вам, что то была для меня заря энтузиазма. С тех пор каждый этап моей жизни, моей молодости был отмечен новым томом «Жана-Кристофа», и каждый новый том освещал мне путь и придавал мужества. Наконец, заброшенный, как Оливье, в захолустье, стараясь, после защиты диссертации и женитьбы, вновь обрести надежду и силы, растраченные за время экзаменов, я смог лишний раз оценить, читая «Подруг», насколько велика ваша прозорливость, мосье,— и насколько велика та моральная помощь, которую вы нам даете.

Может показаться, что я говорю все это лишь для того, чтобы представить перед вами в наиболее выгодном свете наш журнал; но Жан-Кристоф научил нас преодолевать ложный стыд. Из огромного числа благодарных воспоминаний я хотел бы выбрать еще одно. «Жан-Кристоф», как и «Жизнь Бетховена», создает для тех, кто его прочитал, своего рода идеальное франкмасонское братство, о могуществе которого вы сами, мосье, несомненно, и не подозреваете. И в провинции, и за границей случай не раз сводил меня с каким-нибудь незнакомцем, с которым, казалось, меня не связывала никакая общность — ни нравственная, ни умственная; два существа ощупью, в потемках ищут друг друга; музыка, наука, литература — все терпит поражение; не знаешь больше, за что ухватиться; оба чувствуют, что они ускользают один от другого. Вдруг, совершенно случайно, произносится ваше имя; лица светлеют, дружеские чувства снова тянутся друг к другу. Людей, которых я повстречал под этими знаками зодиака, я больше не теряю из виду; мы навсегда связаны общим энтузиазмом, которому нет дела ни до снобизма, ни до профессии,— мы в этом убеждены; и ни разу нам не пришлось раскаяться: все эти люди оказываются самыми достойными существами. Группы, которые создаются вот так, случайно, вокруг «Жана-Кристофа», этого мощного творения, становятся все более многочисленными. Если мое свидетельство вас не убеждает, вспомните, что говорили наши друзья из «Воче».

Просто не знаю, мосье, что я еще должен сделать, чтобы «Эффор» мог заручиться вашей поддержкой; боюсь, что я и так произвел на

вас впечатление человека, ловко устраивающего свои дела. Мне бы хотелось, чтобы в этом письме вы увидели не столько ловкость, сколько искреннее чувство, и чтобы вы просто приняли уверения в моем преданном восхищении и увидели в посылке вам номера «Эффор» знак уважения от всего моего поколения.

Жан-Ришар, кандидат истории
и географии, преподаватель лицея
в Пуатье, главный редактор «Эффор».

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Четверг, 16 июня 1910 года.

Дорогой мосье!

Я пробуду в Париже до 20—25 июля и буду очень рад вас повидать, если вы сюда приедете. Только нужно меня заранее предупредить: я сейчас с головой окунусь во всякие экзамены, защиты, дипломы и проч.

[...] Слушая вас, я снова вижу себя молодым. Надеюсь, вам быстрее, чем мне, удастся пробить стену равнодушия. Во всяком случае, вы будете не так одиноки, ведь вы уже смогли объединить вокруг себя небольшой кружок друзей. Да и эпоха сейчас лучше той, что была двадцать лет назад. Я вспоминаю, в каких слоях общества мне пришлось жить после окончания коллежа до тридцатилетнего возраста — да и позже, и нынешняя атмосфера представляется мне вполне пригодной для дыхания. В воздухе повеяло обновлением, и наша Франция возрождается. Вас это не может так поразить, как меня. Вы-то ведь сами — частица этого обновления, и вам, должно быть, кажется, что оно наступает слишком медленно и вяло. А у меня было достаточно времени, чтобы научиться терпению.

Не падайте духом! Когда мы с вами увидимся, вы мне скажете, чем я могу быть вам полезен. Это доставит мне удовольствие.

Сердечно

ваш Ромен Роллан.

Бульвар Монпарнас, 162.

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Пятница, 7 октября 1910 года.

Дорогой мосье!

Вернувшись в Париж, я сразу же прочитал последние номера «Эффор». Они меня очень заинтересовали, и почти по всем вопросам я чувствую с вами полную солидарность.

Думаю, что одним из ваших главных «усилий» должно стать укрепление определенной взаимосвязи, последовательности, строгого порядка в отношении всех публикуемых материалов. Журнал, подобный вашему,— это не монолог, который можно оборвать на любом месте и снова начать с любого места и в любой момент. Нет, он должен быть последовательным диалогом с другими людьми. Не забывайте, что вам надлежит руководить более слабыми и что это для вас еще важнее, чем просто высказывать свои мысли.

Слабые-то мы все. Временами, чтоб не упасть, нам приходится цепляться за стены. Но у нас все же есть внутренние силы, запасы интеллектуальной и нравственной прочности, каких другие не имеют. Будем же всегда думать о них. Избавим их от некоторых наших ненужных знаний. Будем звать их на тот или иной путь только после того, как сами убедимся в верности этого пути, в правильности выбранного направления. Кроме того, если наш абсолютный долг — не строить никаких иллюзий относительно наших же собственных слабостей, то уж не будем взваливать их груз на тех, кто слабее нас. Не будем увлекать их во мрак наших тревог и сомнений, не показывая им при этом света, не показывая звезд. Станем сами путеводной звездой для пастухов.

Я знаю, что и вас волнуют такие же чувства. Я позволяю себе их высказать, чтобы вы еще живее их ощутили.

Примите, дорогой мосье, мои поздравления по поводу ваших статей и уверения в самых дружеских чувствах.

Ромен Роллан.

Жан-Ришар Блок — Ромену Роллану

Пуатье, 12 октября 1910 года, среда.

Мосье!

Я бесконечно благодарен вам за внимание, с каким вы отнеслись к нашему скромному журналу. Ваше одобрение, более того, ваши советы — это поддержка, и она, прошу мне поверить, пришла очень кстати. Ваше второе письмо самым неожиданным образом положило конец мучительным часам отчаяния и одиночества. [...]

◆

Жан-Ришар Блок — Ромену Роллану

Четверг, 2 февраля 1911 года.

[...] Нынешнее время благоприятствует прекрасной энергии и щедрому сердцу. Никогда еще жизнь не казалась мне такой великолепной, как сейчас. И поверьте мне, мосье, в начале человеческой жизни происходят порою встречи, которые предопределяют многое из того, что предстоит сделать.

Эта возрастающая зависимость от ожиданий, которые возлагают на вас окружающие, может быть, и делает «Жана-Кристофа» произведением такой *важности*. Это не роман, и не исповедь, и не памфлет, и не пророчество. Это произведение, которое словно бьет фонтаном из нас самих. Тот факт, что вы сами ощущаете эту растущую зависимость, делает еще более тесными узы, которые связывают ваши мысли и чувства с мыслями и чувствами всего мира, с нашими мыслями и чувствами. [...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Отель «Шоннег», Шпиц.

Четверг, 6 июля 1911 года.

Дорогой мосье Ришар, я все еще далеко от Парижа и вернусь в Париж не раньше октября. Если бы не мои французские друзья, мне бы и вовсе не хотелось туда возвращаться. Нигде я так не чувствую себя настоящим французом, как за пределами Франции,— но французом свободным, братом других народов. Если хочешь хорошо слышать симфонию, нельзя садиться слишком близко к оркестру. А здесь я — на самой хорошей дистанции и прекрасно слышу весь оглушительный гам, поднимаемый парижскими журналами, газетами, лигами и контрлигами, и даже могу уловить в нем какую-то мелодию.

С неизменной сердечностью

ваш Ромен Роллан.

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Отель «Шоннег», Шпиц.

Пятница, 7 июля 1911 года.

Дорогой мой друг, мне только что прислали вашего «Леви». Он меня поразил. Он нравится мне больше всех остальных ваших произведений, которые я читал. Меня удивит, если другие читатели не будут столь же поражены. Мне сейчас трудно анализировать свои впечатления: я сам с головой в работе — но поздравить вас мне хочется без промедления. Здесь слышится голос, какого еще не слышали во Франции. Единственное замечание: у вас явная склонность к карикатуре, не стоит ее подавлять (если она является частью вашего творческого темперамента и вашего видения мира), но будьте с ней осторожны, здесь важна мера. Один и тот же человек может быть и смешным, и трогательным. Есть две разные формы видения — глазами и сердцем. Очень важно, чтоб обе они гармонически уравновешивались в творчестве. [...]

Преданный вам Ромен Роллан.

Когда читаешь любой номер «Нувель ревю франсез», всегда одно и то же впечатление. Я задыхаюсь. Много таланта, но нет воздуха. Словесность, словесность. Впрочем, в других журналах — то же самое, только поменьше таланта. И я понимаю, что здесь-то и кроется главная причина моего отвращения к жизни в Париже. Я не могу в нем дышать. [...]

◆

Жан-Ришар Блок — Ромену Роллану

Ля Меригот, 12 июля 1911 года.

[...] Когда вы говорите, что работаете, я думаю обо всех тех, кто ждет во Франции ваших книг. То, что вы пишете, необходимо, как воздух, нашему Обществу. Простите, что говорю вам об этом так прямо, но я знаю, кем вы для всех нас являетесь. [...]

Жан-Ришар Блок — Ромену Роллану

Ля Меригот, 7 августа 1911 года.

Дорогой мосье!

Довольно много дней прошло, как я получил присланную вашим издателем «Жизнь Толстого», и если я запоздал с ответом и до сих пор не поблагодарил вас, дело не только в сильнейшем приступе головных болей, который случился со мной за эти дни, дело прежде всего в том, что я три раза подряд перечитывал ваше произведение и что все эти две недели я жил только им и в нем. Скажу вам не только о том, что эта книга, на мой взгляд, стоит в одном ряду со всеми предыдущими вашими произведениями — если мне будет позволено именно так сформулировать свое суждение,— но еще и о том, что она — новая моральная гиря, брошенная на весы нашей совести, и именно в тот момент, когда чаши весов общественного сознания удивительным образом опустели.

Уже в книгах о Бетховене, о Микеланджело проявилось ваше главное стремление — показать великую душу через великое творчество. А здесь перед нами — душа, которая ведет за собой, на самые величественные высоты, ведет за собой творчество хоть и исполинское, но все же уступающее этой душе.

Неменьшая благодарность вам и за то, что вы открыли для нас истинного Толстого. Вы могли, очевидно,— во время последней нашей встречи, когда я имел удовольствие беседовать с вами,— отдать себе отчет, с каким трудом постигал я главные черты толстовского характера. Дело, несомненно, в недостаточной осведомленности: я прочитал далеко не все, что у нас переведено из Толстого. Но дело еще и в недостаточной любви. Проницательность, которая выработалась в вас тридцатью годами любви к его мужеству, позволила вам свершить этот подвиг — подвиг, какого не свершил никто другой. Во всяком случае, об этом свидетельствуют мои чувства — ни одна работа до сих пор не смогла их затронуть; портрет же, созданный вами, их потряс.

[...] Две стороны предстают передо мной особенно наглядно — это художественные воззрения Толстого и его религиозная доктрина. Впрочем, я должен просить извинения за слово «доктрина», употребленное там, где речь должна идти лишь о страсти. Резкие суждения Толстого о западном искусстве, в частности о Шекспире и Вагнере, его проклятия в адрес музыки, непонимание им Бетховена — все это мешало нашему восхищению Толстым. Не могу выразить, какое удовлетворение и облегчение принесла нам ваша книга. Ваши оценки так беспристрастны, что все оправдания и все объяснения, которые вы даете, полностью нас убеждают. Именно так произошло со мной. Никогда еще мне не удавалось так хорошо понять того исключительно русского и, в еще большей мере, исключительно деревенского начала, воплощением которого был Толстой. И этим объясняется великая восточная возможность самоотречения, которая составила основу его веры, и в неменьшей степени объясняется его непонимание того болезненного искусства, в котором Запад пытался избавиться от своих жизненных мук. Особенно потрясла меня одна ваша фраза: «Пожалуй, ненависть Толстого была бы приятнее Бетховену, чем любовь теперешних его поклонников». Она все прояснила. Враждебность Толстого — не холодность, а высшая степень страсти. Это — патологическое воздействие музыки на его организм. Одним словом, возможность восприятия музыки, доведенная до такой степени, когда это восприятие становится невыносимым, почти гениальным. Это — ненависть равного к равному, а не слуги к хозяину. Должен вам признаться, что во время первого чтения вашей книги, пока я еще не дошел до этого места, я внутренне сопротивлялся, предчувствуя, что вот-вот вы подойдете к «Крейцеровой сонате», к «Что такое искусство?»... Дойдя же до этого места, я понял, что преграда рухнула, и я увидел — мне показалось, что я увидел,— того самого Толстого, которого с давнего времени видите вы.

[...] Ваша книга заставила меня понять, что Толстой — первый и во всяком случае самый могучий из апостолов, которые обращались, как *современные люди*, к страждущим *современного мира*. Вот уже два века, как существует пролетариат, состоящий из людей, которые считаются *свободными* (в договорном, законодательном смысле этого слова), но впервые появился человек, который подумал об условиях, необходимых для того, чтобы привнести в наш мир хоть немного добра, справедливости, «достатка». И в этом смысле ваша книга — событие нашей духовной жизни. Она является им в той же мере, в какой была сама жизнь Толстого. [...]

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Шенбрунн. Четверг, 10 августа 1911 года.

Дорогой мой друг!

Ваше письмо доставило мне наивысшее удовольствие. Удовольствие не только оттого, что вы меня хвалите. Но оттого, что я прочел несколько ваших суждений, которые, на мой взгляд,— самые глубокие из всего, что говорилось о Толстом. Я хотел бы, чтобы, независимо от ваших оценок моей книги, вы опубликовали бы все то, что в вашем письме относится к Толстому.

Вы спрашиваете, как примирить идеи Толстого с законными требованиями жизни.

«Толстой,— пишете вы,— побуждает меня жить так, как я до сих пор жить не умел, жить по законам его добродетели; но стоит мне этого достичь — и мое поведение превратится в самоотречение и вступит в противоречие с самыми законными импульсами моей натуры».

Дорогой друг, вы забываете, что этого идеала Толстого вам никогда не достичь, и никому его не достичь, даже самому Толстому. Прочтите в моей книжке, что пишет Толстой в послесловии к «Сонате» на тему об идеале христианского целомудрия. И главное, прочтите на последней странице книжки последнее примечание, завершающее «Жизнь»,— примечание о разбойнике на кресте (у меня здесь нет под рукой моей книги). Оно — ключ к моральной и религиозной идее Толстого. Для него верить — это не обладать, а хотеть; добродетель — это не самое совершенство, а постоянное восхождение к совершенству, которого никогда не достигнешь. Идеал Толстого — это движение и постоянное усилие.

Если весь мир станет Толстым, думаете вы, мир остановится. Если мир станет Толстым, мир достигнет цели; судьбы свершатся; он созреет для смерти — для прекрасной смерти, которая будет не уничтожением, а завершением прекрасного творения жизни.

Вот почему героическое толстовство — толстовство Толстого — является принципом действия, открывающим перед человеческой энергией такое поле деятельности, которого ей никогда не исчерпать.

Впрочем, имеются и другие принципы действия; я не отвергаю ни одного из них. Мир — это симфония. Каждый инструмент исполняет свою партию. Нужно постараться прочесть партитуру дирижера. Тогда сможешь еще лучше исполнить свою партию. [...]

◆

Жан-Ришар Блок — Ромену Роллану

Версаль, улица Морпа, 43. 10 ноября 1911 года

Дорогой мосье!

Опять я обязан вам одним из самых сильных впечатлений в своей жизни. Я только что получил вторую часть «Неопалимой купины» — она пришла из Пуатье, где не застала меня.

Я сразу погрузился в нее, словно только вчера закончил первую часть, а с тех пор прошло уже две недели. С первой страницы она властно захватила меня, что всегда происходит, когда читаешь ваши книги. Но я не могу вам передать, как я был взволнован, как восхищен богатством нахлынувших на меня впечатлений. Все то, чем обязано вам наше поколение, растет от тома к тому и становится просто неоценимым. Я думаю о том, что меньше чем за два года вы подарили нам «Генделя», «Жизнь Толстого» и «Неопалимую купину»,— и спрашиваю себя, кто другой смог бы свершить подобное и так ответить на наши чаяния и страдания. Вот уже восемь лет, после выхода вашего «Бетховена», как для нас стало потребностью всегда обращаться к вам. И вы ни разу нас не обманули. Но скажите, мое ли понимание стало более зрелым или сам Жан-Кристоф повзрослел? Или я незаслуженно выделяю ваше последнее произведение из всего, что создано раньше? Никогда Кристоф так не волновал меня, как сейчас. В повествовании, в веренице поднимаемых вами проблем, в трагической настроенности — во всем этом такая полнота, что я едва перевожу дух. В первой части явственно предстает ваше намерение разделить первоначального героя на две противоположные и вместе с тем глубоко друг с другом связанные силы — Кристоф и Оливье. То, что вы говорите о революционном движении *, поразительно справедливо. Недостойные руководители, произвольная доктрина, но им противостоит коллективная вера, энтузиазм, героизм и самопожертвование. И в этом — величие движения. Как я рад, что у вас хватило мужества показать Кристофа равнодушным к разглагольст-

* Речь идет о социалистическом движении во Франции до первой мировой войны.

вовлиям и рассуждениям, но захваченным религиозной страстностью, которая одушевляет синдикалистов. Не думаю, чтобы кто-то другой сказал об этом до вас, и сказал так достойно. Вы почувствовали важность, какую приобретает эта проблема для всех нас. И если мы в самом деле признали вздорность прямолинейно-утилитарного искусства, мы никогда не вернемся под этим предлогом к не менее вздорному искусству для искусства. Кристоф на баррикадах — вот искусство, ставшее рупором общественной религии, двигателем героизма, исступленным восторгом (священным или нет) народа. Но Оливье, убитый из-за Кристофа,— это художник, которого оскорбляют те самые люди, кто вдохнул в него энтузиазм и для кого он пел.

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Воскресенье, 14 января 1912 года.

Дорогой мой друг!

Мне не хотелось бы, чтобы хоть одно мое слово встревожило вас или причинило вам боль. Однако мне кажется полезным вас предупредить. Это мой дружеский долг. Меня порой немного беспокоит, что вы с одинаковым пылом отдаетесь самым различным и даже, пожалуй друг другу враждебным идеям и направлениям в искусстве. Разумеется, я разделяю ваше желание все понять и обо всем судить с доброжелательностью. Но речь идет о том, чтобы знать, река ли движется или движутся облака, отраженные в ней. Вы мне скажете, что она может двигаться, одновременно отражая в себе облака. Да, но надо, чтобы мы знали, в какую сторону она течет. Иначе у нее должны быть очень уж соблазнительные берега, чтобы нам хотелось долго по ним идти.

«Куда она течет» — скажете вы.— Кто же этого не знает? Разве мы не твердим об этом каждый день?» Верно. Но, если говорить честно, мне кажется, что в вашем журнале есть две совершенно разные вещи: намерения, теории, программы, с одной стороны,— их осуществление (произведения и их разбор), с другой. Это два мира. Они не всегда между собой согласуются. И даже внутри каждого из этих миров есть свои несоответствия. Искренне говоря, я не понимаю, как любовь к Толстому и Уитмену можно примирить с любовью к искусству на манер Жида или Дюамеля. Я не высказываю сейчас критики в их адрес. Но если еще хоть как-то можно принять их в плане чисто критической мысли, мысли созерцательной и статичной, то им совершенно чужд (на мой взгляд) дух творческий и созидательный.

«Не чужд»,— говорите вы. Что ж, докажите. По крайней мере это будет интересно и полезно. А пока это не доказано, я позволю себе сомневаться.

Недавно я провел вечер с двумя старыми и близкими друзьями Толстого, французом и русским. Француз рассказал мне, как однажды он принес Толстому какое-то произведение Жида, которое ему самому очень нравилось. Толстой, жадный до всяких художественных новинок, стал слушать. Не прошло и пяти минут, как его охватила ярость, и он не мог успокоиться до конца чтения. Потом, уважая мнение своего друга, он взял книгу и прочел ее сам; второе чтение рассердило его еще больше. Я слушал, как француз, рассказывая мне об этом, удивлялся, почему Толстой не оценил этого произведения, а я еще больше удивлялся тому, как хоть на миг можно было предположить, что Толстому понравится Жид — и при этом Толстой останется Толстым

Повторяю, я не собираюсь критиковать Жида. Я и назвал-то его лишь потому, что он галантлив. Быть может, его искусство — самого высокого качества. Но оно несовместимо с искусством Толстого. Вы хотите, чтобы ваш журнал стал собранием умных и живых противоречий, расширяющих свободу духа? Ну что ж. Но тогда он будет журналом дилетантским — озером, где отражается переменчивость небес. Подумайте об этом. Может быть, это тоже по-своему благородная задача. Но если вы хотите действовать, тогда нужно осуществить единение ума, который все понимает, и творческого действия.

Знаю, такое не делается в один день. Но это должно стать делом всей жизни.

Прошу вас видеть в этом письме, как и во всех моих письмах, свидетельство моей к вам привязанности и верить, дорогой друг, в мою сердечную вам преданность.

Ромен Роллан.

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Рим, отель «Элизэ» Понедельник, 15 апреля 1912 года.

Дорогой мой друг!

Я, пожалуй, уже десятый раз в этом городе, но больше, чем когда-либо, чувствую, чем я ему обязан. Думаю, в создании «Жана-Кристофа» он повинен не меньше, чем я сам. Отсюда видишь мир (наш западный мир) совсем иными глазами, чем сидя в наших современных столицах, и удивительная гармония, которая царит здесь между небом, светом, землей, течением реки, цветом домов, вещами и людьми,— это самый великий урок искусства, который может почерпнуть художник. Не знаю, бывали ли вы в Риме. Рано или поздно необходимо в нем побывать. Я считаю, что дух европейца может достичь истинной полноты и спокойного развития лишь после посещения Рима. Каждый черпает здесь то, что ему необходимо; здесь хватит духовной пищи на все расы человеческой мысли. Но все дороги Рима ведут к суверенности — к господству над самим собой.

Уродства современного города, невольный ущерб, нанесенный чужеземными завоевателями (пьемонтцами), которые после стольких других завоевателей (французов, испанцев, северных варваров, да и собственных императоров) обосновались здесь,— все это мало-помалу скрылось, растворившись в царственной атмосфере Рима. Деталь исчезает. У этой земли — молчаливая и страстная душа, которая завоевывает всех своих завоевателей.

На днях я испытал большое удовольствие. В одной вилле ко мне подошел молодой немецкий врач, которого я не знаю, и сказал мне, какое впечатление произвела на него и на его друзей моя книга. Он из Страсбурга, сын немецкого чиновника. Проблема двух противоборствующих цивилизаций тревожит его уже несколько лет. Я ощутил, что мой труд помог смягчить в некоторых германских душах ту враждебность по отношению к Франции, к которой их принуждают, и что теперь они тянутся к нам, повинуясь неодолимому и наивному влечению. Уже не впервые сталкиваюсь я с этим влечением у многих лучших представителей нынешней Германии. Но, слушая молодого доктора Курциуса, я ощутил с особенной остротой, какова в наши дни сила французского духа. Если нам удастся еще двадцать лет прожить без войны, если мы будем по-прежнему развиваться в мирном труде и умственной деятельности — я уверен, что через двадцать лет Франция окажет на Европу влияние, равное тому, какое она излучала в XVIII веке. [...]

◆

Жан-Ришар Блок — Ромену Роллану

19 июня 1912 года.

[...] Мне кажется, никогда еще я не жил в таком глубоком и неизменном единстве с вашими мыслями. Я получил наконец письмо, которое вы мне послали на адрес «Нувель ревю франсез». Когда-нибудь я расскажу вам, какой урок я из него извлек. Оно сделало меня сильнее, словно к моей жизни прибавился сразу десяток лет опыта.

Только вам одному удалось, говоря со мной о моих книгах, преодолеть завесу частностей и проникнуть к самым истокам. То, что вы говорите о моих недостатках,— абсолютная правда. Я их знал. Но ваш голос, придя извне, помог мне уточнить это знание. И благодаря вашему письму после трех месяцев глухой внутренней работы у меня родилось убеждение, что если я убью в себе свои недостатки, из этого не выйдет ничего хорошего, что наоборот, я должен их ассимилировать и превратить их в активную силу, такую же, как мои достоинства. Нельзя ничего в себе убивать. Нужно овладеть и использовать.

Теперь вы понимаете, дорогой друг, чем я занимался все эти три месяца своего молчания?

Ваше второе письмо, дошедшее до меня почти сразу после первого, рассказало мне об Италии и, в свою очередь, открыло шлюзы новым раздумьям. [...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Шенбрунн, пятница, 9 августа 1912 года.

Будь я Жаном-Кристофом, я никогда не смог бы написать Жана-Кристофа и еще того менее — всю толпу товарищей, друзей и врагов Жана-Кристофа. Художником можно быть лишь тогда, когда ты полностью — в творимых тобой образах, но и когда ты совершенно отстраняешься от них после завершения работы, отстраняешься с той мощью равнодушия и забвения, какая присуща природе. Я могу

воздать себе должное — теперь, когда разрезана нить, соединявшая меня с Кристофом. [...]

◆

Жан-Ришар Блок — Ромену Роллану

Ля Меригот, 17 октября 1912 года, вечером.

Это должно было свершиться. Все шло к этому, и ничего нельзя было поделать. Но я до сих пор не могу постичь, как у вас хватило мужества.

Я вас сегодня ненавидел, как можно ненавидеть только судьбу. Вы убили Кристофа. Вот я написал эти два слова, и мужество меня покидает.

Я думаю, что вы сами не в состоянии измерить всю огромность горя, которое вы нам причинили. Мы видели, как родился Кристоф. Это было и нашим рождением. Он рос — *для нас*; каждый из нас снова пережил его детство вместе с ним, вместе с ним понял свое детство, которое Жан-Кристоф помог нам очистить и освятить. Какую признательность испытали мы в самых сокровенных глубинах своего существа, когда он пришел и нашел нас! Это было в 1904 году, восемь лет назад. Восьмилетнюю дружбу не разрушишь за час. Он никогда нас не покидал. Мы всегда знали, что он опять придет, опять увлечет нас за собой, мы снова обретем его — его ясность, его могучее умение все понять, его прозорливость в окружающей нас тьме, его доброту, которая прощала, его чистоту, которая обвиняла, его жизнь, которая искупала прошлое из любви к будущему. И никогда он не обманул нас. Больше он не придет. Кристоф умер. [...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Пятница, 18 октября 1912 года.

Er starb, ein Mensch wie alle...*

Я испытывал вашу боль каждый раз, когда на моих глазах умирал один из тех великих, кого я любил: Толстой, Вагнер, Бетховен (ибо я *видел*, как они умирают)... Я испытал эту боль, когда увидел, как пал Зигфрид — в конце четвертого дня фестиваля в Байрейте... Так нужно. *Es muss sein...*** Человек закалки Кристофа не будет плутовать, играя со смертью.

И затем — это хорошо. Нужно, чтобы Кристоф умер вместе с поколением, которое он воплощает, чтобы новая жизнь могла свободно расцвести. Я захотел воздвигнуть памятник прошлому. Когда я его задумал, мой друг, я хотел, чтобы он стал *моим завещанием*. С тех пор я помолодел. Чтобы дать дорогу будущему, я рублю топором старое дерево, таков закон жизни.

Не думайте, что я делаю над собою усилие, заставляя себя любить то, от чего я страдаю. Таков инстинкт моего духа — любить все, что живет, независимо от того, причиняет ли оно мне добро или зло, и особенно сильно любить то, что живет особенно сильно. Только вот тело мое меня предает, но это не его вина, оно родилось крепким; детские болезни случайно повредили инструмент, но он по-прежнему верен своей природе и любит то, что естественно должен был любить,— жизнь со всеми ее опасностями и со смертью, ее сестрой-близнецом.

Спасибо вам за чудесное письмо. Ненавидьте меня как следует.

Я вас как следует люблю.

Ромен Роллан.

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Вторник, 19 ноября 1912 года.

Дорогой мой друг!

Мы ведь условились, что вы придете в пятницу, под вечер, верно? Если у вас что-либо изменится, предупредите меня.

Я должен перед вами извиниться, что пошел на выставку Нодена без вас. Чтобы увидеть что-то новое, я должен быть один. Когда ты с кем-нибудь вдвоем, ты обязан слишком быстро формулировать свое суждение — прежде, чем оно у тебя появится, а это — прекрасное средство вообще не иметь никаких суждений.

Любящий вас Ромен Роллан.

---

* Он умер, такой же человек, как все *(нем.)*.
** Так должно быть *(нем.)*.

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Четверг, 28 ноября 1912 года.

[...] Дорогой друг, я не оспариваю ваших духовных устремлений. Я бы предал мою первую заповедь — любовь к свободе,— если бы хотел навязать свои идеи друзьям. Совершенно естественно, что у двух человек разного возраста и разных темпераментов — разные взгляды на искусство и действие; и это очень хорошо. Что касается меня, у меня нет ни малейшей потребности «искать самого себя» в мятущемся хаосе. Я спокоен, знаю свои основные законы и законы больших потоков. Я могу и хочу отдаться на волю волн. Если шлюзы закрыты, я должен их прорвать — или вообразить, что они прорваны. Но не торопитесь достичь моего возраста и моего бескорыстного отношения ко всем теориям. Ныне я более свободен, чем десять лет назад, когда начинал «Кристофа», и надеюсь, что буду еще свободнее через десять лет, если только доживу. Не спешите. Будьте самим собою. Я вас люблю таким. Совершенно очевидно, что мне ближе теории революционные, чем теории неоклассические, поскольку первые хотят ускорить жизнь, а вторые — ее затормозить.

Единственная вещь, в которой я вас упрекнул бы, это проповедь теорий революционного искусства и одновременно порицание тех, кого они прельщают. А ведь вы должны быть готовы к тому, что у вас появятся последователи. Иначе зачем было издавать журнал. Достаточно было бы отдельной книги. Вы становитесь во главе группы, во главе маленькой армии. Так наметьте же цель и ведите к ней людей. Достигнув цели, вы можете передать командование другому. Но не попрекайте своих людей за то, что они следовали за вами.[...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Суббота, 6 декабря 1913 года.

[...] Единственное мое желание — хоть раз прочитать во Франции умную критическую статью о «Жане-Кристофе». В самом деле, я возмущен (как вспомню все прочитанные статьи) бедностью французской жизни. По-моему, ни один критик не заметил в моем произведении *живых людей*. Говорят только об *идеях*! И это — о «Жане-Кристофе», где идеи существуют лишь в поступках персонажей! Одним критикам они нравятся, другие идут на них войной... и никто не догадывается, что все эти идеи в той же мере — мои, в какой сам я — Кристоф, Оливье, Шульц, Леви-Кер и все женщины в книге. Я воспринимаю идеи через персонажей — даже в том случае, когда не вкладываю их непосредственно в чьи-то уста и когда они принимают объективную форму, выражаются отвлеченно, словно от имени некоего оракула. Идеи — это своего рода идеологическая атмосфера, в которой живут и дышат герои книги, каждой книги. Отсюда и противоречивость, в которой меня упрекают и которая меня радует. Я никогда не выражаю свою мысль формулами. Я выражаю ее в людях, чьи связи и столкновения образуют симфонию. Ритмы и аккорды в мире душ — вот та плоскость, в которой движется моя мысль. Как это хорошо — прекрасный аккорд, живая душа в каждый миг своего хрупкого равновесия! Простые ритмы простой жизни — они божественней любого эсхиловского рока! [...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Четверг, 24 сентября 1914 года.

[...] Нет никакого сомнения в том, что первый враг, первый, кого надо сразить ради спасения Европы, это прусский империализм — воплощение гордыни, жестокости и лжи,— который угрожает миру и отравляет своим ядом Германию.

Но не надо строить иллюзии и думать, как это делают во Франции, что Германия защищает только дело феодализма, а союзники — дело свободы. Это было бы явным упрощением. Трагедия схватки, в которую наши народы брошены *империализмами* своих государств (империализмами разного сорта и разной степени ядовитости),— в том, что каждый народ сражается за свободу. Против Франции 1793 года поднимается (вы этого и не подозреваете) Германия 1813-го. [...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Агентство военнопленных, Женева 1 ноября 1914 года.

Испуганный Оллендорф * только что написал мне, чтобы я перестал писать: книготорговцы начинают бойкотировать «Жана-Кристофа». Вы, конечно, понимаете, что это не заставит меня говорить не то, что я должен говорить; мне не хотелось бы больше жить, если бы я поступился своей совестью. И не только ради себя самого, но и во

* Издатель Ромена Роллана (ныне издательство Альбен Мишель).

имя чести Франции я буду защищать то, что считаю справедливым и человечным.

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Агентство военнопленных, Женева, 23 ноября 1914 года.

[...] Вы не поверите, мой друг, как много я постиг и как расширился мой горизонт за эти три месяца. Так или иначе, для каждого из нас этот год явится великим испытанием. Лишь бы окончание войны застало нас в живых! Ибо тогда-то и надо будет жить, и уж постараемся до этого времени дотянуть. [...]

◆

Жан-Ришар Блок — Ромену Роллану

18 февраля 1916 года.

[...] Пишу вам с самого дна замерзшей грязной лужи, сидеть в которой — общий удел обеих воюющих сторон на этом унылом участке фронта, где я догнал свой полк. После недели на передовой нас отвели на отдых. Местные атаки немцев, отличавшиеся невероятной яростью и предваряемые артиллерийскими налетами, ни к чему не привели. Но фронт, по утверждению сводок,— *активен*, как никогда. Нервное напряжение делает окопную жизнь еще тяжелей, да и зима наддает жару. Долгие вечера в подземных блиндажах я заполняю чтением — читаю тоненькую книжку толстого Гиньебера о «Проблеме Христа» и великолепную переписку Гете и Шиллера.

Моральный дух людей, окружающих меня, можно определить как сочетание гибкой выносливости, мудрого и скептического понимания обстановки, крестьянской терпеливости и порой жертвенного величия, перед лицом которого кажутся мелкими и ничтожными наши интеллигентские горести. [...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Четверг, 20 июля 1916 года.

Дорогой друг!

Только сегодня утром я узнал из письма вашей невестки к моей сестре, что вы опять ранены. Мой бедный дружище, вы можете конкурировать с самыми знаменитыми обломками нашей истории! Я позволяю себе шутить, потому что мне сказали, что ваше ранение — не тяжелое. Так ли это? Во всяком случае, остановитесь на этом. Надеюсь, что вы не станете в четвертый раз искушать судьбу. Корнель и Шекспир были бы чрезвычайно удивлены, узнав, во что превратилось в наши дни ремесло писателя. [...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Четверг, 17 января 1917 года.

[...] Разумеется, многие из ваших мыслей за последние два года мне совершенно неизвестны; я воздерживаюсь от всякого суждения на этот счет, твердо уверенный в их благородстве и искренности, а это для меня главное. Даже допуская, что ваши идеи противоположны моим (а это не так), я всегда оставляю за другими и за собой право свободно мыслить и свободно высказывать то, что думаешь. Меня возмущают только нетерпимость и угнетение, особенно когда они лицемерны, как ныне. Поверьте, дорогой Жан-Ришар, что я всегда думаю о вас с нежностью и что ваша верная дружба придает мне силу. Сохраните ее для меня, сохранив себя самого: после войны у нас будет общее великое дело. [...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Четверг, 24 октября 1918 года.

[...] С самого начала войны нашей истинной, чистой и верной французской политикой должна была стать (и я не уставал твердить об этом) политика установления связи с антивоенными течениями в Германии политика их поддержки и укрепления. От этого мы самым идиотским образом отказывались на протяжении двух лет; обливали грязью тех из нас, кто с симпатией говорил о мятежных умах в Германии (разве не оскорбляли меня долгие месяцы и чуть ли не обвиняли в предательстве за то, что я обменялся письмами с несколькими мужественными независимыми социалистами из «Нейес фатерланд»?). Через два года начали исправлять допущенную ошибку и официально (через посольства и т. д.) поддерживать кое-кого из беженцев, помогая опубликованию некоторых сенсационных

материалов. Но это делалось топорно, слишком часто привлекались случайные люди, которые, попирая собственное достоинство, переходили на службу к Антанте и теряли таким образом всякое влияние на честных людей своей страны. Принимались с распростертыми объятиями те эмигранты, которые исповедовали германофобию или призывали на голову своей страны чужеземные силы, но отвергались честные граждане, которые хотели освободить Германию, не выдавая ее в руки чужеземцев. [...] Главное, никто не решается открыто сказать, чего же хотят от Германии, каких внутренних реформ — либеральной конституции? Республики? Все делается неискренне; пытаются с выгодой использовать ситуацию, не давая при этом никаких обязательств. Разве в этих условиях германская оппозиция может не опасаться, что ей хотят навязать роль дурачков? Наконец, в Германии есть и настоящее революционное движение, о котором пресса говорит очень глухо, пресса как немецкая, так и французская, и швейцарская (швейцарская, пожалуй, особенно глухо). Это то, что называют (вполголоса, точно речь идет о каком-то пугале) немецким «большевизмом». Он и в самом деле существует. Но «большевизм» вообще внушает буржуазии всей Европы такой священный ужас, что она в страхе и ярости несет полный вздор, стоит только заговорить о нем. На этой почве буржуа Франции, Швейцарии и Германии готовы кинуться друг другу в объятия. Швейцарцы, пожалуй, больше других теряют всякое хладнокровие, когда говорят о большевизме. Вы просто не представляете себе, насколько консервативна эта «республиканская» буржуазия Женевы, Лозанны, Берна и т. д. Я вам когда-нибудь расскажу, с какими муками удалось мне напечатать в «Журналь де Женев» свою статью о Жоресе. (Это — между нами.) Для них знамя — Луи-Филипп. Так что вы можете понять, какими глазами смотрят они на угрозу большевизма — даже у народа, который они ненавидят.

[...] Мой вывод таков: пора французской республике решиться стать Республикой и говорить правдиво и откровенно, как подобает Республике. Хватит «Священных Союзов», которые являются насмешкой и святотатством! Мы претендуем на то, чтобы представлять в мире великие принципы Свободы. Так пора же их в самом деле представлять — без обиняков, без компромиссов! [...]

◆

Ромен Роллан — Жану-Ришару Блоку

Воскресенье, 24 ноября 1918 года

Дорогой друг!

Я счастлив при мысли, что вы завершили свои героические труды и что Франция победила. Хотелось бы только знать, не победила ли она для того, чтобы подавить Революцию в России и Либкнехта в Берлине. Хотелось бы также знать, принесут ли ближайшие месяцы истинный мир или оставят в ранах народа отравленные занозы страдания и ненависти. [...]

ПУБЛИЦИСТИКА

А. СТАРЦЕВ

ЛЕНИН И «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР»

1

Все знают эти ставшие классическими строки из «Десяти дней, которые потрясли мир». Рид — в Смольном. 2-й Всероссийский Съезд Советов только что принял по докладу Ленина декрет о мире.

«Неожиданчый и стихийный порыв поднял нас всех на ноги, и наше единодушие вылилось в стройном, волнующем звучании «Интернационала». Какой-то старый седеющий солдат плакал, как ребенок. Александра Коллонтай потихоньку смахнула слезу. Могучий гимн заполнял зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо. «Конец войне! Конец войне!» — радостно улыбаясь, говорил мой сосед, молодой рабочий А когда кончили петь «Интернационал» и мы стояли в каком-то неловком молчании, чей-то голос крикнул из задних рядов: «Товарищи, вспомним тех, кто погиб за свободу!» И мы запели похоронный марш, медленную и грустную, но победную песнь, глубоко русскую, бесконечно трогательную. Ведь «Интернационал» — это все-таки напев, созданный в другой стране Похоронный марш обнажает всю душу тех забитых масс, делегаты которых заседяли в этом зале, строя из своих смутных прозрений новую Россию, а может быть, и нечто большее...

Вы жертвою пали в борьбе роковой
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу...

Настанет пора, и проснется народ,
Великий, могучий, свободный,
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный!

Во имя этого легли в свою холодную братскую могилу на Марсовом поле мученики Мартовской революции *, во имя этого тысячи, десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках. Пусть все свершилось не так, как они представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция. Но все-таки свершилось — буйно, властно, нетерпеливо, отбрасывая формулы, презирая всякую сентиментальность, истинно...» **

Читатель наших дней, размышляющий о событиях Октябрьской революции в канун ее 50-летия, воспримет эти строки Рида как исторический эпос. Однако через год после Октября, когда Джон Рид писал свою книгу, они имели острополемическое звучание, были защитой революции против ее врагов.

Вот что писал о том же заседании 2-го Съезда Советов другой человек, тоже присутствовавший в зале Смольного,— меньшевик Суханов:

«Весь президиум во главе с Лениным стоял и пел с возбужденными, одухотворенными лицами и горящими глазами... Рукоплескали, кричали «ура», бросали вверх шапки... Но я не верил в победы, в успех, в «правомерность», в историческую миссию большевистской власти. Сидя в задних рядах, я смотрел на это торжество с довольно тяжелыми чувствами. Как бы я хотел присоединиться к нему, слиться в едином

* Рид датирует все события по новому стилю и называет Февральскую революцию Мартовской и Октябрьскую — Ноябрьской.

** Джон Рид. «Десять дней, которые потрясли мир». М., Госполитиздат, 1939 г. Книга Рида и далее цитируется по этому изданию (перевод А. И. Ромма).

чувстве и настроении с этой массой и ее вождями! Но не мог...» *

Плаксивость выдает меньшевика-«новожизненца» — Либер, Дан и другие правые меньшевистские лидеры уже нащупывали в это время контакты с буржуазией для создания единого антибольшевистского фронта,— но в меланхолических раздумьях Суханова полностью присутствует основной общеменьшевистский тезис: большевистская революция «неправомерна»; она выполнена «не по Каутскому», а потому не имеет исторического права на существование.

В январе 1923 года, прочитав третью и четвертую часть «Записок о революции» Суханова, Ленин писал в известной статье «О нашей революции»:

«Россия не достигла такой высоты развития производительных сил, при которой возможен социализм». С этим положением все герои II Интернационала, и в том числе, конечно, Суханов, носятся, поистине, как с писаной торбой. Это бесспорное положение они пережевывают на тысячи ладов, и им кажется, что оно является решающим для оценки нашей революции...»

И далее:

«Слов нет, учебник, написанный по Каутскому, был вещью для своего времени очень полезной. Но пора уже все-таки отказаться от мысли, будто этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой истории. Тех, кто думает так, своевременно было бы объявить просто дураками».**

Борьба с антиреволюционностью и предательской деятельностью международного меньшевизма занимала одно из главных мест в теоретической и литературной работе Ленина все первые годы революции. В своей книге «Пролетарская революция и ренегат Каутский», написанной в 1918 году, Ленин дает бой главному теоретику II Интернационала по вопросам буржуазной демократии и пролетарской диктатуры. В докладе на I Конгрессе Коминтерна в марте 1919 года Ленин рассматривает те же вопросы в связи с задачами международного рабочего движения. Принадлежащая Ленину резолюция по докладу гласит, что главной задачей коммунистических партий в странах капитала является «выяснение широким массам рабочего класса исторического значения, политической и исторической необходимости новой, пролетарской, демократии, которая должна быть поставлена на место буржуазной демократии и парламентаризма» ***. Именно в этом политически актуальном плане следует понимать написанное осенью 1919 года предисловие Ленина к книге Рида:

«Прочитать с громаднейшим интересом и неослабевающим вниманием книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата. Эти вопросы подвергаются в настоящее время широкому обсуждению, но прежде чем принять или отвергнуть эти идеи, необходимо понять все значение принимаемого решения. Книга Джона Рида, без сомнения, поможет выяснить этот вопрос, который является основной проблемой мирового рабочего движения» *

Книга Рида не является специально полемическим сочинением. Он пишет историю революции, основываясь большей частью на том, что видел сам или с чем близко соприкасался. «Эта книга — сгусток истории в том виде, в котором я наблюдал ее,— пишет он в своем предисловии.— Она не претендует на то, чтобы быть больше, чем подробным отчетом о Ноябрьской революции, когда большевики во главе рабочих и солдат захватили в России государственную власть и передали ее в руки Советов... В борьбе мои симпатии не были нейтральны. Но, рассказывая историю тех великих дней, я старался рассматривать события оком добросовестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечатлеть истину».

С точки зрения новейшего историка Октября, «отчет о революции» Рида страдает многими недостатками — фактическими неточностями, неполнотой, преувеличенной оценкой одних лиц и событий, недостаточным вниманием к другим. Эти недочеты книги Рида, без сомнения, видел и Ленин, однако исходил в своей оценке из основного и важнейшего, что имелось в книге. Победа Рида была в том, что добросовестное описание событий Октябрьской революции в его книге показывало историческую закономерность и неизбежность пролетарской революции в России, глубочайшую народность революции и великую роль большевистской партии как организатора народных масс и выразителя их интересов и чаяний.

С этой основной линией книги связан и ее антименьшевизм, сразу сделавший ее столь актуальной для коммунистов Запада в их борьбе с традициями социал-демократического оппортунизма в международном рабочем движении в первые годы после Октября.

Примечательно в «Десяти днях», что Рид не ограничивается передачей ожесточенных схваток лидеров соглашательских партий с большевиками на трибуне Петроградского Совета, 2-го Съезда Советов и других представительных учреждений тех дней, но показывает столкновение меньшевистско-эсеровского антибольшевизма с революционным здравым смыслом народных масс.

Эти зарисовки с натуры выполнены им с чрезвычайным блеском. Рассказывая в восьмой главе книги о своей поездке 10 ноября в Царское Село на фронт разгоревшейся

---

* Н. Суханов. «Записки о революции». Часть седьмая. Берлин — Петербург — Москва, 1923, стр. 253.

** В. И. Ленин. Полное собр. соч. Издание 5 е, т. 45, стр. 380 и 382. В дальнейшем сочинения Ленина цитируются по этому изданию.

*** В. И. Ленин, т. 37, стр. 510.

* В. И. Ленин, т. 40, стр. 48.

борьбы с Керенским — Красновым, Рид приводит услышанный им у царскосельского вокзала спор простого солдата с интеллигентом-«марксистом», врагом большевиков, поддерживаемым толпой зажиточных обывателей

«Атаку вел высокий молодой человек в студенческой форме, с очень высокомерным выражением лица

«Я думаю, вам ясно,— вызывающе говорил он,— что поднимая оружие против своих братьев, вы становитесь орудием в руках разбойников и предателей».

«Нет, братишка,— серьезно отвечал солдат,— не понимаете вы. Ведь на свете есть два класса: пролетариат и буржуазия. Так, что ли? Мы...»

«Знаю я эту глупую болтовню! — грубо оборвал его студент.— Темные мужики вроде вот тебя наслушались лозунгов, а кто это говорит и что это значит — это вам невдомек Повторяешь, как попугай!..» В толпе засмеялись.. «Я сам марксист! Говорю тебе, что то, за что вы сражаетесь,— это не социализм Это просто анархия, и выгодно это только немцам»

«Ну да, я понимаю,— отвечал солдат. На лбу его выступил пот.— Вы, видимо, человек ученый, а я ведь простой человек. Но только думается мне. .»

«Ты, верно, думаешь,— презрительно перебил студент,— что Ленин истинный друг пролетариата?»

«Да, думаю»,— отвечал солдат. Ему было очень тяжело.

«Хорошо, дружок! А знаешь ли ты, что Ленина прислали из Германии в запломбированном вагоне? Знаешь, что Ленин получает деньги от немцев?»

«Ну, этого я не знаю,— упрямо ответил солдат — Но мне кажется, Ленин говорит то самое, что мне хотелось бы слышать. И весь простой народ говорит так. Ведь есть два класса. буржуазия и пролетариат...»

«Дурак! Я, брат, два года высидел в Шлиссельбурге, за революцию, когда ты еще стрелял в революционеров да распевал «Боже, царя храни!». Меня зовут Василий Георгиевич Панин Ты обо мне никогда не слыхал?»

«Не слыхал, извиняюсь...— смиренно отвечал солдат.— Я ведь человек неученый. Вы, должно быть, большой герой ..»

«Вот именно,— уверенно заявил студент.— И я борюсь с большевиками потому, что они губят Россию и нашу свободную революцию. Что ты теперь скажешь?»

Солдат почесал затылок. «Ничего я не могу сказать,— его лицо было искажено умственным напряжением — По-моему, дело ясное, только вот неученый я человек!.. Выходит словно бы так: есть два класса — пролетариат и буржуазия...»

«Опять ты с этой глупой формулой!» — закричал студент.

«...Только два класса,— упрямо продолжал солдат — И кто не за один класс, тот, значит, за другой. .»

Принадлежавший Ленину экземпляр «Десяти дней» утрачен Зная ленинскую манеру чтения, можно предположить, что он хранил на полях и знаки ленинского несогласия, и его одобрение.

Ленин, вероятно, посмеивался, читая эту страницу Рида, и, конечно, испытывал политическое удовлетворение Воспитанный большевиками «человек с ружьем» выстоял, вышел победителем в этом беспримерном споре с образованным противником.

2

Книга Рида была переведена на многие иностранные языки и в течение ряда лет с честью выполняла сформулированную Лениным задачу — служила делу революционного воспитания масс

Она служит делу революционного просвещения и сейчас, но уже не как защита идей, получивших за полвека мировую известность и мировое признание, но как литературный памятник эпохи и исторический источник.

Обстоятельного анализа и оценки «Десяти дней» как исторического источника пока нет. Замалчивание книги Рида и исключение из 4-го издания сочинений Ленина предисловия к «Десяти дням» было ничем не оправдываемым актом произвола. С ликвидацией последствий культа личности Сталина книга Рида была переиздана. Ленинское предисловие к «Десяти дням» вошло в один из дополнительных томов к 4-му собранию сочинений и заняло свое законное место в 5-м полном собрании сочинений В И. Ленина В настоящее время насущно требуется научно-критическое издание «Десяти дней» с необходимыми комментариями и справочным аппаратом, стоящим на уровне современного исторического знания.

Основные слагаемые «Десяти дней» — это *документ, репортерская запись событий* и *голос мемуариста,* авторские отступления, оценки, характеристики.

Документальная оснащенность Рида поразительна, что отчасти объясняется тем, что он был неутомимым собирателем документов. Подбор документов в книге несистематичен, однако следует помнить, что Рид документировал свое повествование в разгар революционных событий.

Репортаж Рида в «Десяти днях» никогда не вызывал сомнений в своей достоверности. Теперь, с введением в литературный и научный оборот русских блокнотов Рида, его репортаж может быть систематически исследован и оценен по достоинству. Блокноты Рида помогают разъяснить и некоторые фактические ошибки в «Десяти днях».

Третий элемент книги, постоянное присутствие в ней самого Рида как живого рассказчика, представляет самостоятельный исторический интерес. Голос Рида—это голос свидетеля и участника Октября, донесенный до нас во всей своей подлинности Вместе с тем индивидуальность автора определяет и

TEN DAYS THAT SHOOK THE WORLD

By JOHN REED

BONI AND LIVERIGHT
NEW YORK 1919

Фронтиспис и титульный лист первого американского издания «Десяти дней, которые потрясли мир». Дарственная надпись Рида: «Товарищу Мартенсу, представителю страны моего сердца». Джон Рид, 9 апреля 1919».
(Библиотека Института Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС)

индивидуальные особенности книги как историко-мемуарного произведения. Изучение личности и биографии Рида в связи с «Десятью днями» — в этом случае не только дань ему как писателю и революционеру, но также необходимая часть «критики источника», оценки исторического содержания его книги.

В основном Рида как историка Октябрьской революции ограничивает его недостаточный политический опыт. Необходимо указать также, что он недостаточно знаком с подпольной деятельностью партии в канун восстания. Языковой барьер — малое знание на первых порах русского языка — усугублял его трудности.

Интервьюируя Троцкого и слушая его речи в Петроградском Совете, Рид не может проникнуть в суть антибольшевистских концепций Троцкого; тем более он не может ставить проблему троцкизма. Он не вооружен для этого в нужной мере знанием основ большевизма и традиций большевистской партии.

Рид, естественно, не имеет доступа на закрытые заседания большевистских партийных центров, и получаемая им информация в ряде случаев неверна. Самая крупная фактическая ошибка в «Десяти днях» — описание во второй главе книги заседания ЦК большевиков от 16 (29) октября, на котором была принята ленинская резолюция о восстании. Рид пишет, что резолюция не нашла поддержки в ЦК и была принята под давлением петроградских рабочих. На самом деле резолюция была принята громадным большинством ЦК против Каменева и Зиновьева.

Эти недостатки «Десяти дней» широко известны.

Менее известно, что Рид предпринимал огромные усилия, чтобы добросовестно выполнить свою задачу летописца великих событий; это относится и к такому важному вопросу, как разногласия в ЦК большевиков в канун восстания.

«Десять дней, которые потрясли мир» — первая книга об Октябрьской революции, в которой говорится о штрейкбрехерстве Каменева и Зиновьева в дни Октября и о борьбе Ленина с правооппортунистическими шатаниями в послеоктябрьские дни.

«...Правое крыло большевиков, руководимое Рязановым, Каменевым и Зиновьевым, продолжало вести кампанию против вооруженного восстания,— пишет Рид во второй главе «Десяти дней».—Утром 31 (18) октября в «Рабочем пути» появился первый отрывок ленинского «Письма к товарищам»—одного из самых дерзновенно смелых политических выступлений, какие когда-либо видел мир. В нем Ленин основательно доказывает необходимость восстания, подробно разбирая все возражения Каменева и Рязанова». В третьей главе книги Рид снова пишет, имея в виду «Письмо к товарищам»: «Рязанов и Каменев возражали против восстания и испытали

на себе всю страшную силу ленинской полемики» *.

Значение русского революционного опыта в развитии Рида трудно переоценить. Сентябрь — октябрь 1917 года в революционном Петрограде были для него родом идейного университета **. Любая характеристика Рида каким он подошел ко дню Октябрьского восстания, будет неполной, если не сказать о прямом влиянии на него Ленина и ленинских идей.

Здесь следует поставить вопрос о знакомстве Рида с выступлениями Ленина в канун Октября.

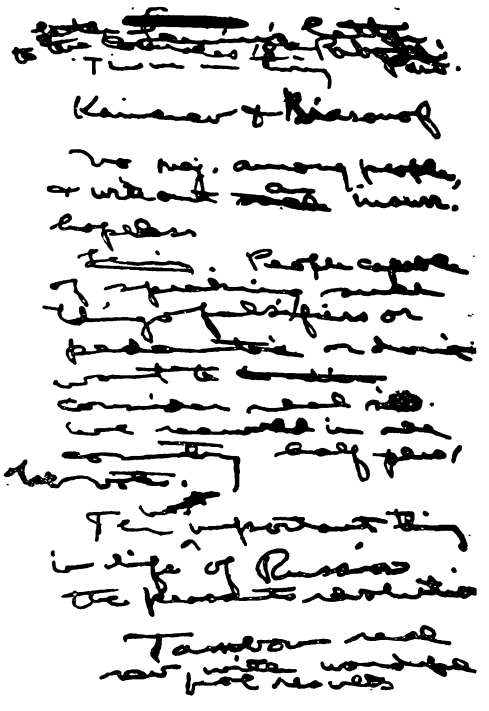
В третьей главе «Десяти дней» читаем: «На углу Невского я купил брошюру Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?» Познакомился ли тогда же Рид с этой статьей Ленина? В какой мере? До сих пор все такого рода вопросы оставались гадательными. Правда, в шестой главе своей книги, характеризуя действия большевиков, Рид цитирует знаменитый лозунг Дантона: «Смелость, смелость и еще раз смелость!» Эти слова Дантона Ленин приводит в брошюре «Удержат ли большевики государственную власть?» применительно к революционным задачам, стоящим перед партией, и несомненно, что они пришли в книгу Рида из ленинского источника. И все же это не доказательство, что Рид читал статью Ленина; воскрешенный Лениным революционный лозунг был подхвачен большевиками и был на устах у десятков людей, с которыми общался Рид.

Подобные сомнения не возникают в отношении «Письма к товарищам». Обнаруженный мною в блокнотах Рида конспект-перевод значительной части этой статьи Ленина служит исчерпывающим свидетельством глубокого интереса Рида уже в этот период к коренным вопросам ленинской революционной стратегии и тактики.

Конспект Рида начинается с заголовков: *«Письмо Ленина. «Письмо к товарищам», «Рабочий путь» от 18-го»* (здесь у Рида неточность в дате «Письмо к товарищам» началось печатанием в «Рабочем пути» 19 октября (ст. ст.) и продолжалось 20-го и 21-го).

Исходя из общего построения ленинской статьи (Ленин сперва приводит довод противников восстания, а затем анализирует его и опровергает), Рид строит свой конспект в форме диалога. Вначале он пишет *«Каменев и Рязанов»* и в сокращенной записи приводит цитируемый Лениным аргумент противников восстания. Ниже с новой строки Рид пишет *«Ленин»* и конспектирует ответ Ленина.

Вот примеры из ридовского конспекта, показывающие, при всей его краткости, верность и содержательность записи:



Конспект статьи В. И. Ленина «Письмо к товарищам» (листок из блокнота).

«Каменев и Рязанов: Нет большинства в народе, а без этого восстание невозможно.

Ленин: Люди, способные говорить такие вещи,— фальсификаторы или же не желают считаться с реальной обст[ановкой], [хотят] получить в стране половину голосов, плюс один...

Второй аргумент: Мы нед[остаточно] сильны, чтобы взять вл[асть], а бур[жуазия] нед[остаточно] сильна, чтобы сорвать Учр[едительное] собр[ание].

Ленин: То же. Страх пессимистов относительно рабочих и — оптимизм [относительно буржуазии]. Если юнкера и казаки говорят, что будут драться,— вы им верите; если рабочие и солдаты — вы сомневаетесь. Какая разн[ица] между подобными сомнениями и пол[итическим] переходом на сторону бурж[уазии].

Третий аргумент: Советы должны быть револьвером у виска прав[ительства] — заставить сорвать Учр[едительное] собр[ание] и отказаться от корн[иловских] попыток.

Ленин: Отказ от вос[стания] есть отказ от «Вся власть Советам». С сент[ября] больш[евистская] партия обсуждала возможность вос[стания]. Единственный путь — «Власть Советам»

Отказ есть отказ от всех надежд и вера в добрую буржуазию, которая «обещала»

---

* Рид называет Зиновьева на третьем месте среди противников восстания и первоначально считал лидерами «правого крыла», которым Ленин отвечает в «Письме к товарищам», Каменева и Рязанова. На самом деле, как известно, «Письмо к товарищам» обращено против Каменева и Зиновьева.

** См. А. Старцев. «Джон Рид в предоктябрьские дни». «Иностранная литература» № 11, 1965.

созвать Учр[едительное] собр[ание]. Когда Советы возьмут власть, созыв Учр[едительного] собр[ания] будет гарантирован и успех обеспечен.

Прямой переход к «Либерданам». Либо отказ от «Вся власть Советам», либо восстание. Среднего пути нет» *.

Конспект Рида занимает одиннадцать блокнотных страниц, исписанных мелким убористым почерком. Рид еще недостаточно хорошо знал русский язык, чтобы выполнить работу по конспектированию статьи Ленина самостоятельно: нужно предположить, что он пользовался помощью кого-то из своих друзей-большевиков. Как видно из приведенной характеристики «Письма к товарищам» в «Десяти днях», Рид считал статью Ленина исключительно важной и законспектировал ее для лучшего понимания и усвоения ленинских идей. Местоположение конспекта в ридовском блокноте показывает, что он был выполнен сразу за появлением «Письма к товарищам». Рид конспектирует ту часть статьи, которая была напечатана в «Рабочем пути» от 19 октября. Однако ему известна и дальнейшая часть. Он цитирует ее в третьей главе «Десяти дней», приводя антибольшевистскую речь Керенского 24 октября (6 ноября) в «предпарламенте».

Вычерки и варианты в ридовском конспекте показывают, с каким вниманием он относится к точной передаче по-английски русского текста статьи. Не все языковые трудности ему удается преодолеть. Переводя саркастическое замечание Ленина о стратегии противников восстания «Как она похожа на авось да небось», Рид сперва дает приблизительный английский перевод «it or maybe» (если или может быть), но потом, как видно, для дальнейшей проверки, выписывает английскими буквами «avos da nebos». Затруднившись переводом слова «филистер» и не вполне схватывая его политическую окраску у Ленина применительно к противникам восстания, Рид сначала переводит его описательно «незрелый школяр без практического опыта» и потом заменяет специфически американским «sophomore»,** имеющим то же значение, но с добавочной иронической интонацией.

В одиннадцатой главе своей книги, продолжая затронутую тему, Рид пишет об уходе через две недели после Октября Каменева, Зиновьева и группы народных комиссаров — Ногина, Рыкова, Милютина и других — из ЦК и с правительственных постов вследствие отказа Ленина пойти на создание коалиционного правительства и разделить власть с соглашательскими партиями. На этот раз Рид освещает вопрос с документальной точностью. Он приводит обширные выдержки из опубликованного в «Правде» 7 (20) ноября обращения ЦК «От Центрального Комитета Российской Социал-демократической Рабочей партии (большевиков). Ко всем членам партии и ко всем трудящимся классам России», в котором решительно осуждается поведение большевиков, покинувших свои посты, и дезертирство Каменева и Зиновьева связывается с их штрейкбрехерством в дни Октября. Рид указывает в своей книге и то, что не было широко известным, что автором обращения был Ленин *.

Рид говорит о торжестве ленинской линии. Характеризуя победу шедшего за Лениным большинства партийного руководства, он пользуется термином *ленинцы* (lenimites), вероятно, впервые вводя в английский язык это слово.

3

Ленин — центральная фигура «Десяти дней». Таков был замысел Рида, так восприняли книгу Рида и ее первые читатели. Весьма показательна в этом отношении рецензия на книгу Рида, появившаяся сразу по выходе «Десяти дней» в левом американском журнале «Либерейтор» и принадлежавшая Флойду Деллу, известному американскому писателю, близко стоявшему в те годы к рабочему движению.

«Через всю книгу,— писал Делл,— проходит, вырастая с каждой страницей и все более овладевая нашими умами, образ Николая Ленина; по мере того, как мы читаем эту книгу, он затмевает всех известных нам великих деятелей истории своим необычайным, я бы сказал, сверхчеловеческим пониманием экономических факторов, движущих людской борьбой. Не силой красноречия, но силой своего знания становится он главным двигателем революционных событий ..

Уже это одно, хоть книга повествует и о многом другом,— портрет Ленина — делает «Десять дней» неоценимыми для каждого, кто хочет понять наше недавнее прошлое и ближайшее будущее; эпоху, которую, по справедливости, грядущие историки назовут по имени ее величайшего политического деятеля — эпохой Ленина».**

Когда Рид приехал в конце августа 1917 года в Петроград, Ленин был на нелегальном положении. Рид прислушивался к голосу Ленина, доносившемуся из подполья; незримое присутствие вождя большевиков сказывалось в каждодневных боевых действиях партии. В статье, опубликованной еще до выхода «Десяти дней» в американской левой печати, Рид писал, возвращаясь к этому времени: «День за днем из своего тайного укрытия Ленин поднимал голос, подобный звону металла: «Восстание! Восстание!» *** Как уже сказано, Рид штудировал статьи Ленина; на Ленина ссылались его друзья-большевики когда он обсуждал с ними ход революционных событий; Рид слышал исполненные страха и ярости напад-

---

* Ср. В. И. Ленин, т. 34, стр. 399, 401, 402—403.

** Буквально — второкурсник.

* Это обращение ЦК впервые было перепечатано в XX томе первого собрания сочинений в 1926 году.

** "The Liberator". 1919. May. p. 45.

*** "The Revolutionary Age", 30.XI.1919.

ки на Ленина монархистов, министров Керенского, эсеров и меньшевиков.

Уже составив себе предварительное представление о Ленине, Рид с нетерпением ждал встречи.

Первое после выхода из подполья публичное выступление Ленина — днем 7 ноября на чрезвычайном заседании Петроградского Совета — Рид пропустил. В основу портрета Ленина в «Десяти днях» легли впечатления ночного заседания 2-го Всероссийского Съезда Советов с 8 на 9 ноября, где Ленин выступил с докладами о мире и о земле.

«Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и в будущем. Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было ризовки, не подлающийся настроениям; твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрывать сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубочайший анализ конкретной обстановке при сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума»

Далее перемежая изложение ленинского доклада о мире, Рид дает еще несколько дополнительных характеристик и зарисовок Ленина на трибуне:

«..Но вот на трибуне Ленин. Он стоял, держась за края трибуны, обводил прищуренными глазами массу делегатов и ждал, по-видимому не замечая нараставшую овацию, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал: «Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!»

Новый потрясающий грохот человеческой бури».

И еще:

«...Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь, голос его был с хрипотцой — не неприятной, а словно бы приобретенной многолетней привычкой к выступлениям — и звучал так ровно, что казалось, он мог бы звучать без конца... Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонялся вперед. Никакой жестикуляции Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания».

Ридовский портрет Ленина многогранен Он содержит описание внешности Ленина и его ораторской манеры; одновременно является опытом характеристики Ленина как политического вождя и объясняет его нерушимую связь с народом.

Цитируемый текст, известный по «Десяти дням», был создан Ридом через год после описанных событий. Характеристика Ленина в «Десяти днях», конечно, сложилась у Рида не только как результат ночного заседания 8 ноября в Смольном, но также и последующих наблюдений, собранных в этот первый период его знакомства с Лениным (с ноября 1917 года по февраль 1918, когда Рид уехал в США). Некоторые фразы Рида показывают, что он и не стремится представить читателю нарисованный портрет как лишь непосредственное впечатление. Однако это первое непосредственное впечатление было огромным и, конечно, полностью присутствует в портрете, как бы ни был он обогащен последующими авторскими наблюдениями и позднейшими размышлениями.

Сохранилась блокнотная запись Рида, посвященная началу второго заседания 2-го Съезда Советов и докладу Ленина о мире. Она уникальна, как вообще уникальны блокноты Рида. Я даю эту запись с сокращениями, сохраняя ее общую структуру (все, касающееся Ленина, привожу полностью):

«8.40 Появление президиума. Ленин. Лысая голова короткий мясистый нос, * сильный подбородок».

Дальше, отметив время (9.15), Рид записывает оглашенное открывшим заседание Каменевым распоряжение президиума съезда:

«Приказ об отмене смертной казни [в армии].

Об аресте Керенского.

Конфискация продовольственных складов.

Освобождение июльских солдат» (то есть арестованных за участие в июльском выступлении.— *А. С.*).

Рид кратко отмечает речи двух ораторов — бундовца и меньшевика-интернационалиста выступавших с заявлениями антибольшевистского характера. Более подробно он излагает выступление донецкого шахтера «Донецкий бассейн Рабочая республика Принять меры против Каледина, который может отрезать [Донбасс] от столицы. Решить конфликты рабочих и шахтовладельцев».

О приветствиях военных частей съезду он кратко пишет «Делегации от полков».

Дальше Рид конспектирует доклад Ленина о мире:

«Ленин

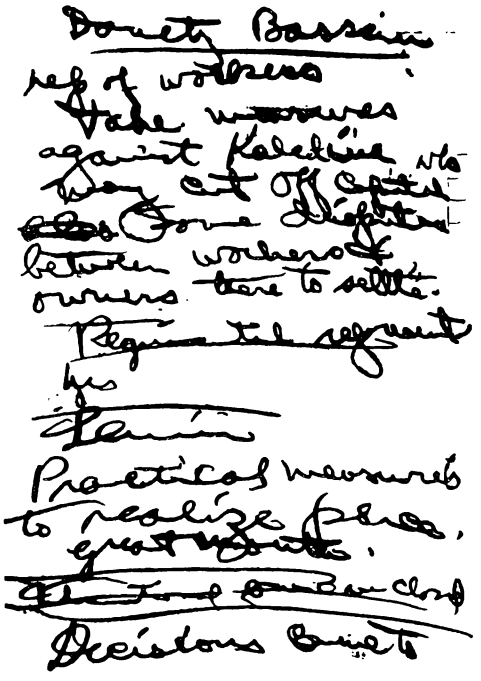
Практические шаги для осуществления мира.

Великий месяц.

Решения, к которым пришли.

---

* В подлиннике «with snub nose». В тексте книги Рид повторяет блокнотную запись «a snubbish nose». В процитированном выше переводе сказано «крупный нос». Если даже допустить, что Рид был не вполне прав в своем портрете Ленина, этот портрет уже принадлежит истории и не может быть переписан по воле переводчика.



Запись доклада Ленина о мире на 2-м Съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г. (листок из блокнота).

Предложить мир в советской формулировке.

Отказаться от тайных договоров.

Англия, Франция, Германия.

А почему нет Америки?»

(Этот последний вопрос принадлежит самому Риду. В заключительной части своего доклада Ленин говорит: «Предлагая немедленно заключить перемирие, мы обращаемся к сознательным рабочим тех стран, которые много сделали для развития пролетарского движения. Мы и обращаемся к рабочим Англии, где было чартистское движение к рабочим Франции, неоднократно в восстаниях показавшим всю силу своего классового сознания, и к рабочим Германии, вынесшим борьбу с законом о социалистах и создавшим могучие организации» *. Рид считает, что следует упомянуть и американских рабочих.)

«Маленькие, прищуренные глаза, хриплый голос. Лица, поднятые вверх с обожанием».

Дальше Рид отмечает выступления польских, латышских и литовских социал-демократов с поддержкой декларации о мире. Последним он записал речь делегата, выступившего от своего имени с возражением Ленину, и ответ Ленина.

«Сказал: предлагают мир в советской формулировке, но [готовы] рассмотреть любые предложения.

Ленин возражает: рассмотреть — не значит принять»

(Речь идет о выступлении беспартийного делегата 2-го съезда Советов Еремеева, который потребовал, чтобы призыв к миру без аннексий и контрибуций был ультимативным и исключал бы другие предложения. Ленин в заключительном слове решительно возразил, указав, что ультимативность лишь поможет империалистическим правительствам уклониться от ответа и повредит борьбе за мир.)*

На этом блокнотная запись Рида кончается Сравнение ее с имеющимися отчетами о заседании 2-го Съезда Советов 8 ноября показывает систематичность сохранившихся заметок Рида В «Десяти днях» подробно изложен дальнейший ход заседаний, доклад Ленина о земле, утверждение состава советского правительства, избрание ЦИК и торжественное закрытие Съезда Советов; однако эти записи Рида до нас не дошли.

Ридовский портрет Ленина, первый портрет вождя Октябрьской революции, сделанный свидетелем и участником событий, навсегда останется в мировой литературе.

4

Значение «Десяти дней» как мемуарного источника сведений о Ленине — неоспоримо. Все в книге Рида, что прямо или косвенно относится к Ленину, заслуживает пристального внимания. Рид относится к Ленину с глубоким восхищением. С самого начала политическая позиция Ленина встречает у него понимание и поддержку. Если Рид неточен в передаче или в интерпретации ленинских слов, то непреднамеренно. Притом в ряде случаев приводимые в «Десяти днях» высказывания Ленина требуют проверки и комментариев. Иногда мемуарист ошибается, иногда переданные ему третьими лицами слова Ленина не находят подтверждения в существующих источниках, иногда возникают другие неясности.

Рассмотрим несколько примеров.

В третьей главе «Десяти дней» читаем следующие строки Рида:

«3 ноября (21 октября) вожди большевиков собрались на свое историческое совещание. Оно шло при закрытых дверях. Я был предупрежден Залкиндом и ждал результатов совещания за дверью, в коридоре. Володарский, выйдя из комнаты, рассказал мне, что там происходит.

Ленин говорил: «24 октября будет слишком рано действовать: для восстания нужна всероссийская основа, а 25-го не все еще делегаты на съезд прибудут. С другой стороны, 26 октября будет слишком поздно действовать: к этому времени съезд сорганизуется, а крупному организованному собранию трудно принимать быстрые и решительные мероприятия. Мы должны действовать 25 октября — в день открытия съезда, так чтобы мы могли сказать ему: «Вот власть! Что вы с ней сделаете?»

* В. И. Ленин, т. 35, стр. 17.

* См. Второй Всероссийский Съезд Советов Р и С. Д. М.—Л., 1928, стр. 18—20. Также: В. И. Ленин, т. 35, стр. 19—22.

Это сообщение Рида вызывает целый ряд вопросов.

Прежде всего о существе приписанных Ленину слов.

Если исходить из последующего хода восстания, то сроки в цитированном высказывании совпадают с фактическими. Восстание началось в ночь с 24-го на 25-е; 25-го Временное правительство было свергнуто, и власть перешла в руки Военно-революционного комитета; открывшийся 25-го вечером 2-й Всероссийский Съезд Советов принял власть из рук Военно-революционного комитета

Вторая часть приведенного высказывания («С другой стороны, 26 октября будет слишком поздно действовать...» и далее до конца) безусловно близка тем строкам из написанного Лениным 24 октября вечером «Письма членам ЦК», где он говорит о необходимости взятия власти до открытия Съезда Советов:

«Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них... Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованием, а силой; народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их» *.

Однако начало цитированного высказывания («24 октября будет слишком рано действовать...» и далее до конца фразы) не находит какого-либо подкрепления в известных нам ленинских высказываниях предоктябрьских дней. Подобной мотивировки у Ленина не встречается.

«Совещание большевистских вождей» у Рида — это, очевидно, заседание ЦК большевиков 21 октября (3 ноября), краткий протокол которого известен ** Рид называет заседание историческим, полагая, как видно, что в этот день был решен вопрос об окончательных сроках восстания. Из протокола заседания такого вывода сделать нельзя.

Известно, что на заседании ЦК 21 октября (3 ноября) Ленина не было; Рид свидетельствует, что заседание происходило в Смольном. Следовательно, приписываемые Ленину слова могли быть лишь оглашены кем-то из участников заседания. Риду их сообщил в свою очередь Володарский; и таким образом они прошли самое малое через трое рук и могли претерпеть в процессе передачи определенные изменения. Записал ли Рид тотчас сообщение Володарского — неизвестно; в сохранившихся блокнотах его нет.

В то же время, исходя из общих наблюдений над книгой Рида, следует отметить, что в этом дискуссионном мемуарном отрывке Рид очень тщателен в описании всех сопровождающих обстоятельств. Он точно указывает, кто сообщил ему о заседании, кто передал услышанные слова Ленина. И. А. Залкинд старый большевик, работник Василеостровского райкома партии и активный участник Октября, был близким знакомым Рида: он несколько раз упоминается и в «Десяти днях» и в блокнотных записях. К Володарскому Рид не раз обращался в предоктябрьские дни за разъяснениями по вопросам политической тактики большевиков. Оба, и Залкинд и Володарский, свободно владели английским языком.

Вопросы, связанные с подготовкой и точными сроками Октябрьского восстания, деятельно разрабатываются сейчас нашими историками; приведенные строки Рида неизбежно должны стать предметом критического исследования.

В пятой главе «Десяти дней» заслуживают особого внимания два примера.

Первый касается разногласий в большевистской фракции 2-го Съезда Советов по вопросу о составе правительства. Описывая Смольный 26 октября (8 ноября), Рид пишет, что Ленин «стоял незыблемо, как скала», и приводит следующие слова Ленина:

«Пусть соглашатели принимают нашу программу и входят в правительство! Мы не уступим ни пяди... Если здесь есть товарищи, которым не хватает смелости и воли дерзать на то, на что дерзаем мы, то пусть они идут ко всем прочим трусам и соглашателям! Рабочие и солдаты с нами, и мы обязаны продолжать дело».

И далее.

«В пять минут восьмого левые эсеры послали сказать, что они остаются в Военно-революционном комитете.

«Так и есть,— говорил Ленин,— они тянутся за нами!»

Рид приводит слова Ленина в кавычках, как подлинную речь. Слышать Ленина в этот день он не мог, и кавычки вернее всего означают, что приведенные слова были сообщены Риду кем-нибудь из его знакомых большевиков Правда, в этой главе он не упоминает ни об одной такого рода встрече или беседе в Смольном и об источнике его информации ничего неизвестно. И тем не менее реплики Ленина столь близко выражают его подлинную позицию в описываемый момент и настолько хранят жар боевой полемической речи, что вероятнее будет признать текст Рида записью живого рассказа, нежели позднейшей реконструкцией ленинской точки зрения.

Иная проблема возникает во втором случае. В цитированных строках «Десяти дней», посвященных выступлению Ленина на Съезде Советов, Ленин, прежде чем перейти к докладу о мире, произносит фразу «Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!», покрываемую овацией зала.

Подтверждения этого нет ни в существующих отчетах, ни в мемуарах, ни в записях Рида, относящихся к заседанию 8 ноября.

Наиболее верным будет считать, что Рид

---

* В. И. Ленин, т. 34, стр. 436.

** Протоколы ЦК РСДРП(б). Август 1917—февраль 1918. М., 1958, стр. 117—118.

вписал сюда известные слова Ленина: «В России мы должны сейчас заняться постройкой пролетарского социалистического государства» из «Доклада о задачах власти Советов», сделанного им за день до того, 7 ноября, на дневном заседании Петроградского Совета *.

Рид не слышал этого доклада и узнал о нем из чьего-то пересказа. Смелость исторических слов Ленина и заключенная в них программа произвели на Рида сильнейшее впечатление, о чем свидетельствуют две его записи в другом блокноте — среди заметок для будущей статьи или книги. Первая:

«7 ноября Ленин сказал: «Теперь соц[иалистическое] государство».

И другая:

«Ленин 7 ноября на Съезде Советов, когда на улицах [еще] шел бой»: «Мы приступим теперь к созд[анию] соц[иалистического] государства».

Во второй записи в неверном указании, что Ленин произнес эти слова на Съезде Советов, уже имеется начало будущей ошибки Рида. Работая годом позднее над книгой и зная по имевшимся у него материалам, что Ленин выступил впервые на Съезде Советов лишь 8 ноября, Рид, видимо, отнес к этому выступлению и записанные им в блокноте под датой 7 ноября исторические слова Ленина, произнесенные в Петроградском Совете.

В восьмой главе «Десяти дней», описывая заседание Петроградского Совета 30 октября (12 ноября), Рид сообщает о выступлении Ленина:

«На минуту появился Ленин. Он дал ответ на обвинения со стороны эсеров: они обвиняют нас в том, что мы украли у них аграрную программу... Ну что ж, если это так, то мы можем их поблагодарить. С нас и этого довольно...»

Книга Рида — единственный источник, сохранивший сведения об этой речи Ленина. Цитируемый текст Рид целиком перенес в книгу из блокнота. Запись была сделана им на другой день, 31 октября (13 ноября). Она начинается в блокноте со слов: «Вчера вечером в Петроградском Совете Ленин сказал...» (далее как в книге). Тогда же, как видно, сделана Ридом и остальная запись об этом заседании Петроградского Совета; с того же «вчера вечером» начинается в блокноте и запись выступления Каменева, тоже приведенная в книге.

Свидетельство Рида о выступлении Ленина принято в историко-партийной литературе. В собрании сочинений эта речь Ленина числится в «Списке работ В. И. Ленина, до настоящего времени не разысканных», со ссылкой на «Десять дней» Джона Рида **.

Труднее всего решается вопрос о приведенной Ридом в последней, двенадцатой главе «Десяти дней» речи Ленина на Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, произнесенной, как утверждает Рид, на третий день крестьянского съезда, то есть 13(26) ноября

Вот что пишет Рид:

«На третий день на трибуне неожиданно появился Ленин. Зал бесновался не менее десяти минут. «Долой его! — ревел зал.— Не хотим слушать ваших народных комиссаров! Не признаем вашего правительства!»

Ленин стоял совершенно спокойно, охватив пюпитр обеими руками и вдумчиво оглядывая беснующуюся толпу своими прищуренными глазами. Наконец шум в зале как бы иссяк, за исключением правых скамей, где все еще продолжали кричать и свистеть.

«Я пришел сюда не как член Совета Народных комиссаров,— сказал Ленин и снова подождал, когда спадет шум,— а как член большевистской фракции, надлежащим образом избранной на настоящий Съезд» И он высоко поднял над головой мандат — так, чтобы все могли его видеть.

«Впрочем, — продолжал он совершенно спокойным голосом,— никто не станет отрицать, что теперешнее русское правительство сформировано большевистской партией...— Он обождал еще секунду —...так что, в сущности, это одно и то же...» Тут правые скамьи разразились оглушительным криком, но центр и левая заинтересовались и добились тишины.

Аргументация Ленина была проста: «Скажите откровенно. вы, крестьяне, которым мы отдали помещичьи земли: неужели вы теперь хотите помешать рабочим захватить контроль над производством? Ведь это классовая борьба. Помещики, разумеется, борются с крестьянами, а фабриканты борются с рабочими. Неужели вы хотите довести до раскола в рядах пролетариата? На какой стороне вы хотите быть?

Мы, большевики, являемся партией пролетариата — точно так же крестьянского пролетариата, как и пролетариата промышленного. Мы, большевики, стоим за Советы — точно так же за крестьянские Советы, как и за Советы рабочих и солдат. Современное правительство есть правительство советское — и мы не только предложили крестьянским Советам принять участие в этом правительстве, но и пригласили представителей левых эсеров войти в Совет Народных Комиссаров...

Советы являются наиболее совершенным представительством народа — как того, который работает на заводах и в рудниках, так и того, который работает на полях. Всякий, кто пытается подорвать Советы, повинен в антидемократических, контрреволюционных действиях. И я позволю себе заметить вам, товарищи правые эсеры, и вам, господа кадеты что если Учредительное собрание попытается разрушить Советы, то мы этого Учредительному собранию не позволим!»

Такой речи Ленина в полном собрании сочинений нет. Не упоминается о ней и в списке неразысканных работ.

В собрании сочинений напечатана речь

---

* В. И. Ленин, т. 35, стр. 3.

** «Речь на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов об аграрной политике советской власти 30 октября (12 ноября) 1917 г.». См. В. И. Ленин, т. 35, стр. 433.

Ленина по аграрному вопросу, произнесенная на Крестьянском съезде 14(27) ноября, но эта речь приводится у Рида в той же главе «Десяти дней» независимо от предыдущей Рид говорит об этой речи Ленина от 14(27) ноября как о втором его выступлении на съезде, отмечая даже перемену в настроении крестьянских делегатов за истекшие сутки в сторону сближения с большевиками «После Качинского выступил Ленин, которого на этот раз слушали с огромным вниманием»,— пишет Рид, прежде чем привести речь Ленина.

Полного отчета о заседаниях Чрезвычайного крестьянского съезда не существует; не сохранились и записи Рида, сделанные на крестьянском съезде; потому никакого исчерпывающего объяснения версии Рида о двух речах Ленина 13(26) и 14(27) ноября предложить невозможно.

Опубликованный впервые по рукописи в 5-м издании Полного собрания сочинений Ленина «План речи по аграрному вопросу на Чрезвычайном Всероссийском съезде крестьянских депутатов 14(27) ноября 1917» позволяет выдвинуть предположение, что приведенная у Рида речь Ленина от 13(26) ноября, быть может, является на самом деле началом ленинской речи от 14(27) ноября, опущенным в отчете «Правды», который вошел в Собрание сочинений.

Первым пунктом в «Плане речи» у Ленина стоит: «Не от правительства, а от партии и от фракции» *. В отчете «Правды» эта вводная часть речи полностью отсутствует, у Рида она занимает видное место Вводными, по сути, являются и приводимые Ридом замечания Ленина о единых целях рабочего класса и трудового крестьянства в борьбе с помещиками и фабрикантами и о необходимости союза рабочих и крестьян в Советах.

Когда, по прошествии года, в США Рид приступил к работе над своей книгой, он проверял свои блокнотные записи по привезенным газетным отчетам Не найдя в отчете «Правды» записанной им части речи Ленина, он мог сделать вывод, что ошибочно соединил два выступления, и произвести разделение и передатировку своих записей. Повторяю, такое толкование лишь предположительно

Следует заметить, что зарисовка Ленина на трибуне крестьянского съезда — смелое вступление Ленина, уверенное завоевание предубежденной, враждебно настроенной аудитории — принадлежит к наиболее ярким строкам ридовской Ленинианы.

5

В заключение об автографе ленинского предисловия к «Десяти дням», судьба которого остается неизвестной

История ленинского предисловия такова. Рид выпустил «Десять дней» в Нью-Йорке весной 1919 года. Книга вышла с портретом Ленина на фронтисписе и стала манифестом молодого коммунистического движения в США. Переслать книгу в Россию Рид не имел возможности. Известен экземпляр «Десяти дней», подаренный Ридом в апреле 1919 года Л К. Мартенсу, первому представителю РСФСР в США, но книга попала в Россию много позднее.

Первый экземпляр «Десяти дней» привез в Москву сам Рид, когда в ноябре 1919 года, преодолев блокаду, вторично прибыл в Советскую Россию. Он привез книгу Ленину.

Рид предполагал вскоре вернуться в США; организационные неполадки в американском коммунистическом движении требовали его присутствия. По возвращении он намеревался выпустить новое издание «Десяти дней» Ленин, надо полагать, по просьбе Рида, написал предисловие для этого нового издания.

В самом начале следующего, 1920 года Рид предпринял две попытки выехать на Запад, обе неудачные. Во второй раз, когда он нелегально направился в Стокгольм на финском пароходе, его выдал провокатор. Рид был арестован финской полицией и три месяца пробыл в тюремном заключении в Або (Турку).

Предисловие Ленина Рид вез с собой. Это был ленинский автограф. Обращаясь к Айно Мальмберг (финской писательнице, помогавшей ему в эти месяцы тюремного заключения) с просьбой проследить за возвращением отобранных полицией бумаг, Рид называет «собственноручное предисловие Ленина к «Десяти дням, которые потрясли мир» *.

Дорога в США была Риду преграждена; после выхода из финской тюрьмы он вернулся, через Эстонию, в Москву и оставался в Советской России вплоть до трагически ранней кончины в октябре 1920 года.

Предисловие Ленина было предназначено для американского издания книги Рида; в России книгу пока что мало кто знал; и в этот период никаких сведений о ленинском предисловии в советской печати не появлялось.

Нет сомнения, однако, что близкие друзья Рида в Москве и в Петрограде знали об отзыве Ленина о «Десяти днях», читали ленинское предисловие, быть может, хранили копии. Рид был горд отзывом Ленина. В письме от 13 мая 1920 года к жене, Луизе Брайант, отправленном из финской тюрьмы, он писал законспирированно: «Скажи Горейсу, что большой начальник считает книгу лучшей» **. (Друг Рида Горейс Ливерайт был американским издателем «Десяти дней».)

---

* В. И. Ленин, т. 35, стр. 423.

* Об этом говорит американский биограф Рида Грэнвил Хикс. Granville Hicks. "John Reed. The Making of a Revolutionary". New York. 1937. p 383.

** Там же. стр. 382.

Первые сведения о ленинском предисловии появились сразу после смерти Рида. Б. И. Рейнштейн, коминтерновский работник и друг Рида, рассказав в своей статье, посвященной памяти Рида, о «Десяти днях», закончил так:

«Товарищ Ленин по поводу этой книги написал в предисловии к ее новому изданию, между прочим, следующее:

«Прочитав с громаднейшим интересом и неослабевающим вниманием книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Вот книга, которую я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, ибо эта книга дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, имеющих серьезное значение для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата».*

Это — предисловие Ленина без двух последних фраз. Целиком предисловие было впервые напечатано по-английски в феврале 1922 года в левом американском журнале «Либерейтор» с которым Рид был тесно связан. В 1923 году предисловие было полностью опубликовано по-русски в первом русском издании «Десяти дней» Это издание вышло при участии Н. К. Крупской (книге было предпослано также и ее предисловие), и напечатанный в нем текст ленинского предисловия принят в позднейших собраниях сочинений В И. Ленина.

Однако эти данные о первых публикациях предисловия не проясняют вопроса об автографе. Автограф отсутствовал.

* «Коммунистический Интернационал» № 14, 1920, стлб. 2978.

В 3-м Собрании сочинений В. И. Ленина в примечании к предисловию Ленина к «Десяти дням» говорится: «Так как предисловие предназначалось для американского издания книги, то написано оно было, по всей вероятности, по-английски» *.

Этот вопрос тоже остается нерешенным. Можно лишь сказать, что если предисловие было написано по-русски, имелся, без сомнения, и английский перевод, согласованный с Лениным. Рид неоднократно виделся с Лениным в Москве, и было бы странно, если бы он не позаботился о переводе предисловия, готовясь к отъезду в США.

Оригинальный или переведенный английский текст мог стать основой будущего русского текста. В приведенной публикации Рейнштейна есть некоторые разночтения с текстом, опубликованным в 1923 году, которые более всего походят на стилистические варианты при переводе с английского.

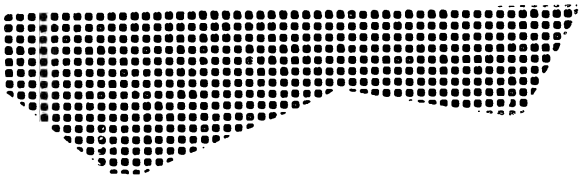
Все эти сомнения мог бы решить автограф.

Прежде чем примириться с его утратой, следовало бы провести поиски в двух направлениях.

Первое. Точных указаний, что Рид получил назад свои бумаги при отъезде из Финляндии, нет. Не исключено, что они целиком или частью остались в его полицейском деле в Финляндии.

Второе. Рукописи Рида после его смерти перешли к его вдове Луизе Брайант и в дальнейшем поступили в рукописный отдел Гарвардского университета (США). Автограф ленинского предисловия к «Десяти дням» или его копия может оказаться в личном архиве Рида.

* В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 3-е, т. 24, стр. 831.



НА ВСТРЕЧЕ В БАКУ

На расширенное заседание Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки, которое проходило в Баку с 30 августа по 1 сентября 1966 года, были приглашены писатели из Азии и Европы, Африки и обеих Америк.

Настоятель буддистского монастыря вице-президент Объединенного Союза цейлонских писателей Удакендавала Сарананкара Тхеро, известный поэт из ФРГ Ганс Магнус Энценсбергер, гвинейский писатель Ибрахима Камара, американский публицист Джозеф Норт — главный редактор журнала «Диалог», финский писатель Олави Линнус, председатель Союза чилийских писателей Франсиско Колоане, Хосе Антонио Портуондо — директор Института литературы Кубинской АН, один из старейших индийских писателей Гурмукх Сингх Мусафир, ливанский писатель Сухейль Идрис — главный редактор литературного журнала «Аль-Адаб», председатель алжирского Союза писателей Мулуд Маммери и алжирский поэт Жан Сенак — вот далеко не полный список гостей Бакинской встречи.

В центре внимания были две делегации писателей Вьетнама — Северного и Южного.

«В наших руках, — говорил глава делегации ДРВ Ни Фуанг,— оружие, обладающее чудесной силой,— это ваше творчество. Это оружие проникает в самую глубину человеческих сердец, сплачивает воедино всех честных людей, призывает их к борьбе... Употребите весь свой талант, всю силу своего творчества на разоблачение подлинного лица американского империализма, лица варварского и кровожадного».

Как и в тридцатые годы, борьба против фашизма сплотила на единой платформе всех, кто видел опасность, нависавшуюся на мир, как бы по-разному ни представляли они себе его будущее.

Вряд ли можно считать случайностью, что в речах выступающих постоянно звучала мысль: «Вьетнам — это Испания сегодня». Американец Джозеф Норт, немец Эдуард Клаудиус, известный кинорежиссер Роман Кармен, латышский писатель Жан Грива — все они участвовали в войне за республиканскую Испанию. Многие писатели, бывшие на встрече, с оружием в руках сражались против угрозы коричневой чумы во время второй мировой войны.

Произведениям советской литературы о Вьетнаме и о национально-освободительной борьбе, так же как переводам вьетнамской литературы в СССР, было уделено много внимания в обоих основных докладах Бакинского заседания — в докладе председателя Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки узбекского писателя Саввара Азимова и в докладе казахского романиста Габита Мусрепова.

В числе приветствий, присланных в Баку, было и приветствие М. А. Шолохова, в котором говорилось:

«Мы, советские писатели, согласно своим коммунистическим убеждениям, считаем: если убийца, грабитель занес руку над жертвой, не тот гуманист, кто только жалеет бедную жертву и сокрушается по поводу того, что убийство существует на земле. Гуманист тот, кто борется, кто помогает отвести руку убийцы, обезвредить его злую волю».

Призыв к активному гуманизму стал подлинным лейтмотивом Бакинского заседания. Именно этому посвятили свои выступления турецкий сатирик Азиз Несин, малийский писатель Троаре, японский писатель Кобо Абэ, туркменский прозаик Берды Кербабаев, сибирский поэт Илья Фоняков и многие, многие другие.

Необходимость объединения прогрессивных литераторов, которая, по словам Б. С. Рюрикова, стала настоятельной потребностью современности, стала одной из важных тем Бакинского заседания — ей был посвящен доклад, сделанный К. Чугуновым, ответственным секретарем Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки.

Постоянное Бюро писателей Азии и Африки, созданное еще в 1958 году и находившееся на Цейлоне, не выполнило свою роль — оно не стало инструментом сплочения прогрессивных писателей двух континентов, а превратилось в арену мелкого политиканства и недостойных интриг. Именно эти обстоятельства заставили группу писателей, представлявших различные литературные организации ряда стран,— членов Бюро собраться летом 1966 года в Каире и потребовать реорганизации его на новой основе, на той основе, которая отвечает требованиям современности. Было решено перенести Бюро в Каир, поручить ему разработать программу литературной деятельности для афро-азиатских писателей и назначить время и место для проведения очередной конференции.

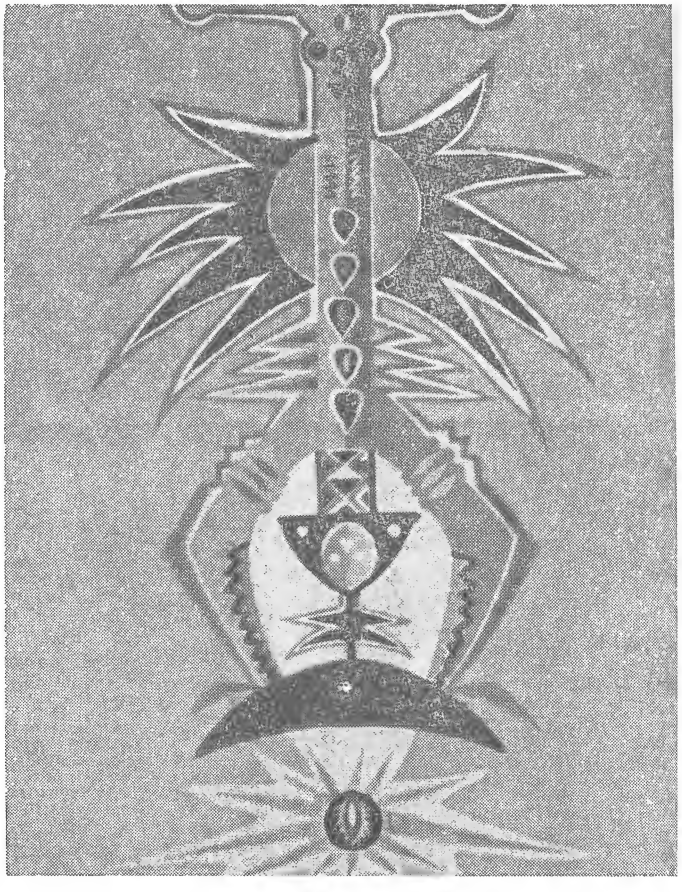
2 сентября 1966 года было проведено заседание Исполнительного комитета, на котором были полностью одобрены все решения, принятые в Каире, и было решено провести очередную конференцию в Бейруте в начале 1967 года. В комитет по подготовке конференции вошли представители литературных кругов следующих стран: Алжира, Дагомеи, Гвинеи, Ирака, Кении, Ливана, Мали, Монголии, Турции, Южной Африки и стран — членов Постоянного бюро.

Бакинская встреча еще раз показала, как остро чувствуют писатели свою ответственность за судьбы мира.

М. С.

ДАКАР, 1966...

Современные художники Тропической Африки



Ибу Диуф. Афиша Первого Международного фестиваля афронегритянского искусства в Сенегале.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО За рубежом

Дакарский фестиваль афронегритянского искусства... Фейерверк красок, ритмов и звуков, головокружительный разбег веков... Древние пляски охотников Берега Слоновой Кости, ритуальные танцы догонов, жителей Камеруна, облаченных в суровые маски, огненные ритмы Тринидада и Тобаго, соединившие в себе африканскую народную традицию с мотивами искусства аборигенов Латинской Америки... Фольклор Дагомеи, Нигерии, Замбии, лирические стихи Сенгора, философская «Трагедия царя Христофа» Эме Сезэра, обличительный памфлет Энгельберта Мвенга, психологический фильм Сембена Усмана, театрализованные представления на невольничьем острове Горэ́, где декорациями служили прибрежные камни, не раз обагренные человеческой кровью...

Выставка «Живое искусство» на берегу Атлантического океана возле рыбацкого поселка в деревне Сумбедиун. Здесь можно было не только купить искусно вытканные декоративные панно или яркую циновку, расписанный калебас, художественное изделие из кожи крокодила, змеи или клыка пантеры, тут можно было воочию убедиться, как ловки руки ткачей, скульпторов, резчиков по металлу.

В легком новом здании «Мюзе Динамик» впервые на африканской земле демонстрировались лучшие произведения традиционного искусства народов Тропической Африки, привезенные сюда на время со всех континентов.

В зале почета городской ратуши — экспозиция художественных промыслов Нигерии, колыбели африканской скульптуры, которую по праву именуют «Черной Грецией». И, наконец,— в стенах «Пале де Жюстис»— Дворца правосудия — выставка народного и профессионального искусства современных художников молодых африканских республик.

Скульптура Ифэ, XIII в., бронза (Нигерия).

Феерические представления на невольничьем острове близ Дакара, рассказывающие о трагических страницах истории, не прекращались ни на один день фестиваля, собирая огромные толпы народа. Как бы вырастая из небытия, подобно теням предков, медленно двигались под зловещий свист плетей вереницы согбенных людей, звеня тяжелыми кандалами. Эта трагическая баллада о прошлом, написанная гаитянским общественным деятелем и поэтом Жаном Бриером, позволила людям Тропической Африки по-особому остро почувствовать радость освобождения.

В своей страстной речи перед слушателями, собравшимися на научный коллоквиум, молодой камерунский ученый, поэт и художник Энгельберт Мвенг говорил о необычайно живучей силе африканского искусства, которое не хотело умирать, несмотря на господство колониализма.

Искусство Черного континента крайне разнообразно, оно «подобно книге раскрывает творческий гений Африки...» Смысл настоящего коллоквиума, говорил Э. Мвенг, раскрыть эту большую книгу перед людьми, и прежде всего перед самими африканцами...

Разнообразны характеры, судьбы, творческие интересы и таланты африканских художников. Но есть нечто, свойственное им всем,— необыкновенная поэтичность.

Сказочный мир народных преданий тесно вплетается в живую повседневность современной Африки. Мы слышали, как уличные мальчишки с серьезным видом предлагали отогнать от нас порывы злого ветра, мы слышали романтические рассказы о таинственных «синих людях» с головами диковинных экзотических птиц, некогда населявших страну. Из таинственных лесов они переселились на живописные полотна 22-летнего сенегальского художника Ибу Диуфа. В его картинах миф и действительность слиты воедино, прекрасные сенегальские женщины обрели облик сказочных существ.

Или вот эмблема фестиваля на площадях Сенегала. Столбообразная фигура с воздетыми к небу руками с чашей немеркнущего огня — символ негаснущего пламени сердца, символ веры в победу добра над темными силами на родной африканской земле.

Другой художник Сенегала — Амаду Йеро Ба. В 17 лет он почувствовал в себе силы покинуть «Школу изящных искусств», для того, чтобы «продолжать рисовать и писать красками, следуя своему внутреннему призванию». Черно-белые рисунки и живопись его изысканны, полны напряженной символики.

Судьба «дакарской школы живописи» неразрывно связана с творчеством Папа Ибра Талла, который был одним из ее создателей. Возглавив с 1960 года секцию пластики в «Школе изящных искусств», Папа Ибра Талл щедро делился со своими учениками разносторонним опытом в различных видах искусства: живописи, рисунке, архитектуре, керамике, книжной иллюстрации, декоративном искусстве. Этому последнему он отдает явное предпочтение. Можно сразу узнать в многочисленных эскизах и готовых работах характерную для художника лилово-жемчужную цветовую гамму декоративных панно, на фоне которых в щедром узоре переплетаются фантастические растения с диковинными птицами и мифическими персонажами.

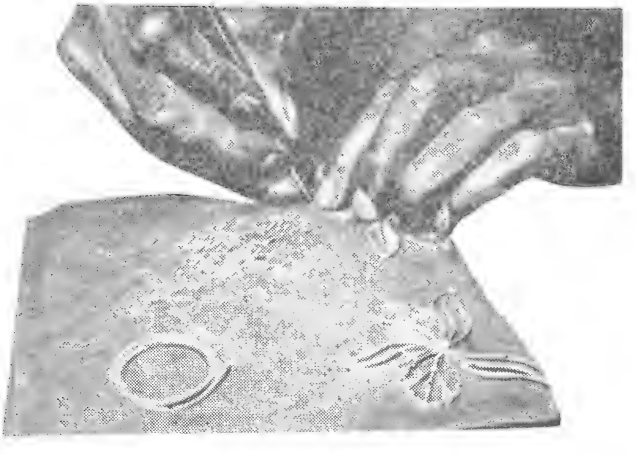
Папа Ибра Талл много сделал для развития национального коврового художественного ремесла в небольшом промышленном городе Тиесе, который привлекает особое внимание любителей африканского искусства.

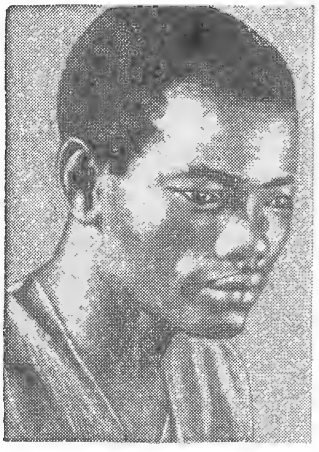
Далеко за пределами своей республики известен и другой художник Сенегала Иба Н'Диай, прошедший школу европейского искусства. Жизнерадостна палитра красок на его холстах. Средствами живописи он рассказывает о людях своей страны — простой продавщице цветов, глубоком старце. Главная цель, которой подчиняет свои творческие поиски этот художник,— соединить технику, освоенную на образцах европейской живописи, с глубоким проникновением в душу своего народа в традиции древних мастеров африканского искусства.

Вот уже четыре года секцией «Решерш пластик» в сенегальской «Школе изящных искусств», которая уже завоевала себе славу очага возрождения национального искусства, руководит французский художник и этнограф Пьер Лодс.

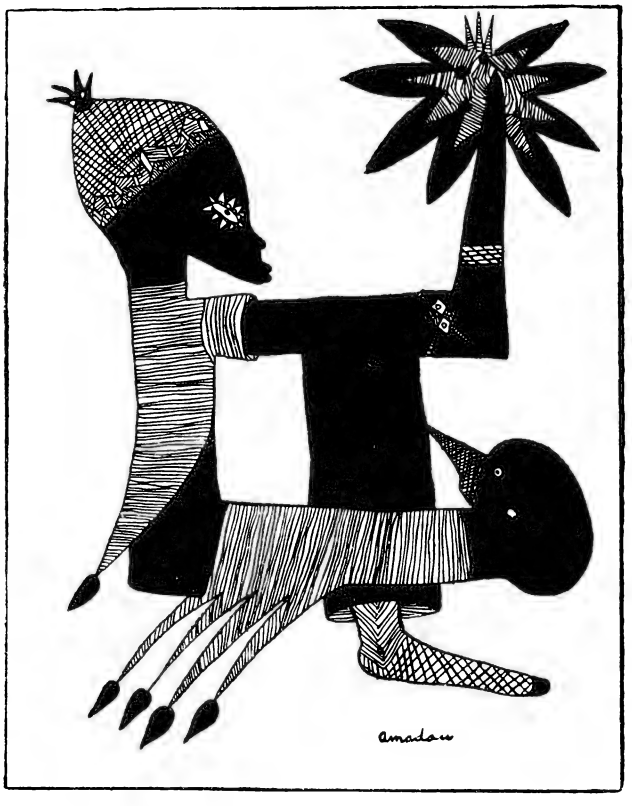
«Незабываемая дружба людей разных социальных категорий во время оккупации,— вспоминает Пьер Лодс,— со всей очевидностью раскрыла передо мной надменную предвзятость власть имущих по отношению к людям другой расы».

Семнадцать лет тому назад в Конго (Браззавиль), задолго до падения колониализма в этой стране, он создал в предместье города Пото-Пото небольшую мастерскую художников, получившую вскоре мировую известность под этим именем.





Амаду Йеро Ба (Сенегал).



Амаду Йеро Ба. Композиция, тушь.

Выступление на дакарском фестивале Жака Зигома и Филиппа Ибара Уасса, двух основных представителей школы Пото-Пото, закрепило добрую славу этой школы, несколько пострадавшую в связи с выступлениями немалого числа эпигонов. Особенно высокую оценку получил Уасса за черно-белый станковый рисунок, исполненный в черной гуаши. Лист белой бумаги он населяет какими-то фантастическими существами, которые могут явиться человеку в сумеречных джунглях, напоминая ему о древних, еще в раннем детстве услышанных от стариков легендах.

В 1945 году покинул свою страну и родной город Иоганнесбург, чтобы получить образование в Европе, выходец из Южной Африки, *басуто по рождению* Жерар Секото. Франция стала его постоянным пристанищем. Жерар Секото не может вернуться сейчас туда, где нет возможности черному творить для народа и во имя народа. Жерар Секото, портретист по призванию, создает серию женских образов. В его картинах «Материнство», «Девушка с ожерельем» и других портретах основное — глаза, как бы запечатлевшие печаль и страдание — трагические судьбы многих сынов и дочерей его родины. Искрен-

Фидель Нзуола. Декоративное блюдо, керамика (Конго, Браззавиль).

ность и теплота, сдержанность и строгость — основные черты вдохновенного дарования этого художника.

Махамаду Кулибали Соме из Мали упоенно, запоем рисует жанровые портреты своих друзей и близких; Виктория Равелонанози в своих декоративных панно воспевает труд крестьянок Мадагаскара или прислушивается к игре маленького музыканта; конголезский художник Филла красками пишет быт и нравы своего народа.

Это направление в искусстве имеет в Африке много приверженцев.

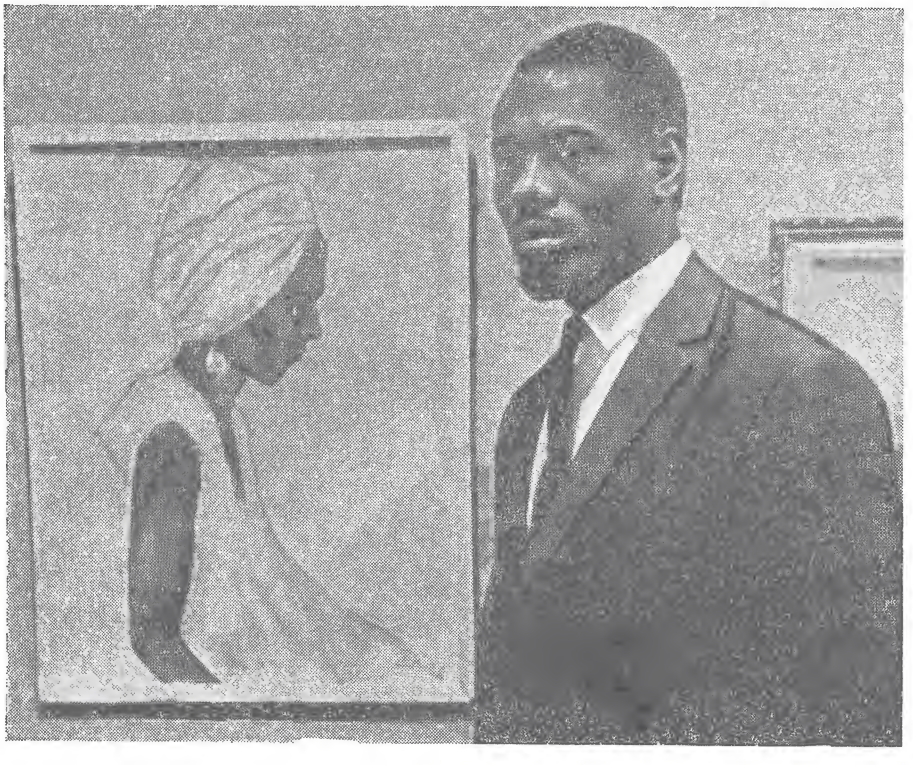
Молодой малийский художник Бубакар Кейта уже знаком читателям «Иностранной литературы». Вот он пристально всматривается в дорогие сердцу черты лица матери. Трагическая страница недавнего прошлого запечатлена в картине «Путь в рабство. Остров Горэ». В картине «Крик догонов»— более отдаленное прошлое, древние обряды народа Мали.

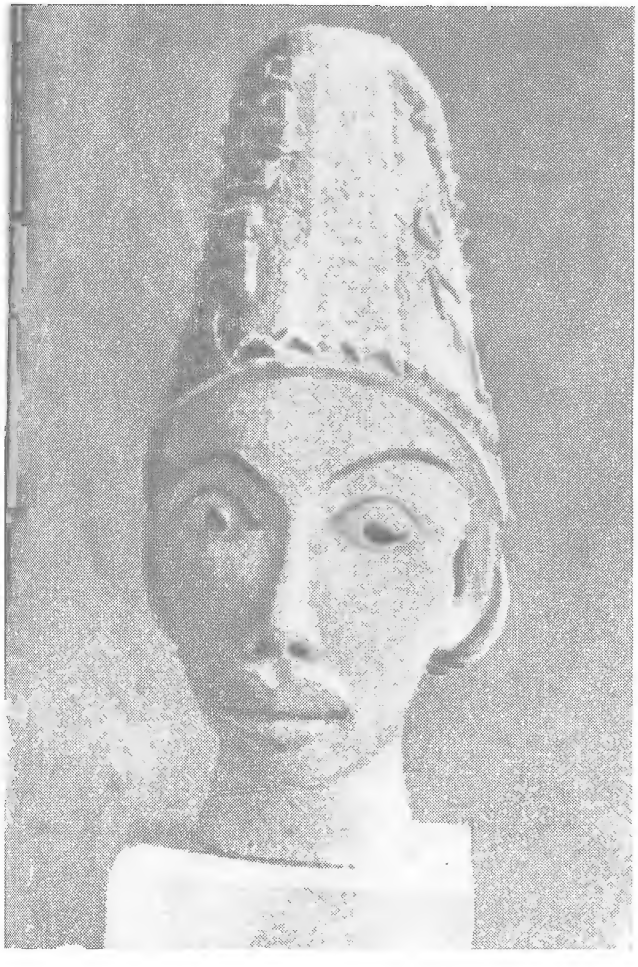
Традиционная жанровая пластика (литые бронзовые фигурки Ганы, Берега Слоновой Кости, Дагомеи, деревянные фигурки Анголы) вырвалась, подобно заколдованному джину, за пределы малых форм.

Для африканцев это только первые шаги — работа в монументальной скульптуре. Важно найти правильную точку опоры, и тогда они еще удивят мир.

Бубакар Кейта (Мали).

Махамаду Кулибали Соме. Профиль Фанты, масло (Мали).





Дема Нвоко. Скульптура, терракота.

Дема Нвоко (Нигерия).

Символика традиционного искусства получает многообразное воплощение в скульптуре молодых современных художников. Монументальная женская фигура, вырезанная из дерева,—работа художника Базиля Алема из Габона—словно песнь о радости материнства. Сложной трагической символики исполнен женский образ работы ганского мастера Кофи.

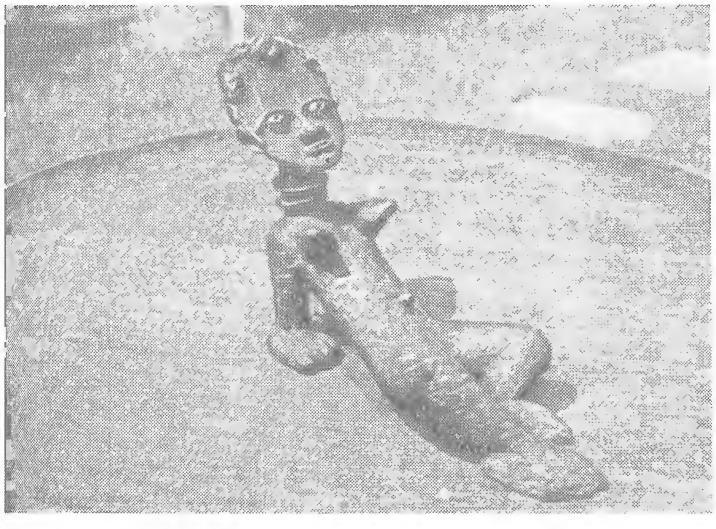
Период длительного векового застоя сменился бурной деятельностью, выдвинув имена скульптора-живописца Бена Энвонву, художника Окпу Эзе.

Среди молодого поколения талантливых мастеров следует назвать Дема Нвоко, сумевшего за два последних года очень успешно возродить классическую технику, создав удивительно одухотворенный скульптурный портрет («Онил Огоно»—терракота) в лучших традициях знаменитой терракотовой пластики Ифэ.

Необычно многогранную и сложную гамму человеческих переживаний воспроизводит в своем творчестве скульптор Христиан Латье—житель Берега Слоновой Кости.

Монументальна его дипломная работа «Пантера» (3,5×1,20), выполненная из веревки на металлическом каркасе.

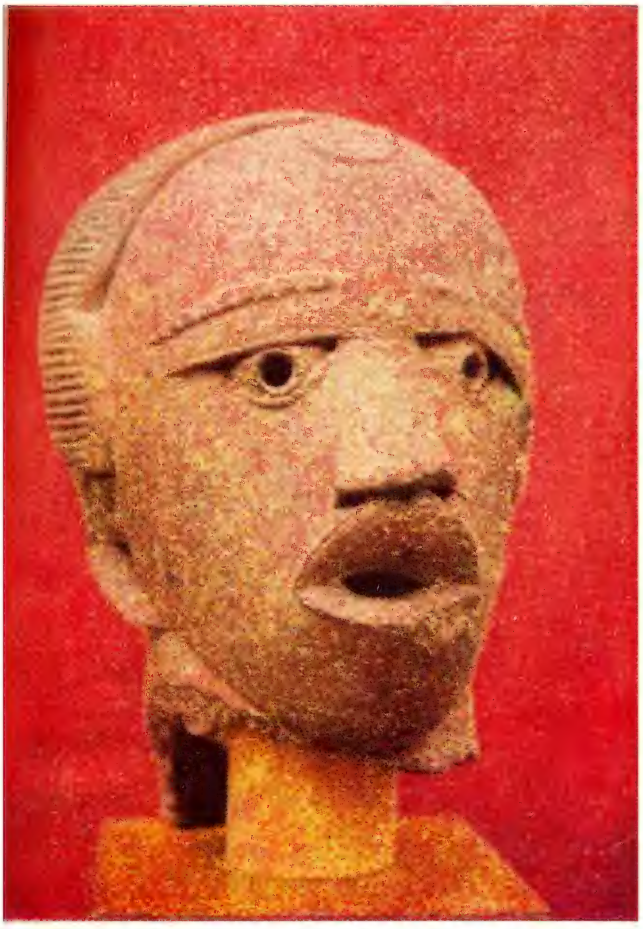
В. А. Кофи. Пробуждающаяся Африка, камень (Гана).



Папа Ибра Талл. Рисунок (Сенегал).

Виктория Равелонанози. Маленький музыкант, акварель (Мадагаскар).

Бубакар Кейта. Крестьяне, масло (Мали).



Скульптура Нок. VI век до н. э., *терракота*
(Нигерия)

ЖЕРАР СЕКОТО. Африканка, *масло*
(ЮАР — Франция)

ПАПА ИБРА ТАЛЛ. Иллюстрация к сказке, *темпера*
(Сенегал)

БУБАКАР КЕЙТА. Крик догонов, *масло*
(Мали)

Традиционная маска, *дерево*
(Берег Слоновой Кости)

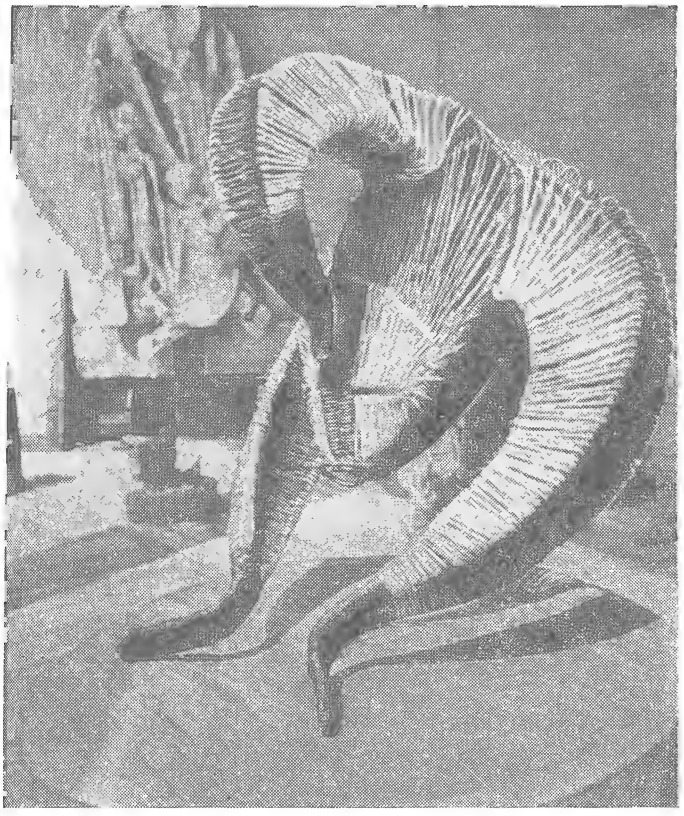
ИБУ ДИУФ. Возвращение синих людей, *масло*
(Сенегал)

ИБА Н'ДИАЙ. Женщина Сенегала, *масло*
(Сенегал)

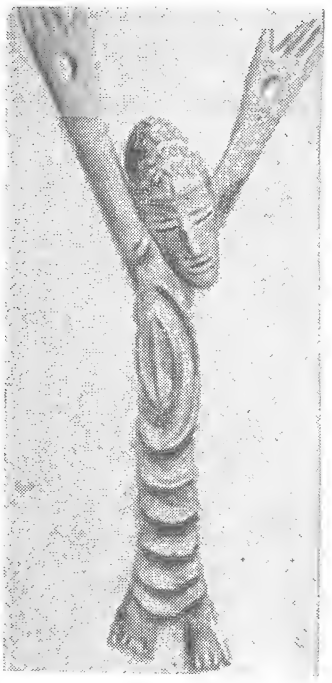
АФЕВОРК ТЕКЛЕ. Африканская атмосфера, *масло*
(Эфиопия)

ЖАН КАНКО. Ритуальные предметы, *бисер*
(Камерун)

МИШЕЛЬ МОНИТИ. Настольная доска, *керамика*
(Габон)



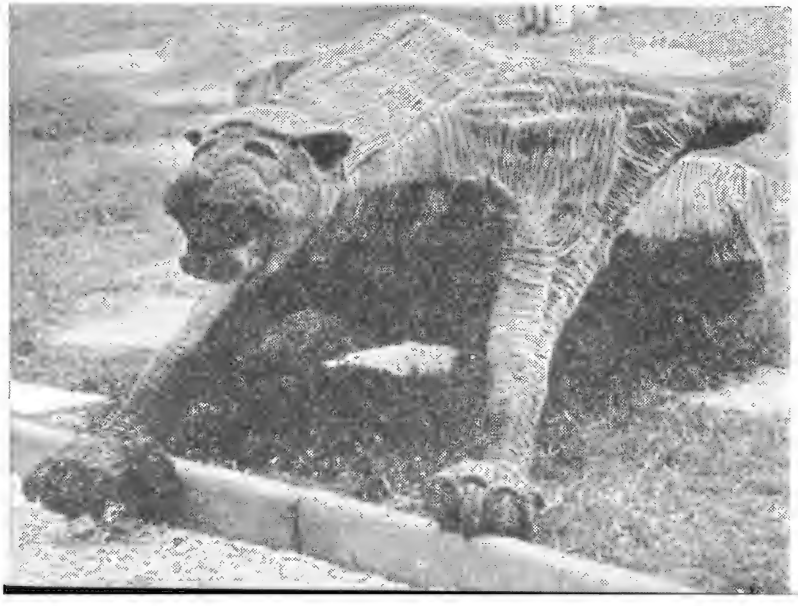
Христиан Латье. Орхидея, веревка, металлический каркас (Берег Слоновой Кости).

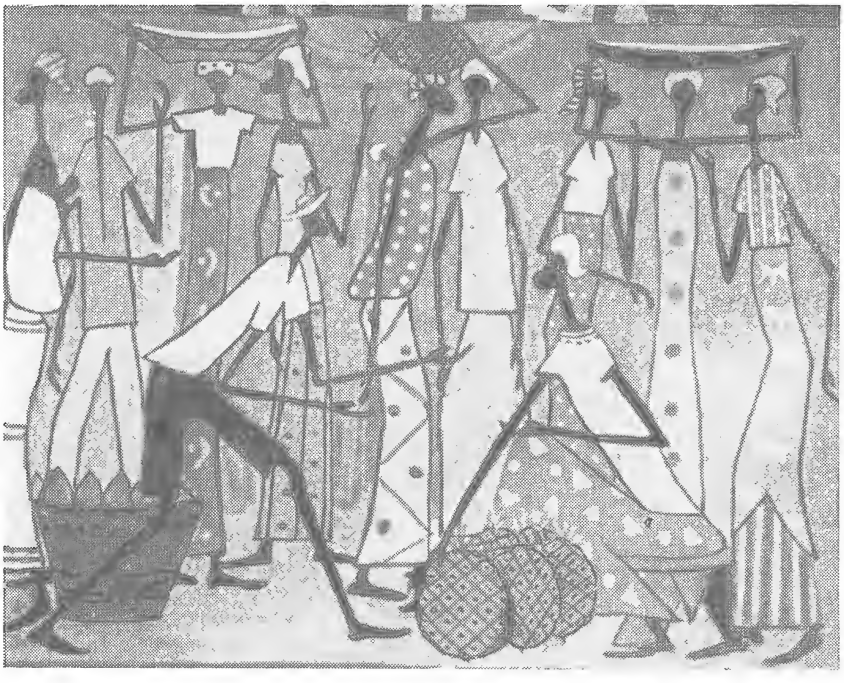


Энгельберт Мвенг. Распятие, бронза (Камерун).

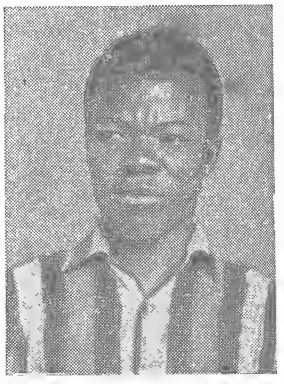
Традиционная скульптура, бамбара, резьба по дереву (Мали). ➔

Христиан Латье. Пантера, веревка, металлический каркас (Берег Слоновой Кости).



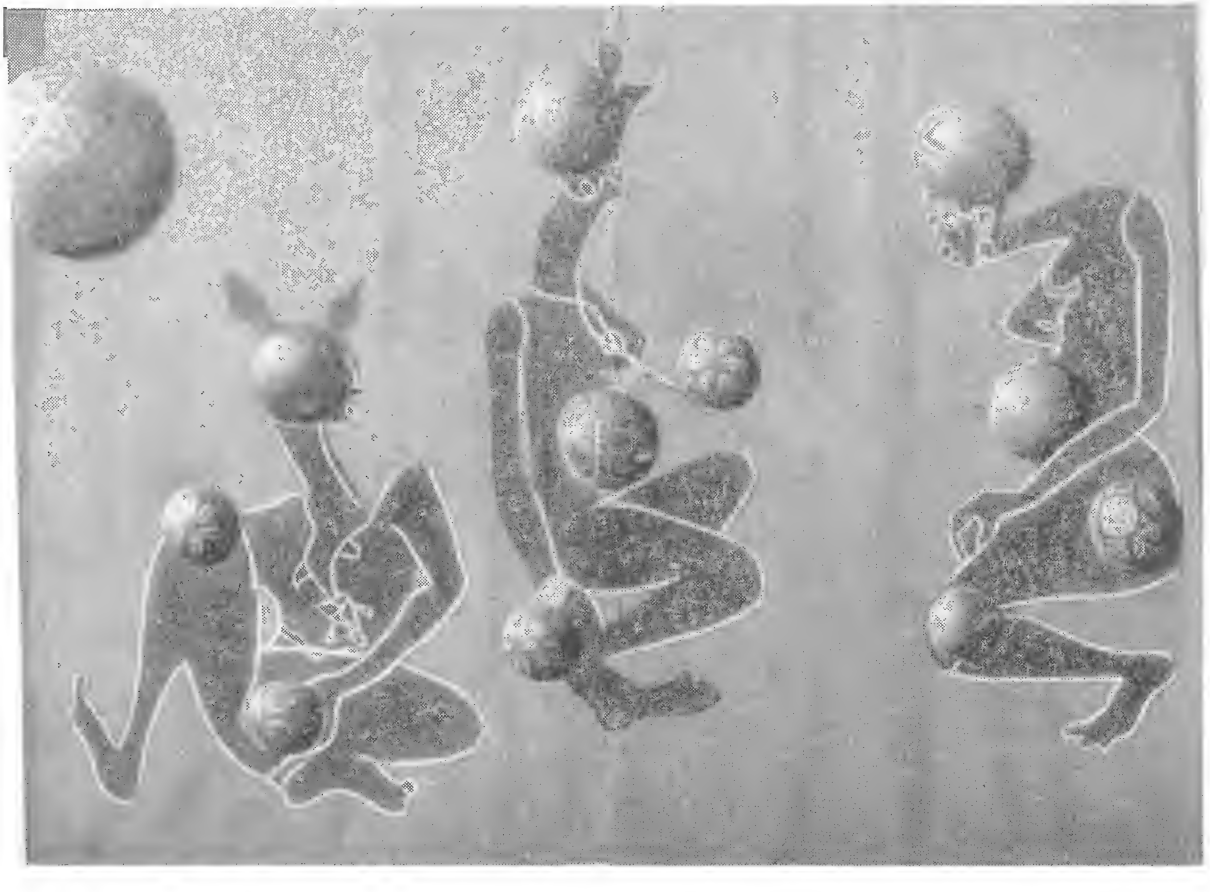


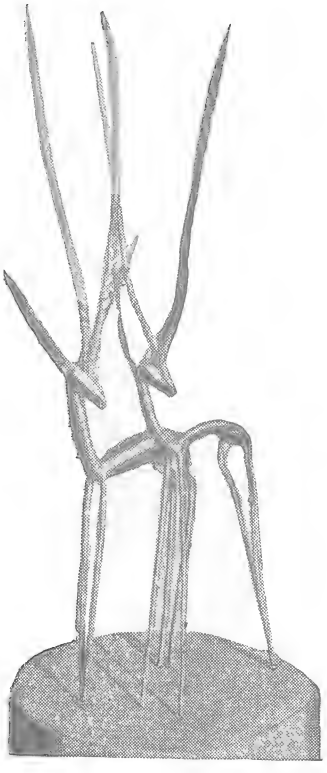
Филипп Ибара Уасса. На базаре. Гуашь.



Филипп Ибара Уасса (Конго, Браззавиль).

Калебасы (Республика Чад).





Скульптура. бронзовое литье (Республика Чад).

Берег Слоновой Кости получает независимость, через год художник возвращается домой. Трагические видения «Распятия» и «Скорбящей мадонны» (парижский период) уходят в далекое прошлое, уступая место жизнерадостным поэтическим образам.

Извечная тема борьбы добра со злом—основа изумительного по темпераменту и выразительности живописного полотна «Голгофа» — одного из лучших произведений талантливого эфиопского художника Ато Гебре Кристос Деста.

По прошлым выставкам в Москве знакомы картины популярного в Советском Союзе эфиопского художника Афеворка Текле, автора знаменитых 150-метровых витражей в Аддис-Абебе. На этот раз он показал среди других реалистических работ картину «Африканская атмосфера», созданную в 1965 году.

Подчас единственными реальными документами, свидетельствующими о высокой духовной и материальной культуре народов Тропической Африки, являются предметы домашней утвари, декоративные панно и барельефы.

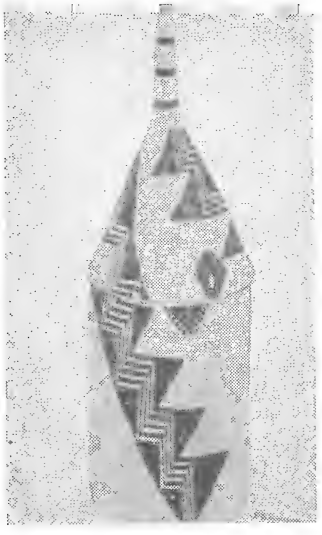
Некоторые страны еще не раскрыли инкогнито многих своих мастеров плетенья, ткачества, резьбы по дереву, металлу и гончарного дела. Но такие страны, как, например, Габон, Камерун, Конго (Браззавиль), нарушают традиционное молчание. Так мы узнаем, что автор прекрасного декоративного панно из керамики — Мишель Монито (Габон), керамического блюда — Фидель Нзуаба (Конго, Браззавиль), а исполнитель художественной бисерной вышивки — Жан Канко (Камерун). Мы узнаем, что барельефы с жанровыми сценами вырезаны камерунским молодым скульптором Гастоном Муафо, что он является сыном столетнего, ныне еще здравствующего, мастера Момбе Массангана, представленного на выставке деревянным резным троном. А сколько талантливых мастеров еще не известны самим африканцам!

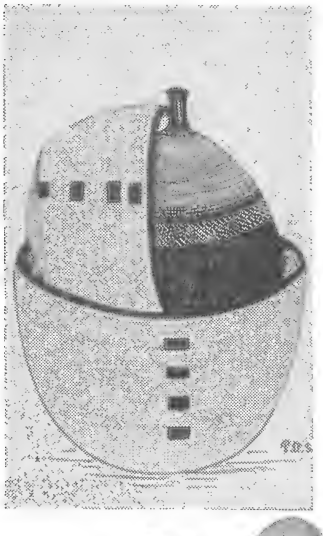
Исполняется вековая мечта поколений. Впервые на родной африканской земле встретились и познакомились молодые художники, до этого почти не знавшие друг друга, объединенные одним великим стремлением — возродить африканское искусство.

Дакарский фестиваль навсегда войдет в историю как первый форум, в котором голос черного континента звучал «на равных», с новой силой утверждая значение вклада африканской культуры в историю мировой цивилизации.

Г. ЧЕРНОВА

Институт Африки АН СССР





ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ

АФРИКАНСКИЙ БЛОКНОТ

Главы из книги

Перевод с болгарского **Н. ГЛЕН**

Валерий Петров не специалист по Африке, он не прожил на этом континенте долгих лет и не изучал скрупулезно его языки, обычаи, общественное устройство, искусство и т. д. Он — известный болгарский поэт, в 1962—1963 годах посетивший Африку по предложению ЮНЕСКО. Египет, Судан, Танганьика, Занзибар, Уганда — пять стран за полгода. Казалось бы, классическая ситуация: «Посмотрите направо. Посмотрите налево...» А в результате — книга очерков, написанных отнюдь не в туристическом плане.

Страсть писателей к путешествиям может уступить разве лишь их страсти писать. В каких только отдаленных уголках не побывали современные писатели и о каких только экзотических странах не поведали они изумленным читателям! Авторов путевых дневников нередко упрекали — и подчас справедливо — за несерьезность, верхоглядство, поспешность и другие грехи. Не самый редкий недостаток этого жанра — заранее заданная схема, на которую, в зависимости от привходящих обстоятельств, порой нанизываются только положительные или только отрицательные факты. А жизнь, как показал опыт, ломает схемы. И это прежде всего относится к Африке, которая за последние годы не раз перечеркивала как самые мрачные прогнозы, так и самые оптимистические предсказания.

Африканская действительность сложна и противоречива. За первым шагом — получением независимости — следуют не менее трудные шаги. На пути африканских народов вперед еще встретится много препятствий и ловушек, и некоторым из них это уже пришлось испытать на собственном горьком опыте.

Концепция Валерия Петрова становится ясной с первой страницы книги. Но симпатия к африканским народам и их борьбе не заслоняет от автора того, что замечать неприятно. История Африки началась не вчера, и не все, что пришло из глубины веков, приемлемо в наше время. Народы Африки пережили господство колонизаторов, культивировавших все самое мрачное и отсталое в африканском обществе. И стоит ли удивляться, когда африканец, личность которого десятилетиями подавлялась в интересах белого господина, выказывает недоброжелательное отношение к человеку только лишь потому, что у него белая кожа?

«Я постарался,— пишет Валерий Петров,— рассказать читателю все честно и непредвзято, не пытаясь выглядеть более знающим, чем я есть на самом деле». Мы бы добавили, что он рассказал обо всем еще и талантливо, увидев за короткое время то, что не всякий смог бы разглядеть за долгие месяцы.

С шестьдесят третьего года в странах, которые посетил Петров, многое изменилось. Пока автор готовил книгу к печати, вместо Танганьики и Занзибара на карте появилась Танзания. Над многими африканскими странами, в том числе и над теми, о которых пишет Петров, пронеслись политические бури. Естественно, произошли изменения и в экономической и культурной жизни этих стран. И если

б дневники Валерия Петрова не выходили за рамки путевых заметок, они бы умерли вслед за теми событиями 1962—1963 годов, о которых в них рассказывается. Но в том-то и дело, что «Африканский блокнот» — не однодневка. Это человеческий документ, свидетельство художника о жизни освобождающегося континента, которое не утратит своей ценности и завтра.

А. СЛОВЕСНЫЙ

В Шенди

Первым моим путешествием по Судану была поездка в городок Шенди, в 150 км к северо-востоку от Хартума. Первым и одним из самых интересных.

Когда проходит какое-то время после путешествия, отдельные впечатления сливаются в одно общее чувство. Но как передать одновременно запах дымка из трубки мистера Рао, призрачный блеск белых женских покрывал в ночи, молчание древних памятников среди холмов железного шлака, странную музыку спектакля под открытым небом? Рассказывая сейчас об этом, мне приходится выделять те элементы, из которых складывалась общая атмосфера, и говорить о каждом из них в отдельности. Хорошо бы, если бы читателю удалось снова их синтезировать и ощутить очарование, которое меня все еще не оставляет.

Итак, обыкновенным поездом, по той же линии вдоль Нила, по которой я приехал в Хартум, еду в Шенди. Со мной в купе — молодой англичанин, учитель.

— Мистер Рао? Индиец? — говорит он.— Конечно, знаю! Его все знают! Он основатель школы муршидов.

Этим словом — «муршиды», означающим нечто вроде вождя,— здесь называют молодых людей, мужчин и женщин, которые прошли специальную подготовку для работы в селах и должны внедрять в них основы гигиены, просвещать, бросать первые семена кооперирования. А мистер Рао — это человек, к которому я еду. Школа, которую он создал в Шенди, организована ЮНЕСКО. Рао — служащий ЮНЕСКО.

— И не только служащий,— говорит мой случайный попутчик.— У него в Хартуме высокий пост. Но он не любит там задерживаться. Живет себе в Шенди при школе.

Мы разговариваем о том о сем, а за окном мелькают горизонтальные линии поселков, за которыми желтеет сначала слева, потом справа Нил. Мой собеседник, хоть он и англичанин, очень разговорчив. Он говорит мне, что в Судане еще много англичан, учителей, «и не только». Я вспоминаю поговорку, о которой мне говорил Хашим Осман: «В Судане, если бросишь камень, попадешь в англичанина». А как мой собеседник справляется с учительской работой, он знает арабский? Нет. Преподавание ведется по-английски. Он закуривает трубку и добавляет:

— На каком же еще языке это было бы возможно?

Он смеется, сжимая трубку меж зубов. Я тоже смеюсь, сжимая зубы без трубки.

Наконец мы в Шенди. Бедная станционная постройка, пыль, песок, глиняные дома. Здесь ждет меня желтый «лэндровер». Это единственная машина, которая справляется с дорогами Судана, успешно маневрируя по песку и грязи благодаря тому, что у нее два ведущих моста и специальная нарезка на покрышках. Мы пересекаем неприглядный городок и подъезжаем к школе муршидов. Она состоит из нескольких одноэтажных построек. В директорском кабинете, лишенном каких бы то ни было украшений, из-за письменного стола встает мистер Шриниваза Рао — невысокий, смуглый, с поседевшими волосами и бровями. Он излучает какое-то мгновенное и неотразимое очарование.

— Добро пожаловать,— говорит он просто.— Я вас ждал.

Он кладет свою трубку в пепельницу, отвинчивает помятый колпачок термоса и наливает мне в него лимонада с кусочком льда. Потом рассказывает о школе и ведет по ней.

Школа дала уже два выпуска муршидов, которые действуют (мистер Рао говорит: «Весьма успешно») в селениях. Кроме того, они готовят детей племенных вождей к их будущим административным функциям. Сейчас в школе занимаются 29 юных суданских девушек, которые кончили в другом месте курсы учительниц начальной школы, а здесь приобретают практические знания, чтобы работать одновременно и в качестве муршидок.

— Им будет нелегко,— говорит мистер Рао.— Не забывайте о положении женщин здесь.

Мы заглядываем в классы. В одном из них идет лекция: за партами — пятнадцать девушек. Блестящие глаза с любопытством выглядывают из-за складок белого одеяния (как мне объяснили, оно состоит из 8 метров материи и называется «тоб»). Что происходит в этих головах? Какие бабочки вылетят из этих коконов?

У другой группы — урок кулинарии. В кухне умышленно нет электрического оборудования: девушки должны учиться готовить на мангалах. Они дают мне попробовать свою продукцию, и я говорю в восточном стиле, что мое нёбо никогда еще не вкушало такой благодати. Коконы смеются, мистер Рао тоже. Но громче всех смеется Абу Зед Мусса, директор школы — толстый, с огромной чалмой на голове.

— Он мой лучший помощник,— шепчет мне мистер Рао, и я оцениваю доверие, которым он меня удостоил, когда он добавляет: — Единственный, кто не думает о карьере!

Потом мы в облаке пыли переходим в дом мистера Рао. Он настаивает, чтобы я был его гостем эти два дня, что я проведу в Шенди, и я соглашаюсь.

Как и все здешние дома, этот дом отделен от окружающего мира высокой каменной оградой, но в нем нет типичного для здешних жилищ деления на две части: переднюю, официальную — для мужчин и заднюю, скрытую — для женщин. Мистер Рао знакомит меня со своей супругой. В одну ноздрю у нее вдета бриллиантовая серьга. Она не знает английского и все время молчит, но приветливо улыбается мне. Они представляют мне и своего несчастного пятнадцатилетнего сына, страдающего от последствий детского паралича. Я наблюдаю за ними во время обеда и постепенно вхожу в атмосферу безмолвной любви, терпения и самопожертвования.

После обеда мы сидим с хозяином в его кабинете, вокруг — книги, пластинки. Рабиндранат Тагор, Гендель... Мистер Рао говорит мне об индийской опере, об индийском эпосе, об Упанишадах, над которыми он работает. Я спрашиваю его, что означает веревочка, которая висит у него на шее под рубашкой. Веревочка означает, что он из касты браминов.

А вечером мы идем на театральное представление, организованное местной воинской частью,— в Шенди есть гарнизон. На пыльной площадке кое-как сколочена сцена, перед ней — скамейки для «простолюдья» и мягкие кресла (!) для важных гостей. Военная музыка исполняет марш: музыканты одеты в белые европейские мундиры с красными поясами и шапками, которые ужасно на них сидят. Наконец появляется молодой начальник гарнизона — перетянутый в талии, как оса, расфранченный, похлопывающий по сапогам английским стеком. Он явно хорошо чувствует себя в этой стране, управляемой такими, как он. Он здоровается с нами и дает стеком знак начать представление. Оно оказывается совершенно примитивным: одна за другой разыгрываются комические сценки, в которых бедуины осмеиваются за вшивость и вороватость. Потом исполняется несколько песен. После этого на сцену подымается солдат-танцор, который один исполняет мамбо. Ритм заражает публику до такой степени, что один из солдат-зрителей вдруг вскрикивает что-то за моей спиной, и, прежде чем я успеваю понять, что произошло, он уже в экстазе танцует на сцене. Из карманов его кителя выскакивают две круглые консервные банки, которые катятся по сцене, вызывая в публике взрыв смеха и дополнительный энтузиазм.

Утром, когда я встаю и выхожу из пристройки, где помещается отведенная мне комната, я вижу на земле у входа в дом чудесный сложный орнамент, нарисованный струйкой белой пыли на желтой утоптанной земле дорожки.

Уверенный, что накануне вечером его не было, я оглядываюсь и замечаю, что миссис Рао дружелюбно улыбается мне в окошко. Я мимикой изображаю недоумение, и она выходит и безмолвно раскрывает мне тайну чуда: орнамент рисуется струйкой муки, которую просеивают между пальцами. Нужно только немножко умения и знакомства с традицией. Эти белые узоры словно говорят: «Доброе утро, глава моей семьи, доброе утро, мой несчастный сын, доброе утро, гость, пусть этот день будет для вас счастливым!»...

Один день моего пребывания здесь посвящен поездке по селениям округа. Со мной в «лэндровере» — вечно смеющийся толстяк Абу Зед Мусса. Его цель — проверить работу нескольких муршидов, назначенных в ближние селения. И вот мы в первом селении. Перед одноэтажным зданием школы — большой двор, огражденный высокой глиняной стеной. Вдоль нее выстроены под солнцем в один ряд совсем маленькие мальчики и девочки в пестрой одежде, с тугими завитками волос, со словно выкрашенными личиками и сверкающими белками глаз. Славные, милые маленькие школьники!

— Это не школьники,— поправляет меня молодой муршид, к которому мы приехали на инспекцию.— Это сельские дети, достигшие школьного возраста.

— Понимаю,— говорю я,— они поступают в школу.

— Не все,— говорит муршид.

— Как не все?

— Не все. Не хватает помещений и учителей. Сейчас поступит только 20 процентов из них.

Двадцать процентов! Четыре пятых этих симпатичных черных малышей никогда не научатся читать и писать, останутся слепыми! У меня такое чувство, будто туча закрыла солнце, отняла краски у пестрой шеренги ребятишек. Это не начало учебного года, а словно какая-то жестокая церемония бессмысленного массового наказания.

— А какой критерий подбора? — спрашиваю я.

— Отбираем более развитых,— отвечают мне.

А как определяют более развитых? Из шумной, ни о чем не подозревающей шеренги детей только каждый пятый перешагнет порог здания, которое мы видим.

— И не только это,— говорит Абу Зед Мусса (сейчас он не смеется).— Наша школа следует английскому образцу. Четыре года «primary», четыре года «intermediate» и четыре года «secondary». Из тех 20 процентов, которые мы сейчас примем, большинство после первых четырех лет вернется обратно к своим неграмотным родите-

лям и забудет то немногое, что они здесь узнают. Только 1—2 процента всех детей продолжат обучение на следующих двух ступенях. Так получается большой процент неграмотных в стране — больше 90%.

— А почему они не продолжают учиться?

— По разным причинам. Но главным образом потому, что у нас в стране не хватает средних школ. В нашем округе их только две: старая в Шенди и одна новая в Кубаши.

— Ясно. Пойдемте, господин Мусса.

Приезжаем в другое селение, в здешней школе мы будем обедать. Входим в кабинет главного учителя. Из дверей видны два класса, заполненных шумными галчатами. В одном идет урок естественной истории: на доске нарисовано растение с корнями, стеблем, листьями. В другой комнате хором заучивают Коран. По какому пути пойдет Судан?

И эти противоречия проскальзывают и в нашем разговоре с главным учителем. Мы случайно затронули вопрос об отношениях между Севером и Югом, о смешанных браках между арабами и африканцами. Мой гид Мусса говорит, что он готов выдать свою дочь за любого африканца, который к ней посватается, если только она его полюбит и он будет хорошим человеком. Но главный учитель вдруг взрывается: он не только не отдал бы свою дочь, но и избил бы нахального претендента! Меня берет зло: он такой маленький, щупленький под своей чалмой, а южане обычно так высоки и атлетически сложены, что скорее претендент несколько помнет его самого и его арабское высокомерие. Оставшись одни, мы беседуем с Абу Зедом о трениях между двумя частями страны. Судя по всему, укоренившиеся предубеждения, историческая вражда, религиозные, культурные и экономические различия еще мешают единству Судана.

Разговор продолжается в машине, которая везет нас в третье селение. Здесь нас встречает и ведет в свой дом — глиняный, с грубыми дверями и окнами — улыбающийся бородатый старик, который говорит по-английски — редкость в этих селениях. Он нечто вроде председателя сельского совета. Старик угощает нас напитком из проса и свежим хлебом, который мы макаем в зеленую малухию — местное блюдо. Но чьи руки приготовили это угощение? Женщин нигде не видно... На грубо сколоченном столике посреди комнаты стоит современный радиоприемник с батареей. От него идут две проволоки. Одна выходит наружу, на крышу — это антенна. Второй конец другой воткнут в цветочный горшок с землей, стоящий на столе.

— Зачем это? — спрашиваю я.

— Заземление,— отвечает хозяин.

На лице Абу Зеда Муссы не дрогнул ни один мускул. У здешних людей, как я потом не раз смогу убедиться, врожденное чувство такта. А в данном случае действует и уважение к старости. Да в конце концов это мелочь. Важно, что радио приходит в селения.

Мы прощаемся со стариком и пускаемся в обратный путь. Уже наступил час, когда по Корану «черная нить не отличается от белой». Внезапная ночь опустилась на плоскую равнину. Мы движемся наугад, как корабль в море, придерживаясь только главного направления. В какой-то момент мы проезжаем даже под аркой, сделанной из трех жердей.

— Гол! — кричит с заднего сиденья Абу Зед Мусса.

Оказывается, это не арка, а футбольные ворота. Итак, мы вернулись в Шенди.

Но в Шенди выясняется, что сегодняшняя программа еще не исчерпана. Мистер Шриниваза Рао устроил в маленьком садике своего дома «парти» для воспитанниц школы, разъезжающихся на двухнедельные каникулы. К тому же этот день — индийский «праздник огня». Поэтому, в соответствии с обычаями своего народа, он устроил иллюминацию: развесил на ограде круглые жестяные коробки из-под своего трубочного табака марки «Три монахини» и закрепил в них свечи. При входе в садик нас встречает какое-то странное спиритическое видение. Девушки в своих белых тобах расселись на траве, и их тени, колеблемые дрожащим светом свечей, танцуют по стене дома. Я подсаживаюсь к ним, знакомлюсь (их зовут Лейла, Зельма, Ханум...), спрашиваю, можно ли мне послушать их спор. Молодая учительница с красивым, но разрисованным татуировкой лицом утвердительно мне кивает, девушки кричат: «Йес! Йес!»

Тема спора — тоб. Должна ли современная суданская женщина носить это белое одеяние или нет? Собрание разделилось на две группы, и спор становится все жарче. Аргументы против тоба — его неудобство и то, что во всех цивилизованных странах женщины ходят в европейском платье. Сторонницы тоба утверждают, что он хорошо защищает от солнца и что эта национальная одежда — один из признаков принадлежности к независимому теперь Судану. Спрашивают мое мнение, и я стараюсь стать на защиту нового, однако так, чтобы не подвергнуться обвинению во вмешательстве во внутренние дела Суданской Республики. Мистер Рао и его супруга выполняют хозяйские обязанности: она с безмолвной улыбкой обносит гостей вареньем и холодной кока-колой, а он смотрит за свечами и, тоже улыбаясь, курит свои «Три монахини». Спор заканчивается победой сторонниц тоба, но самая его страстность уже говорит о том, что покрывало отсталости постепенно спадает с глаз молодых суданских женщин.

Впрочем, эти девушки вообще оказываются гораздо более бойкими, чем их одеяние позволяет предположить. Когда разговор, как положено, доходит до темы «Болгария», выясняется, что они кое-что о ней знают.

— Где она? — спрашиваю я их.

Они подталкивают друг друга. Два-три неуверенных голоса говорят:

— Недалеко от России.

— Правильно. А как называется ее столица?

Не знают.

— София,— говорю я.

Неожиданно девушки начинают толкать друг друга, смеяться, прикрываясь ладонью, оживленно переговариваться по-арабски.

— Что такое? — спрашиваю я.

Мистер Рао переводит мне:

— Они говорят: «Как Софи Лорен!»

Теперь моя очередь засмеяться. Ай да будущие муршидки!

Но уже пора спать, и белые призраки по одному исчезают за воротами. Мы гасим свечи и собираем табачные коробки и бутылки из-под кока-колы.

— Спокойной ночи, миссис Рао! Спокойной ночи, мистер Рао!

— Спокойной ночи, мистер Петров!

А ранним утром у моего порога появится новый орнамент, еще более тонкий и изящный, чем прежний. Мы прощаемся. Обмениваемся адресами. Только два дня мы были вместе, а нас связывает какая-то неожиданная теплота. Что вызвало ее? Разговор об индийском эпосе и о болгарских ряженых? Слова о необходимости мира и взаимопонимания между народами? Кто знает? Мы очень разные — брамин и коммунист,— но мне внушает уважение страсть, с которой он вот уже несколько лет работает в этом глухом городишке, а он, видимо, приятно удивлен тем, что люди из социалистических стран не носят в зубах кинжал. Мы пожимаем друг другу руки почти без слов, с улыбками, которые говорят многое. Есть на этом свете вещи, которых даже Веды и Упанишады не могут объяснить.

Гуммиарабик

Независимый Судан со времен англо-египетского кондоминиума сохранил административное деление на девять провинций. Мне предстоит поездка в центральную провинцию Кордофан.

Вылетаю с хартумского аэродрома на особом, похожем на аиста «фокере» — крылья у него выше окошек, так что пассажиру кажется, будто он висит в воздухе. Впервые я вижу страну с птичьего полета, и зрелище это не из веселых. Сначала видны оба Нила, потом они теряются в мареве вместе с зелеными полосками по берегам, и остается только полупустынная суданская земля. Мне, изучавшему когда-то медицину, эта красноватая плоскость, изборожденная хаотическими завихрениями сухих русел рек, испещренная темными точками кустарников, напоминает срез ткани под микроскопом. Кое-где мелькают деревни, и вид их сверху внушает одно чувство: непрочности. Сооруженные из той же земли, что их окружает, они похожи на выпуклую клинопись, которую время сотрет, чтобы очистить плиту пустыни для новых человеческих знаков. Вокруг деревень раскинулись зеленеющие поля и сады, но в пустыне по соседству с ними явно проступают следы старой разработки, словно сквозь какой-то фильтр веков смотришь на прошлое. Такова здесь система земледелия: когда почва на одном участке истощается, его бросают, чтобы разрабатывать другой.

Но долго размышлять некогда. Полет длится всего час. «Фокер» снижается, выбрасывает свои аистиные ноги и садится на красный песчаный аэродром. Эль Обейд, главный город Кордофана.

После первых встреч в местном управлении меня отводят в гостиницу — продолговатое одноэтажное здание с несколькими комнатами, выходящими на общую веранду. Крыша из гофрированной жести и соломы — для защиты от солнца. На тенистом дворе суетятся слуги в галабиях, они что-то готовят на мангалах. На дверях еще видны полустершиеся следы британского прошлого — «Армейская гостиница № 2». Воды явно не хватает, туалет во дворе устроен с максимумом возможного здесь комфорта: сменяющиеся ведра. Жарко. В комнате работают два вентилятора, один большой на потолке и один маленький у кровати. Они поднимают такой ветер, что я не могу закурить, и все равно жарко.

Но уже наступает вечер. С трудом вытаскиваю на веранду кресло — они здесь тяжелые, как танки,— и сажусь, чтобы насладиться отдыхом и покоем. Мог ли я желать чего-нибудь большего? Все юношеские мечты сбылись. Я погружен в полную экзотику. Полную? Нет: щеколды на дверях и цветы в побеленных жестянках совсем нашенские. И все-таки вот оно, бунгало из приключенческих романов, с москитными сетками,

за которыми в сизых сумерках мелькают белые галабии. С легким шелестом пролетают надо мной летучие мыши, обитающие на кровле. Огромный, с целую пядь, паук, больше похожий на рака, рвет и на скорую руку заглатывает огромную муху, усевшуюся на книгу, которую я взял в местной библиотеке «Британского совета». (И поделом ей, коли она заинтересовалась упадочной поэзией!) Откуда-то издалека доносится протяжная музыка. Двое суданцев встречаются в глубине двора перед помещением для прислуги и здороваются прелестным способом: каждый из них кладет правую руку другому на плечо, левую — под мышку, и они сближают головы, почти касаясь друг друга щеками. Спокойствие...

По Эль Обейду меня водит пожилой местный чиновник по имени Макки Абдель Рахим. Он говорит мне, что один из его сыновей изучает медицину в Лейпциге. Сначала он очень сдержан, но потом расходится, рассказывает о том, как лицемерна американская помощь. После военного переворота выяснилось, что суданская казна опустошена. Американцы стали оказывать помощь. Но на их доллары надо было закупать машины в Соединенных Штатах. Эти ящики, которые нам попадаются, с изображением американского флага и двух пожимающих одна другую рук, как раз из-под этих посылок. Вместе с машинами прибыли и американские специалисты, чье жалованье так высоко, что казна еще больше опустела. Начались займы. И вот теперь государство совсем обеднело, а новых предприятий почти не видно. «Народ очень беден, очень беден!» — это постоянный рефрен моего сопровождающего.

...После поездки по провинции и посещения школ у меня остается совсем мало времени для самого города. А, кроме всего прочего, надо еще и постричься. Я бреду по пыльным улицам в поисках парикмахерской, но вместо этого попадаю на какой-то огромный рынок, запруженный телегами, носильщиками, торговцами. Чем торгуют на этом рынке? Оказывается, гуммиарабиком.

И еще оказывается, что я попал в самое сердце этого производства. Ведь Судан занимает первое место в мире по производству гуммиарабика, а наибольшее количество этого продукта поступает именно из провинции Кордофан, в столице которой я нахожусь. Служащие на рынке учтивы и стараются объяснить мне некоторые детали производства и применения этой смолы. Но ввиду обоюдной слабости в английском языке разговор идет с трудом. Они разматывают свои чалмы и вытирают вспотевшие головы, я достаю платок и тоже утираюсь. Наконец, кое-что проясняется.

Гуммиарабик — эти желтоватые, липкие, эластичные шарики и комочки, которые мне показывают,— смола дерева типа акации, которое здесь называют «хашиб». Ее добывают, как каучук.

Хозяева ведут меня в помещение, где происходит покупка товара. Это продолговатый зал, похожий на костел. Там, где следовало бы быть амвону, стоит кафедра, а на ней человек с деревянным молотком, который ведет торги. На скамьях, где следовало бы сидеть молящимся, сидят представители фирм-закупщиков. Они в галабиях и чалмах, но кого они представляют?

— Вот тот человек работает на английскую фирму «Боксал»,— говорят мне,— вот тот представляет англо-французскую «Джеймс Ланг», а этот покупает для «Стюарда»...

Закупщики полулежат на своих скамьях, небрежно подают какие-то реплики ведущему торги, подсчитывают что-то в своих блокнотах, смотрят на часы, курят.

А за ними в глубине зала, отделенные от них широкой полосой пустого пространства, сидят на полу производители смолы. Они пришли сюда с женами, а жены их пришли с детьми. И эта бедно одетая толпа напряженно следит за тем, сколько дадут за ее смолу. Молоток ударяет по кафедре. Среди производителей движение, они оживленно переговариваются. Закупщики лениво смотрят на часы. Как будто ничего особенного не происходит, но классовое разделение так отчетливо, что, кажется, чувствуешь, как медленно капает выжимаемый из суданского народа сок труда и пота. И ты ощущаешь свою вину и гнев от того, что ты не можешь крикнуть:

— Вы там, сидящие в глубине, это ваш труд, это ваша смола. Выкиньте вон паразитирующих стюардо-лангов!

Однако день справедливости придет и сюда, он шагает большими шагами по всему африканскому континенту. И его не остановят ни неграмотность, ни религиозные заблуждения, ни маневры эксплуататоров. Судан уже «независим», а завтра экономические и политические кавычки, в которых стоит это слово, полетят к черту!

Но последний мой день здесь подходит к концу. Парикмахерская, наконец, найдена. А несчастный эльобейдский цирюльник нашел своего первого европейского клиента, и теперь мы мучаем друг друга. Привыкнув только к курчавым африканским волосам, он бьется надо мной целый час и в конце концов оставляет меня в печальном эстетическом состоянии. Куда ни шло!

На другое утро мой опекун господин Макки Абдель Рахим, пришедший проводить меня на аэродром, с удивлением смотрит на мою новую прическу, ступенчатую, как пирамида Джесер. Но и я смотрю на него с удивлением. Он заменил свой европейский костюм торжественной белой галабией, на голове — огромная чалма, на ногах — туфли из леопардовой шкуры. В мою честь? Вместо ответа господин Макки улыбается. Вскоре его белая фигура становится все меньше в окошке того же длинноногого «фокера», который привез меня сюда, а теперь доставит обратно в Хартум.

Британия уходит

Сегодня 8 декабря. Год назад, 9 декабря 1961 года, Танганьика получила независимость, но английский губернатор остался в стране еще на год. Сегодня во второй половине дня он уезжает, а в 12 часов ночи, в первые секунды 9 декабря 1962 года, страна будет провозглашена независимой республикой в составе Британского Содружества.

Трудно на нескольких страницах воссоздать атмосферу тех дней и передать все, что я разом узнал тогда из газет и от окружавших меня людей. Тем более что эти люди — главным образом англичане. Рефрен их теперь таков: «Мы сделали, что могли. Наша миссия завершена. Нашей задачей было помочь этой стране как можно скорее дорасти до того, чтобы взять управление в свои руки. Британия, мать-покровительница, надеется, что народ Танганьики уже созрел для самоуправления». Газеты, выходящие на английском языке, полны приветствий. Сэр Ричард Тэрнбэл, последний губернатор, пишет в своем прощальном приветствии, что он «шлет свои самые теплые пожелания полицейским, рабочим, зеленщикам и рыночным торговцам Бугуруни, Мсимбази, Магомени и Кинондони и всем школьникам, матерям и бабушкам, с которыми имел счастье болтать во время своих велосипедных прогулок между дорогой на Морогоро и дорогой на Багамойо».

Так же исполнены добрых чувств и желания «сотрудничать рука об руку» все занимающиеся импортом фирмы, банки и т. д. Они просто наперебой приветствуют великое событие: председатель «Ист-Африкэн тобакко компани ЛТД», улыбаясь с газетного клише, показывает современную табачную фабрику, построенную в Танганьике, и подчеркивает, что компания платила ежегодно такую-то сумму налога, которая шла на строительство школ, больниц и дорог в стране... «Наш флаг — гарантия надежности!» — заявляет английская «Индиа стийм навигейшн компани ЛТД», перекрещивая свое знамя со знаменем новой республики и напоминая, что она осуществила первый торговый рейс Лондон—Занзибар еще в 1872 г., раньше, чем Стэнли отправился на поиски Ливингстона... «Счастливого праздника!» — желают темнокожей хозяйке заводы холодильников и пылесосов «Гувер»... «Поднимите тост за день республики бокалом «Тоскера»! — приглашают «Танганьиканские пивоварни ЛТД»... «Мы выполним свой долг!» — заявляют производители трубок из «Танганьиканской корпорации изделий из морской пены»... Все радуются, все готовы выполнить свой долг.

А долг миссис Мэри Партридж — сопровождать меня на предстоящие церемонии. Она заезжает за мной точно в назначенное время, чтобы на своей маленькой машине везти меня в город. Там, перед резиденцией губернатора, состоится первая часть торжественного расставания с представителем ее величества.

Когда мы приезжаем, кварталы вокруг резиденции кишат народом. Жарко. Мы едва пробираемся сквозь толпу: белые рубашки и черные лица. Перед белым зданием в арабском стиле, на окруженном толпой четырехугольнике выстроены два африканских батальона под командой британского офицера. В просветы между курчавыми головами я вижу генерального губернатора сэра Ричарда, высокого англичанина с типичными усиками и седыми висками. На нем белый парадный мундир с позументами, он при сабле, эполетах, орденах, звездах и «адмиральской» шляпе с белыми перьми. Когда он проходит мимо нас, отдавая честь потным черным стрелкам, видно, что он бледен и взволнован.

Бледна и взволнована и моя спутница.

— Бедный! — говорит она.

Стрелки с троекратными возгласами подкидывают в воздух фески.

И сэр Ричард проходит дальше. Вскоре мы видим, как он уже далеко от нас прощается с официальными лицами. Играет военная музыка. С высокого флагштока среди пальм медленно, толчками спускается синий губернаторский флаг. Медленно, толчками карабкается вверх флаг президента республики — зеленый, с гербом посередине. Миссис Партридж отворачивается, чтобы я не заметил ее слез, и толпа несет нас, среди пыли и криков, к берегу, откуда можно будет увидеть последний акт прощания.

Дар-эс-Салам расположен на берегу глубокого удобного залива, связанного с океаном узкой протокой. Сейчас посреди этого залива ждет под парами серый военный фрегат — корабль Ее Величества «Лох Рэтвен», украшенный флажками, окруженный бесчисленным количеством маленьких суденышек, яхт, лодок. Я слышу, как возле меня повторяют слово «Манувара! Манувара!» (оказывается, это означает на суахили «военный корабль» и происходит от английского «мен ов уор»). Берег с белыми зданиями британских банков и германских церквей среди пальм и манговых деревьев почернел от народа. В бинокль госпожи Партридж видно, как где-то внизу, у таможенного причала, Джулиус Ньерере в белом костюме подает руку бывшему губернатору и леди Тэрнбэл, когда они садятся в моторную лодку, которая доставит их на корабль. Моторная лодка вспарывает гладкую водную поверхность, оставляя за собой острый пенистый угол. Орудия фрегата дают приветственный залп, прокатывающийся по всему заливу. Моторная лодка пристает к борту корабля. Сэр Ричард появляется на капитанском мостике и долго машет шляпой. Белое платье его супруги

развевается на ветру. Вскоре леди Тэрнбэл спускается вниз, на палубу, и он остается один. За кормой корабля вскипает пена. На берегу вспыхивают огоньки, а затем раздается грохот: береговые орудия дают отаетный салют. И «Лох Рэтвен» медленно направляется к выходу из залива под крики толпы и нестройные звуки военной музыки, эскортируемый яхтами, лодками, пловцами, чьи головы чернеют в воде.

Миссис Партридж отнимает от глаз бинокль. Она больше не скрывает слез. Гнев и гордость звучат в ее голосе, когда она говорит мне:

— Расскажите об этом, когда вернетесь домой! Пусть у вас знают, как Британия уходит!

Я не отвечаю ей. Чужие чувства надо уважать. Да и бессмысленно бы это было. Сейчас не время. Время придет полутора годами позже, когда британские военные корабли войдут в этот самый залив и направят на берег свои столько-то и столько-то дюймовые орудия уже не для приветственного салюта, а чтобы обстрелять прибрежные улицы Дар-эс-Салама. Но и тогда, разумеется, англичане будут знать, как отвечать. Они будут говорить, что их призвали, чтобы потушить волнения в Танганьике, и что эти волнения наступили, потому что страна еще не вполне созрела для независимости, и что они об этом говорили, но их никто не послушал, а они не могли настаивать, потому что тогда их обвинили бы в «империализме» и т. д. и т. д. В подобных случаях всегда находится что сказать.

Британская колониальная политика — в отличие от французской — умна и гибка, в этом я впоследствии не раз убеждался. Она умеет отступать, когда нужно. Великая империя рушится, но британцы умеют приспосабливаться к неизбежному самым умным способом. Здесь они откладывали, насколько могли, час расставания, но уходят они, еще не перегнув палку и не потеряв окончательно возможность изображать себя покровителями и цивилизаторами. Да, среди них, дескать, встречаются колониалисты и эксплуататоры, но матери-Британии в целом стыдиться нечего. Теперь она уходит — быть может, слегка опечаленная, потому что она была привязана к этой стране, и слегка обиженная неблагодарностью тех, кто не сознает, что она дала этому недавно еще дикому краю...

Королевский фрегат уже вошел в узкую протоку, и сопровождающие его суденышки отстают один за другим. На берегу остаются банки, церкви, остаются плантации, договоры, пакеты акций, специалисты и советники, неграмотность, бедность, английское воспитание многих общественных деятелей, проблемы, тысячи проблем.

«Пусть знают, как Британия уходит!» Вот, я выполнил желание своей расчувствовавшейся спутницы и рассказал все так, как было. Вот так и уходит Британия — чтобы остаться.

А вечером на городском стадионе состоялось большое «татуу» (парад и праздник с танцами), на котором была официально провозглашена республика. Мне не удалось на нем присутствовать, но зато я видел, как на широкой полуосвещенной и пыльной площади Мнази Моджа веселился народ. Пусть читатель представит себе эту толчею в полутьме: черные блестящие лица, белые глаза и зубы, длинные ноги и вздымающиеся темные руки с розовыми ногтями; нестройную смесь криков, то гортанных, то пронзительных; ритм, нет, множество разных ритмов, набегающих то с одного, то с другого конца площади; пальцы и ладони, бьющие в трансе по барабанам из зебровой кожи, по смятым бидонам из-под керосина, по консервным банкам; и над всем этим один клич: «Ухуру! Ухуру!» — который звучит как магическое заклинание, а означает «Независимость!»; и, кроме того, смесь костюмов: белые брюки, пестрые женские покрывала «канга», страусовые перья, крахмальные воротнички, львиные гривы, европейские галстуки, кабаньи клыки, шляпы с полями, ожерелья из патронов электрических лампочек... На местном языке это называется «нгома», то есть барабан, праздник с танцами.

На другой день в парке перед домом президента состоялась «парти» уже в английском стиле. Я отправился туда с двумя дамами из бюро ЮНЕСКО: миссис Партридж и мисс Прайд — пожилой особой, которую я запомнил по ее искусственной улыбке. Увы, я не знал, куда следует сесть в машине джентльмену, если одна из двух леди сидит за рулем.

— Могу ли я сесть здесь? — спросил я.

— Обязаны! — прошипела мисс Прайд, улыбаясь так, словно щелкнул затвор фотоаппарата.

Сама «парти» была очень любопытна. Изысканность и позы, напоминающие журнал мод (дипломатический корпус), смешивались с пышными одеяниями и неловкостью (местный верхний слой). Здесь были полные африканки, слишком ярко одетые, громко смеющиеся, но была и утонченная англичанка, которая, чтобы показать свое красное платье и красный зонтик, два часа простояла на одном месте под тропическим солнцем, полыхая, как мак. Черные скауты поддерживали порядок. Черный и тонкий, недавно вылупившийся из Ватикана кардинал мелькал среди пестроты. Здесь был и Джулиус Ньерере. У него симпатичная, естественная манера держаться.

— Какой зоопарк! — сказала мисс Прайд.

Я спросил ее, не употребляет ли она это выражение в презрительном смысле.

— О нет! — сказала она.— Просто это очень живописно!

И она опять улыбнулась знакомой уже мне улыбкой.

Суахильская поэзия

Я встречался с несколькими танганьиканскими поэтами; знакомство с местной поэзией входит в мою программу. Но чтобы я мог рассказать то, что я узнал, необходимо маленькое предисловие о народе и языке суахили.

Народ суахили — это «смесь смесей», которая начала складываться на восточноафриканском берегу еще в первые века нашей эры в результате контактов между населением банту береговой полосы и маленьких островов Занзибар, Пемба, Мафия с переселившимися в эти места индийцами, арабами, персами, а также с рабами, которых арабские торговцы пригоняли на берег из внутренней Африки. Само название суахили происходит от арабского слова «сахель» (берег) и означает «береговые жители». Сейчас суахили около одного миллиона, но на языке суахили (кисуахили) говорят до 40 миллионов человек в Танганьике, Кении, Уганде, Ньясаленде, Восточном Конго, Занзибаре. Для европейского уха язык этот приятен. Он звучен, в нем много гласных, часто повторяются одинаковые слоги, нет арабской гортанности. Когда слышишь его первый раз, он напоминает итальянский.

А где начало поэзии на этом языке?

Вспоминаю белую оштукатуренную комнату с расстроенным пианино в глубине. Сквозь два окна слепит глаза белая каменная ограда в арабском стиле на той стороне узкой улочки, доносятся крики уличных торговцев. В комнате вдоль стены уселись бородатые старцы в белых шапочках, с палками, в длинных белых одеяниях, из-под которых видны сандалии, обутые на босу ногу. Я в Занзибаре, а это занзибарский кружок «Ахванисафаа» — «Добрые братья». Он занимается главным образом музыкой, хотя у него всего несколько инструментов и только один сотрудник помоложе умеет писать ноты. Члены кружка собрались сейчас, чтобы рассказать гостю из Болгарии о старой поэзии на языке суахили. Пришли и несколько молодых людей, одетых по-европейски. После традиционных учтивостей по отношению к гостю и к патриарху кружка Шаиб Ахмаду они, надев очки, начинают рассказывать, одновременно передавая друг другу рукописные тексты и считая на пальцах число слогов.

— Где начало суахильской поэзии? — спрашиваю я.

Старцы покачивают головами, морщат лбы: неизвестно где. Где-то в VII в. арабская письменность уже была приспособлена к их языку, но самые старые исторические хроники прибрежных городов, эпические сказания, как, например, легенда о Лионго Фумо, относятся к XIV веку. Истоки суахильской поэзии в «тензи». Это бесконечно длинные рассказы на исторические и религиозные темы, которые начинаются обращением к аллаху и читателю, заканчиваются обращением к аллаху и читателю и насыщены сравнениями, метафорами и гиперболами в восточном стиле А какова их форма?

Старцы вдруг оживляются, начинают еще более усиленно передавать друг другу рукописи и считать слоги и пытаются объяснить мне какие-то тонкости, недоступные «мзунгу» (европейцу), особенно когда он ничего не смыслит в их языке. Наконец, я кое-что понимаю. «Тензи», оказывается, написаны в чрезвычайно строгой и трудной форме, которая соблюдает точное число слогов (мизани) и украшена бесчисленным количеством обязательных рифм (кина). Эти строгие законы, видимо, привели к иссушению поэзии, к превращению ее в словесный ребус. Поэтому «Добрые братья» так горячатся, когда говорят о слогах и рифмах. При этом они явно недовольны «развратом», наступившим в последнее время: молодые стихотворцы не обращают внимания на самое главное — на единство произведения. А каждая тема требует своего способа изложения! Ведь пренебрегать этим — это все равно что, описывая нашего гостя, мистера Петрова, начать с его обуви!..

Я в некотором смущении смотрю на свои ботинки. Они все еще те самые, с задранными носами, прошагавшие уже немало африканских километров. Мне было бы крайне невыгодно, если бы меня начинали описывать с них. Патриарх Шаиб Ахмад прослеживает за моим взглядом и добродушно смеется. Вслед за ним учтиво улыбаются и другие старцы. Что же пишут молодые? Главным образом «шаири».

Что такое эти шаири, мне объясняет в городе Танга поэт Мзее Вазири. Он известный танганьиканский поэт и, может быть, потому и носит титул «мзее» (старец), который употребляется здесь, чтобы выразить к кому-либо уважение. А так мой собеседник сравнительно молод, между 30 и 50 годами (возраст здесь определить нелегко). Он очень живой и веселый человек, жестикулирует, хлопает меня по плечу — говорить с ним приятно. Мы беседуем в моей комнате в гостинице, вытащили бумагу и ручки и пытаемся понять друг друга. Он читает мне свое стихотворение, смысл которого очень приблизительно, таков:

Глуп он, а ходит шагом горделивым,
если садится среди людей, ищет стул впереди.
Безумие человеческое бывает самое разное.
Можешь быть безумцем, хоть ты и не ходишь голым!

— Ха-ха-ха! — смеется «старец» Вазири. И объясняет мне: это смешное шаири, он написал его недавно. Шаири можно написать на любую тему: вот об этом манговом

дереве, что видно в окно, об автобусе, который сейчас проходит. Надо только найти что-нибудь такое, что смешило бы людей. И он продолжает переводить мне на английский:

Умный умен даже и в лохмотьях.
Вол и с медалями останется волом.
Невежда сам себя хвалит.
Можешь быть безумцем, хоть ты и не ходишь голым!

— Ха-ха-ха! — смеется «старец».— Важно найти слова, которые будут постоянно повторяться!

Итак, шаири — вторая главная форма здешней поэзии — короткое лирическое стихотворение. Оно может быть сентенцией в стихах, выражением радости по поводу ухуру, восхвалением женской красоты, репликой в споре...

— Каком споре? — спрашиваю я.

Выясняется, что в Танганьике жива традиция поэтической полемики. Один поэт выступает в газете с заявлением в шаири: по его мнению, женщина должна во всем слушаться мужа. Другой поэт высказывает в стихах мнение противоположное: с его точки зрения, хотя он глубоко уважает опыт и мудрость своего оппонента, жена должна слушаться мужа не во всех случаях, а только когда решения мужа правильны. Тогда вмешивается третий поэт: что же получается? Что жена будет определять, какие решения ее супруга правильны и какие нет? И т. д. и т. д.

— Ха-ха-ха! — смеется Мзее Вазири и хлопает меня по плечу. Приятно. От мангового дерева за окном гостиницы даже и в жару веет прохладой.

— А кто ваши лучшие поэты? — спрашиваю я Мзее Вазири.

Мой собеседник чистосердечно отвечает мне, что лучший поэт — он, но хороший поэт также и Салех Кибуана. Но сейчас он спешит, ему нужно заглянуть еще в овощной магазин. Большой «салам» болгарскому гостю! А что он будет покупать в магазине? Он не будет покупать, он будет продавать. Магазин принадлежит ему, так же как и одна гостиница в городе. Поэзия — это его «хобби», дополнительное занятие. И мы расстаемся...

Основоположник новой поэзии — недавно умерший Роберт Шаабан. Он писал прозу и стихи и сам переводил свои произведения в стихах на старомодный английский. Сочинял приветствие принцессе Маргарет, когда эта высокопоставленная особа посетила Дар-эс-Салам: «Я возьму самую белую бумагу, самые блестящие чернила, самое острое тростниковое перо, чтобы написать: «Добро пожаловать, Ваше Высочество, Звезда Свободы!»

Но он писал и вдохновенные похвалы суахильскому языку:

Тити ла мама литаму хата ликива ла мбва ..

И вот читатель уже улыбается: на что похожа эта строка, что за звучание у этого языка! Но не будем поддаваться предубеждению. У каждого народа свой язык и право его любить. Постараемся лучше почувствовать в переводе этих «тити ла мама литаму...» порыв патриотической гордости:

Я не знаю ничего сладостнее теплой материнской груди.
Суахили, ты для меня — раздающая себя плоть,
и я тружусь для того, чтобы враги твои,
когда тебя призовут на суд, сняли бы перед тобой с поклоном шляпу.
Я не знаю ничего сладостнее теплой материнской груди.

На этом языке пишет теперь целый ряд поэтов. Разумеется, несмотря на длинную историю поэтического творчества суахили, многие их произведения еще наивны и напоминают первых наших стихотворцев. Слово «хобби» часто можно услышать от здешних поэтов. Известный поэт Мохаммед Али работает переводчиком с английского на суахили в Верховном суде. А у молодого поэта Мтачока совсем любопытная профессия: он тренер занзибарской футбольной команды и был очень подавлен, когда мы с ним разговаривали, потому что за день до этого занзибарские спортсмены потерпели страшное поражение от танганьиканцев (которые тоже очень слабы в футболе). Из таких известных в стране поэтов, как шейх Амри Абеди, Матиас Мнямпала, Мзее Вазири, Мохаммед Али, Салех Кибуана, Муяка (поэт с красивым псевдонимом Белоснежка), только первый уже издал сборник своих стихов.

Зато поэзия широко представлена в программе радио Дар-эс-Салама. Я не подозревал, что это так, пока мне не объяснили, что протяжные песни, с утра до вечера звучавшие по радио, именно и есть шаири. Стихи здесь, оказывается, не декламируют, а поют на особый монотонный мотив. Как могут они волновать, если они исполняются таким странным способом? Но, видимо, могут.

Трудно войти в поэзию какого-то народа, если не знаешь его языка. Ясно, однако, что здешние поэты очень связаны с арабской традицией и очень далеки от остального мира. Но я рассказываю здесь о суахильской поэзии не для того, чтобы определить ее ценности, а чтобы показать на ее примере уровень и характер танганьиканской культуры.

(Окончание следует)

НАШИ ГОСТИ

ПОСОЛ ГВАТЕМАЛЫ

В латиноамериканской печати недавно — и, насколько мне известно, впервые — было опубликовано стихотворение Мигеля Анхеля Астуриаса «Литания изгнанника». В этом «молитвенном слове», пронизанном острой горечью жизни в эмиграции, знаменитый гватемальский поэт и романист писал:

Тебе, изгнанник,—
быть в пути, каждый день в пути,
и землю видеть двором постоялым,
и небо видеть чужим постоянно,
с чужими и чуждыми жить людьми...
Что ж, ты — человек без страны,
человек без имени, даже
не человек...

Так мог сказать, конечно, тот, кто сам немало скитался по мучительным дорогам изгнания, кто испил до дна чашу горестей на чужбине. «От боли этой лечит только возвращение...»— свидетельствует «Литания». Возвращение на родину, но когда? Предпочитая не ставить столь открыто вопрос, поэт все же дает ответ на невысказанное: «Быть может, завтра, завтра или никогда...»

За это **завтра** автор «Литании изгнанника» боролся неустанно и долго — с тех пор, как пришлось ему покинуть свою родину, растерзанную империализмом Соединенных Штатов, с того дня, как вашингтонский наемник и креольский убийца Кастильо Армас, захвативший с помощью США власть в Гватемале, своим первым актом снял с поста гватемальского посла в республике Сальвадор дона Мигеля Анхеля Астуриаса.

И вдали от родины Мигель Анхель Астуриас оставался борцом за завтрашний день Гватемалы. Хотя проникнуты вполне понятной скорбью и тоской по отчизне строки «Литании изгнанника», все произведения писателя, созданные в годы эмиграции, представляют собой, по определению самого Астуриаса, оружие в борьбе. Разве не таким оружием, например, является его эпический роман о борьбе народной «Глаза погребенных» или книга «Уикэнд в Гватемале», могучей силой художественного слова заклеймившая американских интервентов на родине писателя? Кстати, по рассказу из этой книги читатели «Иностранной литературы» впервые познакомились — почти десять лет назад — с творчеством гватемальского писателя-патриота. А когда Астуриас в первый раз посетил нашу редакцию *, он говорил не как сраженный несчастьями человек, а как человек сражающийся.

Можно с полным правом сказать, что на протяжении всех лет жизни, литературной и общественной деятельности Астуриаса в эмиграции мы — и все люди земли — видели в нем подлинного посла гватемальской культуры, чрезвычайного и полномочного посла народа Гватемалы. Бесспорно, писатели могут не быть дипломатами, но и бесспорно, что они — послы своих народов, выполняющие благородную миссию по сближению между народами, по достижению взаимопонимания между народами. Таков Астуриас. Во время беседы корреспондентки мексиканского популярного журнала «Сьемпре» с новым президентом Гватемалы, воспроизведенной в одном из последних номеров журнала, корреспондентка сказала президенту: «Мигель Анхель Астуриас никогда не переставал быть лучшим послом Гватемалы перед миром, хотя и закрыты были для него двери родины».

---

* См. «Иностранную литературу» № 12, 1962 г.

Не так давно мы снова встречались с Мигелем Анхелем Астуриасом в Москве — он приезжал, чтобы получить присужденную ему Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами» (к слову сказать, и предыдущие приезды писателя в Советский Союз связывались со значительными событиями, будь то Всемирный фестиваль демократической молодежи, почетным гостем которого был Астуриас, будь то Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, делегатом которого от Гватемалы выступал Астуриас).

«...Я считаю необходимым сказать, почему меня так взволновало присуждение Ленинской премии,— заявил Астуриас в своей речи в Кремле.— Уже само сознание того, что мои усилия как человека, гражданина и писателя, выполняющего свой долг, оказались отмечены, наполняет сердце гордостью. Но еще бóльшую гордость я испытываю от того, что вручаемая мне премия носит имя Ленина, человека, чьи великие идеи вдохновляют людей теперь не только на земле, но и в космосе. Благодаря творческому гению Ленина построен мир свободного труда — Союз Советских Социалистических Республик. Само существование этого государства имеет жизненно важное значение для всех народов мира и для всех людей на земле».

По приезде в Москву Астуриас говорил пишущему эти строки:

— Весть о присуждении мне Международной Ленинской премии мира пришла в Гватемалу, когда на моей родине еще господствовала военная диктатура. И вот из Гватемалы ко мне, в Париж,— из Гватемалы, где даже упоминание имени Ленина было сопряжено с известным риском,— пришло много телеграмм, заметьте, не запечатанных в конверты писем, а телеграмм, в которых мои соотечественники, поздравляя меня с высокой и почетной наградой, открыто писали имя Ленина... Даже этот факт может свидетельствовать о возрождении гражданского духа в стране, долгое время находившейся под гнетом военно-фашистских диктатур и поныне испытывающей тяжкое бремя чужеземного засилья!..

Возвращаясь к мысли, затронутой им в речи в Кремле,— мысли о связи творчества латиноамериканских писателей с освободительным движением народов «вулканического континента»,— Мигель Анхель Астуриас в беседе с нами, в редакции «Иностранной литературы», еще раз подчеркнул исключительную важность этой связи:

— Латиноамериканские писатели—я имею в виду, само собой разумеется, честных, живущих жизнью народной писателей — находят вдохновение и живительные силы в антиимпериалистической, антифеодальной, социальной борьбе, которую ведут народы Латинской Америки. Поэтому-то латиноамериканский роман, по существу, превратился в своего рода документ времени, нашей эпохи, обрел особую жизненность. Симптоматично, что среди литераторов и литературоведов Латинской Америки не услышишь траурных рассуждений о пресловутой «гибели» романа, об «отмирании» жанра романа. Наоборот, мы стали очевидцами расцвета латиноамериканского романа. Последние годы, как вы знаете, я жил в эмиграции, в Западной Европе, и смог убедиться в том, какое внимание читатели тех стран стали уделять роману Латинской Америки. В перечнях публикаций западноевропейских издательств латиноамериканский роман уже занял прочное место. Вместе с тем нельзя не отметить, что итальянский и французский роман переживают кризис, находятся в упадке,— порой кажется, что некоторым авторам нечего сказать, вот они и занимаются самокопанием, залезают в дебри интеллектуализма, уходят все дальше от реальной жизни. А латиноамериканский роман раскрывает перед читателем новый, неведомый мир, бушующий, полный человеческой страсти, горящий пламенем сердца. Это мир двухсот двадцати миллионов латиноамериканцев, которые хотят быть свободными и счастливыми.

Наши писатели рассказывают о том, что есть на самом деле, говорят о живом человеке, во плоти и крови, а не о каком-то гомункулусе из реторты. Наши писатели — в народе, не отрываются от земли, а все это обогащает творческое воображение, позволяет находить новые, свежие, сочные краски... Я хотел бы еще отметить и другую характерную черту в литературе Латинской Америки. История наших стран, как правило, фальсифицирована в угоду интересам, чуждым народу. Нет точной статистики, мало глубоких анализов. Однако, взяв в руки латиноамериканский роман, каждый может себе представить панораму нашей жизни. Наш роман богат социологически, и это не в ущерб его художественным достоинствам. Художественными средствами наши писатели воссоздают правду жизни, отнюдь не претендуя на то, чтобы писать научное исследование. Таковы традиции латиноамериканского реализма, этих традиций придерживаются виднейшие писатели наших дней...

Говорит Астуриас не спеша, с паузами; его величественная фигура, крупные характерные черты лица придают ему вид не то вождя индейцев майя, не то изваянного из камня древними мастерами индейского божества — одного из тех, что до нашего времени сохранились на родине писателя. Небезынтересно заметить, что по пути в Москву писатель получил из гватемальского города Кетсальтенанго пергамент, подтверждающий присвоение ему почетного титула «славного продолжателя дела Текум-Умана» (так звали легендарного героя индейцев Гватемалы, первым выступившего в XVI веке на защиту родной земли от чужеземных конкистадоров).

Астуриас как-то писал: «Разве наша литература — когда она действительно наша, а не карикатурное подражание чужому — не разоблачает несправедливость по отноше-

нию к индейцу, к негру, к метису, к мулату, к обездоленному белому? Разве наша литература не является сама по себе требованием земли и хлеба, книги и свободы для наших людей?» Эти слова Астуриаса как нельзя лучше оценивают и произведения самого Астуриаса. Более того, произведения Мигеля Анхеля Астуриаса, «славного продолжателя дела Текум-Умана», вдохновлены идеей защиты Гватемалы от конкистадоров XX века — американских империалистов и их пособников.

Борьба нелегка. Отстаивая интересы гватемальского народа, писатель отстаивает интересы народов всей Латинской Америки, интересы всех народов земли.

Писателя занимают проблемы организации и деятельности первого континентального объединения литераторов — Латиноамериканского Сообщества писателей, основанного в прошлом году, но столкнувшегося уже с большими трудностями. Писателя захватывают проблемы воспитания молодого поколения поэтов и прозаиков Латинской Америки. Писателя волнуют те же проблемы, что находятся сегодня в центре внимания всего человечества,— угроза войны, разжигаемой империализмом Соединенных Штатов, Санто-Доминго, Вьетнам...

— Мне думается,— продолжал Астуриас,— что присуждение Международной Ленинской премии мира одному из латиноамериканских писателей, который является плотью от плоти своего народа, который видит свой долг в защите интересов своего народа, имеет еще одно очень важное значение: позволяет развивать диалог между странами социализма и Латинской Америкой, диалог между Западом и Востоком. По моему убеждению, дружба и взаимопонимание между народами лучше всего достигаются путем диалога между народами — так мы можем ближе узнать друг друга, глубже понять друг друга и в конце концов прийти к единому заключению, что не существует ничего такого, что разделяло бы нас, что препятствовало бы установлению дружеских отношений между нами. Диалог предполагает мирное собеседование о том, как лучше жить вместе. Это так нужно сейчас, когда в мире чаще слышишь бряцание оружием, слышишь эхо войны — далекой и вместе с тем такой близкой для каждого из нас,— слышишь дикие призывы к разжиганию войны со стороны тех, кто угрожает человечеству новой катастрофой, видишь зарево пожара войны, все более и более охватывающее горизонт... Мы обязаны сражаться за жизнь во имя жизни!

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ

Стихи друзей. Поэты Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. Переводы под редакцией и вступительное слово Евг. Винокурова. Москва, «Художественная литература», 1965. 319 стр.

На обложке и фронтисписе этой книги стоят слова: «Мы из XX века» Воспринимаются эти слова как своеобразный эпиграф.

Стихи в наш век, бунтующий и жесткий,
то балериной всходят на подмостки,
то сапогом подкованным солдата
угрюмо сотрясают мостовые;
они растут, как рощи вековые;
они не лезут в книги, угловаты.

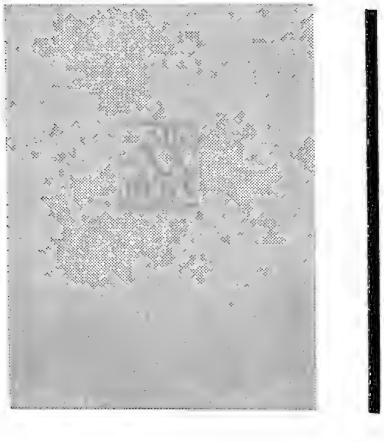
(Перевод В. Мартынова)

Так пишет словацкий поэт Ян Костра, давая в этих строках удивительно точное определение поэзии нашего времени. «Бунтующий и жесткий» XX век в самом деле вывел литературу на уличные мостовые, поставил ее на службу времени. Основным объектом поэтического повествования XX век сделал человека. Словами чешского поэта Франтишека Грубина современная поэзия утверждает: «Не в строчках жизни напряженье, а в человеке...»

Современность этой книги объясняется, конечно, не только тем, что в ней почти нет поэтов, родившихся до 1900 года. И в наши дни многие поэты хотят, создав свой собственный мир, укрыться в нем от окружающей действительности. Перечитывая этот сборник, лишний раз убеждаешься, что для ведущих поэтов социалистических стран характерно как раз обратное. Они стремятся до предела насытить литературу жизнью, преодолеть традиционные правила поэтического жанра и, обогатив его актуальным содержанием, дать ему новое, современное оформление.

Бунтующий дух, полное жизни и оптимистического пафоса мироощущение роднят поэтов, представленных в сборнике. Но имеется здесь и единство другого рода, во многом определяющее эту цельность мировоззрения,— принадлежность поэтов к лагерю социализма. Мы привыкли к тому, что поэтические антологии составляются по принципу либо национально-языкового, либо культурного единства. Эта книга включает в себя поэтов семи стран: Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. В основу ее положен принцип политического единства стран, в которых живут поэты, идейного родства литератур.

Более ста поэтов представлены в книге двумя-тремя стихотворениями каждый; очень многие авторы — одним стихотворе-



нием. Из всего этого и вырастает основная особенность книги — ее обобщенность. Составители и редактор явно преследовали цель: заострить внимание читателя не на отдельных поэтах, а дать обобщенную характеристику сегодняшней поэзии социалистических стран.

Какие же общие черты свойственны этой поэзии? Прежде всего, следует отметить ее активную гуманистическую направленность, ее стремление и потребность понять современного человека, осмыслить его назначение в наше время и отстоять его перед лицом всех тех опасностей, которые скрывает в себе современность. На это делает упор и Е. Винокуров, автор вступительного слова: «Поэты хотят понять, что такое человек, и это вопрос не просто антропологический, это глубоко философский, этический, центральный вопрос века. И это вопрос действительно сложный. Он не так прост, его не разрешить риторически». Социалистическую поэтику отличает именно попытка постичь человека в его сложных взаимосвязях с действительностью. Постичь путем напряженного и углубленного анализа, а не путем описательным или псевдофилософским.

Стремление проникнуть в тайну человеческого бытия, всегда рассматриваемого на опоэтизированном фоне природы, характерно для стихов югославской поэтессы Весны Парун. Аналитическое разложение реальности свойственно крупнейшему из современных польских поэтов Тадеушу Ружевичу. До высокого философского осмысления мира поднимается Иоганнес Бехер — великий немецкий поэт XX века. Но как бы различны ни были пути познания действительности у современных поэтов социалистического мира, их поэтика и философия всегда гуманные, человеколюбивые, жизнеутверждающие. Потому-то так много в книге стихов, посвященных Советской стране, ее народу, В. И. Ленину.

Поэты социализма полны уверенности в том, что достичь счастья на земле возможно. Они воспевают землю, ее дары, ее богатство, величие нелегкого земного труда и страстно призывают защитить ее от огня и пепла новых пожарищ. Тема земли конкретизируется для большинства поэтов как тема родины. Никола Фурнаджиев воспевает свою Болгарию, Тадеуш Кубяк — новую Польшу, а Нина Кассиан — родную Румынию. Законченное воплощение мысль о величии всего земного находит в известном сонете Иоганнеса Бехера «Завещание поэта».

Когда придет мне время мир оставить,
В последний час прощания с людьми
Еще раз дай, земля, тебя прославить,
И ты тогда к себе меня прими.

(Перевод Л. Гинзбурга)

Разумеется, эта общность тем относительна. Каждый из поэтов говорит о том, что ему более близко, говорит на своем особом языке. Но каждый отдельный голос звучит в общем слаженном хоре, славящем Жизнь и Человека.

Нельзя не сказать несколько слов о переводах этого сборника. Он дает нам еще один пример высокого уровня нашей переводческой школы. И составитель и переводчики старались выявить индивидуальность каждого поэта. Наряду с признанными и опытными мастерами художественного перевода (А. Ахматова, Б. Пастернак, Л. Мартынов, Д. Самойлов и др.) в сборнике представлены и молодые поэты-переводчики (И. Бродский, Т. Макарова). Все они находят «своих» поэтов, и, как отмечает Е. Винокуров, индивидуальность поэта-переводчика, накладываясь на авторскую индивидуальность, отнюдь не искажает оригинала, а лишь заставляет его жить новой жизнью на другом языке.

Книга «Стихи друзей» — не только удачно составленная антология хорошо, в целом, сделанных переводов. В ней, несомненно, отразилось и нечто большее: закономерности поэтической жизни стран социализма, внутреннее единство и родство поэтов, спаянных политически.

К. АЗАДОВСКИЙ

ЭТА ПОЭЗИЯ МИРА СЕГО

Сесар Вальехо. Черные герольды. Перевод с испанского. Составление А. Гелескула. Предисловие В. Столбова. Москва, «Художественная литература», 1966. 223 стр.

Полный радости и благодарности, открываю томик стихов Сесара Вальехо на русском языке и с трепетом читаю:

Итак,
Мне не выразить жизни иначе, как смертью.

Поэт утверждает через отрицание. И в этом секрет его поэзии, основа его жизни и творчества, начало, органически присущее личности поэта и его поэтической индивидуальности. Этот секрет подобен неиссякаемому источнику: чем больше черпаешь из него, тем щедрее он дает, не оскудевая.

ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ПАНОРАМУ

Конец XIX и начало XX века — звенья одной цепи. В это время модернисты Латинской Америки возвращаются из путешествия, в которое они отправились, чтобы завоевать мир. Среди них — великий никарагуанец Рубен Дарио, который обновил испанский язык, хотя и влил в него кровь французской поэзии, уже зараженную романтизмом (1867—1916).

Уругвайский поэт Эррера-и-Рейсиг приехал с багажом, полным самых разнообразных предметов: картин, диковинок-сувениров и инструментов различных литературных школ (1875—1910).

Хосе Таблада в погоне за новыми формами затерялся в литературных салонах и так и не прикоснулся больше к земле родной Мексики (1871—1945).

Среди поэтов-модернистов выделяется фигура мексиканского барда Энрике Гонсалеса Мартинеса. Он первый пытается

вникнуть в сущность вещей и явлений окружающего мира. Гонсалес Мартинес отчасти тяготеет к символизму, голос его поэзии деликатен и изыскан. Его попытка проникнуть в глубь жизни представляет ценность, хотя дальше программы поэт не идет. И лишь на склоне лет он пришел к пониманию ответственности за судьбы своего народа и всего человечества (1871—1952).

Возвращение модернистов завершилось помпезным шествием, сопровождавшимся страшным шумом, который вихрем ворвался в комнату, где Сесар Вальехо «Черными герольдами» начинал эпоху новой поэзии Латинской Америки.

У ПОЭТА НЕТ БИОГРАФИИ ВНЕ ЕГО ПОЭЗИИ

Сесар Вальехо родился 6 июня 1892 года в Сантьяго-де-Чуко, в Перуанских Андах. Метис со смуглой кожей и черными волосами, с печальными мудрыми глазами. Он жил в нищете, любил и умер, по собственному предсказанию, в Париже 15 апреля 1938 года, накануне второй мировой войны.

В 1918 году выходят «Черные герольды» — первая книга поэта. Тень романтизма скользит по ее страницам.

Но есть нечто очень существенное, мощное, новое в его ранних стихах, которое, чтобы утвердиться и выкристаллизоваться в новую поэзию, должно было отвергать. Это нечто прежде всего отказалось облачаться и в старые традиционные, и в новые, модные формы. Отрицание набирает силу в процессе творчества, в движении, постепенно обретая четкие контуры на яростных страницах «Трильсе» (1922), воплощаясь в свинец, огонь и кровь во время войны Испанской Республики, чтобы прийти, наконец, очищенным, обнаженным, вальехианским и очеловеченным в «Человечьи стихи» (1937—1938). Этот цикл кончается вне поэзии. Он кончается в истории, воплотившись в саму жизнь, пройдя через смерть Испании, предчувствуемой и выстраданной поэтом. И если бы он продолжал жить после гибели Республики, то нашел бы силы снова идти навстречу смерти, неся в себе в тысячу раз умноженную боль за «детей мира сего», и он увидел бы в дни войны страшное чудовище, которое он хотел предать смерти в своих стихах.

Вальехо — это его поэзия. Поэзия Сесара Вальехо — это скорбь, боль, глубокая печаль. Общечеловеческие чувства, которые у него имеют реальное и объективное происхождение,— эпоха, в которую жил поэт. Нередко в грустной окраске стихов Сесара Вальехо пытались увидеть ключ к его творчеству, считая его стихи выражением мироощущения индейца. И действительно, индеец меланхоличен, грустен, замкнут, молчалив. Но этот «стиль» индейца, его манера видеть мир сквозь призму пессимистических настроений имеют вполне определенные и конкретные причины (нет нужды это доказывать) — четырехвековой гнет, нищета, голод, эксплуатация. Испанские летописцы времен завоевания рассказывают о веселом, приветливом, жизнерадостном характере индейцев. Обнаруженная впоследствии литература периода до завоевания Латинской Америки также подтверждает это.

От конкисты до наших дней прошло много времени, в течение которого индеец хранит молчание. Общественная антропология не дает нам точной картины духовного развития индейца, и до сих пор нет поэта-индейца, который бы раскрыл нам внутренний мир своих собратьев. И ни один человек, если он честен, не может судить о специфике индейского характера и рассуждать о глубинах индейской души. Можно говорить лишь о том, как держит себя индеец с чужими ему людьми. Но как только вы поворачиваетесь к нему спиной, вы уже не знаете, что он делает и, тем более, что он думает. Действительность горька, а экзотика существует лишь в качестве плодов фантазии европейцев — испанцев и французов.

С любой точки зрения говорить о поэзии Вальехо как выражении мироощущения индейца неверно. Понять Вальехо можно, только исходя из существа его поэзии, которая вся — животрепещущая боль за человека той страшной и противоречивой эпохи, в которую довелось жить поэту.

Чувства, настроения, ощущения и восприятия, которые составляют плоть поэзии Вальехо, живут в его стихах на особый лад, их питает источник чисто перуанский, они рождены атмосферой метиса — Перу. Это первый поэт Латинской Америки, обративший свой взгляд на родную землю, стремящийся постичь своим рыдающим сердцем души тех, кто его окружает, чтобы найти причину человеческих страданий и освободить от них своих ближних. И хотя его поэзия плачет в Париже, на лице Валь-

ехо след печальных дорог холодных вершин Анд, а взгляд погружен в ночь лимских дождей. Жизнь не отпускает Вальехо от себя, делает более ощутимой его поэтическую индивидуальность.

Видение мира воплощается у Сесара Вальехо в образы вещей, которые появляются и исчезают, соединяются и разъединяются, отождествляются и вновь обретают свое лицо. Это поток вещей, которые движутся, послушные своей собственной логике, отвергая логику языка, чьи законы мешают им следовать друг за другом и быть самими собою — вещами, творениями, отношениями, деяниями, куда человек вложил свои грезы, свою печаль, свою надежду и всю боль общества, жизнь в котором — смерть для поэта, но смерть, полная жизни.

Жизнь, которая ежедневно уходит от нас, чтобы возродиться в поэзии, неизбежно отвергает риторику и грамматику. Она обретает силу в своем собственном языке, в живом и ощутимом языке улицы.

Вальехо абстрактен. Но абстрактность поэта постижима, ибо она овеществлена, и в вещах человек явственно ощущает свое присутствие.

Отнюдь не игнорируя существования внешнего мира, понимая действие как связь человека с плодами его труда, зная цену свидетельству истории, Вальехо считает самым важным человеческое сознание. Об этом он сказал в «Человечьих стихах».

Как великие поэты всех времен и народов, Сесар Вальехо уникален и неповторим. Еще многие поколения поэтов будут восхищаться автором «Человечьих стихов» и учиться у него. Но ни к чему не приведут попытки многих его последователей имитировать поэтическую манеру Вальехо, механически использовать его творческие приемы. Перенесенные на чужеродную почву, они теряют свою силу.

Подтверждение этому — развитие поэзии сразу после смерти Сесара Вальехо. Стаи поэтов, один обгоняя другого, поспешили воспользоваться материалом, из которого Вальехо лепил свои произведения. Они похитили у него самые разнообразные атрибуты его поэзии: деформированные слова, неологизмы, поломанный синтаксис, старую одежду, черпаки, балки, рваные башмаки, доски, гробы, кости и т. д.,— но потерпели постыдное фиаско, подобно нерадивым ученикам волшебника, в руках у которых оказались мыльные пузыри, лопнувшие при первом же порыве ветра.

НЕ ТОЛЬКО СМЕРТИ КАСАЕТСЯ ПРОБЛЕМА СМЕРТИ

В мышлении индейцев периода до завоевания большое место занимала проблема преходящего и вечного в нашем существовании.

Проблема состояла не в том, *почему* человек живет какой-то определенный срок во времени, а потом должен умереть, а в том, *где же именно* в этом небольшом отрезке времени, который есть наша жизнь, находится точка соприкосновения с вечностью жизни и природы.

Со времен конкисты эта философская проблема если не совсем стерлась, то, во всяком случае, потеряла свою остроту в связи с отрицательными условиями развития народов Латинской Америки.

Народы майя ставят эту проблему на страницах «Пополь Вух» (ч. 1, гл. 2) и разрешают ее, создав человека из маиса. Аллегория сотворения человека из маиса завершает важнейший период в истории старых цивилизаций Американского континента.

Ацтеки, более молодой народ, снова ставят эту проблему и разрешают ее в слове, считая его единственным способом выражения человеческой сущности, то есть того, что непреходяще в человеке (поэзия Куакуасоцин и Нетсауалькойотль).

Для Вальехо нетленная сущность человека — в его деяниях и творениях, в вещах, которые он создает. Эта сущность, овеществляясь, отчуждается от человека и обращается против него, слепо порабощая. И над всем этим навис покров мистицизма, ибо, по мнению поэта, нет лекарства, которое исцелило бы человечество от страданий: механизм истории скрыт от глаз людей, жизнь темна и непознаваема.

Над этой бездной, имя которой отчуждение, стоит Сесар Вальехо и плачет — великий учитель, готовый пожертвовать собой и заполнить зияющую пустоту пропасти хотя бы ценой своей жизни. Потому что отчуждение сущности человека — настоящая смерть, смерть в жизни и во время жизни, и отсюда живые мертвецы, которые скользят печальными тенями по страницам «Человечьих стихов». Собственно смерть, органическая, отрицающая наше физическое существование, служит Вальехо лишь для того, чтобы выразить жизнь.

Деяние (творение или созидание), душа и слово — три элемента, в которых таится бессмертное, непреходящее в человеке.

Именно таким образом решил поэт в литературе испанского языка проблему смерти, ключ к которой не в мистике, а в исторической реальности общества, в его революционном развитии.

Скорбь, боль, печаль — все, что составляет поэзию Вальехо, живет там, где эта поэзия родилась,— на земле. Она за человека и для человека.

ВАЛЬЕХО ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭПОХУ В ПОЭЗИИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Поэзия Сесара Вальехо — это законченный цикл в литературе Латинской Америки. И только определив его место в литературе, мы сможем по достоинству оценить значение Вальехо в наши дни и его роль в развитии поэзии Латинской Америки.

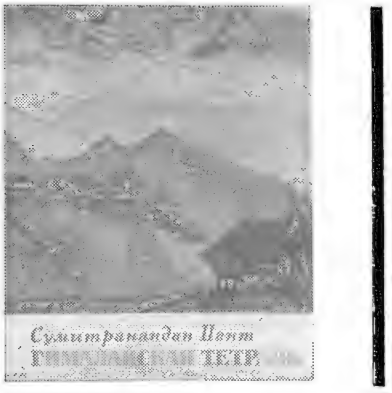
Сесар Вальехо, отличавшийся чрезвычайной эмоциональностью, был человеком большой культуры, знатоком экономических

и идеологических проблем эпохи. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи, написанные им о политике, путешествиях, проблемах искусства, Советском Союзе. Вспоминая то, что Энгельс писал о Гегеле, можно сказать, что явления, типичные для эпохи, «слетались к нему со всех сторон». Они не могли не отразиться в его творчестве, потому что он был великим поэтом.

Если бы Сесар Вальехо появился в один из этих дней (я говорю в стиле его иносказаний «Испания...»), мы, поэты Латинской Америки, окружили бы его, в благоговейном безмолвии опустились бы на пол и слушали хотя бы его молчание.

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС

Москва, Ленинские горы, июль 1966 г.



ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сумитранандан Пант. Гималайская тетрадь. Стихи. Перевод с хинди. Предисловие Е. Челышева. Редактор Л. Гинзбург. Репродукции с картин Н. Рериха. Москва, «Прогресс», 1965. 88 стр.

На полках ценителей поэзии современного Востока появилась новая книга стихов крупнейшего поэта современной Индии — Сумитранандана Панта. За последнее десятилетие это третье близкое знакомство наших читателей с творчеством «певца Гималаев». После опубликования семнадцати его произведений в книге «Стихи индийских поэтов» (Москва, Гослитиздат, 1956) вышло в свет отдельное издание «Избранных стихов» С. Панта (Москва, Издательство иностранной литературы, 1959), включившее многие значительные стихотворения из его сборников «Пение пчел», «Голос эпохи», «Золотая пыль», «Мастер». И наконец новая «Гималайская тетрадь»— последовательное и логичное продолжение лучших идей, которые отстаивает его почти полувековое творчество.

В начале своей поэтической деятельности Пант вместе с известными писателями хинди Джаяшанкаром Прасадом и Сурьякантом Трипатхи Ниралой заложил основу нового романтического направления—«Чхаявада». Социальной сущностью этого направления был бунт против общественного уклада жизни страны, стонущей в тисках колониального рабства. Первые же сборники поэта — «Вина», «Иллюзия», «Бутон» — прозвучали призывом к освобождению человека от феодальной замкнутости, к преодолению консервативной средневековой морали. Призыв этот сочетался с поисками новых идеалов, часто еще весьма смутных и утопических.

С развитием национально-освободительной борьбы поэзия хинди в целом и, в частности, творчество Панта из мира фантазии и неясных надежд, из мира красоты и печали вышли на дорогу реализма. Взгляд поэта проникает в самую гущу жизни, а голос звучит по-граждански мужественно. В стихах сборников «Конец эпохи», «Голос эпохи», «Крестьянка» сочувствие к страданиям угнетенного народа перерастает в гневный протест против его эксплуататоров. К этим взглядам поэт пришел еще в середине 30-х годов, а двадцатилетием позже говорил о назначении писателя: «Никто не может жить вне общества. Подобно тому, как птице нужна ветка, чтобы свить на ней гнездо, и поэту необходима ветвь, могущая служить ему опорой. Такой ветвью является для него поддержка народа».

В «Гималайской тетради», как и во многих других сборниках, поэт стремится воспеть человека, его красоту, созидательную мощь, вселить в него чувство собственного достоинства. И этой высокой поэтической цели он добивается, персонифицируя образы природы, наделяя ее человеческим сознанием («Гималаи», «К Гималаям» и др.).

Величественные Гималаи — родина поэта — занимают важное место в поэтическом мире С. Панта; он относится к ним с пантеистическим благоговением, они — неиссякаемый источник его творческих сил. Действительно, в стихах поэта гордая красота и неприступность гор не подавляют человека, напротив,— они вдохновляют его на великие свершения.

«...И человечество в своем подъеме, с выси гор, равняется на вас». Глубокая, гуманная мысль этой строки передает важнейшую особенность пейзажной лирики Панта, активной и жизнеутверждающей.

Эстетические идеалы поэта не могут оставить читателя равнодушным. Вместе с ним, тонким художником и мыслителем, мы наблюдаем стремительный бег горных потоков, слушаем шум водопадов, любуемся красками альпийских лугов, белизной снежных вершин; вместе с ним поклоняемся одухотворенной красоте, и неожиданно — о тайна и сила поэзии! — красота эта становится для нас полной и этического и социального смысла. Возвысившись над

земным и обычным, совершаем мы упоительный перелет от горных вершин к вершинам человеческого духа.

С. Пант — старейший член семьи индийских поэтов. Творчество его признано и любимо на родине поэта. Не однажды удостаивался он высших литературных премий, а в 1965 году стал одним из первых лауреатов премии фонда «За укрепление советско-индийской дружбы». В июне 1966 года С. Пант побывал в Советском Союзе. Приятно было встретить гостя новой книгой его стихов, интересно и по-новому представленных во вступительной статье и любовно оформленных репродукциями с картин Н. К. Рериха. Эта мысль весьма удачна — она отразила гармоническое слияние мира идей и чувств замечательного индийского поэта и выдающегося русского живописца.

ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ

ПЕРО БЕЗЖАЛОСТНОЕ И ГОРЬКОЕ

Л а о Ш э. Последняя монета. Перевод с китайского. Ответственный редактор В. Ф. Сорокин. Составитель и автор предисловия А. А. Файнгар. Москва, «Наука», 1965. 119 стр.

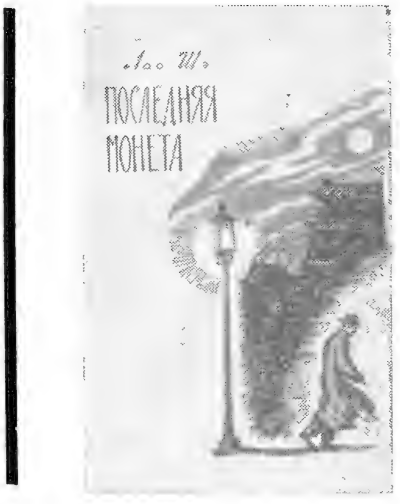
«Скопив деньжат, мы с Ваном и Цю решили открыть новую больницу».

Дальше события развиваются феерически. Предприимчивые компаньоны сфотографировали трехэтажное здание транспортной конторы, благо оно стояло рядом с домиком, предназначенным для больницы, и поместили этот снимок в газете. Больницу назвали «общедоступной», исходя из того, что «нельзя забывать о массах». «Если не брать денег с масс, то с кого же их брать!» — с обезоруживающим простодушием восклицает тот компаньон, от лица которого ведется рассказ. Но вот огорчение. «Массы» приносят мало денег, нужны и «порядочные» больные. В результате героических усилий, появляются, наконец, офицер-сифилитик и богатая старуха, сопровождаемая четырьмя служанками. Офицер обхождением остался доволен: ему вкатили в вену основательную порцию... чая, которого в больнице было вполне достаточно, и уверили, что сифилис — болезнь великих. Старуха, по причине больного желудка лечившаяся раньше в лучшей городской больнице, обрела полный покой, поскольку владельцы предложили ей снять их дворик, пригласить повара и остаться здесь на время лечения. Есть ей разрешили все, что угодно, и сами тоже ели старухино. Пришел и некий толстяк с геморроем. Ему делали операцию, окуная нож в обыкновенную воду. Наркоз дали уже в ходе операции за востребованную тут же дополнительную плату. Предприятие действует.

...Поезд отошел от станции в канун Нового года. В поезде, наверное, много людей, но мы знаем только пассажиров второго класса, с которыми знакомимся постепенно. Постепенно же поражает нас одно удивительное обстоятельство — все они либо со служебными билетами, либо попросту едут даже без них. «На билете Цяо было ясно обозначено, что предъявитель его—женщина. Контролеры совещались между собой, как поступить, ибо было очевидно, что Цяо—мужчина. В конце концов они, видимо, пришли к единому мнению: в канун Нового года мужчина отлично мог сойти за женщину. Проводник, держа в знак извинения билет Цяо обеими руками, вернул его хозяину». Господину Гоу главный контролер протянул для пожатия не вооруженную компостером руку, поскольку господин Гоу был известен как близкий друг самого управляющего. Маленький Цуй, покинувший дом в такое неудобное время только для того, чтобы поправить дела, нарушенные ненасытной жадностью одной девицы, везет с собою опиум, без которого он обходиться не может. Он тоже не нуждается в билете: «Его лицо было эквивалентно билету второго класса, и даже сам министр железных дорог не стал бы оспаривать это».

Контролеры ходят со зреющей на их губах улыбкой. Она распустится и пышно расцветет в первом классе, которого мы не увидим: он там, за спинами контролеров,— мы же здесь, с перечисленными и неуказанными пассажирами и еще с двумя офицерами, загородившими проход ящиками с ракетами для новогоднего фейерверка. Поезд останавливается на станциях, из него высыпают пассажиры третьего класса. А второй класс неизменен. Господа Чжан и Цяо пьют. Столик залит вином. От спички вспыхивает пламя. Рвутся новогодние ракеты. Поезд несется вперед. Вагон сгорел. Пламя пожирает два соседних вагона третьего класса. Обнаружено шестьдесят три трупа. Выяснить ничего не удалось, да никто и не старался. «Ни с одной станции не поступило сообщений о продаже билетов во второй класс, следовательно, сгоревший вагон второго класса был пуст, и пожар в нем возникнуть не мог». Производивший расследование инспектор был рад случаю показать литературные способности и написал заключение «в превосходном стиле». Уволили проводника. Жена проводника огорчена тем, что сгорела капуста, которую тот вез домой.

...Синь Дэ-чжи, старший приказчик фирмы «Тройное счастье» в огорчении. Ушел управляющий, а с ним исчезли обычные порядки. Правда, порядки эти приносили убытки, но зато как спокойно и традиционно-прилично было в лавке. С новым управляющим появилась прибыль, и хлопотливое зазывание покупателей, и кричащая реклама, и обман. Нового управляющего сманила другая фирма, и снова на свое место вернулся старый управляющий, и снова воцарилось приличие, и обстоятельность, и тишина — все, чего так не хвата-



ло Синь Дэ-чжи, за пятнадцать лет службы сжившемуся с давними милыми его сердцу порядками. И снова убытки, и уже увольняют пятерых приказчиков, за которых готов работать один Синь Дэ-чжи. «А еще через год «Тройное счастье» было окончательно раздавлено «Небесным совершенством»..

Что это? Где это? Это Китай времени антияпонской войны под пером писателя Лао Шэ. Под пером безжалостным и горьким, не оставляющим ни малейшей лазейки ничтожным, вредным людям, порождению многолетней коррупции гоминьдановского государства, под пером безжалостным и грустным, провожающим в небытие устарелое и слабое благородство, которому не выстоять перед напором бессовестного чистогана. Тогда-то, в конце тридцатых — начале сороковых годов и были написаны эти рассказы, из которых явствовало, что нет другого пути для китайского народа, как свержение гоминьдановской клики, как уничтожение старого растленного мира. И в этом боевая сила талантливых произведений писателя.

Они написаны в прекрасной психологической традиции Лу Синя. Я говорю именно о традиции, сам же Лао Шэ — писатель, которого не спутаешь ни с кем. Его юмор оригинален и самобытен. Он внешне добродушен (как добродушен и обаятелен облик самого писателя), но он и правдив, и бескомпромиссен, он сражает насмерть. Это только кажется, что пожар погубил господ Чжана, и Гоу, и Цуя, и других. Их убил писатель, как не оставлены им на свете ни равнодушный инспектор, ни эти обыкновенные, будничные разбойники, основавшие больницу.

Нам очень близка эта спокойная манера разоблачения пороков. Я уверен, что рассказы Лао Шэ уже читаются и будут прочитаны у нас с наслаждением и вниманием и вызовут вместе со смехом активную ненависть ко всякому злу — непременной принадлежности эксплуататорского общества

В небольшой этой книжке восемь рассказов. Я упомянул лишь три из них. Но уже легко поверить, что все они отличаются безусловным и точным знанием жизни, юмором, наступательной силой слова. Предисловие А. Файнгара ясно и неназойливо излагает характер творчества Лао Шэ. Очень хорошо, что к предисловию приложен список переводов произведений писателя на русский язык.

А переведено немало — рассказы и повести, знаменитый роман «Рикша», пьесы, созданные уже после победы революции. Переводились и статьи тех лет. Пером его двигало горячее стремление быть полезным своему освобожденному народу: «Я хочу воспеть великие горы и реки моей родины, воспеть трудолюбивых дорогих соотечественников, воспеть каждую пядь освобожденной земли!» Лао Шэ всегда принадлежал к тем очень национальным художникам, творчество которых приобретает международный характер, герои которых близки и понятны людям всего мира и запоминаются надолго. Тем, кто встречал его в Советском Союзе, где он бывал не раз, запомнились и строгие внимательные глаза за стеклами очков, и добрая улыбка резко очерченных губ на круглом лице.

Выход этой и других книг передовых писателей Китая — свидетельство заинтересованности советских читателей в жизни и культуре китайского народа на всем его пути борьбы за освобождение.

Л. ЭЙДЛИН

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

О СИЛЬНЫХ И ДОБРЫХ ЛЮДЯХ

С. Удвал. Та Бид Уулзана. Улаанбаатар, Монголын зохиолчдын хороо, 1965.

В Улан-Баторе в начале ранней в этом году монгольской весны в книжных магазинах, киосках, на улице на лотках появилась книга Сономын Удвал «Мы встретимся с вами». Как это сейчас бывает почти с каждой книжной новинкой в Монголии, стопки книг Удвал быстро таяли, и скоро эту книгу можно было увидеть в руках у студента, у пожилой женщины, ждущей автобуса, у рабочего, пристроившегося почитать у окна цеха во время перерыва.

В книге собраны рассказы и очерки, написанные Удвал в последние годы. В нее включена и повесть «Одгэрэл», которая была опубликована в Улан-Баторе в антологии современной монгольской прозы. Рассказы Удвал незамысловаты по сюжету. Порой они очень лаконичны. Однако за их естественным, на первый взгляд спокойным повествованием кроется многообразие, сложность человеческих характеров. В них — новая жизнь людей на древней монгольской земле, с их трудностями, тревогой, счастьем, в них — тепло дружбы к советским людям.

От книги веет пленительным своеобразием Монголии.

Следовать обычаю, хранить традиции — с давних пор это непреложное правило живет в народе. Но обычаи бывают разные, по-разному ими пользуются люди. По обычаю поступил Джанцан — герой одноименного рассказа, когда дорога привела его в чужую юрту и он неожиданно оказался свидетелем человеческого горя. «Почему плачут — не спрашивай, почему смеются — спроси»,— говорят в народе. Джанцан ничего не спросил. Женщина, которую он застал в слезах, сама все ему рассказала. Человек, который когда-то был ламой и много знает, предсказал ее ребенку ужасную судьбу. «Нам предначертано судьбой расстаться с ним, да вот не нашлось в округе людей, кому бы можно было отдать малыша...»

Джанцан не понимал, как могла мать поверить в эти предрассудки. Но обычай требовал, чтоб он принял дитя, и Джанцан поступил по обычаю, размышляя лишь над тем, как бы поменьше доставить хлопот своей хворой, старенькой уже матери. «Я сделаю все, чтобы вывести его в люди!» — сказал себе Джанцан.

Джанцан и его мать были бедными людьми. Джанцан не помышлял даже о женитьбе — кто пойдет за него, когда у него на руках слабая мать да еще младенец... Немало испытаний обрушилось на Джанцана. Но сильный, добрый человек выстоял.

К самому Джанцану пришли на помощь люди новой Монголии. И вот Джанцан уже работает электриком в сельскохозяйственном объединении. Мальчик любит отца и каждый вечер, когда зажигается свет, спешит к нему на станцию с ужином.

О том, как много неожиданных сложностей надо разрешить горожанину, который всей душой готов участвовать в создании сельскохозяйственного объединения, помочь аратам жить, трудиться в коллективе, читаем мы в рассказе «Правильное решение». Не очень доверчиво приняли такого горожанина Чойжамца скотоводы. На собрании, когда членам объединения представили будущего председателя, старик Намхай, у которого была привычка всех обо всем расспрашивать, задал вопрос: «А вы на всю жизнь решили заниматься сельским хозяйством?»

Но, пожалуй, и в самом деле правильное решение принял Чойжамц. Уважаемая Ханд, повидавшая на своем веку немало людей, с радостью наблюдала за Чойжамцем, который поселился с женой в ее юрте. Она говорила, что наш председатель — хороший человек. Такой человек — что задумает, исполнит непременно.

О людях, которые приходят в трудную минуту на помощь,— рассказ «Во имя человека».

О большой симпатии простых монголов к русским революционерам, которые, в свое время бежав из сибирской ссылки, были в Монголии до революции 1921 года,— рассказ «И я не забуду».

...Это было за несколько месяцев до победы Народной революции. В Урге бесчинствовали белогвардейские бандиты Унгерна. Кто мог, уехал на лето поближе к горам, а мать Соньху — мать девушки, которая уже теперь, в наши дни впервые приехала с женихом в Улан-Батор и рассказывает о том, что ей поведали родители,— осталась в городе. Когда унгерновцы забрали двух русских, с которыми дружила эта семья, мать забеспокоилась, что жену одного из них тоже арестуют, и решила во что бы то ни стало разыскать Соню — так звали жену русского.

«Мама перевезла ее к нам. У нас было безопасней. Дала ей кое-какую одежду. Потом Соня вернулась в Россию. Она приезжала через несколько лет на могилу мужа, отдавшего жизнь за наше счастье. И мне мама велела, как приеду в Улан-Батор, возложить хадаг в память о тех русских, которых я тоже полюбила и глубоко уважаю»,— рассказывает Соньху, названная по имени русской женщины.

Соньху поступила так, как наказала мать. Вместе с женихом, с его родными поднялись они на высокий холм Зайсан-толгой, где стоит обелиск в память о советских людях, погибших в боях за свободу Монголии. К подножию памятника Соньху положила голубой хадаг, втрое сложенную шелковую ткань,— традиционный знак уважения. А на хадаг — камушек, чтоб ветер не унес...

«У подножия горы струилась река, и она голубела, как хадаг, развевающийся лентой на ветру».

С присущим автору лиризмом написан и рассказ «Букет цветов» (опубликованный на русском языке в журнале «Знамя» два года назад под названием «Скрипка капитана»).

Книга Сономын Удвал — не только интересная встреча с ее литературными героями, это прежде всего встреча с ярким дарованием самой Удвал.

К. ЯЦКОВСКАЯ

ТАКИМ БЫЛ КОРЧАК

Igor Newerly. Żywe wiazanie, Warszawa, Czytelnik, 1966.

Вся жизнь Януша Корчака была отдана детям. Он писал о детях и для детей. Он был детским врачом, и дети и близкие звали его «пан Доктор». Он был педагогом и воспитателем по призванию. И этому призванию он посвятил всего себя без остатка. В Варшаве он создает два детских дома: «Дом сирот» для еврейских детей (в 1911 году) и позднее — «Наш дом» для польских детей, в которых вводит новую систему воспитания, основанную на детском самоуправлении и уважении к личности ребенка. Корчак — это целая эпоха в польской педагогике. Он оказывал огромное влияние на своих воспитанников, на всех, кто с ним работал. В орбиту этого жизнеутверждающего, щедрого влияния в 20-е годы попал и Игорь Неверли — автор недавно вышедшей книги «Живые связи».

Неверли начинает работать у Корчака сначала секретарем-стенографистом, потом становится воспитателем в детском доме, руководителем столярной мастерской, наконец редактором еженедельной детской газеты «Малы Пшегленд». Совместная работа Неверли с Корчаком (с 1926 года и до заключения Корчака и его воспитанников в гетто) была огромной жизненной и писательской школой для будущего автора романа «Под фригийской звездой». «Ты часть моей жизни, трудное, но прекрасное прошлое»,— пишет о Корчаке в «Живых связях» Неверли. Вся книга пронизана светом любви, благодарности и уважения к этому большому человеку.

Писатель рассказывает о годах юности Генриха Гольдшмита, будущего Януша Корчака, которая пришлась на рубеж XIX и XX веков, о демократической польской интеллигенции (Л. Кшивицком, В. Налковском, А. Прусе, С. Семполовской и других), зажигавшей своими идеями молодежь того времени. Он рассказывает о том, как приходит Корчак в педагогику, как претворяются замыслы Корчака-педагога. Этот рассказ доведен до последних дней жизни Корчака в гетто, воссоздать которые Неверли позволили и редкие встречи автора с учителем (когда, например, Неверли проник в гетто под видом водопроводчика с целью спасти Корчака; все было подготовлено для побега, но Корчак решительно отказался оставить детей), и дневник Корчака — он вел его в гетто.

«Живые связи» — это свободное повествование, не скованное какими-нибудь жанровыми рамками. Современность непрерывно ощущается читателем, независимо от того, говорит ли о ней писатель прямо или он как бы размышляет «вслух». «Раздумия, личные воспоминания или отзвуки современности врываются упорно, нарушают спокойное течение повествования, взбаламучивая стиль и форму»,— признается сам писатель. Неверли все время как бы беседует с читателем, вновь и вновь переживая хорошо знакомое, близкое сердцу. Такова, например, история «Малого Пшегленда» — детища мысли и мечты Корчака, где печатались письма детей, их репортажи, информация. Вокруг газеты организовался огромный детский коллектив — две тысячи человек, представители его были почти в каждом польском городе, в каждом местечке. Неверли вспоминает о самых талантливых корреспондентах «Малого Пшегленда», большинство из которых погибло во время немецкой оккупации.

Страшный призрак войны, оккупации неотступно преследует писателя. Мечты, таланты, загубленные жизни... Но сколько истинного героизма и благородства раскрывалось в людях перед лицом смертельной опасности. И снова перед читателем возникает облик уже немолодого, скромного, доброго и мужественного человека.

Как трагический рефрен, в книгу все время врывается напоминание о гибели Корчака вместе с детьми в концлагере Треблинка 5 августа 1942 года.

Бывший узник Освенцима и других фашистских лагерей смерти, Неверли каждой своей книгой обвиняет и разоблачает истинный облик фашизма. Таковы известные советскому читателю повесть «Парень из Сальских степей» (1958), роман «Лесное море» (1963). И его новая книга «Живые связи» — еще одно свидетельство активной антифашистской позиции писателя.

Вот падают первые бомбы на Варшаву, а сквозь шум взрывов и пожаров из радиорупоров раздается знакомый голос Доктора, он призывает взрослых и детей не терять присутствия духа, рассказывает об обороне Варшавы.

Вот гитлеровцы уже оккупировали Варшаву, уже издали приказ всем евреям надеть повязки с желтой звездой, а Корчак, как бывший офицер запаса, продолжал бесстрашно ходить в военном мундире. Однажды, когда немецкие жандармы отобрали у детского дома картофель, он пошел в городское управление. Пошел, как всегда, без нарукавной повязки, в мундире.

Гитлеровские чиновники были поражены тем, что какой-то поляк, военный, говорит о картофеле для еврейского детского дома, они начали у него допытываться.

«— Какое вам, собственно, дело?

— Я врач.

— Так лечите польских детей, вы же не еврей.

— Я еврей.

— Почему ты ходишь без повязки?!

— Этого позорного клейма я не признаю.

Его взяли в Павяк, возили в гестапо на Аллею Шуха на допросы, чтобы он выдал сообщников и мнимую организацию, подчиняясь приказу которой он устроил, по их мнению, такую наглую демонстрацию».

Это не легенда, а быль, таким был Корчак. Из тюрьмы он возвращается в гетто, к своим детям.

Воссоздавая образ Корчака, Неверли на всем протяжении книги показывает процесс формирования его могучего духа. Живые связи не только соединяют Корчака с сегодняшним днем и новым обществом народной Польши, но и с национальной польской культурой.

«Всякий раз,— пишет Игорь Неверли,— когда будет заходить речь о необходимости общения с истинной наукой и искусством, о гуманизме и культурном наследии, среди почетных представителей польской радикальной интеллигенции будет возникать образ варшавского врача, педагога и писателя, всем своим творчеством, деятельностью и смертью завоевавшим право принадлежать к самым святым традициям польского народа».

А. ПИОТРОВСКАЯ

ЦЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

John Updike. Of the Farm. New York, A. Knopf, 1965.

Новая повесть Джона Апдайка «Ферма» была довольно холодно встречена американской критикой. Написанная без всяких формалистических куншту́ков, она показалась, как видно, слишком прозрачной, простой, «старомодной».

Читатели, помнящие роман Апдайка «Кентавр» (см. журнал «Иностранная литература» №№ 1, 2, 1965) почувствуют знакомые мотивы в эмоциональном строе и «духовном климате» повести. Здесь нет сложной системы мифологических аналогий и намеков, разработанной в «Кентавре». Но и здесь с таким же сдержанным и глубоким драматизмом развивается тема неустроенности американской жизни.

Действие развертывается там же, в хорошо знакомой и милой писателю Пенсильвании (родном штате Апдайка), в деревенском захолустье, неподалеку от того вымышленного, но вполне реального городка Олинджера, где трудился, страдал и умер «кентавр» — Колдуэлл. Так же, как и в романе, оно сконцентрировано во времени. Джо Хофстеттер, преуспевающий делец, приезжает из Нью-Йорка с новой женой и подростком-пасынком навестить старуху мать. Всего двое суток — но за эти двое суток нахлынуло столько воспоминаний, обозначилось столько разногласий, возникло столько сомнений, что рассказ о них становится историей целой жизни.

В подтексте повести — столкновение двух укладов, двух различных отношений к миру. Именно этим столкновением, хотя оно и обрисовано Апдайком с подчеркнутой сдержанностью, без нажима, определяется эмоциональная напряженность, характеризующая действие книги: здесь почти ничего, казалось бы, не происходит, но очень много подразумевается.

В буквальном переводе заглавие книги означает «О ферме». И действительно, споры об этом маленьком заброшенном клочке земли становятся своего рода лейтмотивом произведения.

Читая повесть, начинаешь понимать, почему Апдайк в бытность в Москве на одной из встреч со своими советскими читателями так тепло отозвался, как об одном из лучших произведений американской поэзии, о фермерской «зимней идиллии» Уитьера — поэме «Занесенные снегом». Судьба американской земли и ее тружеников-фермеров — одна из главных тем Уитьера — задевает за живое Джона Апдайка и, конечно, не как отзвук классической литературной традиции, а как насущная, наболевшая проблема нашего времени.

Как и в «Кентавре», а, может быть, даже еще выразительнее и свободнее, Апдайк заставляет читателя почувствовать печальную поэтичность деревенских захолустных уголков Пенсильвании. Он пишет о фермах, где земля «устала», изъедена эрозией, зарастает сорняками... Такова и та ферма, где доживает свой век миссис Хофстеттер. Она уже давно не приносит дохода. Даже обязательный сенокос производится дважды в лето по распоряжению земельного управления лишь для того, чтобы буйно разросшиеся сорные травы не заразили соседние угодья.

Для Джо Хофстеттера и его новой жены ферма кажется обузой. Пегги ждет не дождется воскресного вечера, когда они смогут, наконец, вернуться в Нью-Йорк. А для старой миссис Хофстеттер ферма — символ заветных утопических надежд ее молодости. Всеми силами своей души она ненавидела Олинджер — живое воплощение торжествующей мещанской пошлости. Ей казалось, что, перетащив семью из города на землю, она вернет и мужу и сыну возможность настоящей, достойной жизни. Она мечтала, что сын ее станет поэтом, «как Вордсворт»,— певцом родной природы и людей труда.

Эта маленькая утопия не состоялась. Ферма пришла в упадок. А Джо Хофстеттер не стал поэтом. Вместо этого он сделался сотрудником «фирмы, которая составляет образовательные программы для корпораций по таким вопросам, как сокращение налоговых платежей, заокеанская экспансия, федеральные контракты и автоматика». Для старой миссис Хофстеттер жизнь сына в Нью-Йорке кажется сплошной фальшью. «Ты тратишь себя на эту должность проститутки»,— бросает она сыну в минуту горькой откровенности. И он ничего не мо-

жет возразить ей. Более того, оглядываясь на свою жизнь, он готов иной раз признать ошибкой и свой брак с Пегги, и развод со своей первой женой, Джоэн, которую он оставил с тремя детьми... Самоуверенность преуспевшего, привыкшего ставить на своем человека не может подавить в нем тайного сознания своего душевного «нестроения». И здесь, на ферме, где все напоминает ему об иной, простой, ясной и чистой жизни, этот тайный голос становится для него самого слышнее и слышнее.

Из всех приехавших к ней на ферму гостей наиболее близким для старой миссис Хофстеттер оказывается в конце концов одиннадцатилетний пасынок ее сына Ричард Мак-Кейб, сын Пегги от первого брака. Апдайк умеет тонко почувствовать и передать психологию подростка, вступающего в жизнь. Образ Ричарда удался ему не хуже, чем образ Питера Колдуэлла в «Кентавре». Мальчишеская непосредственность сочетается в Ричарде с недетской вдумчивостью. Сын разведенных родителей, вошедший в чужую семью, он интуитивно ощущает напряженность в отношениях окружающих и старается, насколько может, примирить их. Его отчим удивлен тем, как быстро успевает его старуха мать подружиться с Ричардом.

Старая миссис Хофстеттер старается передать хотя бы Ричарду свою любовь к родной земле, без которой она не мыслит жизни... Но мальчик — сын атомного века. Даже здесь, на старой заброшенной ферме, он зачитывается по вечерам новейшими научно-фантастическими повестями. В его сознание уже входят картины разрушительных атомных войн, земли, охваченной радиоактивным распадом, человечества, вырождающегося под влиянием мутаций, нарушивших прежние законы наследственности... Он рассказывает обо всем этом с детской непосредственностью. Но самый контраст между чудовищностью этих «утопий» и мальчишеской наивностью рассказывающего их Ричарда вносит в повесть тревожную ноту, надолго западающую в память читателя. Что сделает Америка с этим доверчивым и добрым мальчуганом, который пока что так простодушно мечтает стать «селенографом» — «ведь на луне понадобятся же люди, чтобы составлять карты»?

Апдайк предпослал своей повести эпиграф из Сартра, гласящий: «Следовательно, если я признал со всей честностью, что человек — это... свободное существо, которое в различных обстоятельствах может только хотеть своей свободы, я тем самым признал, что могу хотеть только свободы других людей».

Эпиграф этот звучит несколько абстрактно. По-видимому, писатель имеет в виду, что конфликты, возникающие между героями его повести, могли бы быть «сняты», если бы они с бо́льшим уважением относились друг к другу и оставляли бы за каждым право на его внутреннюю свободу. Но действительное содержание повести гораздо богаче этой довольно тощей «морали». Прочитав повесть «Ферма», читатель надолго остается под обаянием грустного лирического чувства, с каким автор рассказывает о неустроенности жизни своих героев, о нераскрытых, нереализованных ими возможностях. Судьба заброшенной фермы, заросшей сорняками,— это и судьба людей. И когда на последней странице смертельно больная миссис Хофстеттер, прощаясь с сыном, со слезами на глазах просит его, чтобы после ее смерти он не продавал ферму «по дешевке», а взял «настоящую цену», кажется, что речь идет уже не о продаже земли, а об определении настоящей цены человеческой жизни.

А. ЕЛИСТРАТОВА

ДАНЬ НАРАЙАНА ДРЕВНЕМУ ЭПОСУ

R. K. Narayan. Gods, demons, and others. London, Heinemann, 1965.

В небольшом храме индийской деревушки Сомал, расположившейся в тридцати километрах от Мальгуди, живет сказитель Намби. Возле храма на баньяновом дереве он зажег маленькую лампочку — знак того, что вечером начнется интересное повествование. Лишь медный диск луны выглянет из-за пригорка, жители деревни собираются под дерево. Сначала сказочник, закрыв глаза, сидит в глубоком размышлении перед образом богини Шакти, затем выходит к слушателям, его голова посыпана пеплом, и на лбу яркий киноварный знак. Он садится на каменный выступ перед храмом и, обведя рукой окружающее пространство, вопрошает: «А что здесь было тысячу лет назад? Здесь не было пустоши, поросшей сорной травой, в которой валяются ослы. Здесь стояла столица царя...»

И столицей оказывался Айодхья или Кридапура, а царем — Рама, Харишчандра или Викрамадитья. Начинается захватывающее повествование о прошлом Индии.

Этот народный сказитель — персонаж рассказа Разипурама Кришнасвами Нарайана «Под баньяновым деревом» из книги «День астролога» (1947). К этому традиционному образу, являющемуся, по словам писателя, «неотъемлемой частью индийского деревенского общества», Нарайан возвращается и в новом сборнике рассказов «Боги, демоны и другие». Но действуют в них не люди современной Индии, как во всех остальных книгах Нарайана, а герои и боги древнеиндийского эпоса.

На основе народных сказаний Индии возникли эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». Когда эти произведения в пятом веке нашей эры были записаны, то по объему они в семнадцать раз превысили «Илиаду» и «Одиссею», вместе взятых. Но жива до сих пор и существующая с незапамятных времен устная традиция.

Нарайан, работая над книгой, ездил по дальним деревням, слушал местных сказителей «Махабхараты» и «Рамаяны», сверял их версии с оригиналом на санскрите. «Хотя я пытался следовать сказителям,— предупреждает автор,— рассказы в моей книге не являются точной копией того, что я услышал и записал». В одном из интервью, обсуждая языковую проблему своей многоязычной страны, Нарайан остановился на общности традиции всего индийского народа: «Влияние окружающей среды, сама жизнь и сущность нашего мышления одинаковы повсюду, в любом штате. Традиционная Индия — это «Рамаяна», «Махабхарата» и Пураны. Они остаются ценностями каждой деревни, каждого малого и большого города». Именно чувство близости к традициям всего индийского народа и продиктовало писателю его новое произведение.

Книга «Боги, демоны и другие» появилась накануне 60-летия индийского прозаика. В сокровищнице юбиляра насчитывается девять романов, пять сборников рассказов, действие которых происходит в вымышленном городке Мальгуди. На первый взгляд можно подумать, что, обратившись в новом сборнике рассказов к высокой сфере богов и царей, писатель изменил себе и земным обитателям индийского захолустья. Но это впечатление рассеивается, когда начинаешь глубже вникать в содержание.

Из многих эпических героев Нарайан со строгой тщательностью выбрал главных действующих лиц. Перед нами проходят самоотверженный царь Лавана, смелый Рама и верная Сита в борьбе со злым демоном Раваной, Савитри, вырвавшая любимого из рук смерти. Мы встречаем Наля и Пушкара, соперничавших из-за Дамаянти, доблестного Арджуну с братьями.

Между богами и героями нет резкой грани, герои порой наделяются божественной силой (воин Арджуна, юноша Качи, принц Яяти), а боги и цари перевоплощаются в простого человека (бог Вишну — в Раму, богиня Лакшми — в Ситу, цари Харишчандра и Лавана превращаются в голодных нищих, которым свойственны земные чувства и страдания).

Возьмем, например, мало известный эпизод о царе Лаване, царствовавшем в Утар Пандаве. Лавана задумался над смыслом жизни, над быстротечностью бесполезно прожитых лет. Его раздумья нарушил волшебник-гипнотизер, который усыпил его. Во сне ему довелось испытать усталость, нужду, голод. Он не в состоянии был даже прокормить своих детей. Трое сыновей ушло из дому. Умирал с голоду его четвертый, любимый сын. Чтобы спасти жену и сына, Лавана решил сжечь себя и накормить их своим мясом. Но в тот момент, когда Лавана прыгает в костер, он просыпается. Он спал одну-две минуты, а прожил семьдесят лет и понял смысл жизни.

И невольно вспоминаешь «святого» Раджу из одноименного романа* Нарайана, который сознательно пошел на смерть, чтобы спасти крестьян от засухи. Люди ждали от Раджу подвига, по силе не меньшего, чем совершил Лавана, и он оправдал их веру в него.

Стану богов во главе с Индрой противостоит стан демонов во главе с Сукрачарией. Не раз на страницах книги добро и зло скрещивают шпаги. Йоги, обретшие вследствие аскетического образа жизни силу волшебства, ловят героев на слове, и происходит испытание судеб. Такой жертвой йога Вишвамитры оказался царь Харишчандра, который нечаянно нарушил покой святого и тем самым совершил грех. Харишчандра извинился, пожелал отшельнику мира и сказал, что готов отдать все свои богатства за искупление вины. Воспользовавшись этим, Вишвамитра изгнал его из царства. Харишчандра бедствовал, голодал, продал жену и сына в рабство. Он вынужден был работать палачом. Обстоятельства сложились так, что сын его умер от укуса змеи, а жене, несправедливо обвиненной в краже, ему приказали отрубить голову. И тогда любящие супруги решили вместе взойти на погребальный костер своего сына.

Книга Нарайана завершается рассказом «Шиби». На берегу Джумны на глазах у гостей царя Шиби ястреб чуть не растерзал голубя. Чтобы спасти птицу, Шиби обещал дать ястребу любой кусок сырого мяса, какой тот пожелает. Божество, принявшее облик ястреба, поймало Шиби на слове и потребовало мяса самого царя. Шиби без колебания отрезал от себя кусок мяса, равный весу голубя.

В рассказах Нарайана боги признают себя побежденными, потому что каким бы суровым испытаниям боги ни подвергали людей, люди не теряют чести, достоинства, даже если это стоит им жизни. Человек сильнее бога, человек превыше всех божеств. И здесь мы узнаем гуманиста Р. К. Нарайана. И в новой книге писатель остался верен самому себе. Это проявилось и в той импрессионистской манере, в которой написаны рассказы, и в том, что автор с особенным вниманием останавливается на личных переживаниях и ощущениях героев, и в мягком юморе.

И хотя условности мифически-религиозного сюжета не позволили писателю раскрыться как художнику с той же силой, с какой он раскрывал себя в предыдущих романах, дань Р. К. Нарайана древнему эпосу — еще одно доказательство его любви ко всему истинно народному.

Е. КАЛИННИКОВА

* Роман был опубликован в «Иностранной литературе» № 6—7 за 1960 год.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ МЭРИ ГИЛМОР

Автору романа «Период приспособления» австралийскому писателю Д. Х. Крику присуждена литературная премия имени Мэри Гилмор за 1966 год.

...Промышленник Фэрнли-старший — главный герой повествования. Он жаждет увеличить свои прибыли и с этой целью вводит на своем предприятии потогонную систему, нещадно эксплуатирует рабочих и служащих. Доходит до того, что даже в туалетных комнатах завода помещены табельные часы, фиксирующие затрачиваемое там время...

Любой ценой расширить промышленно - финансовую империю — такова навязчивая идея Фэрнли-старшего, которую он пытается привить своему сыну Гарольду. Но Гарольд ни в работе, ни в личной жизни не намерен подчиняться указаниям отца.

«Борьба между отцом и сыном типична для ситуации, сложившейся после второй мировой войны, когда молодежь решительнее, чем когда бы то ни было прежде, намерена идти в жизни своим путем»,— писал рецензент еженедельника «Трибюн».

Гарольд не подчиняется приказу отца жениться не по любви, а по выбору Фэрнли-старшего. По словам рецензента, автору очень удалось изображение сложных взаимоотношений в семье Фэрнли, члены которой все больше и больше утрачивают взаимопонимание. Крик показал себя, пишет рецензент «Трибюн», не только хорошим знатоком австралийской действительности, но и человеком, отлично знающим жизнь рабочих и служащих крупного предприятия. Автор умеет находить в жизни наиболее выразительных персонажей, умеет делать далеко идущие обобщения. По мнению рецензента, роман «Период приспособления» — событие в литературной жизни Австралии.

АВСТРИЯ

Искусству резьбы по дереву Альберт Цангерль, 44-летний столяр из горной тирольской деревушки Петтной под Арльбергом, научился у деда и отца. Деревянные статуи дедовской работы по сей день украшают не только окрестные, но и некоторые заграничные церкви.

«...Внук зарабатывает на жизнь изготовлением резной мебели,— пишет корреспондент венского ежемесячника «Тагебух»,— а редкие свободные часы посвящает скульптуре из дерева...» Среди произведений А. Цангерля корреспондент «Тагебух» выделяет композицию «Атомная сила: либо так, либо эдак» (на снимке).

АНГЛИЯ

ДЛЯ «ЧЕЛОВЕКА С УЛИЦЫ»

«Эта выставка, — пишет обозреватель Ронни Кэзрилс в газете «Морнинг стар»,— свежа и значительна, она нисколько не похожа на обычные выставки в Вест-Энде». Новое, по словам обозревателя, состоит в методе художников, в их творческой манере. Три автора — участники выставки, открывшейся в лондонской «Нью энд гэллери», Уолтер Нэслер, Джо Кюзнер и Бэрри Файнберг — заявили: «Современная живопись отошла от жизни, от действительности... Настоятельно необходимо вновь утвердить гуманистические начала в изобразительном искусстве, вернуться к человеку». Ныне, пишет Кэзрилс, когда художники все дальше отходят от зрителя, очень радостно слышать подобные утверждения.

Небезынтересно, что все три художника прибыли в Англию, спасаясь от фашизма и преследований расистов. Нэслер бежал из нацистской Германии в 1937 году, Кюзнер и Файнберг в начале шестидесятых годов покинули Южно-Африканскую Республику.

У каждого из них своя творческая манера, но их объединяет единое отношение к отображению жизни и общее убеждение, что искусство должно служить народу и прогрессивным идеям современности.

Экспозиция в коммерческих художественных галереях слишком дорога. Собственными руками художники отремонтировали и подготовили для выставки заброшенное помещение, сами покрасили стены, оформили свои работы, сами отпечатали пригласительные билеты и афиши. Выставка пользуется большим успехом: за три недели ее посетили полторы тысячи человек. Авторы отвечают на вопросы зрителей, то и дело возникают оживленные дискуссии, многие посетители приходят по два и три раза.

В работах Нэслера, Кюзнера и Файнберга получили отражение злободневные события и проблемы современности — героическая борьба вьетнамского народа, американская агрессия в Юго-Восточной Азии, проблемы «космического века» и т. д.

Одно из главных свидетельств успеха этих трех художников — творческий контакт, который они установили с «человеком с улицы» (то есть с массовым зрителем), пишет обозреватель «Морнинг стар».

Рисунок Бэрри Файнберга из серии «Вьетнам 65».
(Газета «Морнинг стар»)

БОЛГАРИЯ

«ЮЖНЫЙ КРЕСТ»

Эта история началась на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 году. Один болгарский журналист привез с фестиваля альбом репродукций работ неизвестного графика. И хотя страницы альбома были разрознены, общий замысел сомнений не вызывал — темой рисунков были американские атомные испытания. Журналист подарил альбом соотечественнику — кинодокументалисту Георгию Алуркову.

Тот установил, что автор ксилогравюр — канадский график Лоуренс Хайд. В основу его работы был положен репортаж английского журналиста Джозефа Лейкена, который побывал на островах в океане несколько часов спустя после атомного взрыва и был потрясен, обнаружив, что во время испытаний там находились не только подопытные животные, но и... люди.

Алурков создал по рисункам Хайда короткометражный фильм под названием «Южный Крест». «Страшный рассказ Лейкена и рисунки Лоуренса Хайда я дополнил музыкой Иоганна Себастьяна Баха,— сказал Алурков.— Я сделал этот короткий фильм для того, чтобы напомнить людям о том, чего никогда нельзя забывать. Мы не

Одна из гравюр Лоуренса Хайда в фильме «Южный Крест».
(Еженедельник «Экран»)

должны допустить, чтобы такое когда-либо повторилось...»

По словам обозревателя Дончо Хитрова, простое, лиричное повествование о рыбаке и его семье, о жителях небольшого острова на безбрежных просторах Тихого океана и об их трагической судьбе звучит как предостережение всем людям на земле.

ФОРУМ БАЛКАНИСТОВ

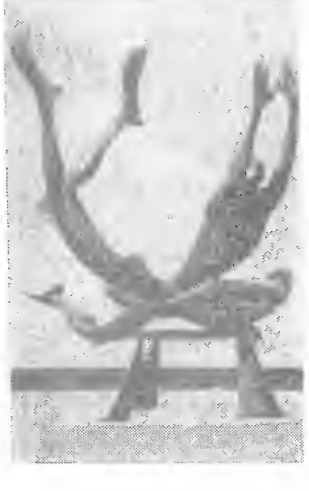
1250 ученых балканских стран собрались в Софии на I съезд, посвященный проблемам балканской истории, литературы, лингвистики, археологии, фольклора, этнографии, искусства.

«В докладах выдающихся историков, лингвистов, литературоведов и искусствоведов,— пишет корреспондент газеты «Народна култура»,— особо подчеркивается общность балканских народов».

На съезде выступил первый секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии товарищ Тодор Живков, который отметил большое научное, культурное и политическое значение съезда, расширяющего возможности сотрудничества балканских стран.

Скульптура Стелы Гонгаловой «Пловцы».

(Журнал «Изкуство»)



ГДР

«ШУЛЬЦХОФСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»

Такое название носит сборник поэтических миниатюр Эрвина Штриттматтера. Шульцхоф — родные места писателя, где он любит отдыхать. Здесь рождались стихотворения в прозе вперемежку с дневниковыми записями, которые писатель вел во время работы над романом «Оле Бинкоп».

В сборник вошли наблюдения писателя над жизнью природы, среди миниатюр — картины сельской жизни, короткие истории и анекдоты. Все это тесно связано с личностью самого автора, с его мыслями. «Писатель ведет диалог с собой и с окружающим миром»,— пишет обозреватель «Литератур-66». Изображение природы у Штриттматтера очень близко к изображению природы Пришвиным и Паустовским. «Книга эта проникнута необыкновенным поэтическим очарованием»,— отмечает обозреватель.

Автор читал отрывки из своего сборника на недавней книжной ярмарке в Лейпциге.

«БЕРЛИНЕР АНСАМБЛЬ» ПОБЫВАЛ В ИТАЛИИ

С большим успехом прошли в Италии гастроли театра «Берлинер ансамбль». В Италии хорошо помнят, писали итальянские газеты, что «Берлинер ансамбль» должен был приехать еще в 1961 году, но так же, как в прошлом году, гастроли не состоялись из-за закулисных интриг западногерманского правительства. Газета «Аванти» выразила удовлетворение по поводу того, что итальянцы наконец получили возможность познакомиться с мастерством всемирно известной труппы, основанной Бертольтом Брехтом.

ГОЛЛАНДИЯ

ОН ВИДЕЛ ЛЕНИНА

Еженедельник общества «Нидерланды—СССР» поместил интервью с известным голландским художником Петером Алмой, которому недавно исполнилось 80 лет (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 5, 1966).

«Как вы узнали об Октябрьской революции?» — спросил корреспондент.

«Сообщения прессы были столь противоречивы и ненадежны, что многим, в том числе и мне, это показалось подозрительным. Мне хотелось знать больше. Я не политический деятель, но в страшные годы первой мировой войны русская революция означала избавление. Я присоединился к ней, ибо восторжествовала социальная справедливость...»

Впервые Петер Алма посетил СССР в 1921 году, он был гостем III Конгресса Коминтерна.

«Вы видели тогда Ленина?»

«Ленин болел. Но, когда заседание уже началось, он все же незаметно пришел. Как только его увидели — зал разразился бурными аплодисментами. Энтузиазм людей был неописуем. Ленин произвел на меня большое впечатление. Поражала его простота, то, что он не старался быть эффектным. Чувствовалось, что его интересовало только дело. Во время перерыва я увидел Ленина вблизи, среди делегатов».

Летом прошлого года Петер Алма со своей женой совершили туристическую поездку по Советскому Союзу. «Я увидел намного больше, чем прежде. Москва сильно изменилась...» — сказал он.

Впервые Петер Алма посетил Мавзолей Ленина. «...Впечатление было неизгладимым. Длинная вереница людей, идущих мимо праха Ленина, воочию убедила меня, насколько велико для народа значение Ленина».

ДАНИЯ

Кадр из кинофильма «Голод» (слева Пер Оскарссон).
(Еженедельник «Фильм»)

«ГОЛОД»

На экраны Дании, Норвегии и Швеции вышел фильм по роману Кнута Гамсуна «Голод».

Фильм демонстрировался на кинофестивале в Канне, где исполнитель главной роли Пер Оскарссон был признан лучшим актером.

В оценке фильма скандинавская печать проявила полное единодушие. «Голод» явился триумфом сотрудничества трех скандинавских стран в области техники и искусства, триумфом датского постановщика, который совершил, казалось бы, невозможное — создал фильм, верный духу Гамсуна, и триумфом Пера Оскарссона, исполнителя главной роли»,—таково мнение рецензента газеты «Афтенпостен».

Почти все скандинавские газеты перепечатали интервью с режиссером фильма Хеннингом Карлсеном, который рассказал о работе над фильмом, о своих творческих планах и поисках. «Мы не ставили перед собой задачу точно воспроизвести роман, мы стремились лишь уловить и передать его настроение»,— сказал режиссер. С этой целью весь фильм снимался в Осло, в тех местах, где, как известно, в девяностых годах бывал Гамсун. Ко времени съемок в Осло еще сохранилась часть построек 1890 года, но несколькими месяцами позже их сровняли с землей. Рабочие, сносившие здания, следовали буквально по пятам за съемочной группой.

Об исполнителе главной роли Пере Оскарссоне Карлсен сказал: «Работа с Пером Оскарссоном на съемках этого фильма доставила мне глубокое удовлетворение. Оскарссон полностью вжился в образ героя. С апреля и до сентября прошлого года он ни на минуту не расставался с ролью. Он голодал и выносил немалые лишения ради того, чтобы стать таким же истощенным, каким представлялся герой Кнуту Гамсуну. Подобное отношение актера к роли безусловно было полезно в работе, хотя временами и обременяло — между Оскарссоном и съемочной группой нередко возникали споры».

«Рассчитан ли фильм исключительно на знатоков Гамсуна?» — спросили режиссера.

«Ни в коем случае,— ответил Карлсен. — Фильм предназначен для широкой публики, а не только для тех, кто читал Гамсуна».

ИТАЛИЯ

«КРУЖОК ОТЕС»

В последнее время внимание критики привлекла книга Джузеппе д'Агаты «Кру-

ИСПАНИЯ

Испанский художник Васкес де Сола, живущий во Франции, был недавно, как сообщала печать, во время пребывания в Испанском Марокко арестован франкистами и заключен в тюрьму. К счастью, под давлением общественности Васкеса де Солу выпустили на свободу.
На снимке: один из последних рисунков художника.
(Еженедельник «Леттр франсез»)

жок ОТЕС». Герои этого произведения — два провинциальных начинающих писателя, мечтающих «войти в литературу». Один из них — последователь литературы с социальной проблематикой в духе неореализма. Однако его постигает неудача за неудачей, и, не встречая ни понимания, ни поддержки, он в отчаянии кончает самоубийством. К чему стремится другой — не слишком ясно, но его, во всяком случае, привлекает «модная» проблематика, поиски новой формы. Он подпадает под влияние местного литературного кружка — ОТЕС, название это расшифровывается как «Кружок рабочих, технических специалистов и ученых». Члены этого кружка проповедуют теорию, согласно которой технически и политически развитое общество более не нуждается в искусстве; науки о человеке — социология, психология, психиатрия и так далее — удовлетворяют тягу читателя к познанию жизни и самого себя гораздо лучше, чем художественная литература. Начинающий писатель, будучи не способен опровергнуть эту концепцию и бороться против нее, заболевает нервным расстройством, а члены кружка ОТЕС тем временем сами коллективно пишут роман, который должен служить «образцом» современной массовой литературы, так как содержит в нужной дозировке все политические и культурные ингредиенты, соответствующие «требованиям момента».

«Д'Агата рисует картину кризиса, наблюдаемую как бы глазами самого больного, не указывая при этом средств лечения»,— пишет в рецензии на роман в журнале «Вие нуове» критик Витторио Спинаццола. «Более невозможно писать романы в натуралистическом духе,— заявляет по поводу выхода книги д'Агаты рецензент журнала «Ринашита»,— с другой стороны, еще никому не удалось изобрести новых форм романа. «Работа» д'Агаты — именно «работа», а не роман — лучшее тому доказательство».

Критика дает книге д'Агаты в общем противоречивые оценки, однако в целом все рецензенты сходятся в том, что это — остроумное сатирическое произведение.

ТЕМА ДИСКУССИИ: «ЧЕЛОВЕК И КИНО»

В старинном итальянском городе Ассизы состоялась встреча кинематографистов разных стран: Италии, Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии, США, Сенегала, а также Чехословакии и Венгрии. Там развернулась острая дискуссия по вопросу о том, каким должен быть герой современного фильма и какова вообще роль кино в процессе духовного становления человеческой личности.

В явно пессимистических тонах было выдержано выступление итальянского кинорежиссера Марко Беллоккио, по мнению которого, из современного кинематографа постепенно исчезает положительный герой, а искусство кино переживает глубокий кризис. Однако большинство участников дискуссии не согласилось с этим тезисом. Представители Чехословакии Антонин Лим и Новотна-Оливова, а также венгерский кинокритик Дьертян высказали мнение, что кино, являясь одним из самых популярных видов искусства, развивается и совершенствуется. Лучшие произведения мирового киноискусства помогают людям находить высокие идеалы и следовать им. Деятели кинематографии социалистических стран, чувствуя высокую ответственность перед зрителем, непрерывно ищут новые пути в изображении действительности. Возражая Беллоккио, о большой ответственности кинематографистов перед народом говорил также итальянский режиссер Нанни Лой, автор фильмов «Четыре дня Неаполя», «Сделано в Италии» и «Волшебное зеркало». Деятели кино, сказал он, должны вносить свой посильный вклад в борьбу с общественно-социальным злом, в частности, с неофашизмом.

Любопытно отметить, что среди устроителей встречи были представители итальянских католических организаций, которые, пригласив на дискуссию католических деятелей других стран, надеялись столкнуть их с представителями социалистических стран и прогрессивными деятелями Запада. Однако этим планам не суждено было сбыться. Католики вынуждены были признать большие успехи, достигнутые киноискусством стран социализма и прогрессивной кинематографией других стран. Многие из них говорили о том, что частная собственность препятствует развитию кино. «Я, как христианин,— сказал священник из Бельгии Бурвениш, — выражаю огромную признательность многим кинематографистам-марксистам, которые показали мне на экране настоящего человека, произведения которых обогатили меня духовно».

Итальянская печать, положительно отзываясь об итогах дискуссии, пишет, что на встрече происходил «важный и откровенный обмен мнениями между деятелями культуры разных стран». «Этот диалог кинематографистов,— писал корреспондент газеты «Унита»,— вызвал большой интерес, и этим интересом мы во многом обязаны активному участию в нем деятелей кино социалистических стран».

ВЫПУСК ЛИТЕРАТУРНОГО СЛОВАРЯ

Издательство Латерца объявило о выходе первого тома «Энциклопедического словаря итальянской литературы». Это фундаментальное шеститомное издание (четыре тысячи страниц) будет содержать 10 тысяч статей с тысячей иллюстраций, подготовка к его выпуску заняла более семи лет. Литературная энциклопедия Латерца впервые столь широко охватывает всю историю итальянской литературы с ее зарождения до наших дней. В первых пяти томах

в алфавитном порядке помещены статьи, посвященные итальянским писателям, а также некоторым иностранным писателям и произведениям античной классики, оказавшим влияние на развитие итальянской литературы; политическим и общественным деятелям, связанным с отдельными писателями и общим литературным процессом, анонимным произведениям; литературным течениям и направлениям; культурным организациям, академиям, библиотекам; газетам и литературным журналам; литературным терминам. Шестой том будет содержать индексы всех предыдущих томов — по названиям литературных произведений и по фамилиям авторов.

Цена этого издания, однако, весьма высока — 72 тысячи лир, что равняется примерно месячному заработку итальянского рабочего.

КАНАДА

«СЕРДИТЫЙ» ДРАМАТУРГ ИЗ КВЕБЕКА

Не только в Англии имеются «сердитые» писатели. Квебекский драматург Гратиен Джеллайнас давно уже числится в «сердитых» и пользуется успехом у канадской публики.

Его последняя пьеса, идущая на сцене Монреальского драматического театра — «Дети, которые раньше плясали»,— оценивается большинством канадских критиков как лучшая пьеса 1966 года. По словам рецензента журнала «Маклинз», автор показал, что подростки и молодежь, прежде любившие только танцы, ныне склонны интересоваться борьбой за свои права.

Что же касается консервативных критиков Квебека, они, как отмечает рецензент журнала «Маклинз», были шокированы тем, что в своей новой пьесе Гратиен Джеллайнас «осмелился» высмеять руководящих политических деятелей страны. «Дети, которые раньше плясали» — политическая пьеса, не делающая никаких попыток обойти «острые углы». Джеллайнас обладает способностью попадать не в бровь, а в глаз, когда речь идет о социальных и политических бедах Квебека»,— пишет рецензент.

Автор не останавливается и перед разоблачением коррупции избирательной системы, сильно напоминающей американскую. В связи с огромной популярностью «сердитого» драматурга рецензент «Маклинз» замечает, что Джеллайнасу всегда принадлежали рекорды посещаемости спектаклей. Предыдущие его пьесы — «Бонзиль и справедливые» и «Ти-Ток» выдержали невиданное в Канаде количество представлений: первая — 342, а вторая — 500.

ЛИВАН

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

Египетский журнал «Аль-Мусаввар» поместил недавно серию очерков литературного обозревателя Махмуда Амина аль-Алима о культурной жизни Ливана. Аль-Алим рассказывает о своих встречах с видными ливанскими литераторами и деятелями культуры на фестивале, посвященном двадцатилетию со дня смерти выдающегося ливанского писателя и публициста Омара Фахури, и о приметах нового в общественной и культурной жизни страны. Важное место в нынешнем социальном и культурном прогрессе Ливана принадлежит, по словам критика, театру, который сейчас как бы заново рождается в этой стране.

Известно, что именно Ливан является родиной арабского театра. (Первым арабским драматургом считают ливанца Маруна Наккаша — бейрутского негоцианта, страстного любителя театра, поставившего в 1848 г. в своем доме комедию Мольера «Скупой» в собственной обработке.) Однако впоследствии центр театральной жизни переместился из Ливана и Сирии в Египет, где были более благоприятные условия для развития драматического искусства. В течение десятилетий ливанский театр переживал глубокий упадок, хотя театральная и драматургическая деятельность в стране не прекращалась.

Только в самые последние годы ливанский театр возродился к активной жизни, чему, по мнению критика, способствовал бурный подъем политической и социальной борьбы в Ливане. «Я почти слышу,— пишет аль-Алим,— как социальная революция грозно стучится в двери Ливана. Под этот стук раскрывается занавес нового ливанского театра».

Особенное оживление в театральной жизни Ливана наблюдается в последние месяцы. Ливанские театры вместо показа спектаклей от случая к случаю теперь стали давать ежедневные представления. О театре много пишет ливанская пресса. Недавно прогрессивный журнал «Ат-Тарик» посвятил ливанскому театру специальный номер, в котором приняло участие около 20 ливанских драматургов, режиссеров, артистов и театральных критиков. «Как это не похоже,— восклицает критик,— на то, что наблюдалось в Ливане десять лет тому назад, когда бейрутский журнал «Аль-Адаб», посвятивший специальный номер арабскому театру, высказал самые пессимистические прогнозы о будущем театра в Ливане и в арабских странах вообще!»

ПОЛЬША

СЛОВО ОБ ИВАНЕ ФРАНКО

В нынешнем году исполняется 110 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти выдающегося украинского писателя, революционного демократа Ивана Франко.

Теплое слово об Иване Франко недавно появилось на страницах журнала «Камена». «Стоя на позициях совместной борьбы поль-

ских и украинских трудящихся с социальным и национальным гнетом, Иван Франко постоянно обращался к польской литературе, приветствовал появление в ней демократических и революционных тенденций. В многочисленных статьях он давал оценку творчеству Мицкевича, Словацкого, Гощинского, Асныка, Сырокомли, Конопницкой, Ожешко, Пруса, Каспровича и других. Он боролся за реализм в польской литературе, критиковал декадентские взгляды Пшибышевского, противопоставлял польскому экспрессионизму демократическое творчество Конопницкой, Ожешко, Пруса и др.».

Как отмечает далее автор статьи, из пяти тысяч созданных Иваном Франко научных работ более тысячи написаны и напечатаны на польском языке. Иван Франко очень высоко ценил Адама Мицкевича и перевел на украинский язык много его произведений. Перу Франко принадлежит монография о Мицкевиче.

«Иван Франко много сделал для польского народа как общественный деятель,— говорится далее.— Он — один из организаторов первых социалистических кружков в Галиции и политических крестьянских организаций. В 1878 году он редактировал рабочую газету «Праца» на польском языке. Вместе с прогрессивными польскими деятелями он написал «Программу польских и русинских (украинских) социалистов Восточной Галиции». В 1881 году Франко опубликовал программную статью «Чего хочет галицийская рабочая громада». Тогда же в газете «Праца» была опубликована серия его статей, вышедших затем отдельной брошюрой, в которых он популярно излагал марксистскую теорию.

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Два года назад в Польше был начат выпуск специальных фильмов для телевидения. За это время польские телезрители увидели несколько серийных телевизионных фильмов. Так, популярностью пользуется многосерийный фильм «Домашняя война» (главным образом рассказывающий о воспитании молодого поколения), который отличается остротой темы, юмором, прекрасной актерской игрой.

В числе короткометражных художественных фильмов внимание зрителей и критики привлек фильм режиссера Ежи Антчака «Выстрел» по одноименному рассказу А. С. Пушкина. В главной роли снимался Игнацы Гоголевский.

«Выстрел» получил специальную премию — «Золотой экран». При этом случилось нечто беспрецедентное: «Выстрел» с экрана телевизора перешел на большой киноэкран!

Среди других лучших фильмов критика называет «Аватар» режиссера Януша Маевского по Т. Готье.

В будущем, как свидетельствует печать, для польского телевидения будут экранизироваться художественные произведения польской и мировой литературы, ставиться фильмы на современные темы по специально для них написанным сценариям; будут создаваться приключенческие и музыкальные фильмы, многосерийные телефильмы для юношества и т. д.

Кадр из телевизионного фильма «Выстрел».
(Еженедельник «Экран»)

СИРИЯ

«ПАРУС И БУРЯ»

Свыше десяти лет назад молодой сирийский писатель Ханна Мина опубликовал свой первый роман «Синие лампы», в котором правдиво нарисовал жизнь родного города Латакии в суровые дни второй мировой войны. «Синие лампы» знаменовали собой рождение реалистического сирийского романа. (Эта книга переведена на русский язык.)

Теперь, как сообщает журнал «Аль-Адиб», Ханна Мина опубликовал новый большой роман под названием «Парус и буря». Роман посвящен жизни сирийских рыбаков и портовых рабочих, которую хорошо знает писатель. В предисловии к книге известный сирийский новеллист Саид Хаурания рассказывает о творческом пути Ханны Мины.

США

НОВЫЙ ЭТАП: ОРГАНИЗОВАННАЯ БОРЬБА ПИСАТЕЛЕЙ

В марте нынешнего года было создано общество «Американские писатели против войны во Вьетнаме». В его программу входила организация дискуссий в

среде писателей, студентов, интеллигенции, митингов с чтением стихов и различных текстов, направленных против этой войны. Среди литераторов, сразу вступивших в общество, были Роберт Блай, Роберт Крили, Лоуренс Ферлингетти, Дональд Холл, Джордж Хичкок, Голвей Киннел, Джон Логан, Роберт Лоуэлл, Роберт Петерсон, Дэвид Рэй, Джеймс Скевилл, Луис Симпсон, Уильям Стаффорд, Джеймс Райт. Большинство составляли поэты. Затем присоединились и другие писатели, в том числе немало лауреатов премии Пулитцера и Национальной премии. Всеми ими руководило желание «самим фактом присутствия на сцене засвидетельствовать, что они против войны во Вьетнаме». Первое чтение стихов было организовано 5 марта в Портлэнде, на него собралось более 700 человек. Затем последовали чтения в университетах Вашингтона, Чикаго, Висконсина и далее по всей стране; чтения проходили с неизменным успехом. Заслуживает упоминания и тот факт, что поэты читали бесплатно.

Антивоенные тексты, прозвучавшие на этих чтениях, в июле нынешнего года были изданы Робертом Блаем и Дэвидом Рэем отдельным сборником «Стихи для чтения против войны во Вьетнаме» (издательство «Сикстиз пресс»).

«Наша деятельность не имеет ничего общего с битничеством, — говорится в предисловии к сборнику.— Речь идет о самой серьезной кампании, которая когда-либо проводилась поэтами и писателями против трагической войны во Вьетнаме».

...В этой войне американцы выступают не в роли освободителей. Наоборот, их противник — все население. Не было такого солдата, возвратившегося из Вьетнама, в глазах которого, наполненных ужасом, не отражалась бы нечистая совесть.

Солдаты подвергались психологической обработке, сказано далее, им втолковывали, что эта война — справедливая, но по возвращении из Вьетнама запрещают говорить о ней правду. Американские пропагандисты додумались даже до того, что сравнивали миссию США с миссией Древнего Рима, «охранявшего мир во всем мире»!

Судя по тому, что президент Джонсон срочно направил в университеты Дж. Эдгара Гувера «для успокоения умов», наделив его широкими полномочиями, американские поэты достигли своей цели.

ПОД ОХРАНОЙ ПОЛИЦИИ

Кинорежиссер Отто Преминджер снимает в Луизиане новый фильм «Да придет ночь» невдалеке от печально известных выступлениями расистов городов Юга США — Джексона и Литтл-Рока. Преминджер, по происхождению австриец, доктор прав Венского университета, половину своей жизни — ему шестьдесят лет — прожил в США. В своем творчестве он последовательно критикует пороки «свободного мира». Известны такие его произведения, как «Буря в Вашингтоне» — о политических нравах в США и «Кардинал»— о дипломатии Ватикана.

Фильм «Да придет ночь» ставится по антирасистскому роману Кати и Берта Гильденов. Действие его развертывается на Юге Америки в 1946—1947 гг. В фильме поднято немало серьезных проблем: политических, экономических, моральных, но основная его тема — сегрегация.

Отто Преминджер и весь съемочный коллектив были крайне враждебно встречены местными расистами. Бесконечные угрозы в адрес режиссера и актеров, особенно негров, привели к тому, что значительная часть бюджета фильма — более 100 тысяч долларов — пошла на оплату полиции. Съемочный коллектив находится под круглосуточной охраной вооруженных полицейских.

Джейн Фонда, исполняющая в фильме главную роль, заявила журналистам: «Это не пропагандистский фильм. Он не претендует на разрешение проблемы расизма. Но в нем изображены расисты... Мне бы очень хотелось активно бороться против расизма. Скудоумие, глупость этих людей безграничны. Невозможно заставить видеть того, кто живет с закрытыми глазами...»

Французский кинорежиссер Роже Вадим, муж Джейн Фонда, ассистировавший на съемках фильма, сказал корреспондентам: «Во Франции не могут даже себе представить, насколько расовая проблема актуальна в США. В компании негров вам не дадут зайти в ресторан, театр, кино...»

Как сообщают газеты, следующую работу Преминджер предполагает посвятить американской «разочаровавшейся» молодежи. Главными героями будут студенты. Литературная основа будущего фильма—роман Джона Херси «Слишком далеко, чтобы идти пешком».

«Я ДУМАЛ, ЭТА ВОЙНА БУДЕТ ПОСЛЕДНЕЙ...»

Известный американский актер и певец Гарри Белафонте — один из активных борцов за мир, за гражданские права, против расовой дискриминации. Недавно в интервью для печати он заявил, что деятели искусства не могут стоять в стороне от политической борьбы.

«Голос артиста должен звучать так же отчетливо, как голос рабочего, служащего, крестьянина, моряка,— заявил Белафонте.— Он должен принимать участие в голосовании, обязан активно вмешиваться в политическую жизнь своей страны».

«Каково ваше отношение к положению во Вьетнаме?» — спросили Белафонте.

«У меня есть брат,— ответил он,— который вскоре закончит университет. Следовательно, он должен будет идти на военную службу. Возможно, ему придется ехать во Вьетнам и воевать там... Я не могу этого допустить. Эта мысль разрывает мне сердце... Я участвовал во второй мировой войне и думал тогда, что эта война

будет последней. Об этом тяжело вспоминать».

ФИНЛЯНДИЯ

ТРАГЕДИЯ КРИСТЕРА КИЛМАНА

Тридцатишестилетний писатель Кристер Килман, пишущий на шведском языке, автор вышедших в Финляндии романов «Синяя мать» и «Мадлена» в открытом «Письме тем, кто возьмет на себя труд прочесть его», опубликованном в газете «Хувудстадбладет», объявляет о своем отказе от писательской деятельности. Килман пишет о своем нежелании «приспосабливаться к тому уровню продажности, который требуется от литератора в нашем капиталистическом обществе, чтобы получать доход. Моя писательская деятельность окончена. Я заявляю о своем выходе из Союза писателей. У меня осталось только жилище и вещи в нем, о чем я настоящим уведомляю своих государственных, муниципальных и частных кредиторов».

«Открытое письмо Кристера Килмана обнажает пагубное влияние жизненной неустроенности на творческую деятельность писателя,— заявляет обозреватель газеты «Кансан уутисет».— Всего пять процентов писателей живут своим литературным трудом. Килман — один из наиболее способных, но и он не входит в число этих пяти процентов».

Решение Кристера Килмана вызвало в печати полемику, его называют «финской трагедией». Известный писатель Вяйне Линна заявил на страницах «Хельсингин саномат»: «Общество нуждается в писателях и обязано помогать им. Государственная власть представляет общество и должна оказать поддержку писателям, ибо только она может сделать эту поддержку постоянной».

«Отчаяние и угнетенное состояние Килмана потрясают еще и потому, что в таком же положении находится большинство современных писателей»,— пишет в той же газете Вейо Мери.

Правление Союза писателей Финляндии обратилось в парламент с просьбой об ускорении принятия решения о выплате систематического денежного пособия писателям.

ФРАНЦИЯ

ХУДОЖНИК ЭПОХИ

«Фестиваль Пикассо» — так названы во Франции мероприятия, связанные с празднованием 85-летия выдающегося художника, лауреата Международной Ленинской премии мира.

Все французские газеты и журналы отметили эту торжественную дату. Газета «Юманите», посвятившая юбилею специальную полосу, напечатала письмо генерального секретаря Французской коммунистической партии Вальдека Роше. Он направил юбиляру от имени Политбюро ЦК ФКП приветствие: «Вступив в партию в тяжелый 1944 год, вы не свернули с избранного пути. Вы продолжали борьбу. Партия горда тем, что вы в ее рядах, что вы создаете прекрасное искусство на благо человечества».

Вышел специальный номер еженедельника «Леттр франсез», в котором репродуцированы пятьдесят до настоящего времени неизвестных картин, гравюр, рисунков художника, выполненных им на протяжении всей его жизни. В этом же номере напечатана поэма Г. Руэна, посвященная Пикассо.

Пьер Дэкс в еженедельнике «Юманите-диманш» пишет, что «творчество Пикассо постоянно обогащает культуру и служит делу освобождения людей. Он художник целой эпохи. Художник, который помогает нам жить».

Пикассо поздравили также многочисленные зарубежные друзья.

«Фестиваль Пикассо» будет проходить с ноября нынешнего года по февраль будущего. В ноябре в Большом и Малом дворцах — крупнейших выставочных залах столицы — открывается грандиозная выставка произведений Пикассо: живопись, скульптура, керамика. На ней будут экспонированы свыше восьмисот полотен художника, из крупнейших музеев двенадцати стран, в том числе из Советского Союза (из Эрмитажа и Музея им. Пушкина), многочисленных частных собраний и личного собрания художника. Газеты пишут, что это самая большая, самая многообразная и впечатляющая из всех выставок, когда-либо устраивавшихся в честь одного художника.

В дни «Фестиваля» Парижская опера даст несколько представлений балета «Икар», оформленного по эскизам Пикассо.

Французская фильмотека покажет серию короткометражек, посвященных художнику: «Герника» Алена Ренэ, «В гостях у Пикассо» Хезерта, «Чудо Пикассо» Клузо, «Пикассо» Лусиано Эмме.

БЕСЕДЫ С ИОНЕСКО

В Париже вышла книга писателя и публициста Клода Боннфуа под названием «Беседы с Эженом Ионеско». Беседы эти посвящены проблемам современной литературы и искусства. В них Ионеско, между прочим, говорит и о своей пьесе «Носорог» (опубликована в «Иностранной литературе» № 9, 1965).

«Весьма вероятно,— сказал Ионеско в одном из своих ответов,— что через сто-двести лет «Носорог» будет непонятен. Я, по правде говоря, надеюсь, что в мире, в котором все люди будут обладать светлым умом и независимым мышлением, будут свободны и не разобщены, никто не поймет, что я хотел сказать в этой пьесе. Возможно, они попытаются расшифровывать мои пьесы, как документы давно минувших времен и событий. Я надеюсь, что наступит такое время».

Интересны высказывания Ионеско о современной литературе. Вот некоторые

вопросы Клода Боннфуа и ответы Эжена Ионеско.

К. Б.: Вы как-то говорили, что в последнее время литература очень отстает от бурных событий нашего времени. Не можете ли Вы развить и уточнить эту мысль?

Э. И.: В настоящее время имеется одно достойное осуждения течение в литературе, я имею в виду «новый роман». С моей точки зрения, это разновидность какого-то психоза, некая форма шизофрении. Писатели, выступающие в этом литературном жанре, нагромождают всяческого рода препятствия между собой и всем остальным миром. Эти люди не способны создавать и философскую систему, так как их мышление слишком поверхностно.

Больше всего меня тревожит то, что они отворачиваются от правды и живой действительности. Этот отход от всего человеческого начался уже давно... Тем не менее следует признать, что среди представителей «нового романа» имеются и интересные люди. Например, Натали Саррот, пожалуй, еще и Клод Симон. Они — настоящие писатели. А остальные — это «литераторы», лишенные всего человеческого и обуреваемые грандиозным тщеславием.

К. Б.: А не думаете ли вы, что «новый роман» представляет собой вклад в современную литературу?

Э. И.: Я думаю, что он ведет в тупик. Я предвижу также, что впоследствии над этими романами, над всеми этими произведениями будут очень смеяться.

Желая проиллюстрировать свою мысль, Ионеско упоминает нашумевший фильм «Прошлым летом в Мариенбаде» (авторы новороманист Роб-Грийе и режиссер Ален Ренэ) и заявляет, что над этим фильмом также будут очень смеяться по той причине, что персонажи его — безжизненные марионетки, с характерными признаками героев «нового романа».

Я не знаю, удачны ли мои пьесы,— сказал далее драматург,— но я пытался показать героев, занятых поисками смысла жизни, поисками главного в нашей действительности. Они страдают от своей отчужденности. Они страдают от своих недостатков, тогда как в литературе определенного сорта никто не страдает. Персонажи этой литературы лишены человеческих качеств.

Гравюра Андре Фужерона «Сегрегация», которой молодой художник откликнулся на события в Зимбабве (Южная Родезия). Работа экспонировалась на выставке современной гравюры в Париже.

(Газета «Юманите»)

К. Б.: Полагаете ли вы, что современная литература испытывает кризис, что она ищет новых путей?

Э. И.: К счастью, кризис налицо. Больше всего меня бы пугало отсутствие кризиса. Раз есть кризис, значит, есть и поиски... Пока существует кризис, есть и терзания, значит, бьется пульс жизни, культурной и духовной. В тот момент, когда литература становится академичной или когда писатели становятся вельможами, когда литература начинает любоваться собой и перестает видеть, что вокруг нее делается, в тот самый момент она умирает.

По мнению Ионеско, в наше время наука своими достижениями значительно опережает искусство, и это тревожит писателя.

— Раньше прозаики и поэты считались провидцами, пророками,— сказал Ионеско.—...Но с некоторого времени наука, психология достигли таких глубин и такого прогресса, что эмпирические откровения писателей стали выглядеть весьма бледно...

Замечательные победы в космосе, удивительное зрелище, открывшееся космонавтам,— все это обязывает литературу стремиться достигнуть того уровня, которого уже достигла наука. Ни один поэт еще не сумел представить себе того, что увидели космонавты...

МУЗЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ — В КВАРТИРЕ СТЕНДАЛЯ

В Гренобле, в доме № 14 по улице Жан-Жака Руссо, где родился Стендаль, после нескольких лет кропотливой подготовки открылся музей движения Сопротивления. Организаторы музея заодно реставрировали и квартиру Стендаля. В трех ее комнатах расположилась экспозиция, рассказывающая об основных этапах движения Сопротивления. Эта выставка, как пишет корреспондент газеты «Юманите», наглядно, на основании документов, повествует об ужасах второй мировой войны и фашистской оккупации, о предательстве

правительства Виши, о преследованиях патриотов, о героизме участников Сопротивления.

В экспозиции — приказы немецкого командования, письма узников лагерей смерти, партизанские листовки, обращения Мориса Тореза и Жака Дюкло от имени ЦК Французской компартии к народу и многие другие свидетельства борьбы свободолюбивого народа Франции за национальное освобождение.

«Наш музей, — заявили его организаторы,— не ставит целью разжигать ненависть по отношению к немецкому народу. Он — историческое свидетельство поражения фашизма, от которого пострадал и народ Германии».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЭКРАНИЗАЦИЯ «ВОЙНЫ С САЛАМАНДРАМИ»

Бессмертное антифашистское произведение Карела Чапека «Война с саламандрами» продолжает волновать творческое воображение людей искусства. К работе над экранизацией этого произведения приступили известные режиссеры Ян Кадар и Эльмар Клос, которые совместно поставили такие фильмы, как «Обвиняемый», «Смерть зовется Энгельхен» и «Магазин на площади».

В интервью для печати Кадар и Клос рассказали, что мысль перенести на экран «Войну с саламандрами» пришла им давно. «Первый вариант сценария мы написали восемь лет назад,— признался Кадар,— а последний, вероятно, десятый по счету, закончили совсем недавно. Но было бы большой самонадеянностью утверждать, что мы уже сейчас знаем, как ставить «Войну с саламандрами»...

Клос сказал: «Мы хотим показать общество, стоящее на высшем уровне цивилизации; но именно это развитие цивилизации угрожает самому существованию общества, которое уже не может контролировать все высвобожденные им силы. Любой человеческий коллектив, да и любой отдельный человек «носят в себе» саламандру, которая грозит им гибелью... Именно такой ключ мы подобрали к экранизации «Войны с саламандрами», в которой будет отражен сатирический взгляд на окружающий нас мир».

Как заявили далее авторы будущего фильма, они, по всей вероятности, поставят «Войну с саламандрами» в сотрудничестве с какой-либо из западных фирм. Ведь действие развертывается во многих европейских странах, на океанских островах, в фильме должны сниматься люди различных национальностей...

«Возможно, — спросили корреспонденты,— пока еще не все ясно, вы сделаете какой-нибудь другой фильм, а затем уже вплотную займетесь экранизацией «Войны с саламандрами»?

«Нет! Нет!» — в один голос ответили Кадар и Клос. Они ни о чем другом, кроме «Саламандр», думать уже не могут. Работа над фильмом началась.

ЮГОСЛАВИЯ

В Белграде открылся Музей современного искусства, в котором будут собраны все лучшие творения югославских художников и ваятелей.
На снимке: один из экспонатов музея, скульптура Ивана Мештровича «Вдова».

(Газета «Борба»)

Авторы этого номера

АЛИ САРДАР ДЖАФРИ (род. в 1913). Индийский поэт Сардар Джафри — автор стихотворных сборников: «Полет», «Привет новому миру», «Азия пробуждается», «Кровавая черта», книги «Прогрессивная литература» и других произведений.

В этом номере мы публикуем стихи поэта, вошедшие в его сборник «Еще одна мечта», который вышел в 1965 году.

■

КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ — KORNEL FILIPOWICZ (род. в 1913 г.).

Перу польского писателя К. Филиповича принадлежат около полутора десятков прозаических произведений.

Первый сборник его рассказов «Невозмутимый пейзаж» («Krajobraz niewzruszony») вышел в 1947 году. Среди наиболее известных его произведений: романы «Луна над Нидой» («Księżyc nad Nidą», 1950), «Голубиная улица» («Ulica gołębia», 1955), «Дневник антигероя» («Pamiętnik antybohatera», 1961), «Пленник и девушка» («Jeniec i dziewczyna», 1964) и многие другие.

В 1964 году писатель был удостоен Государственной премии за творческую деятельность в области прозы.

Повесть «Сад господина Ничке» («Ogród pana Nitschke»), которую мы публикуем в номере, вышла в 1965 году.

■

МАНУЭЛЬ СЕПЕДА ВАРГАС — MANUEL CEPEDA VARGAS (род. в 1930 г.).

Мы впервые знакомим читателя с творчеством молодого колумбийского поэта. Мануэль Сепеда Варгас — активный участник революционного движения. Почти весь тираж сборника его стихов «Ты победишь, Маркеталия!» («Vencerás, Marquetalia»), в который вошли стихи, публикуемые в номере, был изъят колумбийской полицией.

■

ЧАРЛЬЗ ПЕРСИ СНОУ — CHARLES PERCY SNOW (род. в 1905 г.).

Известный английский ученый и писатель Ч. П. Сноу более тридцати лет назад приступил к созданию серии романов под общим названием «Чужие и братья» («Strangers and Brothers»), которая включила более десятка книг и была завершена им в 1964 году романом «Коридоры власти» («Corridors of Power»), публикацию которого мы начинаем в этом номере с небольшими сокращениями.

Два романа этой серии «Пора надежд» («Time of Hope», 1949) и «Дело» («The Affair», 1960) переведены на русский язык. На русский язык переведен также роман «Поиски» («The Search», 1934).

■

ГЕНРИХ БЁЛЬ — HEINRICH BÖLL (род. в 1917 г.)

Мы предлагаем вниманию читателя повесть западногерманского писателя Г. Бёля «Чем кончилась одна командировка» («Ende einer Dienstfahrt»), вышедшую в этом году. В нашем журнале был напечатан его роман «Глазами клоуна» («Ansichten eines Clowns», 1963, № 3 за 1964 год) и несколько рассказов.

Перу писателя принадлежат ряд романов и повестей, а также несколько сборников новелл и рассказов. Большинство его произведений переведено на русский язык.

■

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ (род. в 1920 г.).

Наш читатель знаком с поэтическим творчеством болгарского писателя — поэта и прозаика Валерия Петрова. В этом номере мы публикуем отрывки из его книги «Африканский блокнот» («Африкански бележник»), которая вышла в Софии в 1965 году.

Первый стихотворный сборник В. Петрова «Птицы летят к северу» («Птици към Север») вышел в 1935 году, в том же году был опубликован роман об экспедиции Нобиле «К полюсу» («Към полюса»), затем вышли сборники «Стихотворения» (1949), «Дни, в которые мы живем» («Дните, които живеем», 1952) и другие.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Технический редактор **Л. Д. Богданова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47

А 17845. Сдано в производство 8/IX-66 г. Подписано к печати 18/XI-66 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.; 18 печ. л.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

80 коп.

ИНДЕКС 70394

к сведению читателей

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПУБЛИКУЮТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН МИРА—РОМАНЫ И ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ И СТИХИ, ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ БОЛЕЕ ДЕВЯНОСТА СТРАН НАХОДИТ ОТРАЖЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА. МЫ ПУБЛИКУЕМ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ АВТОРОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ МИРОВОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ, И КНИГИ МОЛОДЫХ, ВПЕРВЫЕ ВСТУПАЮЩИХ В ЛИТЕРАТУРУ.

В разделе «Критика» будут напечатаны статьи, освещающие актуальные проблемы развития зарубежных литератур, обзоры, полемические заметки, литературные портреты. Как и в прошлые годы, будут широко рецензироваться новинки литературы, вышедшие за рубежом и у нас в стране.

В разделе «Публицистика» будут печататься выступления крупных писателей, деятелей культуры, ученых по важнейшим проблемам современности; дневники, воспоминания, документы. Журнал, как и раньше, будет печатать статьи о зарубежном кино и театре.

Подписная цена

на 12 мес.— 9 р. 60 к.
на 6 мес.— 4 р. 80 к.
на 3 мес.— 2 р. 40 к.

Цена одного номера—80 коп.

В ПЛАНЕ РЕДАКЦИИ НА 1967 ГОД СЛЕДУЮЩИЕ РОМАНЫ И ПОВЕСТИ:

Рамон Амайа Амадор (Гондурас)
Операция «Горилла»

Джон Апдайк (США)
Ферма

Мигель Анхель Астуриас (Гватемала)
Незаконнорожденный

Чинуа Ачебе (Нигерия)
Человек из народа

Генрих Бёль (ФРГ)
Новый роман

Эрико Вериссимо (Бразилия)
Господин посол

Кристиан Гейслер (ФРГ)
Холодные времена

Хуан Гойтисоло (Испания)
Новый роман

Фридрих Дюрренматт (Швейцария)
Метеор

Герман Кант (ГДР)
Актовый зал

Кобо Абэ (Япония)
Чужое лицо

Джеймс Олдридж (Англия)
Новый роман

Жорж Перек (Франция)
Вещи

Владимир Познер (Франция)
Испания — первая любовь

Хосе Солер Пуиг (Куба)
Крушение

Ричард Райв (ЮАР)
Чрезвычайное положение

Уильям Фолкнер (США)
Осквернитель праха

Леонардо Шаша (Италия)
Каждому свое

Мы рассматриваем также произведения МАРИО БЕНЕДЕТТИ, СИМОНЫ ДЕ БОВУАР, ШТЕФАНА БЭНУЛЕСКУ, БОГУСЛАВА БРЖЕЗОВСКОГО, МАКСА ФОН ДЕР ГРЮНА, ТРУМЭНА КАПОТЕ, ДЖОНА КИЛЛЕНЗА, АНДРЕ МОРУА, АЗИЗА НЕСИНА, ТАДЕУША РУЖЕВИЧА, ХОРХЕ САЛАМЕА, ЖОРЖА СИМЕНОНА, ГЕНЧО СТОЕВА, КРИШАНА ЧАНДАРА, ИРВИНА ШОУ.

Мы предполагаем опубликовать стихи поэтов: ВЛАДИСЛАВА БРОНЕВСКОГО, САРДАРА ДЖАФРИ, МИРОСЛАВА КРЛЕЖИ, ХЕСУСА ЛАРЫ, РОБЕРТА ЛОУЭЛЛА, ОКТАВИО ПАСА, КАРЛА СЭНДБЕРГА, ФАИЗА АХМАДА ФАИЗА, МУХАММЕДА АЛЬ-ФЕЙТУРИ, ИШТВАНА ШИМОНА, ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ, ГАНСА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.